

**ВИКТОР ЧЕРНОВ**

**КОНСТРУКТИВНЫЙ  
СОЦИАЛИЗМ**

**Москва  
РОССПЭН  
1997**

В настоящем издании представлена работа В.М.Чернова — выдающегося политического деятеля России начала XX века, лидера и теоретика партии социалистов-революционеров. «Конструктивный социализм» – важнейшая работа В.М.Чернова периода эмиграции, первый том которой увидел свет в Праге в 1925 г. За этой частью, посвященной обсуждению вопроса об индустриальном социализме, должна была последовать, согласно плану, вторая, по аграрному вопросу. Долгие годы рукопись считалась утраченной. В настоящем издании факсимильно воспроизведено пражское издание 1-го тома, во второй части книги осуществлена публикация сохранившихся материалов второго тома.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### Том первый

- Гл. I. От утопического - через научный - к конструктивному социализму
- Гл. II. Очередные проблемы конструктивного социализма
- Гл. II. Конструктивная незрелость довоенного социализма
- Гл. IV. Конструктивные искания синдикализма
- Гл. V. Аграрная конструкция социалистов-революционеров
- Гл. VI. Максимализм как предтеча большевизма
- Гл. VII. Уроки венгерского коммунистического опыта
- Гл. VIII. Отправная позиция и метод большевизма
- Гл. IX. Социализация кредита
- Гл. X. Рабочий контроль
- Гл. XI. «Дикая» и «галопирующая» национализация
- Гл. XII. Что такое социализация?
- Гл. XIII. Профессиональные союзы и советский строй
- Гл. XIV. Большевизм и гильдеизм
- Гл. XV. Военный коммунизм

### Том второй

- Вместо введения
- Гл. I. Большевики в роли социализаторов земли
- Гл. II. Аграрная реформа большевистско-левоэсеровского блока
- Гл. III. Война за хлеб
- Гл. IV. Социализаторы хлеба и социализаторы финансов
- Гл. V. Мировое значение аграрного вопроса
- Гл. VI. Государственный капитализм

## **Остальные главы и отрывки**

О демократии и трудовом цензе

Демократия и диктатура

Вариант последних страниц главы «Демократия и диктатура»

Без заглавия («Катастрофическое восприятие ...»)

Без заглавия («Только события войны ...»)

Судьбы марксистской социал-демократии в России

Без заглавия («На втором съезде ...»)

Без заглавия («Наконец, обещанное - свершилось.»)

Без заглавия («... не переставая, толкал ...»)

Исторические корни конструктивной незрелости социализма

Открытые вопросы социализма

Без заглавия («Критики большевиков ...»)

Указатель имен

# ТОМ I.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### От утопического — чрез научный — к конструктивному социализму

В истории социализма, следуя Марксу, принято различать две полосы: утопическую и научную. Внутренний смысл этой истории заключается в развитии социализма от утопии до науки.

С тех пор, как Маркс, и в особенности Энгельс, ввели это различие, — к нему с разных сторон были не без основания предложены кое-какие поправки и оговорки. Противоположность домарксовского — утопического — и марксовского — научного — социализма подверглась известным смягчениям и утратила свой абсолютный характер. В «утопическом» социализме были открыты многие чрезвычайно важные зачатки истинно-научных идей, и — что самое главное — был констатирован их прогрессивный рост, их органическое развитие. Были открыты предтечи Маркса в рядах утопистов, и в их трудах нашлись такие гениальные намеки на будущие открытия научного социализма, что иные некритические головы пытались даже видеть в Марксе и Энгельсе не более, как искусных плагиаторов. С другой стороны, в марксовском социализме были открыты пережитки утопического элемента. Однако, и то и другое только лишний раз свидетельствует, что *natura non fecit saltus*, природа скачков не делает, и что резко различаемое в теории, на практике связано между собою рядом неуловимых промежуточных звеньев, характеризуемых смешением признаков. Все человеческие классификации и все различения в этом смысле условны, что не мешает им быть вполне целесообразными и пригодными для наших целей. Ими обозначаются тенденции развития, пути истории. Все пути нельзя означить иначе, как вехами, которым соответствуют определенные этапы. Утопический социализм, научный социализм есть лишь два крупнейших этапа, единого и сплошного пути, единого органического развития, в котором научный социализм является лишь детищем утопического — развернутой и дифференцированной формой первичного, примитивного и элементарного' по строению своему эмбриона.

Спор о взаимных отношениях между утопическим и научным социализмом давно уже потерял свою первоначальную остроту. Можно даже сказать, что эта острота была в значительной степени искусственной. И вина за ненужное обострение спора в равной степени ложится, как на чересчур усердных почитателей, так и на чересчур ярых идейных противников Карла Маркса.

Его почитатели, с самим Энгельсом во главе, в особенности, непосредственно после смерти своего вождя, учителя и друга, настолько были увлечены естественным пиететом к его имени, что, бесспорно, превзошли меру в превознесении его исторических заслуг, и тем самым умалили значение всех его предшественников.

Фр. Энгельс объявил, что «двумя великими открытиями — материали-

стическим пониманием истории и разоблачением, посредством понятия о прибавочной стоимости, тайны капиталистического производства — мы обязаны Марксу», и что, сверх того, основанная на двух этих открытиях теория классовой борьбы равным образом «принадлежит единственно и исключительно Марксу».

Впоследствии к этому увлечению, продиктованному преклонением перед памятью покойного учителя, прибавились другие психологические мотивы, в том числе — чувство национальной гордости.

«Не простая случайность» — писал, напр., Август Бебель в своей известной книге «Женщина» — «не простая случайность, что динамические законы общественного развития и научный базис социализма были открыты и положены немцами, на первом месте Марксом и Энгельсом». Для Бебеля этим фактом открывается эпоха гегемонии немецкой социал-демократии в Интернационале, — отнюдь не кажущаяся ему преходящей, обусловленной известным стечением временных обстоятельств. О, нет! «Германия стала руководительницей человечества в гигантской борьбе грядущего. По самому географическому положению и по ее развитию ей предопределена эта роль».

Национальное чувство — одно из самых устойчивых чувств, упорно работающих за кулисами сознания даже тогда, когда ум как будто сумел возвыситься над ним и подчинить его своему строгому контролю. Вот почему оно неожиданным образом прорывается нередко даже у самых завзятых интернационалистов, и, контрабандой врываясь в их построения, доводит их порою вплоть до своеобразного национального мессианизма, — чуть только стечение исторических обстоятельств выдвигает именно их отечественный социализм на первый план. Так когда-то готовы были считать себя избранным народом революции, свободы и социализма французы, давшие миру Бабефа, Кабе, Сен-Симона, Фурье, Пекера, и положившие начало интернациональным революционным тайным обществам, в которых впервые абстрактная социалистическая идея кабинетных мыслителей вступила в союз с революционными инстинктами пролетариата. Так и ныне, после крушения германской гегемонии в социализме, в результате ее шовинистического грехопадения в эпоху мировой войны, русский большевизм, несмотря на свой утрированный интернационализм, незаметно для себя пропитывается такою же бессознательно-националистической верой в призвание русского пролетариата возродить весь мировой социализм, пересоздав его по своему образу и подобию, и после этого соединив его с нарождающимся социализмом народов Востока, получивших социалистическое откровение от русских большевиков и в чисто-большевицкой форме. Эта вера в большевизме порою окрашивается чертами национального самохвальства, граничащего с манией величия.

В своей книге «Право на полный продукт труда» Антон Менгер первый имел мужество заявить, что некритическая вера в придание социализму научной формы исключительно Марксом, Энгельсом, Родбертусом и Лассалем, распространенная особенно среди немцев, свидетельствовала лишь о том, что «к нашей интернациональной доктрине незаметно тогда примешалась черта национального тщеславия». Но он же, к сожалению, первый настолько увлекся

полемической стороной своей задачи, что впал в противоположную Энгельсу крайность. Он взялся доказать, что «Маркс и Родбертус взяли свои главнейшие социалистические теории у старейших английских и французских теоретиков, не называя источников», и что при этом они «далеко отстали по глубине и основательности от своих оригиналов»... Доказать это было нельзя без преувеличений и натяжек. Если Энгельс согнул палку в одну сторону, то Менгер перегнул ее в противоположную. Правда, что в результате этого, в конце концов, палка все же была выпрямлена.

Не мало горячности и преувеличений было внесено в спор, далее, игрою партийных страстей. С двух фронтов, справа и слева, со стороны буржуазных идеологов и со стороны теоретиков анархизма, марксизм был подвергнут жесточайшей атаке. В своей «Die Philosophie der Geschichte als Soziologie» Пауль Барт, проследив влияние на Маркса сенсимонистских идей, пришел к выводу, будто Маркс даже «не прибавил ни единой новой мысли к тому, что он уже нашел: он только привел эти мысли в систему с помощью гегелевской спекулятивной фантазии». В небольшом, но резком памфлете о «Доктринах марксизма» анархист В. Черкезов изобильными цитатами и сопоставлениями старался доказать, что уже «социалисты сороковых годов знали и блестяще излагали все, положительно все, что Энгельс выдавал, спустя сорок лет, за открытия Маркса-Энгельса», и что «в международной *republique des lettres* такого рода открытия называются систематическим списыванием, присвоением, плагиатом» (В. Черкезов. Доктрины марксизма. Вып. II. Наука ли это? М., 1905. С. 50).

Более спокойные ноты и более правильные методы были внесены в спор трудами Шарля Андлера о «Коммунистическом Манифесте» («Le Manifeste communiste». Introduction historique et commentaires. Paris 1901). Давида Койгена («Zur Vorgeschichte des modernen philosophischen Sozialismus» Bern. 1901), М. И. Туган-Барановского («Социально-экономические идеалы нашею времени») и др. Ныне многое в области отношений домарксовского социализма к послемарксовскому может считаться вполне установленным и даже бесспорным.

Ныне даже большевистские авторы, обычно проникнутые самым суверенным презрением ко всему «утопическому» и считающие себя монополистами «научности», приучились внимательнее относиться к великим утопистам прошлого, у которых им приходится встречаться «с глубиной мысли, предвосхищающей во многих отношениях будущие теоретические построения научного социализма», и наталкиваться на «страницы, достойные по своему реализму лучших представителей современной экономико-материалистической школы (см., напр., изданную моск. отд. Госиздата монографию «Шарль Фурье», М., 1922, с. 7 и 192). Еще раньше, — в 1902 г. — такой ортодоксальный русский марксист, как Г. Плеханов, в предисловии к энгельсовскому «Развитию научного социализма» мимоходом обронил признание, что «даже социализм Р. Оуэна, Фурье и др. утопистов был, по крайней мере, отчасти, научным социализмом». После таких признаний уже является вопросом второстепенной важности, должны ли мы, вслед за Менгером, «рассматривать, как первого научного социалиста новейшего времени» — современника великой французской революции, В. Годвина, и должны ли мы, вместо Маркса, считать «наиболее выдаю-

щимся основателем научного социализма» Вильяма Томпсона. Хотя теперь вряд ли кто будет оспаривать, что в трудах Томпсона «содержатся самые существенные элементы той теории нетрудового дохода, которая впоследствии, под названием теории прибавочной ценности, получила в трудах Маркса громкую известность и такое широкое распространение», однако Маркс, а не Томпсон, сумел извлечь из нее такое количество выводов, и при свете ее блестяще разрешить столько спорных проблем, что если даже Маркса считать в этой области лишь продолжателем и учеником Томпсона, то ученик превзошел своего учителя.

Если бы даже кому-нибудь удалось путем прилежного выклеивания отдельных цитат из огромной литературы старого социализма Англии, Франции и Германии доказать, что у Маркса нет ни одного положения, которое, хотя бы в зародышевой форме, не существовало до него, то и этим не было бы оправдано полемическое усердие людей, которые, как удачно выразился кто-то, «вырастают в своих собственных глазах в той мере, в какой им удается умалить Маркса». Новизна всякой теории состоит не столько в отдельных единичных мыслях, сколько в общей логической конструкции всей системы. Любую новую машину можно разложить на огромное количество всевозможных винтиков, колес, рычагов, приводных ремней, гаек и т. п. частей, среди которых ни одна не поразит техника своей небывалостью. Из-за того, что в самых утопичнейших из старых социалистических утопий можно найти вкрапленными крупинки ценнейших истин, порою даже гениальнейших предчувствий, не следует забывать, что частные истины совершенно теряют порою свое значение и превращаются в смоковницу, обреченную на бесплодие, когда вместе с положениями совершенно фантастическими сплетаются в целостную систему, уводящую по ложному пути.

Подводя итоги всем новейшим исследованиям того «исторического наследства», которое получил марксизм от старых социалистических школ, можно сказать, что в состав этого наследства входили все три основные составные части научного социализма, которые Энгельс объявил когда-то «открытиями» Маркса. Историко-экономический материализм, например, во Франции впервые был развит в виде цельной системы уже Константином Пекером. В менее развитой форме он не только встречается раньше, но даже не составляет особенности социалистического направления мысли; Пауль Барт, а вслед за ним П. Струве, показали, с какою замечательной ясностью основную идею экономического материализма в Германии формулировал до Маркса консервативный философ-экономист Лавернь-Пегульен. Теория прибавочной стоимости, как мы уже видели, была с замечательной ясностью формулирована Томпсоном; и самый термин Маркса — *Mehrwert* — представляет лишь перевод на немецкий язык термина *Surplus-value*, по-французски с 1819 г. употребляемого Симоном де-Сисмонди, а по-английски — Томпсоном. Наконец, что касается теории классовой борьбы, то она составляла общее достояние социалистов с передовыми идеологами буржуазии периода ее *Sturm-und Drang*'а — Огюстеном Тьерри, Гизо, Адольфом Бланки и др.; в «Манифесте Демократии девятнадцатого столетия» фюрериста Виктора Консидерана она развита в такой форме, что

«Коммунистический Манифест» Маркса-Энгельса даже по всему литературному построению носит на себе следы его влияния. По справедливому заключению Туган-Барановского, Коммунистический манифест «представляет собою во многих своих наиболее повлиявших частностях воспроизведение обычных учений фурьеристов»; в частности, по отношению к теории концентрации производства и доходов «только незнакомством со старой литературой социализма можно объяснить то, что излюбленное учение школы Фурье получило всеобщую известность, как учение Маркса». «Интересно, что даже самое название марксизма «научным социализмом», в отличие от утопического, заимствовано не у кого иного, как у фурьеристов; именно они постоянно называли свое направление «научным социализмом», и противопоставляли его, в качестве такового, учениям всех других социалистических школ. Фурье они именовали почетным титулом «отца научного социализма», совершенно так же, как марксисты именуют Маркса» (М.И. Туган-Барановский, «Общественно-экономические идеалы нашего времени», СПб., 1913, с. 41).

Повторяем, из всего этого следует лишь, что научный социализм появился не так, как Минерва из головы Юпитера, и что употребление этого термина, в качестве простого синонима марксизма, может быть продиктовано лишь узко сектантским перерождением мысли. Между чистокровными «утопистами» и социалистами послемарксовской эпохи стоит целый ряд интереснейших мыслителей, служащих как бы промежуточным, соединительным звеном между теми и другими. Такие фурьеристы, как Виктор Консидеран; такие сисмондисты, как, в сущности, *пересказанный* Энгельсом Бюре; такие бабувисты, как лидер тайного «Союза Гонимых», Теодор Шустер, у которого открывают ныне «как бы черновой набросок марксизма»; такие сенсимонисты, как Константин Пекер и ученик его Видаль; такие оуэнисты, как Годвин и Томпсон, — не говоря уже о современниках Маркса, Прудоне, Луи Блане и Чернышевском, — являются мыслителями, к которым приходится возвращаться не только ради чисто-исторического интереса. Их изучение необходимо для каждого мыслящего социалиста.

И вовсе не один марксизм обязан им чрезвычайно многим в деле построения своего мирозерцания.

Выступивший против ортодоксального марксизма ревизионистский социал-реформизм может считать своим духовным отцом Видалья, который решительнее всех попробовал из теории утопистов сделать чисто-практическое, посибилитское, или оппортунистское применение. «Истинный вопрос современности писал он в своем основном труде (F. Vidal, «De la repartition de richesses», р. 471 – 472). сводится к изысканию степени возможности хотя бы частично нейтрализовать зловещие последствия наших экономических учреждений; необходимо исследовать, что можно извлечь ныне, в 1846 г., при наших законах, нравах и предрассудках, из принципов ассоциации и организации, примененных, в качестве паллиативов, к облегчению нищеты, к улучшению участи тех тысяч нам подобных, которые не могут терпеливо выжидать будущего и питать себя иллюзиями, которые хотят зарабатывать своим трудом достаточно средств для существования, и которые могли бы производить далеко сверх своих по-

требностей, если бы умело утилизировать их рабочие руки, если бы была налицо добрая воля доставить им, на началах кредита, первые оборотные средства и необходимые инструменты. О, конечно, мы здесь куда как далеки от стран утопистов. Так поставленная, проблема будет чрезвычайно ограничена; с высот идеала мы внезапно сваливаемся на землю, под власть реальности и необходимости. Это — точно другой мир; но, в конце концов, ведь это и есть тот мир, в котором мы осуждены влачить свое существование: с этим надо примириться».

Если мы с крайнего правого фланга современного социализма перейдем на его крайний левый фланг, то и здесь повторится та же история. В положении бабувиста Вейтлинга: «так как социальный организм заражен, то впредь до его исцеления и именно для этого исцеления народу в течение некоторого времени необходимо обладать революционной властью», содержится одна половина большевицкой концепции диктатуры; в плане Стефана Борна образовать особый «рабочий парламент» из делегатов — избранных на синдикальной основе — вторая ее половина, «совет рабочих депутатов», — конкретный носитель диктатуры. У чартистов мы находим не только идею всеобщей стачки, но и прототип Циммервальдского манифеста. 10-го января 1848 г., когда казалась близкой война между Францией и Англией, чартисты в своем манифесте говорили: «Рабочие Великобритании и Ирландии! Зачем вам вооружаться, зачем вы будете сражаться ради поддержания учреждений, которые вам не приносят никакой пользы? Ради поддержания законов, не охраняющих, а угнетающих вас? ради охраны собственности, которая в ваших глазах может быть только украденным плодом вашего же собственного труда?.. Пусть привилегированные и собственники сами сражаются за интересы привилегии и собственности!»

Не случайность, что большевики — эти ревностнейшие и ортодоксальнейшие марксисты в теории — уподобились новым Колумбам, когда, отдыхая от своих социальных экспериментов, занялись на досуге изучением старых утопистов. Так, уже цитированный нами, автор большевицкой монографии о Фурье с изумлением открыл у него «социальную систему, по своим творческим идеям представляющую громадный интерес для современных строителей социалистического государства», — систему, при ознакомлении с которой кажется, «что все это написано не сто лет тому назад, а в наши дни, в разгар победы пролетариата, в эпоху смелых начинаний и беспримерных в истории попыток». Что же сказал бы он, если бы ему посчастливилось так же заново открыть хотя бы Константина Пекера, учение которого современные историки социализма считают «самым зрелым плодом социалистической мысли Франции», заслуживающим названия «великого» — Константина Пекера, истинного «отца современного коллективизма», набросавшего план социалистического государства «с удивительной ясностью и отчетливостью, с поразительным проникновением во все детали общественного устройства»? Что сказал бы он, ознакомившись со всей этой блестящей плеядой мыслителей? У сенсимониста Базара он нашел бы план огосударствления кредита, который заставил бы покраснеть за большевицкие эксперименты в этой области; у Пекера — монополию Внешторга, так плохо выполняемую Красиным; у Бабефа — всеобщую трудовую повинность, искаженно-казарменная форма которой была гордостью Троцкого; и даже все-

общий аскетизм и грубо понимаемое равенство эпохи военного коммунизма он нашел бы у Кабэ, по адресу которого за это Прудон воскликнул: «Прочь, коммунисты, — ваше присутствие отравляет воздух!».

Что касается специально русского социализма, то наиболее оригинальное из его социологических построений, философский синтез коллективизма и индивидуализма в теории личности Н. К. Михайловского, может во главе своего родословного дерева поставить Константина Пекера, про которого Андлер говорит, что «ни один теоретик не стремился более Пекера отыскать условия, создающие целостного человека».

Одним словом, мы — в гораздо большей степени духовные дети наших социалистических праотцев, чем мы сами это обычно думаем. Гордые своей «научностью», мы часто забываем, чем мы обязаны им, на чью долю выпала участь быть смелыми пионерами и новаторами мысли. И мы часто забываем, что наша «научность» иногда является мнимой научностью, а порою вырождается в голый догматизм. Такой видный и во многих отношениях крупный провозвестник научного социализма, как Поль Лафарг, в припадке чисто ученического почтения к Марксу и Энгельсу, написал когда-то даже такие чудовищные строки: «Есть смелость, есть дерзновение уже в самой попытке коснуться совершенного двумя этими великанами мысли труда, хотя бы только для того, чтобы поставить его вне оспаривания; ибо социалистам обоих полушарий, быть может, вплоть до трансформации капиталистического общества в социалистическое, будет нечего больше делать, как только популяризировать содержащиеся в нем экономические и исторические теории» ( В «Deven'r Social», juillet 1895, p. 370).

Кто не хочет, чтобы вместо перехода утопического социализма в научный имел место просто переход его в социализм догматический, тот из всех слов Маркса должен лучше всего запомнить, продумать и прочувствовать вот какие слова: «Если вдумчивый читатель заметит в наших писаниях до известной степени самокритику, — это нас ни мало не смутит. Мы никогда не считали своего развития завершенным; мы всегда стремились учиться из данных текущей эпохи, фактических условий, из опыта живых людей. Мы и ныне убеждены, что застою не должно быть места, и что каждый, кто не хочет оказаться позади, должен идти вперед» (К. Marx u. F. Engels, «Arg's dem litterarischen Nachlass», В. II, s. 428).

Эти слова принадлежат юношеской поре марксизма, — эпохе свежести, новизны и подъема. Состарившийся марксизм одно время основательно утратил этот дух. Но если отдельные направления и школы в социализме могут знать смену эпох юности, зрелости и старости, то социализм, как таковой, в чередовании наследующих друг другу школ и теорий, все же должен представлять собою — пользуясь выражениями одной из юношеских статей Энгельса — «умственное движение, не останавливающееся ни на каких достигнутых результатах, но постоянно идущее дальше, — и практическую деятельность, не успокаивающуюся ни на какой завоеванной позиции, а постоянно стремящуюся к новым завоеваниям».

С тем же правом, с каким прошлое социализма характеризовалось, как

перерождение его из утопического в научный, — его настоящее и будущее может быть характеризовано, как перерождение его из научного в конструктивный или организационный.

Социализм перестает быть только теорией. Обстоятельства вынуждают его дебютировать в качестве социализма практического, прикладного. Предвидения науки из мысленных картин и образов должны и пытаются превратиться в осязательные картины конкретной действительности. Теоретически проведенные остовы, силуэты и геометрические фигуры должны облечься в плоть и кровь.

И — весьма знаменательно! Организационный социализм является лишним наглядным свидетельством того, что утопический и научный социализм с некоторой высшей точки зрения перестают быть противоположностями, не исключают более друг друга, но примиряются в высшем синтезе.

Первые «великие утописты» концентрировали всю силу своей мысли на создании стройной системы нового общества, — системы, которая была бы не только сухим, отвлеченным, схематическим понятием, — но ярким, конкретным, отчетливым до деталей жизненным представлением. Отсюда наклонность их к полубеллетристическому способу изложения, к картинности, пользующейся всевозможными условностями, начиная со сказочной страны, или с картины жизни на другой планете, и кончая пробуждением от летаргического сна «через сто лет» после наших дней. Слово «Утопия» получило у нас презрительный оттенок. Это не совсем справедливо. Ни в коем случае нельзя третировать, как нечто ни к чему не нужное, как пустое препровождение времени, то величайшее напряжение человеческого интеллекта, которым великие утописты пытались «*proceder par le grand ecart*», как выражался Фурье — стряхнуть с себя, с ума своего гнетущую власть неприглядной современности, всего этого обычного, привычного, — всего того, что окружает нас с колыбели и кажется таким стойким, незыблемым, естественным; напряжение, которым они, в противовес существующему режиму, создавали картину иного строя и иного быта, столь же и даже еще более цельного, стройного, согласованного во всех своих частях, и потому жизнеспособного. Слов нет, все эти попытки гениального провидения легко сбивались с дороги и запутывались в фантастике. Но это еще не свидетельствует против их сущности. Утопии — это были г и п о т е з ы социального будущего. Первые гипотезы всякого знания бывают неизбежно наивны и несостоятельны; однако, без гипотез никакое знание не знает движения вперед. Бесспорно, утопии неизбежно хромали в одном пункте: пытаясь определить социальный строй далекого будущего, они не могли заранее учесть одного из главных «слабых»: будущего состояния техники. Насколько ум человеческий к моменту зарождения нового строя сумеет проникнуть в тайны природы? Какие новые силы сумеет он открыть и обратить на служение человеческим потребностям? Какое развитие, соответственно этому, получают производительные силы? А, ведь, между тем, недаром сказано, что, как воинский строй, военная стратегия и военная подготовка зависят от характера военной техники, от развития орудий истребления, от качества вооружения — так точно и хозяйственный строй зависит от техники производства, от орудий труда, от средств и сил, ко-

торыми действуют в производственном процессе. Уже по одному этому ценность «утопий», как социальных гипотез, могла быть лишь условная, обставленная надлежащими оговорками. Не все «утописты» отдавали себе в этом достаточный отчет.

Научный социализм явился в значительной степени реакцией против социализма утопического. Всякая реакция, даже самая законная, в первое время обычно хватается через край. Он сразу и самым категорическим образом отклонил от себя задачу изображения картины будущего общества в его подробностях, в его деталях. Он довольствовался лишь установлением самых общих принципов его строения. Он оказался даже чрезмерно скуп на ответы о том, как будет организована в будущем обществе та или другая из социальных функций. Своею главною задачею он поставил исследование тенденций развития существующего хозяйственного строя и доказательство, что будущее общество явится неизбежным результатом дальнейшего развертывания этих тенденций. Утопический социализм и научный социализм, таким образом, сосредоточивали свое внимание на двух разных сторонах социальной проблемы. Но, как часто бывает, специализация и здесь обнаруживала тенденцию к превращению в исключительность, односторонность, однобокость. Социализм утопический возлагал слишком много упований на внутреннюю притягательность красочного образа нового строя — гармонического, лишенного внутренних противоречий и антагонизмов, вполне достойного нового «очеловеченного человечества». Он готов был обращаться одинаково ко всем людям, без различия общественных положений, без различия состояний, без различия классов и сословий. Все люди разумные существа, а социализм есть высшая разумность. С этой точки зрения почему бы высшим классам, как более просвещенным, не оказаться даже более доступными доводам разума, чем темной трудовой массе? Утопический социализм, как плод кабинетной мысли, легко сбивался на эту дорогу беспочвенного логизма, рационализма, интеллектуализма. Социальный стихийный «сенсуализм» масс был ему чужд. Неразрывно спаять именно с ним свои «конечные цели», понять силу объективной логики событий, которая заставляет темные массы выстрадать то, что измыслила другая логика, субъективная логика передовых людей эпохи, и вывести неизбежность воплощения этих конечных целей из общих условий жизни и развития масс — это была совершенно другая задача, разрешение которой означало уже переход в высшую фазу научного социализма. В свою очередь научный социализм на первых порах то и дело впадал в другую крайность, в другую односторонность, ярче всего выразившуюся в знаменитой фразе Карла Маркса: «Рабочий класс не имеет осуществить Никаких идеалов, он имеет только освободить те элементы нового общества, которые уже развились в недрах умирающего буржуазного общества». Боязнь утопий перешла здесь в идеалобоязнь, и привела к тому преувеличенному историческому сверхобъективизму, который, как две капли воды, смахивает на самый подлинный фатализм.

Сила научного социализма была в изучении объективной логики событий. Полагаясь на нее, научный социализм, особенно на первых порах, нередко, что называется, выплескивал вместе с водою из ванны и ребенка. Он считал

праздным делом разработку вопросов о функционировании важнейших учреждений будущего общества, ибо предполагалось, что грядущее развитие самого капитализма ответит на этот вопрос без нас, подготовив в собственных недрах тот механизм, который путем простой перемены социальной формы превратится в механизм социалистического общества. Фатализм и в этом случае (как с ним, впрочем, бывает почти всегда) приобретал окраску незаконного оптимизма: слишком многое должно было уладиться «само собою», выясниться и выкристаллизоваться помимо непосредственного социалистического творчества организованных масс, достаться им в готовом виде.

Организационный социализм должен был явиться проверкою на практике жизни и предсказаний, и предуказаний научного социализма. И чем более предчувствовалось историческое пришествие организационного социализма, чем явственнее стучался он в двери, — тем более насущным делом оказывалось отрешиться от прежнего индифферентизма в вопросе о структуре и способе организации основных функций социалистического *Zukunftsstaat'a*. Вопросы о производстве и распределении в будущем обществе, о централизации и децентрализации в социалистическом управлении хозяйством, о способе соподчинения производства с потреблением, о взаимоотношениях граждан, как организованных производителей, к совокупности своей, как организованных потребителей, наконец, вопрос о социализме, как о своеобразном правовом порядке, вопрос об юридической структуре будущего общества — все это встало в порядке дня. По идее это был возврат к проблемам утопического социализма, но возврат во всеоружии знаний, приобретенных в период на половину забывшегося об этих проблемах, временно абстрагировавшегося от них социализма научного. Но хотя социалистическая мысль и вступила на этот путь с некоторым запозданием, и несмотря на скорее запоздалый, чем преждевременный приход этого поворота мысли, не было недостатка в «умственных сиднях», недружелюбно относившихся ко всяким новшествам. Так «юридический социализм» Антона Менгера и некоторых писателей итальянской школы встретился частью с индифферентизмом и невниманием, частью с недоброжелательством и упорным непониманием хранителей ортодоксии. Так, кооперативное движение с его зародышами «организационного социализма» еще в рамках буржуазного строя, встретило на первых порах презрительное третирование со стороны хранителей догмы и было отдано под гласный надзор «ортодоксии» по подозрению в «мелкобуржуазном лавочничестве», только сбивающем с истинного пути рабочих. Так, синдикалисты, практикой жизни вплотную поставленные перед проблемами созидательного социализма, тщетно вопияли об односторонности политического, парламентского социализма, этого социализма красивых речей и бумажных резолюций, возвещая нарождение нового социализма, который они называли „*le socialisme des institutions*“, «социализмом учреждений». Все эти родовые потоги часто кончались выкидышами; новаторы часто на первых порах сами впадали в увлечения и односторонности; и жрецам ортодоксального социализма не всегда было очень трудно отделяться от них резким огульным отрицанием, без попыток превзойти их каким-то высшим синтезом.

События забежали вперед мысли, теоретическая разработка отстала от

событий.

И вот, когда мировая война вдруг обострила все процессы, пришпорила исторический ход развития, превратила медленный, органический ход развития в скачкообразный и сделала роды истории болезненными, а иногда и преждевременными, тотчас же сказалась эта незаконченность, неподготовленность социализма. Она разом выразилась в двух противоположных слабостях: с одной стороны — в растерянности перед сложностью и трудностью выдвинутых жизнью социализаторских задач, растерянности, связанной с кунктаторством, с бессильным, нервирующим взволнованные массы топтаньем на одном месте, — а с другой стороны в головоломном, безоглядном социально-экспериментаторском авантюризме, как будто забывающем, что все эти опыты производятся не над лабораторными кроликами или морскими свинками, а над живыми людьми, над целыми странами и народами. И в самом ходе этих опытов наблюдался какой-то нервический зигзаг-курс: было очевидно, что экспериментаторы сами не знали, что им делать с отдельными эмбрионами нового общества, созревшими в лоне старого. Так, кооперативы то пренебрежительно игнорировались, то вдруг одним росчерком пера «национализировались», бюрократизировались, и превращались в принудительные хозяйственные органы государства. Профессиональным организациям и фабрично-заводским комитетам то дарилась почти абсолютная, бесконтрольная власть над производством, — то их начисто устранили от дела и заменяли единоличной диктатурой инженеров и техников. Практика организационного социализма в тех странах, где власть всецело или главным образом переходила хотя бы на время в руки социалистических или коммунистических партий, — была лучшей проверкой, лучшим экзаменом зрелости социализма. Она-то и показала, что высший синтез утопического и научного социализма, социализм конструктивный, еще не вполне готов в мысли для того, чтобы легко и свободно претвориться в жизнь. Жизнь, пестрая и многосложная, дает самую лучшую критику всех односторонностей, всех пробелов мысли; на этот раз она и дала лучшие указания на односторонности и пробелы современного социализма, на все то, что делало социализм не столько научным, сколько догматическим.

То затруднительное положение, в котором оказался социализм, когда произошла революция, объясняется, однако, далеко не одним только эмбриональным состоянием нового «конструктивного социализма», как теории. Самые яркие критики кунктаторства традиционных рабочих и социалистических партий, сами того не замечая, вплотную задевают едва ли не самую главную причину, когда, подобно Карлу Эггофу, мимоходом упоминают вот о чем: когда власть выскользнула из рук дирижирующих классов и почти что была навязана историей в целом ряду стран рабочему классу, — «налицо не оказалось установленных Марксом необходимых предпосылок» (Доклад на специальной «конференции по социализации», 1919 г. в Берлине - см. сборник «Wege und Ziele der Sozialisierung»).

Здесь мы вплотную подходим к уже затронутому выше вопросу — о налете фаталистического оптимизма на господствующих (вернее, на недавно господствовавших) ортодоксальных теориях. Маркс и Энгельс учили нас тому, что

конец капиталистического режима и замена его режимом социально-трудовым воспоследует в результате гипертрофии творческих сил и народного богатства в рамках старого общества. Социалистический переворот представлялся детищем экономического полнокровия. Буржуазный строй должен был до такой степени развить производительные силы, что его узы должны были оказаться для них слишком тесными. Известная метафора говорила о производительных силах и плоде их — массе общественного богатства, как о «ядре», а о буржуазной системе собственности, присвоения и распределения богатства, как о социальной «оболочке», которая наконец «лопается» под напором разрастающегося «ядра». Момент падения буржуазного строя приурочивался к моменту наивысшего напряжения его творческих потенций, апогея его хозяйственных достижений, гипертрофии общественной производительности. Вот почему такой умеренный социалист, как Каутский, говорил, что первым делом социалистического правительства должен быть переход от 8-ми час. рабочего дня к 6-ти часовому, — а с 1919 года такие «крайние левые», как Ленин, дебютировали с возврата к сверхурочным работам и введения «субботников», вплоть даже до «первомайского субботника». И когда говорилось о пролетариате, как о могильщике и вместе наследнике капитализма, то предполагалось, что у него будет богатое, а не расстроенное в конце наследство, невольно вызывающее «насмешку горькую обманутого сына над промотавшимся отцом». История рассудила иначе. Она привела к родовым потугам социальной революции в ответ на ситуацию прямо противоположного характера. Капитализм совершил геростратовский подвиг: он зажег мировой военный пожар, он истощил в бесплодной растрате сил и средств все ресурсы воевавших стран, он расшатал все общественные устои, всюду дал перевес центробежным силам над центростремительными, разрушительным над творческими. Он в этом, быть может, предсмертном усилии, подобно утопающему, ухватился *цепко* за своего предполагаемого заместителя и потащил его с собою на дно. Да, своею болезнью он сумел заразить и пролетариат. Он увлек его в пучину мировой бойни, он отравил его ядом империалистического патриотизма и презрения к человеческой жизни, он внес в его среду огрубение и деморализацию. Господствующая школа научного социализма, чересчур неумеренно воспевавшая положительную «объективную историческую миссию» капитализма, видела в нем великого «собирателя» рабочих в крупных центрах, воспитателя их в трудовой дисциплине, помимовольного их организатора в широчайшем социальном масштабе. Немногие еретики, главным образом, революционные социалисты «русской школы» — одни в противовес этому настойчиво указывали на обратную сторону медали — на дезорганизаторскую и деморализующую роль капитализма, на создание им другой стихии, — не только не обобществленной, а, наоборот, распыленной, анархической, противопоставленной обществу, озлобленной, физически и духовно сиротской и выбитой из колеи стихии «охлоса» — капиталистически излишней резервной армии труда, вырождающейся в люмпенпролетариат, в пестрый винегрет деклассированных элементов всякого рода. Оптимистически настроенные доктринеры старой школы упорно недооценивали удельный вес этого общественного элемента, переоценивая удельный вес устойчивого, уравновешенного, классово-

сознательного квалифицированного пролетария. Жизнь ответила на этот оптимизм жестоким и устрашающим «откровением в огне и буре» послевоенных революционных судорог, когда классово-сознательный, квалифицированный пролетариат, захлестнутый мутной волной анархического брожения пролетарского и полупролетарского охлоса, растерялся, раскололся, частью цепляясь за ускользающую из-под ног привычную почву буржуазного строя, частью давая себя увлечь стихии и плывя «без руля и без ветрил» по течению, и лишь частью перенапрягая и надрывая свои силы в тщетных попытках сохранить позицию «между молотом и наковальней»...

Капитализм дал гораздо менее, чем этого ожидали, готовых элементов грядущего строя. Накопленные им богатства, поскольку они не «капитализировались» в виде средств будущего производства, — в своей вещественной форме оказались таковы, что использованию их для немедленного улучшения положения рабочих были положены крайне узкие пределы. Многие из этих богатств оказались просто ненужностями, и соответственные отрасли производства — подлежащими ликвидации, с неизбежным и непосредственным ущербом для занятых в них рабочих. Именно в момент социального переустройства больше всего дали себя почувствовать «противоречия» капитализма в оставленном им историческом наследстве. Правда, война прищипорила его в его попытках перейти от атомизированного частного капитализма к полуобобществленному, хотя и на частнопроводных началах, и государственно-регулируемому «социал-капитализму». Но в процессе этого своего перерождения он выработал настолько определенные, насквозь милитаристические, казарменно-бюрократические формы, что и здесь сумел обмануть многих из своих кандидатов в исторические наследники. Те, кто по инерции продолжали верить, что социальная революция будет, в сущности, лишь переменой формы концентрированного и обобществленного самим капитализмом производства, — те были обречены на воплощение в жизнь под видом социализма и даже коммунизма — поистине каторжного режима социальной аракчеевщины, с казарменной дисциплиной внизу и диктатурой военного типа наверху. Этим вырождением социализма мы обязаны его историческому предшественнику, вырождению капитализма. Самым ярким его образчиком является российский большевизм.

Но чем менее готового наследства получает социализм от капиталистического режима, тем большее значение получает самостоятельное, низовое коллективное творчество рабочих масс, тем более сложной, самостоятельной проблемой является проблема социалистического строительства, тем богаче внутренним содержанием высшая форма социализма — конструктивный, созидательный социализм.

Фаталистический оптимизм, налет которого чувствовался на старых формах «научного социализма», должен уступить место вовсе не такому же пессимизму, а творческому, бодрому оптимизму созидательного опыта.

Старый социализм, подходя к проблеме социализации, задавался прежде всего вопросом: готова ли, т. е. подготовлена ли самим капитализмом — та или другая отрасль промышленности для смены буржуазной формы организации на

социалистическую. Близость и легкость социалистического преобразования односторонне приравнивались к полноте капиталистической концентрации производства, его превращения в «естественную монополию» в руках какого-нибудь единого треста.

Для современного конструктивного социализма центр тяжести вопроса о «готовности» к социализму переносится из сферы технико-организационной в сферу культурно-психологическую. Капиталистическая концентрация, доводящая до апогея обычный буржуазный отрыв функции управления от функции труда, для современного социализма есть палка о двух концах. Устраняя одни, по преимуществу внешние, объективные трудности введения социализма, она рядом создает другие, внутренние, субъективные: так, она создает колоссальнейшую опасность бюрократизации, способной извратить самую сущность социалистического переустройства, вынув из него самую его душу.

Старый социализм спрашивал, готова ли данная отрасль производства для социалистического переустройства. Современный социализм спрашивает, как его приготовить. Старый социализм глядел на технико-организационную зрелость капиталистических форм крупной промышленности. Современный социализм еще больше глядит на культурно-организационную подготовленность к хозяйственному самоуправлению самих рабочих. Для того и другого различны были главные условия, при которых «все прочее приложится». Для одного суть была в том, что успел создать капитализм. Для другого она в том, насколько научились самостоятельному созиданию рабочие. Для одного — насколько «выварилась в фабричном котле» масса. Для другого — насколько она подвинулась и перевоспиталась в лаборатории собственных трудовых культурно-хозяйственных, кооперативных, синдикальных, и идейно-политических организаций, — в этих оазисах солидарности в пустыне капиталистической борьбы «всех против всех».

Горьким опытом приобрел социализм сознание, что все дело в демократической самодисциплине масс, которую они сами должны выработать, ибо никакой капитализм ее не сообщит рабочим в виде готового подарка. Капитализм знает лишь авторитарную дисциплину из-под палки, и потому его падение не может не сопровождаться тяжким кризисом трудовой дисциплины, усугубляемой тем, что массы ждут от социализма непосредственного, немедленного улучшения своего положения; а между тем социалистическая революция, как и все революции, означает собою социальное потрясение, гибельно отзывающееся на судьбах производства; и переступить к лучшему будущему приходится через нужду и лишения, требующие от рабочего терпения, выдержки и большого нравственного закала. «Готовым» должен быть прежде всего сам человек. «Тут Гегель, тут книжная мудрость, тут смысл философии всей».

Проблема конструктивного социализма есть великая культурно-историческая проблема воспитания личности для социализма. Как рядовой трудовой личности, так в особенности и личности ответственного организатора социалистического производства.

Уже в современной капиталистической промышленности, живущей своей повседневной жизнью, в привычной колее буржуазного порядка, огромна роль

выдающихся организаторов. Даже в отдельном фабричном предприятии, если оно в полном смысле этого слова, «современное» предприятие, у фактического главы всего дела (а им может быть и не собственник, а управляющий, директор, инженер), должно быть налицо глубокое понимание всех условий процветания сложного предприятия и дар комбинирования их: необходимо следить за последним словом техники, необходимо само предприятие до известной степени превратить в практическую лабораторию новых опытов, необходимо глубокое знание рыночной конъюнктуры, при экспорте нужно уметь понимать и предвидеть изменение валютных соотношений, необходимо, наконец, уметь подбирать сотрудников, оценивать способности каждого и находить для него соответствующую «полочку». Когда от организации отдельного предприятия мы переходим к организации целого треста, все трудности и сложность дела соответственно возрастают и требуют уже совершенно из ряда вон выходящих талантов. Мы не говорим уже о предприятиях исключительного общегосударственного значения, вроде напр., грандиозного плана мелиорации, или, тем более, о предприятиях значения мирового, на подобие, хотя бы, сооружения Панамского канала. И в современном обществе ценятся на вес золота люди выдающихся технико-организационных способностей. В количестве таких «полководцев индустрии» и подчиненных им субалтерн-офицеров, в среднем уровне их развития и подготовки — в значительной степени выражается хозяйственный гений нации. Капитализм все еще существует и поныне не потому, что в рабочем классе недостаточно накопилось ненависти к нему или не хватает физической силы и смелости для сокрушительного проявления этой ненависти, а потому, что главы предприятий, капиталисты и ассимилируемые их средой технико-организационные таланты «спецов» все еще составляют незаменимый элемент в процветании национального производства.

Проблема практической осуществимости социализма включает в себя, как один из самых важных элементов, проблему ассимилирования социализмом работников экстра квалифицированного труда, труда научных специалистов, техников, организаторов, изобретателей, творцов и «строителей» всякого рода. Капитализм «ассимилировал» их очень просто: он расценивал их услуги звонкой монетой, соответственно способностям, возбуждая их соревнование золотой ставкой в конце «бега взапуски». Исключительные же таланты в этой области он «втягивал в себя» совершенно, превращая талантливых инженеров, архитекторов и т. п. в равных себе капиталистов. На этом поприще социализм с капитализмом тягаться не может, — «перекупить» их у капитализма невозможно. А между тем, для социализма «спецы» исключительных, творческих способностей еще более необходимы, чем для капитализма. Ибо перестановка всего производства с капиталистических рельс на социалистические сама по себе есть огромная строительная, творческая задача. Если теоретическая разработка социализма требовала по преимуществу людей отвлеченной мысли, аналитиков, научных провидцев, то переход социализма из фазы научной в фазу конструктивного социализма требует инженеров и архитекторов здания будущего, требует техников и практиков — и не только одиночек, стоящих головой выше других, но и подчиненной им целой фаланги таких же техников и практиков хо-

зяйственного и общественного строительства. Социализм доселе организовал лишь работников физического труда, был теоретическим осознанием их исторической миссии и осмысливал для них весь жизненный путь. Аналогичной роли для работников умственного труда, для трудовой интеллигенции, он не играл. Но он должен эту роль сыграть, если хочет оказаться на высоте своих конструктивных задач. Он должен отвоевать у капитализма «мозг нации». Доселе социализм, занимаясь проблемами физического труда, обострял материализм своей социальной философии, порою как бы кокетничая своим презрением к «идеологиям», выдвигая всюду Magenfrage — пищевой вопрос — вопрос о трагедии мускульной энергии организма и ее уравнивании притоком питательных веществ. При завоевании работников умственного труда социализм, не переставая быть хозяйственной арифметикой, должен в гораздо большей степени, чем раньше, заниматься всякими «надстройками» над хозяйственным фундаментом, познавая и признавая их особенную природу, их автономное существование и самоценность. Идеалистическая сторона социализма, его содержание, как новой культурной философии, как новой, высшей ступени в области морали — та сторона, которой, со времен Герцена, Михайловского и Лаврова, так много занималась, т. н. русская социологическая школа — должна получить свое развитие, превратив таким образом социализм из односторонне-материалистического в синтетический и интегральный.

Но подойти к интеллигенции со стороны ее духовных потребностей, взглянуть на нее, как на высший психический тип, коверкаемый развращающим влиянием буржуазной среды, обратиться к ней с глубоко-идеалистической проповедью, раскрывающей непримиримый антагонизм сущности творческого духа с грязным материализмом буржуазной культуры — старый социализм умел далеко не всегда. Часто он сам отбрасывал интеллигенцию к буржуазии и отбрасывал искусственно. В полемике с Бернштейном даже такой умница, как покойный Август Бебель, счел возможным «перепрыгнуть» через вопрос о том, откуда социализму взять «строителей будущего», самым упрощенным приемом. Имеют же — рассуждал он — капиталисты к своим услугам за плату лучших в своем роде специалистов всех отраслей дела. Дадим им соответственную плату мы — и они так же будут работать на нас. Даже более того: иные из бывших хозяев, увидев, что к старому возврата нет, поупрямившись немного, согласятся применять свои способности на старом поприще в интересах всего общества...

Как будто речь идет не больше, как о чисто технической стороне организации предприятия, которая одна и та же, работает ли индивидуальный предприниматель, или трест, или государственное «казенное» управление, или кооператив, или социалистическая ассоциация. Как будто самый социальный тип всего хозяйства не должен радикально измениться, как будто при капитализме действующий аппарат спроса, предложения, обычной нормы прибыли — все, чем обуславливается калькуляция цен — не должен совершенно отпасть, уступить место каким-то совершенно новым методам расчета; как будто все существо строительной задачи — создания индустриальной демократии, фабричной республики — не является задачей, лежащей в совершенно особой, иной плос-

кости сравнительно с учреждениями обычных предприятий капиталистического типа, чья жизнь идет по проторенной колее частного хозяйства. И как будто созидательная работа в этой области возможна без веры в социализм, на простейшей основе достаточного «казенного жалованья»!

Никаким «жалованьем» организационных сил для социалистической реорганизации народного хозяйства не купить. Во всяком классе то, что можно купить, что, следовательно, продажно – есть его отбросы. За жалованье пойдут с пролетариатом «строить социализм» только моральные люмпены из интеллигенции и буржуазии. А эти элементы способны только портить дело — и не потому лишь, что они его будут исподтишка намеренно саботировать, но и потому, что, даже не желая ничего саботировать, они неизбежно внесут в него присущую им моральную гниль.

Нет, не таким путем социализм приобретет нужную ему интеллигенцию. Он должен завоевать ее духовно и морально. А для этого социализм, во-первых, в самом себе должен развить, не скупясь, все свое высшие идеологические потенции. А, во-вторых, он должен понять интеллигенцию, отрешившись от трафаретных предубеждений против нее, от всех тех ходячих формул, которыми примитивные схемы несозревшего социализма отмахивались от этого «усложняющего» фактора.

Интеллигенция, как идеологическая категория, характеризуется преобладанием в ее труде творческого начала, а творческое начало предполагает резко выраженную творческую индивидуальность и полную свободу ее выявления. Только правильная социологическая оценка роли интеллигенции в эпоху, когда человечество из игрушки своих собственных общественных отношений попробует стать их господином, вместе с выяснением для интеллигенции ее великой исторической миссии, может привлечь работника мысли, интеллигента равноправным сочленом в тот тройственный союз, в котором двумя другими сочленами будут работник сохи и работник фабричного станка. «Серп» и «молот» должны третьим равноценным собратом иметь «книгу».

Утопический социализм был кабинетным плодом конструктивной интеллигентской мысли, которая оторвалась от действительности, не имела в ней точки опоры и сама себе довлела.

В лице научного социализма, не удержавшегося от впадения и перерождения в догматический, эта мысль, связавшаяся, наконец, с почвенным стремлением широких трудовых масс, прилепилась к ним со страстностью, граничившей с самозабвением. «Научный социалист», сам того не замечая, был своего рода «самоотвергающимся» или «кающимся интеллигентом», проникнутым насквозь самым утрированным пренебрежением ко всяким «идеологическим надстройкам» во имя единственно-реального и надежного «материально-экономического фундамента».

Отрицательные результаты этого нового увлечения не замедлили сказаться. Оно привело к искусственному «прозаизму» всего мирозерцания, к упрощению, затемнению и омещанию социалистического идеала.

«Духовной жаждою томим», передовой слой интеллигенции ответил на это созданием своеобразного «эстетического социализма» Рескина и Вильяма

Морриса, как бы возвращавшегося через голову научного социализма к социализму утопическому. И этот «эстетический социализм» не остался без влияния на многих современных социалистов: и на Шоу, и на Уэльса, и на Жореса, и на Вандервельде, и на многих «гильдейцев». Здесь — знамение времени.

В юношеские годы Маркс избрал своим девизом слова: «Bündniss der Denkenden und Leidenden». В утопизме первые отрывались от вторых, в «научном» догматизме — совершенно ступшеывались перед вторым.

С конструктивным социализмом вступает в силу высшее примирение, синтез обоих этих начал.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### Очередные проблемы конструктивного социализма

С переходом социализма в «конструктивную» фазу, не только иначе решаются многие из коренных вопросов социализма: еще существеннее то, что они и ставятся иначе.

Возьмем, для примера, вопрос о профессиональной и кооперативной организации трудящихся. Старый социализм взвешивал их значение преимущественно для текущей борьбы рабочего класса за свои интересы в рамках буржуазного строя. Когда он обращал свои взоры в будущее и оценивал роль этих организаций с такой более возвышенной точки зрения, то по большей части он ограничивался признанием их воспитательной роли, как школы самодеятельности, самоуправления, как своеобразной формы демократической рабочей ответственности.

Для конструктивного социализма этого недостаточно. Необходимо выяснить себе совершенно отчетливо еще два вопроса. Это, во-первых, сохранятся ли особые организации граждан по профессиональному и по потребительскому признаку в будущем обществе, и если да, то как они видоизменятся и на каких основаниях вступят в это будущее общество. Это, во-вторых, вопрос о том, какую роль будут обе эти организации играть в переходный период, в эпоху перестановки народного хозяйства с буржуазно-капиталистических рельс на рельсы социалистические.

Только для «симплицистов» в области социалистического мышления эти вопросы могут считаться упраздненными, так как, дескать, в социалистическом обществе всякий потребитель будет вместе с тем и производителем, антагонизм производства и потребления исчезнет, а вместе с тем профессионально-организованные и кооперированные трудящиеся растают, растворятся в великом однородном море социалистических граждан.

Производство и потребление, в известных пределах, при всех формах общественного хозяйства остаются антагонистичными, как, в известном смысле, всегда антагонистичны человеческое «сегодня» и человеческое «завтра». Всегда будет очень серьезным хозяйственным вопросом, какую меру труда

можно затратить на непосредственное удовлетворение тех или других потребностей дня, и какую меру труда необходимо оторвать от него для обеспечения завтрашних потребностей, употребив не на потребительные, а на производительные цели. Со всем национальным доходом здесь происходит то же, что с урожаем крестьянина, который не может быть весь «съеден», но часть должна быть оставлена на семена, — или с приплодом скота, из которого лишь часть может быть пущена «на убой», часть же оставлена «на племя». Часть национального дохода должна быть капитализирована, оторвана от прямого потребления и отдана производительному потреблению. Но здесь вопрос о рациональной пропорции этого разделения дохода на две части неизмеримо сложнее. В частности, вся сложность этого вопроса неминуемо всплывает при первом приступе к социальной революции, когда приходят в конфликт два равно законных стремления: желание немедленно в максимальной степени улучшить положение масс и этим вознаградить их за жертвы, принесенные в борьбе во имя социализма; и боязнь за судьбы будущих поколений, боязнь за то, как бы это улучшение не произошло за счет уменьшения основного капитала страны, как бы не приостановилось накопление ее производительных ресурсов; ибо рост населения и рост его потребностей повелительно требуют, чтобы капитализация национального дохода в целях будущего производства происходила не только в прежних, но и во все увеличивающихся размерах.

Пусть в социалистическом обществе всякий потребитель будет в то же время и производитель. Но, как потребитель, он заинтересован в качестве и количестве всех многообразных, производимых в обществе потребительных благ; как производитель же он, в силу закона разделения труда, специально заинтересован в организации трудового процесса одной преимущественно ветви народного хозяйства. В качестве потребителя он заинтересован преимущественно в максимуме выработки; в качестве производителя он заинтересован столь же преимущественно в максимуме легкости труда. В первом случае его интересует линия наибольшего результата, во втором — линия наименьшего сопротивления. Вот почему те же люди в жизни параллельно являющиеся и потребителями, и производителями, — взятые в разных сочетаниях, в разном комбинировании социальных атомов в социальные химические соединения, — обнаруживают разные тенденции. Конструктивные, организационные задачи социализма и заключаются в том, чтобы наилучше использовать сильные стороны всех этих комбинаций, нейтрализовав их слабые стороны.

Односторонен был государственный, «этатистский» социализм, помышлявший сорганизовать всю сферу народного хозяйства путем декретов и проводящий их на практике при посредстве государственно-централизованной администрации. Столь же мыслимы две других противоположных односторонности. Одна из них нашла свое воплощение в анархо-синдикализме. Подобно тому, как «этатисты» превращали всю социализацию в сплошную квазисоциалистическую бюрократизацию, — эти новые примитивисты социального конструкторства мечтали об универсальной синдикализации. Единospасающее средство — это профессиональные союзы и различные их объединения, начиная с местных и кончая центральным «союзом союзов». Они — готовый скелет

будущего государства и общества. Их тактика должна быть проста. Они должны разрастаться вширь и в глубь, увеличивать свои функции, обрастать всевозможными культурными предприятиями и учреждениями. От муниципалитетов, от департаментских самоуправлений, от государства к ним должно переходить все больше и больше положительных, общественно-полезных функций. Предел этого процесса — превращение всего государства, начиная от его центра до всех местных разветвлений — в пустую скорлупу от выеденного яйца. Когда достижение этого предела будет уже близко, — останется лишь раздавить и выбросить за борт ненужную скорлупу. Синдикальная организация — эмбрион будущего общества. Она не нуждается ни в каких «дополнениях», она сама себе довлеет, и ее «саморазвертыванием» разрешаются все вопросы строительства будущего.

Но этому самодовлеющему «синдикальному максимализму» немедленно противостоит такой же самодовлеющий кооперативный максимализм. Нет, не синдикату, а кооперации принадлежит новая хозяйственно-созидающая роль — говорят его провозвестники. Синдикат есть по преимуществу защитно-боевой орган пролетариата, кооперация же — позитивно-творческий, хозяйственно-организующий. Кроме того, кооперации чужда профессиональная замкнутость и исключительность: кооперация открыта для всех. Наконец, в чем отличительная особенность социалистического общества сравнительно с капиталистическим? В том, что производство страны организуется им по единому плану, в соответствии с предварительным учетом и расценкой общественных потребностей. А в чем особенность современного кооперативного движения? В том, что в центре его стоит потребительная кооперация, а уже вокруг нее, на основе представляемого ею спроса, на основе обеспечиваемого ею сбыта, организуется кооперативное производство. Эта сложная система, с центральным светилом — потребительной кооперацией, и спутниками — работающими на нее кооперативными мастерскими, есть, действительно, настоящий эмбрион будущей «индустриальной демократии», превращающийся в нее путем органического втягивания в себя всего населения и распространения кооперативной организации на все отрасли дела. И утописты кооперативного максимализма доходят иногда до веры в то, что кооперация простой конкуренцией постепенно вытеснит капитализм из его позиций, и, заняв его место, введет нас в государство будущего незаметно, и даже — если капиталисты не вздумают попытаться помешать этому естественному процессу силой — совершенно безболезненным, мирным путем...

Взаимопротивопоставление трех этих максимализмов — государственного, синдикального и кооперативного — было вместе с тем и их взаимоограничением. Явилась потребность размежевания и согласования. Вступил в свои права организационный синтез — основной метод, которым приходится работать конструктивному социализму.

Как только задачи синтеза были поставлены, первые основные начала разделения труда между государством, синдикатами и кооперативами наметились сами собой. Трудно было спорить, что внутренние распорядки предприятия, общая обстановка трудового процесса и его внутренняя конституция яв-

ляются естественной и ближайшей сферой компетенции синдиката. Столь же естественно контроль за количеством и качеством вырабатываемых продуктов, вместе с вопросами распределения и снабжения, отходили в сферу ближайшего ведения кооперативного аппарата. И, наконец, обобщающая роль, и вместе посредническая — во всех точках соприкосновения, а тем более антагонизма между организованным производством и организованным потреблением, — отходит к государству. Государство, кооперация и синдикат ведут дело совместно, создавая высшие органы на началах равенства, т. е. на паритетных началах.

Однако, из этого сотрудничества вытекают новые вопросы. Государство и его органы суть принудительные союзы, универсальные по своему охвату. Кооперация и синдикат суть союзы добровольные. То — публично-правовой институт, это — частноправовые объединения. Чтобы поставить их на равную ногу, надо либо кооперацию и синдикат возвысить в ранг государственного установления, либо государство умалить в его правах, как носителя абсолютного суверенитета.

Идти первым путем — это значит национализировать, точнее — «огосударствить» кооперацию и синдикат; включить принудительно в первую — всех граждан данного района, во второй — всех рабочих данной профессии. Идти вторым путем — значит сознательно допустить начало добровольности и в область социальной организации, значит сблизить государственность с общественностью. Государство перестает быть при этом идолом, фетишем, носителем какого-то мистического, абсолютного «суверенитета», в качестве такового — недостижимо возвышающимся над обычными гражданскими учреждениями. Государство становится просто одним из видов объединения человеческой деятельности ради общих нужд среди других видов объединений: в лучшем случае «первым среди равных». На первый взгляд такое «умаление» государства кажется еретическим. На деле же оно тесно связано со всею совокупностью социалистической идеологии и логически неизбежно ею обуславливается. Чтобы понять это, достаточно вспомнить взгляды первоучителей научного социализма на право и государство.

Маркс и Энгельс, отмежевываясь от анархистов, никогда не забывали подчеркивать, что социализм и анархизм различаются вовсе не принципиальным отношением к началу «принудительности» в общественной организации. Дело обстоит не так, что анархисты воплощенное в государстве «принудительное начало» отрицают, а социалисты — признают, защищают и оправдывают. Дело обстоит не так, что анархисты борются за «добровольность» общественного союза, а социалисты отвергают ее. Нет, и для социалистов перспективы грядущего состоят в постепенном изживании, в последовательном исключении из общественного союза элементов насилия, принудительности, внешней дисциплины, в замене их сознательной, добровольной, внутренней самодисциплиной. Будущее принадлежит и для социалистов договорному соглашению вместо властного принуждения. Теория «общественного договора», как основы социального бытия, воскресает здесь в новом виде: ошибка Руссо состоит в том, что он относил его к прошлому, тогда как его царством является грядущее.

Маркс и Энгельс отмежевывались от анархистов не в принципиальной

оценке «государственности», со всеми ее неизбежными аксессуарами: армией, полицией, судом, тюрьмами, административным «начальством» и его властными «указами» и «распоряжениями». Все это, по их мнению, лишь неизбежное зло, — неизбежное на известной стадии развития общественности, когда сама эта общественность является лишь слабым смягчением и маскировкой зоологической эпохи бытия человеческого рода; когда *bellum omnium contra omnes* борьба всех против всех, животная борьба за существование лишь слегка видоизменяется в борьбу за привилегированное положение, за преобладание, за долю в национальном доходе — словом, в борьбу сословную и классовую. Чтобы эта междоусобная борьба не разорвала общества на части, не разрушила самого бытия общественного коллектива, необходима какая-то высящаяся над классами государственная власть, железными обручами сбивающая стремящиеся раскочиться, распасться части нации. И этим отдельным частям приходится ко всем прочим видам своей, урегулированной внешними юридическими нормами, борьбы, прибавить лишь борьбу за меру влияния на эту государственную власть, принципиально занимающую надклассовое положение, в качестве выразительницы «интересов целого».

Так оценивая историческую роль государственности, Маркс и Энгельс естественно полагали, что роль ее будет сыграна, когда уничтожатся разъедающие современную общественность социальные антагонизмы. Но отсюда же вытекало и разногласие их с анархистами. Анархисты ставят себе задачей разрушение государства. Для Маркса и Энгельса государственность осуждена не на разрушение в эпоху перед эмансипацией трудящегося и эксплуатируемого класса и ради нее, а на отмирание, на атрофирование после этой эмансипации и вследствие ее. Переходный момент, момент победы труда над эксплуатацией, будет связан тоже с применением организованного принуждения; только им, как могучим орудием, на этот раз трудящееся большинство воспользуется против всяких мятежных попыток нетрудового, эксплуатирующего меньшинства. И вот, отслужив эту последнюю службу, принудительное начало в общественной жизни будет превращаться постепенно в ненужность. По мере того, как общество будет окончательно входить в новую колею гармонизированного или «солидаризированного» общежития; по мере того, как и людская психика, в соответствии с новыми условиями жизни, станет все более и более отрешаться от пережитков эгоистически-бесчеловечной морали, выражаемой формулой: *homo homini lupus est*, человек человеку — волк, — по мере этого будет все реже и реже встречаться надобность в том, чтобы принудительно втискивать личность в эту нормальную жизненную колею. А, стало быть, будет соответственно сокращаться и предназначенная для этого организация, живое воплощение осуществляющих принуждение сил и средств (армия, полиция, тюрьмы, суд и т. п.).

Совершенно ясно, что при такой постановке вопроса практически несущественно, настанет ли когда-нибудь в действительности такой момент, когда общество станет абсолютно добровольным соединением, и «государственность» выветрится из него без всякого остатка. Можно, подобно Менгеру, думать, что состояние полного «безвластия», абсолютной анархии является не бо-

лее, как «предельным понятием», к которому можно лишь бесконечно приближаться, никогда его не достигая — подобно тому, как бесконечно приближается к кругу, никогда не совпадая с ним, вписанный многоугольник с последовательно увеличиваемым числом сторон. Все наши идеалы суть «предельные понятия», и потому «неосуществимость» не может быть возражением против идеала там и тогда, когда она относится лишь к «абсолютной» чистоте, полноте и законченности его осуществления. Для человека, живущего в мире всеобщей относительности, достаточно отсутствия твердой преграды на пути ко все большей и большей замене моральной связью — связи предписанной, замене добровольной самодисциплиной — дисциплины из-под палки, замене свободой — принуждения.

Итак, уже для Маркса и Энгельса государство было обречено на «отмирание». Но это «отмирание» в их книгах встречается лишь как слово, лишь как абстрактная формула. Конструктивный социализм этим довольствоваться не может, он должен по указанному Марксом и Энгельсом пути пойти вперед, в поисках конкретных форм, которыми начинается «отмирание». И вот, реальным и вполне практическим первым шагом по пути к «отмиранию» принудительной государственности является тот удар по понятию абсолютной суверенности государства, которым является ограничение компетенции последнего в пользу форм трудовой общественности: в пользу синдикальной и кооперативной организации рабочих масс. Когда между ними происходит размежевание компетенции, когда на долю государства *по* отношению к формам трудовой общественности выпадает лишь роль «первого среди равных», то это и есть первый шаг к «обезгосударствлению государства».

Это «обезгосударствление» диктуется логикой вещей. Третьего пути нет. Или надо идти к обезгосударствлению государства, или к огосударствлению профессиональных союзов и коопераций: принудительно синдицировать всех рабочих, принудительно кооперировать всех потребителей. Последний путь уже был испробован русским большевизмом, и результат налицо: социализм, из которого вынули самую душу, свободу, превратился в безжизненный труп, в коммунистическую каторгу.

Государство, однако, не может взять на одного себя, т. е. на свой административный аппарат, всего дела социального преобразования. Государство не может не привлечь к участию в этой работе таких могучих экономических организаций труда, как синдикаты рабочих и кооперация. Оно не может не признать их краеугольными камнями, на которых приходится созидать храм будущего. Однако, облечь публично-правовыми функциями и прерогативами частноправовые по происхождению своему союзы — это значит сознательно снять твердые межевые знаки, в буржуазном праве отделяющие сферу публичного права от частного. Раз в организацию будущего общества вводится принцип равноправия, в известных отношениях, добровольных объединений с принудительными, форм свободной трудовой общественности с государственными органами, — это означает, что в человеческом общежитии впервые приобрело право гражданства и анархическое по существу своему начало. Ибо свободный, добровольный общественный союз есть не что иное, как прототип социального

«безвластничества». Когда он приравнивается к государству, — тогда в системе принудительной организации общежития пробивается первая крупная брешь.

Различию между кооперативизмом и синдикализмом соответствует различие двух методов социализации, носителями которой они естественно являются.

Синдикализму соответствует дифференцирующий метод. Кооперативизму — интегрирующий.

Синдикализм стремится овладеть порознь целыми ветвями, целыми отраслями производства. Синдикат представляет собою профессионально-производственное объединение. Расчленение синдикатов должно соответствовать расчленению народного хозяйства на отрасли промышленности. Каждый синдикат должен вступить в заведывание соответствующую отдельную отраслью. Момент овладения этим заведыванием может быть для разных отраслей различен: для одних он может наступить раньше, для других — позже. Таким образом, и здесь мыслима постепенность, и тут возможны «этапы». Но каждый социализаторский акт при этом происходит в широком, национальном масштабе, постепенность заключается в том, что не все сразу, но одна за другою переходят в руки рабочих отдельные, дифференцированные отрасли производства. Не то — хотя бы в муниципализации. Там обобществление может захватить сразу довольно много областей, но в узких локальных рамках. Кооператизм в этом отношении ближе к муниципальному социализму, чем к синдикализму. Кооператизм по существу своему также «локален». Вокруг одного центра (потребительской ассоциации) он старается сгруппировать разнородные, — работающие для него, под его руководством, по его «заказам» — предприятия. Кооператизм разрастается во все стороны из одного центра, подобно кусту. Синдикализм же обобществляет народное хозяйство, как бы разрезая его продольно, соответственно качественной стороне продукции. Кооператизм делит народное хозяйство поперечно, локально объединяя в одно целое разнокачественные предприятия, друг на друга опирающиеся, друг друга дополняющие и обслуживающие. Кооператизм их интегрирует, на началах некоторой внутренней организационной связи и гармонии. Кооперативный «куст» имеет тенденцию развиваться в сторону единого сложного самодовлеющего, самопотребительского хозяйства. Синдикализм, напротив, противопоставляет целому специализированные группы. Конечно, и синдикализм не сможет обойти вопроса о связи и гармонии в деятельности различных, вставших во главе производства, синдикатов; но для синдикализма этот вопрос стоит в самом конце пути, а не в начале его. Когда ряд основных, главных отраслей производства перейдет в руки соответствующих синдикатов, этим последним придется упорядочить взаимные отношения, договориться, приспособиться друг к другу. Тогда встанет во весь рост вопрос о «едином хозяйственном плане» и о «смычке» между обобществленными отраслями народного хозяйства; вопрос этот возникнет сразу в огромном, общенациональном масштабе, в суммированном виде. Кооператизм, напротив, может пробовать и пробует различные сочетания трудовых форм, их «унификацию», сначала в каком угодно малом масштабе, в узких пределах какой-нибудь не очень большой, но весьма сложной «кооперативной республи-

ки».

Советская Россия в эпоху так называемого «главкизма» клала в основу своих национализации продольный, дифференцирующий метод. Поэтому для нее лишь в конце этого процесса, как вывод из него, встала проблема «единого хозяйственного плана». После неудачи в ее разрешении, с санкции государства произошел распад «главков» на отдельные «государственно-капиталистические тресты» и «комбинаты». Что касается до этих убудочных образований, то в их создании были допущены любые методы: трестированье шло то продольное, то поперечное, то продольно-поперечное.

«Комбинаты» часто бывали задуманы в том расчете, чтобы учесть взаимную естественно-техническую связь между отдельными отраслями производства, причем продукты одной отрасли являются или сырым материалом, или орудием производства для другой. Получалось комбинирование разнородных предприятий, в процессе производства связанных друг с другом. В известном смысле, именно по характеру стоявших перед ними организационных задач, они представляли собою высшее, более сложное целое, чем простая группа одинаковых предприятий, с механической централизацией заведывания ими. Конструктивно «комбинаты» Суть — высшие формы сравнительно с качественно-однородными трестовидными объединениями: им частично приходится иметь дело с проблемой, разрешение которой будет «увенчанием здания» социализации: планомерного соподчинения отдельных отраслей, как частей единого сложного хозяйственного целого.

Подобно этому конструктивно-высшею формой сравнительно с обособленными кооперациями — потребительскими, кредитными, закупочными, мелiorативными, по сбыту, по переработке и т. п. — является так называемая интегральная кооперация, сливающая то на первичной, то на высших стадиях кооперативного объединения разнородные кооперативы в сложное целое, — эти, так сказать, кооперативные «комбинаты». В них больше предвосхищения будущего, ибо социализированное хозяйство до тех пор не может стать вполне социалистическим, пока оно не превратится в единый упорядоченный универсальный «комбинат».

Из всех делений народного хозяйства на разные ветви и отрасли, два имеют наиболее существенное принципиальное значение для конструктивного социализма. Первое — это деление народного хозяйства на производство предметов непосредственного потребления и на производство средств производства. Нарушение равновесия между ними грозит самыми губительными последствиями. Производство средств производства является как бы восстановлением хозяйственной мускулатуры страны. В нем — гарантия всего хозяйственного будущего. Если производство средств производства начинает отставать от производства непосредственных потребительских благ, то это свидетельствует об опасной, близорукой и застойной тенденции во всем хозяйстве. Усиленное производство средств производства, конечно, отрывает значительную часть ресурсов страны от непосредственного потребления, от широкого удовлетворения наличных человеческих потребностей. Но оно означает накопление той мощи, которая одна своим безостановочным ростом гарантирует прочность, длитель-

ность и дальнейший рост «улучшения быта» и «удовлетворенности» жаждущей лучшего бытия трудовой массы. Перед социалистическим обществом здесь станет та же самая трудность, которая частично стоит и перед синдикатами, и перед кооперативами. Приучить рабочих к росту взносов и синдикальную кассу есть дело первостепенной важности: ничто не бывает так самоубийственно для синдикального движения, как «получательская» психология той части рабочих, которая весьма настойчиво требует от своих организаций помощи во время стачек и безработицы, но ворчит на всякий рост синдикального обложения. В потребительной кооперации — то же противоречие между желанием среднего обывателя удешевить товары на всю разницу между рыночной ценой и себестоимостью, и тенденцией убежденных кооперативистов — составлять из нее растущий кооперативный капитал. В деле социалистического переустройства не менее важно избежать дешевой демагогии, создающей в рабочих массах «получательскую» психологию, ждущую от социализма немедленных чудес в смысле улучшения потребительного уровня и ослабления трудового режима масс безотносительно к будущим судьбам социалистического хозяйства и социалистического накопления. Этот демагогический социализм соблазнительных посулов, социализм разжигания «немедленных» требований есть худший враг конструктивного социализма и прямая его противоположность. Демагогический социализм ведет прямым путем к превращению социалистического строительства в воздвижение эфемерных карточных домиков всеобщего «немедленного» благополучия, за счет простого проедания запасов, унаследованных от капиталистического общества, и за счет истребления накопивавшегося веками основного капитала страны.

Другим необычайной важности различием является различие промышленности добывающей и обрабатывающей, индустрии и сельского хозяйства, находящее свое яркое отражение в противоречии между городом и деревней.

Проблемой конструктивного социализма является преодоление этого противоречия, этого антагонизма, порожденного и оставляемого нам в наследство капиталистическим режимом.

Капиталистический режим есть прежде всего режим индустриальный. В нем город главенствует над деревней, обрабатывающая промышленность — над добывающей. Индустрия — вот где царство капитала. Тут он разворачивает все свои творческие потенции, с лихорадочной быстротой развивая формы производства, концентрируя и централизируя их, революционизируя производительные силы, гигантски преображая хозяйственную мощь человека.

Деревня остается сравнительно неподвижной базой всей этой огромной капиталистической надстройки. Она не столько подвергается перерождению в капиталистическом духе внутри — такое перерождение встречается лишь частично. И перед ним не открывается большого будущего — сколько подвергается эксплуатации капиталистическим миром извне. И эта эксплуатация принимает вид усиления власти города над деревней.

Когда-то доктринальный социализм рассматривал эту капиталистическую отсталость деревни, как явление временное. Он ждал, что земледелие, что сельское хозяйство — лишь с некоторым опозданием — сделает ту же кривую

развития, которую раньше его успели проделать высшие отрасли индустрии. Марксизм, в своей ортодоксальной форме, не уставал предсказывать, что вот-вот деревня переживет процесс радикальной капиталистической концентрации производства и пролетаризации земледельческого населения; вот-вот сельскохозяйственный пролетариат будет в деревне так же собран в большие массы, вышколен, «выварен в фабричном котле» зерновыми фабриками нового типа, и чисто-пролетарское движение города, дополненное таким же чисто-пролетарским движением деревни, охватит огромное большинство населения и тем обеспечит победу социализма.

Но время шло, а прогнозы догматического социализма не оправдывались. Сельскохозяйственный капитализм оказался мало жизнеспособным детищем истории. Слишком часто даже там, где его первые блестящие дебюты, казалось, давали повод к самым смелым надеждам и ожиданиям, он останавливался на точке замерзания или даже шел назад — отцветал, не успевши расцвести. Мелкое трудовое хозяйство оказывалось необыкновенно стойким, жизненным, «огнеупорным», и успевало не только отстоять свои позиции, но даже и раздвинуть их за счет крупно-землевладельческих форм, завещанных докапиталистической эпохой.

Даже марксизм устал, наконец, ждать, когда же эволюция земледелия пойдет по старым, торным, хорошо знакомым тропинкам индустриальной эволюции, когда в деревне восторжествует «единый шаблон» развития. Пришлось признать особый характер, признать своеобразие развития сельского хозяйства.

Но из этого признания приходилось делать логические выводы. Социализм стоял перед дилеммой. Или надо было признать, что земледелие и деревня какими-то особыми, своеобразными путями вращаются в «государство будущего» сравнительно с индустрией и городом. Тогда надо было заключить, что есть не только света, что в капиталистическом окошке, и что кроме шаблонного, столько раз описанного пути через капитализм к социализму, есть еще какие-то более непосредственные пути «некапиталистической эволюции» от мелкого, индивидуального трудового хозяйства к укрупненному, социализированному трудовому хозяйству; что есть пути и формы обобществления труда и собственности снизу, через творческую инициативу, самодеятельность, автономию самих трудовых земледельцев. Или же упорно утверждать, что таких «особых путей», такого «самообобществления» без посредства властной ферулы капитализма не существует; что без промежуточного этапа капиталистического чистилища нет доступа в социалистический элизиум; и тогда импотентность капитализма в земледелии означала бы социалистическую импотентность деревни, как таковой.

Таким образом, социализм стоял на распутье двух дорог. В первом случае перед ним открылась бы своеобразная, совершенно новая конструктивная проблема: отыскать такие формы кооператизации крестьянского труда и социализации крестьянской собственности, которые могли бы прогрессировать и расти совершенно естественно, органически, в полком соответствии с естественным развитием социальной психики и правосознания трудовой деревенской массы. Во втором случае дело представлялось бы много проще. Деревня оказалась бы,

с этой точки зрения, просто на просто пассивным, инертным элементом эволюции. Дело зарождения и роста в ней самой внутренних сил, способных привести ее ближайшим, узким, непосредственно-практическим и надежным. Носителем социалистической эволюции остался бы при этом город, и только город; демиургом социализма — исключительно пролетариат; до его торжества и в интересах его торжества надо было бы только нейтрализовать деревню бережно-благожелательным отношением к ее ближайшим, узким, непосредственно - практическим интересам; после же его торжества деревня могла бы быть извне осторожно переработана сообразно требованиям нового установившегося социалистического режима, как пассивный материал для предпринимаемого городом социального эксперимента, как сырье, подлежащее переработке в порядке «индустриализации».

Город — Демиург, и деревня — косная «материя». Этот дуализм разъедал существо догматического социализма. Рожденный в городах, близ фабричных кварталов, загипнотизированный зрелищем грандиозного машинизма индустрии, довоенный социализм был однобоким индустриальным социализмом. Он насквозь был проникнут духом урбанизма. Правда, где-то, быть может, по наследству от великих мыслителей утопистов, свободным синтетическим взглядом прозорливо охватывавших всю целокупность народного хозяйства, и в современном социализме гнездилась мысль о том, что социализм уничтожит современное противоречие между городом и деревней, смягчит однобокий урбанизм современной цивилизации элементом здорового рурализма, даст какой-то высший синтез этих противоположностей. Но эта оговорка была не более, как абстрактная и неопределенная *Zukunftsmusik*. Социализм по всей своей психологии, умонастроению, характеру, оставался однобоким городским, и индустриальным социализмом. Деревня для него была досадным осложнением; он охотно утешал себя тем, что капиталистический прогресс современных культурных стран означал повсюду уменьшение удельного веса деревни сравнительно с городом, земледелия сравнительно с индустрией. Мысленно продолжая эту тенденцию вплоть до превращения деревни в *quantite negligeable*, вплоть до возможности почти безнаказанно скинуть ее со счетов, догматический социализм избавлял себя от того затруднения, которое ему доставляла неукладывающаяся в привычные индустриальные схемы и шаблоны деревенская стихия.

Догматический социализм довольно просто и легко отделался от осложнений аграрного вопроса, выпроводив его за порог своего кругозора. Это ему нетрудно было сделать в так называемых «странах классического капитализма», которые по условиям международного разделения труда смогли как бы выпроводить самое сельское хозяйство за порог своей национальной хозяйственной системы, перенеся его в колонии. Страны с гипертрофией индустрии и с атрофией сельского хозяйства были такою средой, в которой индустриальная однобокость догматического социализма как будто даже переставала быть однобокостью. Но — только «как будто». Гони природу в дверь, она влетит в окно. Когда промышленная специализация упраздняет аграрную проблему в качестве внутреннего вопроса политики, эта проблема возрождается в виде во-

проса внешнего: в виде вопроса о колониях и вообще странах, являющихся не субъектами, а объектами так называемой империалистической политики.

Что такое империализм в экономическом смысле этого слова? По-видимому, споров об этом нет. Империализм есть стремление передовых индустриальных капиталистических государств политически закрепить свою экономическую и в особенности торговую диктатуру над странами, производящими сырье и средства существования, над странами аграрными.

Великий бельгийский поэт красочно характеризовал в своих поэмах «*les villes tentacul aïres*», своими щупальцами все туже и туже охватывающие и своим блеском все более и более гипнотизирующие «*les villages hallucines*».

Это различие имеет тенденцию воспроизводиться в международном масштабе. Создаются, с одной стороны, империалистические гиганты, играющие роль метрополий мира. Они рассматривают весь земной шар, как пассивный объект эксплуатации колониального образца. *Les imperialismes tentaculaires* делят и переделывают *les colonies hallucinees*. И в разряд этих *colonies* попадают не только никогда не жившие самостоятельной государственной жизнью земли бечуанов, готентотов и папуасов, но и целые государства с огромным историческим прошлым и старинной своеобразной культурой, вроде Китая, Индии, Египта, Персии, Марокко. Их делят на сферы влияния. Порой ожесточенную, отчаянную борьбу против своего превращения в пассивные объекты индустриальной эксплуатации вынуждены вести даже такие страны, как Россия, не говоря уже о земледельческих государствах балканского полуострова — Югославии, Болгарии и загнанной в малоазиатский тупик Турции.

Раньше привычно было представлять себе картину мировой истории в виде ряда стран, идущих по одной и той же лестнице капиталистического развития, и лишь в данный момент застигнутых нами на разных ступенях этой лестницы. Эта упрощенная картина затушевывает слишком многое. Действительно, все эти универсальные шаблоны приходится бросить. Мы имеем скорее тенденцию к сильнейшей групповой индивидуализации развития. Мы имеем стихийно выросшую грандиозную систему мирового разделения труда. В этой системе на долю целых наций, расе, порою целых материков выпадает разная участь. И прежде всего, одна участь «Риму», другая «Миру» — *Urbiet Orbis*. *Urbs* — это, в мировом смысле, индустриальный уголок мира, Европа с креном на запад и с мощным филиалом, перерастающим свой исторический центр — Северной Америкой. *Orbis* — это почти вся остальная масса земель, племен и народов. Конечно, между этими двумя полосами, *Urbs* и *Orbis*, есть и промежуточные ступени, есть смешанные формы, есть соединительные звенья. Но их бытие не колеблет факта распада; в нем сущность сегодняшнего империалистического периода буржуазного строя; а может быть и завтрашнего: ибо, если мы еще недавно почти все были убеждены, что за империализмом в порядке наследования идет социализм, то история раскрывает и другую возможность: что между ними с успехом вотрется, втиснется новый претендент — гиперимпериализм.

Социальная проблема доселе концентрировалась в антагонизме между капиталистом и рабочим в пределах одной и той же нации. Сегодняшний импе-

риализм и завтрашний гиперимпериализм целые нации ставит между собой в те же отношения. У нас уже есть нации, выколачивающие из других наций и государств прибавочную стоимость. У нас есть целые страны-данницы, перенапрягающие свою производственную мускулатуру в труде на других.

Нам это стало бросаться в глаза лишь тогда, когда Германия, этот недавний баловень индустриального процветания была сброшена с этих вершин. Не только в форме репараций, но и в форме внешней торговли при низкой валюте, она платила трудно исчислимую ежегодную дань оптом и в розницу и отдельным заграничным промышленным фирмам, и целым странам, и наконец, даже единичным, налетевшим, как вороны на падаль, иностранцам, спешившим учесть в свою пользу за ее счет разницу в валюте. Нам это стало бросаться в глаза, когда в виде стихийного протеста в Германии (и не только в Германии!) начала развиваться массовая ксенофобия, — болезнь, которую мы считали еще так недавно печальной привилегией наиболее отсталых стран Востока, вроде прежнего Китая с его боксерским движением, или какого-нибудь глубоко забравшегося, словно улитка, в свою раковину, и беспробудно спящего в ней Афганистана.

Но в том же положении, в какое недавно попала «проходящая под игом» побежденная Германия — находятся издавна целые нации, целые страны. Прибавочная стоимость давно уже создается не только в процессе производства, в тесных границах фабрики, но и в процессе обмена, и в особенности в сфере международного обмена. Там, где на одной стороне стоит концентрированная сила современных трестов индустриальных метрополий мира, а на другой стороне — человеческая пыль аграрных и колониальных стран — там одна сторона диктовала цены, — другая претерпевала их. И, пожиная обильную дань во всех концах мира, собирая его с кочевого скотовода средней Азии, с земледельца Индии, с нырлящика за жемчугом Цейлона и Антильских островов, с рабочего чайных плантаций Китая, хлопковых районов Туркестана — современный империализм порою может менажировать, даже приласкать рабочего своих грандиозных индустрии европейских центров. Он может делиться с ним крохами дани, собираемой со всего мира. Ведь этим он может попытаться в эпоху мировых войн и черного передела земного шара между великанами современного империализма увлечь и рабочих на запятках национальной империалистической колесницы во все тяжкие своих авантюр, вплоть до пожара мировой войны.

Социализм наших отцов и дедов имел перед собою сравнительно простую задачу. Он в узких национальных границах был поверенным, который вел исторический процесс пролетария против капиталиста. Он обобщал эту борьбу скорее теоретически, абстрактно, идейно, чем в реальности, в повседневной действительности. Его интернационализм был головной; отсюда и его непрочность перед экзаменом мировой действительности, бросившей целые нации друг на друга в борьбе на жизнь и смерть.

Теперь все стало бесконечно сложнее. Центр тяжести социальной проблемы переместился. Наряду с социальной проблемой в недрах отдельной фабрики, с противоположными полюсами — отечественным рабочим и отечест-

венным капиталистом — выросла грандиозная мировая социальная проблема, со своими полюсами Urbs'ом и Orbis'ом: империалистической метрополией и аграрной колониальной периферией.

Для нас, уроженцев Европы, мир просыпающегося к исторической жизни Востока — что-то слишком отдаленное и чуждое. У нас, за кулисами нашего сознания, слишком часто воскресает старое Гегелевское деление наций и государств на «исторические» и «не исторические». Египтяне, индусы, китайцы, монголы — мы про них порою втайне думаем то, что Ницше говорил открыто про массы: «побрал бы их черт и статистика!». Европа с Северной Америкой — это аристократия человечества. Но социализм, душа которого — демократичность, не может в своей среде воспроизводить это деление на аристократию и плебс. Впрочем, вчерашний империализм и завтрашний гиперимпериализм революционны вопреки себе самим. Заставив сенегальца сокрушать германский милитаризм на Рейне, а индуса форсировать Дарданеллы, они не отдавали себе отчета, что за этой грубой и обманной формой привлечения мировой черни к делам мировой аристократии неизбежно последует и другая форма, более глубокая и богатая внутренним содержанием. Арена мировой цивилизации расширится. Сегодня в нее уже втягиваются, и завтра будут втянуты бесчисленные народы Азии. Послезавтра придет очередь Африки, авангард которой, Египет, уже дает знать о себе. Расширится и мировая арена интернационального социалистического движения, и бесконечно усложнятся его задачи и методы действия. Параллельно с этой социалистической территориальной экспансией, параллельно с ростом социализма вширь, должно идти и его развитие в глубь.

Обязанность социалистической партии России — особенно подчеркнуть перед мировой социалистической демократией эту сторону исторической проблемы. Россия по своему положению, и географическому, и культурно-социальному, стоит на рубеже двух миров, будучи одною своею половиною вдвинута в Европу, другою — в Азию; она ни Европа, ни Азия, она и Европа, и Азия: «Евразия», как гласит последнее модное словечко наших «литературщиков».

Два движения уже намечаются по соседству с интернациональным социализмом; два движения, с разных сторон уловившие грозный характер мировой социальной проблемы, тесно связанной с мировым аграрным вопросом.

Первое движение — это русский большевизм со своим Коминтерном. Одною из сильных сторон этого движения является его деятельность на Востоке, среди стран и наций, являющихся объектами империалистической эксплуатации стран Запада. Можно сказать, что коммунизм, после первых эфемерных успехов все более идя на убыль на Западе, где одно время ему удалось играть роль «последнего крика революционной моды», — ныне предусмотрительно обеспечивает за собою пути отступления на Восток. Он пытается по своему образу и подобию создать корейский, японский, китайский, индусский, персидский, турецкий и татарский коммунизмы.

Быть может, иные презрительно скажут: ну, и предоставим этому вполне азиатскому социализму или пародии на социализм — некультурный Восток, — «по Сеньке и шапка» — достаточно, если цивилизованный мир будет объеди-

нен единым интернационалом, тем, который образован в Гамбурге на политической почве, и в Амстердаме на профессиональной.

Наш долг предостеречь против такого слишком легкого, и потому, быть может, соблазнительного решения. Социалистический Интернационал и Коминтерн не могут, подобно Наполеону и Александру I в Тильзите, разломать яблоко земного шара пополам и разделить его между собою: одному — мир Запада, другому — мир Востока. Не может быть двух интернационалов и не может быть дележа мира пополам. Мировое социалистическое движение должно быть едино, как един в идее рабочий класс, как един труд в его антагонизме с капиталом и эксплуатацией.

Другое движение — пока менее значительное. Это т. наз. «Зеленый Интернационал». Объединив крестьянские партии славянских земледельческих государств Болгарии, Югославии, Чехословакии, он стремился создать свой филиал и в России, отколов от социализма — часть его деревенской периферии.

«Зеленый Интернационал» правильно подметил, что в громадном большинстве созданных войною новых государств — в Грузии, в Латвии, в Эстонии, в Литве, в Чехословакии — обстоятельства выдвинули на первый план дело аграрной реформы. Социалистические партии этих стран, с разной степенью удачи, должны были принять позитивное участие в деле создания нового аграрного режима. Но все они действовали разрозненно, ощупью, каждая на свой риск и страх. Они не имели общих руководящих указаний от интернационального социализма, в котором аграрная программа никогда не обсуждалась и не решалась коллективным умом мирового рабочего класса.

Зеленый Интернационал — это попытка забежать вперед мирового социализма, и занять руководящую роль в деле мировой аграрной реформы. Мировой социализм, если он не хочет превратиться в однобокий индустриальный социализм, локально ограниченный тем уголком мира, который является промышленной метрополией последнего, — не может никому уступить свою авангардную роль в деле тяжбы труда против эксплуатации везде и всюду, во всех сферах приложения человеческой созидательной энергии, без исключения.

И Зеленый Интернационал, и Коминтерн спекулируют на незавершенности современного социализма. Зародившись в городах, как односторонне-индустриальный социализм, он в распространении своем двигался с Запада на Восток. На Востоке, в силу системы международного разделения труда, он впервые как бы нехотя породил доселе не узаконенное детище — аграрное социалистическое движение, естественно пошедшее в обратном направлении, возвращаясь к своему первоисточнику: с Востока на Запад.

Наиболее равнодушной и нечуткой к мотивам аграрного социализма доселе была социал-демократия Германии. По отношению к крестьянству она проявляла теоретическую идиосинкразию, граничившую с крестьянофобством. Антикolleктивизм крестьянского черепа был для нее неоспоримым и непреложным фактом, «его же не преjdeши». Из этой догмы вытекала ее выжидательная, пассивная позиция в аграрном вопросе, давшая повод на Бреславском партейтаге говорить о существовании своеобразного социалистического «аграрманчестерства». И вот, в 1923 г., перед самым Гамбургским международным

социалистическим конгрессом, в ее жизни произошло событие, значение которого, быть может, недостаточно оценено ею самою: она выступила в рейхстаге со смелым проектом аграрной реформы, дух которой выражался лозунгом: «земля — народу».

Цикл завершается. Чисто-пролетарский, односторонне-городской, индустриальный социализм Запада готовится превратиться в социализм синтетический, интегральный. А так как мировая колониальная проблема есть, в конце концов, та же аграрная проблема, обобщенная в мировом масштабе, то внутренняя полнота и завершенность социализма есть лучший залог его способности выйти из своей западно-европейской ограниченности, я сказал бы даже — «европейского провинциализма», и стать, наконец, действительно мировым социализмом, способным охватить все человечество, организовать труд против эксплуатации в планетарном масштабе.

Только социализм, конструктивные способности которого достаточно велики, чтобы в своеобразии условий деревни найти и выработать соответствующие этому своеобразию новые формы органического перерождения крестьянского труда в обобществленный снизу, без помощи капитализма, свободный труд, и гармонически связать его с жизнедеятельностью обновленной, социализированной фабрики — только такой социализм примирит «Запад» с «Востоком», расширит арену Интернационала не на словах только, а на деле до размеров нашего земного шара — станет в полном объеме Интернационалом.

Для такого Интернационала не будет опасен, ему в его миссии не сможет помешать ни Зеленый Интернационал, стремящийся обособить мир деревенского труда от индустриально-пролетарского мира, ни Московский Коминтерн, притворяющийся Интернационалом «рабоче-крестьянским», но на деле не являющийся ни тем, ни другим.

Для такого Интернационала — и только для него — окажется вполне по плечу и та основная мировая конструктивная задача, которая заключается в превращении Лиги Наций из ее современного жалкого состояния — из компромиссно-склеенной Лиги Правительств, и притом буржуазно-империалистических правительств — в лигу равноправных народов.

Коминтерн ничего этого не сделает. Коминтерн иногда называет себя «Третьим Интернационалом», тем самым как бы претендуя на то, что он является законным преемником I-го и II-го Интернационалов. Но он не третий социалистический, а первый якобинско-коммунистический интернационал. Первый — и последний, ибо за ним нет будущего. Он существует, как результат выражения социализма атмосферой мировой войны, атмосферой крови, насилия, исключительных полномочий стоящих у государственного руля, всевластия вооруженных над невооруженными, приматом силы над правом, диктатуры над демократией. Он существует, как элемент распыления сил рабочего класса, внесения в его среду междуусобия и дезорганизации; как источник отравления его сознания ядом худших подозрений против руководящих социалистических центров; как стимул к отчаянным вспышкам, в громадном большинстве случаев обреченным на поражение; наконец, как источник и рассадник глубочайшего разочарования там и тогда, когда преходящий случайный успех дает ему воз-

можность приняться за положительную работу и обнаруживает всю глубину его творческой импотентности. Словом, он обнаруживает на практике всю свою истинную природу, как полную противоположность конструктивному социализму: как социализм демагогически-деструктивный.

Преемником двух первых интернационалов суждено стать Интернационалу, возрожденному в Гамбурге. Эта попытка на первых порах отмечена печатью крайней, может быть даже чрезмерной осторожности, граничайшей с робостью и уклончивостью. И все же входящим в его состав партиям приходится сказать: «если не мы, то кто же? И если не теперь, то когда же?».

Первый Интернационал, убитый междоусобною борьбой социализма и анархизма, был детищем смутного, переходного времени от социализма утопического к социализму научному. II-ой, довоенный Интернационал был детищем научного социализма, ударившегося в утрированный «объективизм», развивавшего созерцательную энергию, склонную к фаталистическому оптимизму, в ущерб энергии действенно-творческой, в одно и то же время созидательной и революционной. Настоящий, а не бутафорский третий интернационал должен и будет иметь своей подкладкой зрелую форму «конструктивного социализма», отдавшего себе полный отчет как в огромности задач социалистического строительства, которое вовсе не придет «на готовое» после банкротства своего предтечи — капитализма, так и в несостоятельности исключительно пролетарского, одностороннего индустриоцентрического социализма, неспособного ни внутри страны объединить для борьбы против капитала пролетария с земледельцем, ни вне ее, на мировой арене, объединить пролетарское движение передовых индустриальных стран с движением трудовых масс наций и стран, являющихся объектами внешней империалистической эксплуатации. Таков будет новый Интернационал — или его на деле вовсе не будет, а будет в лучшем случае пышная вывеска над пустым местом.

С этой точки зрения должен быть пересмотрен весь идейно-теоретический багаж современного социализма, и заново поставлены все его проблемы.

Социализм пытается разрешить целый ряд таких основных вопросов социальной жизни человечества, которые по праву могут быть названы вечными вопросами.

Каждая эпоха, каждая фаза развития человечества не только по-своему их разрешает, но и по-своему ставит.

Свои фазы имеет и международный социализм.

Он сначала явился миру, как некое новое откровение, вещая человечеству устами духовидцев, фантастов и поэтов.

Затем социализм устоялся, кристаллизовался в симметрическую, устойчивую, иногда даже застойную школьную догму, нуждавшуюся в бесчисленных комментаторах и популяризаторах. Социализм говорил с человечеством устами благоразумных, уравновешенных, иногда даже педантически скучных, и все же весьма поучительных школьных учителей.

Ныне он подымается до новой, высшей ступени, становясь прикладной наукою и создающим искусством, которые требуют и новых носителей. Ему

нужны социальные инженеры и архитекторы, соединяющие полет творческой фантазии поэта с точностью и строгостью мысли, отличающими людей чистого знания.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Конструктивная незрелость довоенного социализма

Уже М.И. Туган-Барановский, один из первых насадителей марксизма на русской почве, скоро заметил, что его великий учитель «получил социалистический идеал в готовом виде от своих предшественников» и не только «ничего к этому идеалу не прибавил, но оставил даже неясным, что именно он из этого идеала сохранил»; что блестящие успехи, которыми марксизм был обязан принесенной им новой, в высокой степени плодотворной тактике, «сказались в области теории ослаблением интереса к конечным целям социализма»; что, вследствие этого, наблюдался странный контраст: с одной стороны, знамя социализма все больше и больше становилось знаменем рабочих всего мира; с другой, «самое понятие социализма, как определенного общественного идеала, оставалось туманным, расплывчатым и неясным».

Это не могло не повлиять самым неблагоприятным образом на построение программ современных социалистических партий, начиная с германской социал-демократии, до войны так долго игравшей для своих младших инациональных сестер роль своего рода *Muster-Partei*.

В самом деле, присмотримся ближе к ее программе. Она распадается на «минимальную» и «максимальную» части. Для чего служит первая? Она рассчитана на период, когда государственная власть находится в руках буржуазии, и социал-демократия, будучи в меньшинстве, может оказывать лишь частичное влияние на ход дел. Поэтому и задания минимальной программы весьма скромны. Она соответствует тактике, которая, собственно говоря, носит по преимуществу выжидательный и оборонительный характер. Ибо пока пролетариат недостаточно силен для захвата власти надо остерегаться чем бы то ни было осложнить или затормозить капиталистическое развитие общества. Только от дальнейшего его прогресса можно ожидать «созревания времен» для великого «скачка из царства необходимости в царство свободы». До прихода этого заветного момента надо оберегать физическое и моральное здоровье пролетариата, чтобы из него вырос крепкий, полный сил наследник капиталистического строя к моменту, когда этот последний «изживет себя». В этом смысле Роза Люксембург в своей полемике против Зомбарта так характеризовала реальное содержание с.-д. минимальной экономической программы: «Собственно, мы боремся лишь за покупку рабочего труда, как товара, сообразно ее действительной стоимости, т. е. за то, чтобы оплаты труда хватало рабочему для восстановления затраченной им рабочей силы». Таким образом, даже в толковании левой из левых марксисток, программа эта обеими ногами стоит на почве буржуазных социальных отношений и принципов. Что же касается до максималь-

ной программы социал-демократии, то о ней знали просто, что она есть воплощение законченного социализма, планомерного народного хозяйства, основанного на точном учете общественных потребностей и сил, и на рациональном распределении этих сил соответственно этим потребностям, под руководством нового пролетарского государства, вступившего во владение всеми средствами производства. Подробнее развивать эту программу не представлялось необходимым, ибо эти вопросы, как не актуальные, относились к так наз. «музыке будущего».

Нетрудно видеть, даже отвлекаясь от крайней абстрактности, а потому и недостаточной определенности «максимальной программы», что между нею и минимальной программой во всяком случае оказывается пустое место, зияющий пробел. Предположим, что минимальная программа целиком осуществлена в пределах буржуазного строя; даже и тогда после перехода власти в руки рабочего класса мы вынуждены мыслить о каком-то переходном периоде, в течение которого идет систематическое строительство будущего, лишь по окончании которого мы будем иметь перед собою социалистический строй — тот, который характеризуется «максимальной программой». Максимальная программа говорит о законченном результате, продукте этого строительства. Минимальная программа говорит о периоде, предшествующем приступу к строительству. Ну, а самое важное, т. е. строительство, как таковое — приступ к нему, знание, откуда и с чего начать, номенклатура мероприятий, на которые весь процесс строительства распадается, рациональный порядок последовательности отдельных мероприятий, так сказать операционный план нашего «прикладного социализма», взятого в процессе его работы, или, если угодно, вехи, указующие все повороты пути к «максимуму» — какая программа говорила об этом? Никакая.

Почему это случилось? Ответить на этот вопрос нетрудно. Та социалистическая школа, которую все мы проходили — хотя не все верили в святость каждого слова учителей и не все чуждались соблазна «ересей», — марксистская школа — была слишком сильно запечатлена духом реакции против утопизма. Боязнь впасть в утопию была в ней преувеличенно обострена, и порою граничила с манией. Вся теория марксизма получила чрезмерный крен в сторону какого-то олимпийского объективизма, якобы только бесстрастно познающего жизнь и направляющего свои стопы «по равнодействующей» ее тенденций, но отнюдь не навязывающего жизни «от себя» никаких планов и проектов. Элемент как индивидуального, так и коллективного социального творчества педантически строго сводился к нулю. Все, носившее оттенок идеализма, отбрасывалось; признаком хорошего марксистского тона было щегольство своеобразным историко-философским цинизмом.

Вот почему как раз тот переходный период, который требовал от рабочего класса максимального творчества, сознательного социально-организующего строительства — в марксистской школе проходил как бы «скороговоркой». В этом отношении нет ничего более характерного, как энгельсовские слова о «скачке из царства необходимости в царство свободы». Энгельс прекрасно понимал (и порою об этом упоминал), что скачок этот может растянуться на весь-

ма и весьма большой период времени, что в иных странах он даже может весь протечь в мирно-эволюционных формах. Но словесный «скачок» тут действительно был налицо: посредством него мысль перескакивала через самый трудный вопрос, — вопрос, для правильного разрешения которого, правду сказать, тогда социализм был еще слишком молод. Но, конечно, было бы лучше, если бы тогдашний социализм сознательно оставил этот вопрос открытым, а не скрывал сам от себя и от других его существования словесным оборотом.

Вспомним еще раз знаменитое утверждение Карла Маркса: рабочий класс не имеет осуществить ровно никаких «идеалов», а лишь освободить заключающуюся в недрах самого буржуазного строя тенденцию естественного развития и перерождения в высшую социальную форму. Это утверждение, к сожалению, более всякого другого врезалось в умы его учеников. Возлагалось слишком много упований на объективную логику самого хозяйственного эволюционного процесса. Пока он не «созрел» — строить рано; когда он созреет — жизнь «сама покажет», что надо делать; а заранее обдумывать какие-то планы и проекты на это будущее — значит впадать в ненужное прожектерство и утопизм.

Именно этот роковой способ рассуждения, свойственный марксизму довоенного периода, и был как будто нарочно придуман для того, чтобы дать событиям захватить себя врасплох.

В истории германской социал-демократии был момент, когда обстоятельства заставили ее встать с обойденной у Маркса и Энгельса проблемой лицом к лицу.

Это случилось в начале 1893 года, когда при обсуждении в рейхстаге государственного бюджета лидеры буржуазных партий, словно сговорившись, в ответ на социал-демократическую критику существующего, приступили к ней, как с ножом к горлу: почему социал-демократия все только критикует, а не разворачивает полной картины того, чем она хочет заменить современный строй? «Критика легка, искусство трудно». Где же «искусство» хозяйственного творчества социал-демократии? Почему она «настолько благоразумна, что не снимает покрывала тайны со своей программы будущего?» Предпочитают ли ее вожди преподнести стране то, что они надумали, сюрпризом, или же просто на деле у них ничего обдуманного нет, и они «скрываются за завесой молчания просто потому, что не могут открыто выступить со своими проектами?» (речь д-ра Бюля).

Бebelь, как будто несколько застигнутый врасплох этим маневром противников, сначала пробовал отмахнуться от него простой ссылкой на обширную социал-демократическую литературу, на невозможность уклониться в эту сторону, оставаясь в рамках парламентского порядка дня, а кроме того, заявил: «пока нам еще надо с вами бороться, пока мы составляем, по сравнению с вами, меньшинство — нам нет никакого основания серьезно выступать со своими планами. Это произойдет в тот момент, когда власть будет в наших руках: за то тогда наши планы будут выяснены исчерпывающим образом» (*Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Reichstages VIII Legislaturperiode, II Session, Berlin, 1893, B. II, s.769 u.778*).

В ответ на эту попытку уклониться от принятия вызова последовала целая вакханалия торжествующих выпадов со стороны лидеров буржуазии, начиная от статс-секретаря фон Беттихера, продолжая вождем консерваторов гр. Каницем и кончая наиболее вооруженным для этого спора вождем центра Бахемом. Как? восклицали они: вы боитесь, что вам не позволит уйти в эту сторону от порядка дня президиум рейхстага? Но раз он позволяет нам поставить перед вами ребром эти вопросы, то как же он может помешать вам на них ответить? Вы ссылаетесь на вашу литературу? Какую? Где именно содержится аутентичное изложение вашего архитектурного плана будущего общества? Где именно показано, каким конкретным рядом мер вы надеетесь придти к нему? Об этом пытаются подробно говорить лишь романисты, вроде Беллами — прикажете ли вы из этого источника научиться, к чему вы стремитесь? Ваш будущий метод экспериментирования с народным хозяйством пытаются угадать, восстановить по разным вашим отрывочным обмолвкам ваши противники, подобно Евгению Рихтеру в ироническом памфлете «Социал-демократические картины грядущего» — считать ли, что он верно понял вас, а если нет, то в чем разница оригинала с копией? Об этом говорят более обстоятельно и конкретно все, кто угодно, кроме вас самих.

«Я внимательно штудировал всю вашу литературу» — говорил Бахем — «но я нигде не нашел даже ясных контуров, не говоря уже об ясном, исчерпывающем изображении. Не нашел я и разъяснения, как именно, в каких конкретных формах вы хотите урегулировать потребление, урегулировать производство. Я только и нашел, что вы хотите их «урегулировать» — и больше ничего. Очень извиняюсь перед вами, но не позволительно ли будет мне усумниться, окажетесь ли вы способными это сделать? А если вы хотите убедить нас в том, что да, вы этими способностями обладаете — о, тогда превосходно, господа! И так как доселе доказательства этого вы нам не дали — то вот, теперь вы и должны перед нами их обнаружить, должны выложить, как вы понимаете и разрешаете эту задачу». И, все настойчивее, настойчивее громоздя один конкретный вопрос на другой, оратор центра торжественно закончил: «Здесь, перед лицом всей Германии, вы принуждены будете изложить нам план вашего государства!»

Не принять вызова и уклоняться от битвы на этой почве более стало невозможным. И социал-демократия выдвинула обоих своих лидеров — Бебеля и Либкнехта.

«Что касается до вопроса, поставленного г. Бахемом, то я хотел быть коварным, я ответил бы на него другим вопросом. Я спросил бы его: ну, а как вы представляете себе воскресение после смерти и вечную жизнь, которую ваша церковь проповедует вот уже восемнадцать столетий, тоже не предъявив на это никаких доказательств? И этих доказательств вы представить мне не в состоянии. Или можете? Тогда я жду их с величайшим нетерпением. Это будут доказательства, которые заранее настораживают мое любопытство. И это мое напряженное ожидание, обращенному по вашему адресу, еще больше, чем ваше по отношению ко мне и моим разъяснениям относительно структуры «государства будущего»...

Бebelь, по-видимому, был очень доволен этим своим аргументом, и впоследствии он не раз повторялся в социал-демократической прессе. К сожалению, мы этой удовлетворенности разделить не можем. О сущности, о характере воскресения и «жизни после смерти» верующий говорить не может, потому что он признает это абсолютно непостижимым для ограниченного человеческого рассудка. Это — то, чего человеческий ум не в силах ни понять, ни представить себе: *credo, quia absurdum*. Именно «понятное» для нас — есть только обманчивая тень, и непонятное, противоречивое, абсурдное, превышающее всякую способность разума — есть высшая истина, «божья истина». Неужели же и наше положительное учение о том экономическом строе, который будет называться социализмом, есть такая абракадабра, в которую возможно только верить, не рассуждая и заставляя молчать голос разума? Увы, «коварство» Бебелевского ответа было только кажущимся; и блестящий по внешности полемический выпад по существу обращался против самого автора...

Немногим счастливее был в своем основном возражении и Либкнехт. «Что касается государства будущего, то это — дело фантазии» — кратко и просто отрезал он. — «Каждый без исключения — и вы, и вот вы, в этой зале — имеете свое «государство будущего» — хотя в большинстве случаев у вас этот идеал корнями уходит в прошлое. Что касается до нашего идеала, то он, к нашему счастью, впереди нас. Каждый рисует свое блаженство на свой лад и в своем собственном «государстве будущего». Государство будущего — это в некотором роде идеал, но наука не имела никогда ничего общего с этим. И наша партия — социал-демократическая партия — никогда не принимала в свою программу утопии какого бы то ни было государства будущего. У нас есть программа; мы даже — единственная партия, у которой есть ясная и все охватывающая программа. Но никогда наша партия не говорила рабочим о каком-либо государстве будущего, — кроме тех случаев, когда приходилось говорить о нем, как об утопии. Если кто-нибудь скажет: после осуществления нашей программы, после уничтожения наемного труда и эксплуатации человека человеком, я себе представляю государство будущего вот так — хорошо: мысли ведь не облагаются пошлинами! Всякий может строить себе свои «представления» в свое полное удовольствие. Кто хочет в него верить — верит, кто не хочет — не верит. Это лишь фантазия и ничего более. В другом смысле социал-демократия никогда и не ставила вопроса о так называемом государстве будущего».

Это тоже не ответ, а только прицепка к слову. Социал-демократическая программа включает в себе, однако же, так называемую «максимальную» часть, или «Endziel», — конечную цель, по отношению к которой минимальная программа представляет лишь преддверие — ряд мер, осуществление каждой из которых есть лишь один из этапов, в совокупности составляющих движение, *Bewegung*. Если «государство будущего» определить, как простую поэтическую субъективную фантазию, то ясно, что оно не совпадает с «конечной целью» или «максимальной программой». Ибо конечная цель, это руководящее начало всей программы, верховный, критерий всей деятельности и всех отдельных минимальных требований, не может быть ни фантазией, ни утопией, но должна состоять в органическом родстве с научным знанием. И тогда ясно, что Бахем и

К<sup>0</sup> спрашивали не о «государстве будущего», а просто о конкретном содержании программной «конечной цели» социал-демократии, причем и отвечать надо было на существо вопроса, не прибегая к отводу из-за неправильной терминологии. Спор ведь шел о деле, а не словах. Но и своротив от дела к спору на чисто словесной почве, Либкнехт едва ли был очень прав. Ибо «Zukunftsstaat» в социал-демократической литературе сплошь и рядом употреблялся, как простой синоним конечной цели и воплощенной максимальной программы. Причем всегда дело шло не о наглядно поэтическом, до мельчайших жизненных деталей «воплощенном» красочном живом представлении, а именно лишь о научном понятии, т. е. определении основных черт социальной структуры нового строя.

Бebelь выдвинул и другой довод. Он долго и обстоятельно отмежевывал социал-демократию от утопистов прошлого, которые «набрасывали чрезвычайно красивые, поистине великолепные картины лучшего государства и общества: все ясно — очень мило — до мельчайших подробностей — ничего непредвиденного — все урегулировано — все предписано». Очевидно, от нас хотят — говорил он — «чтобы и мы, точь в точь, как эти великие утописты своего времени, перешли к разрисовыванию будущего общества во всех подробностях». Нет, господа — отвечал он: — «Это мы лучше оставим. В том-то и заключается громадная разница между ними и нами: то были утописты, а мы — люди практики. Они, сообразно своему малоразвитому веку, воображали, будто достаточно разрисовать современный строй во всем безобразии его несправедливостей, а рядом с этим разрисовать во всех привлекательных деталях иной строй, чтобы убедить даже людей из господствующего класса и склонить всех немедленно постановить его осуществление». «Если мы нынче уж не рисуем таких картин, так это происходит от того, что мы, в противоположность нашим предшественникам, с точностью знаем законы развития, по которым наш общественный строй, все дальше подвигаясь в своем развитии и усовершенствовании, вместе с тем движется навстречу своей гибели». «Потому-то мы работаем так, как мы работаем, и не переходим к мелкой утопической живописи, чтобы говорить: таким, а не иным должно быть социалистическое общество. Оно само придет».

Опыт и германской социал-демократии, которой после революции попала было в руки власть, и русского большевизма, и советских правительств Баварии и Венгрии показал, что «само» ничто не приходит и менее всего — социалистическое общество. Что же касается ссылки на «точное знание законов развития» общества, то оно скорее могло бы облегчить, чем затруднить научный, а не поэтически-фантастический ответ о структуре того общества, которое «само придет». Но Бebelь, внезапно меняя фронт, скрывается вдруг под сень агностицизма. «Говорить о той организации, которая тогда будет создана, излишне, потому что мы не знаем, каковы тогда будут условия. В какой форме должна будет эта организация вступить в жизнь — решение этого вопроса мы предоставим тем, кто будет жить в эпоху ее создания. И я твердо убежден, что они ни секунды не будут в сомнении, как наилучшим образом все сделать. Уж над этим то нам не нужно будет ломать голов. Это предоставьте нам». Здесь переход от агностицизма в настоящем к самому необузданному и голословному оп-

тимизму для будущего прямо поразителен — как будто это говорит не Бебель, а какой-то поверхностный полемист, без чувства политической ответственности. Политик, государственный человек у него превращается в какого-то импровизатора. «В последней инстанции могут существовать десять, двадцать (!) различных путей, которыми придется идти. Возможно, что прежде чем достигнуть цели, нам придется миновать и целый ряд этапов». Бебель даже решился утверждать, будто «практические и проводимые программы нужны партиям и государственным людям только в тот момент, когда они переходят к их действительному осуществлению». Неужели не заранее, чтобы было время их коллективно обдумать и подвергнуть всесторонней — дружеской и вражеской — критике? «Когда социал-демократия сможет практически приступить к своим заданиям, — в тот момент и возникнет вопрос: что делать? И ответ найдется. Какое бы все это имело значение, если бы мы с вами стали разбирать частности того, как мы себе представляем будущее общество и переход к — скажем хоть «социал-демократическому государству»?

Противники социал-демократии получали по существу довольно легкую игру. Они могли сослаться на то, что и Бебель не всегда держался взгляда, довольно хорошо формулируемого насмешливой народной поговоркой: «на охоту ехать — собак кормить». Тогда Бебель прекрасно понимал — и писал в своей брошюре «Unsere Ziele» — что «план будущего государства должен быть заранее, перед действием, выработан и закончен во всех частях», ибо, конечно, «во время действия слишком поздно будет начинать теоретические дискуссии»... И против Бебеля лидеры буржуазных партий могли сослаться на Бебеля же.

Поставленный в затруднительное положение, вождь германской социал-демократии должен был сам от себя отречься в таком пункте, где, напротив, должен был бы собою гордиться. «При моих нынешних воззрениях, развивавшихся (58) вместе с развитием всего движения, — заявил он — «я уже не могу более солидаризоваться вполне с собственно-позитивной частью выводов, делаемых мною в этом моем сочинении». Увы, мы должны признать, что при этом Бебель не прогрессировал, а регрессировал.

И добро бы Бебель стоял в то время на точке зрения отдаленности социального переворота, такой отдаленности, что даже и серьезный человек мог бы сказать: «над нами не каплет». Но Бахем имел возможность процитировать из социал-демократических брошюр и газет целый ряд цитат, — и самые яркие принадлежали тому же Бебелю — вот какого рода:

«Партия, которая, словно река во время половодья, затопляет все мосты и плотины, которая разливается вширь, по городам и деревням, вплоть до самых реакционных земледельческих округов — эта партия стоит сейчас на том повороте, с которого она может с почти математической точностью назначить время, когда она будет у власти».

«Осуществление наших конечных целей так близко, что очень мало людей в этой зале, которым не придется дожить до тех дней».

«Если события пойдут тем же темпом в том же направлении, то наша партия уже к 1898 году может оказаться у власти».

И Бахем мог совершенно спокойно сказать, что раз дело обстоит так, то

«не иметь теперь же заранее готового плана, по которому будет строиться новое — это поведение, для которого нельзя подыскать иного имени, как самая крайняя степень легкомыслия».

И сам Бебель, в конце концов, не мог не чувствовать, что впечатление полной смутности, невыясненности и неподготовленности не рассеяно; чтобы поправить дело, он налег на выяснение объективных данных, силою которых сама жизнь работает на социал-демократию и упрощает ее будущие творческие задания.

«Социал-демократия, конечно, хочет регулировать труд. Она хочет приноровить его к потреблению, к нуждам общества. Согласно учету вероятного расходования разных предметов потребления, будет направляться их производство. Посредством обширных статистических исследований, с возможной точностью придется устанавливать, какие потребности и в каком объеме должны быть покрыты. Это — то, что в зачаточной форме уже есть в наших коммунальных, государственных и общеимперских учреждениях».

«Таким же точно образом дальнейшее развитие буржуазного общества, от своей настоящей стадии до полного своего совершенства, создает те условия, которые дадут краеугольные камни для основания и строительства нового общества».

«Чем больше крупных предприятий переходит в руки акционеров — тем легче будет их экспроприация; потому же мы в известном смысле и за экспроприацию предприятий государством. Когда, например, государство переняло в свое ведение железные дороги, мы против этого ничего не имели; если оно примет в свое ведение рудники, это нас тоже несколько не расстроит; и это — по той простой причине, что эти государственные предприятия мы можем с легкостью превратить в социалистические, — и даже с самим секретарем министерства внутренних дел г-ном фон Беттихером во главе. Этих государственных предприятий нам не надо экспроприировать, потому что нет собственника: государство это мы, народ. И чем больше мы наблюдаем переход крупных предприятий в руки обществ акционеров, умеющих только стричь купоны, тем легче для нас будет их экспроприация — все дело будет просто детской игрой».

Раз попавши на торную дорожку этих привычных рассуждений, Бебель чувствует под ногами снова твердую почву. Он начинает иронизировать над своими противниками. Он говорит (собственно, перефразируя Фурье), что если бы акционеры одного из предприятий, выехав кататься на морской яхте, были бы унесены шальным ветром куда-нибудь в Африку, — самое предприятие могло бы этого даже не заметить.

«И — о, если бы мы могли таким же точно образом экспроприировать всех наших предпринимателей до единого, посадить их на пароходы, и отправить в южную, восточную или западную Африку! Господа! общество чувствовало бы себя при этом великолепно, и даже не заметило бы их отсутствия»...

«Вы нам возразите: охотно верим, акционеров вы экспортируете, но их деньги вы оставите себе. Господа, не нужно нам их денег. Мы им дадим в дорогу все их деньги, мы охотно прибавим к этому всю их мебель, и все, что они имеют. Мы в этом не нуждаемся. Все свое золото, все деньги — пусть они бе-

рут с собой, сколько хотят. Нас это не стеснит. Наше общество в состоянии существовать и без их денег, золота и имущества, ибо это — трудовое общество».

«Рабочие показали бы в этом случае, что они могут продлжать производство без предпринимателей, и в скором времени воссоздали бы все то, что эти господа увезли, и еще с излишком».

«Господа, вы никакого представления не имеете о той интеллигентности, которая уже теперь встречается в рабочем классе!»

Здесь поражает прежде всего симплицизм, вопиющая упрощенность мысли, может быть вполне пригодная для митинговой речи, но странно звучащая на парламентской трибуне, в серьезном поединке перед лицом всей страны с лучшими представителями буржуазного мировоззрения.

Вопрос о том, понадобятся ли социалистическому государству прежние предприниматели в качестве «спецов», или можно будет обойтись без них, трактуется совсем «с кондачка». Их, оказывается, можно заменить... прежнюю же бюрократией. Социализация оказывается равной бюрократизации: обычное казенное хозяйство от одного прихода к центральной власти социал-демократии по щучьему велению чудесно преобразуется в кусочек социализма. Характерно, что во всем плане переустройства ни одним словом не упомянуты ни профессиональные союзы, ни кооперативы, в качестве органов хозяйственного самоуправления, и не определены их взаимоотношения с «социал-демократическим государством». Все рассуждение идет по одной избитой колее. При акционерной форме предприятия владельцы фабрик отделяются от механизма ведения предприятий; вырабатывается из наемных «спецов» своеобразная индустриальная «приваатная» бюрократия. Но, вот, есть же казенные железные дороги. Почему бы промышленную бюрократию акционерных компаний просто-напросто не инкорпорировать в состав общей государственной бюрократии; почему бы на место зависимости и подотчетности собранию акционеров — не поставить подконтрольности соответствующему ведомству, министерству, хотя бы даже «с фон-Беттихером во главе?» Ведь «государство — это мы, народ», а фон Беттихерам не все ли равно, кому служить? Все превращение, поистине, при этом становится «детской игрой». Такой самой игрой, в которой взрослые дети русского большевизма «доигрались» до многого. Бебель, весь во власти навязчивой идеи об абсолютной простоте и удобоисполнимости всего дела, без малейшего сожаления экспортирует в Африку даже весь накопленный движимый капитал, — золото, деньги, ценные бумаги. Положим, «государство — это мы, народ», и «мы» можем — как показали те же большевики — напечатать денег, сколько угодно; а кроме того, деньги при социализме вскоре вовсе отомрут. Проблемы финансирования предприятий в переходный период после их экспроприации государством для Бебеля как будто не существует. Проблемы товарообмена города с деревней тоже не видно. Социализм, государственный социализм, государственный капитализм — почти не различаются, словно сиамские близнецы. С Бебелем в рейхстаге спорили не весть какие гении, но и они заметили эту ахиллесову пяту его рассуждений, ввернув ядовитое словечко: «не окажется ли тогда ваше государство будущего просто-напросто обширной каторгой, дополненной общим кроличьим хлевом?» Бе-

бель, конечно, в ответ возмущенно воскликнул: «Как? это будет создание принудительных каторжных учреждений, как предполагают г. г. Рихтер, Бахем и фон Штурм? Да неужели вы думаете, господа, что на это согласились бы наши собственные приверженцы?»

Убийственным историческим ответом на этот риторический вопрос явился казарменный «военный коммунизм» большевиков, и то сочувственное эхо, которым на него откликнулись широкие слои пролетариата Западной Европы.

Вряд ли есть надобность подробнее доказывать, что с вопросом о максимальной программе социализма в тогдашней германской социал-демократии дело обстояло крайне неблагоприятно. Но она была тогда в социалистической семье предметом удивления и подражания, у нее учились, ее копировали социал-демократы всего мира; у нее учились и русские большевики, всегда заявлявшие претензию быть в России единственно-истинными марксистами. И теперь уже ясно, что на учителях лежит известная доля вины за грехи учеников.

Точка зрения, изложенная в рейхстаге Бебелем, долгое время стояла поперек дороги всякому дальнейшему развитию социал-демократической мысли в направлении конструктивного, созидательного социализма. Достаточно было социализма «объективного», абстрактно-научного. «Только дурак может ответить на вопрос о государстве будущего» — заявил в тех же дебатах Либкнехт, а Фроме добавил: «мы не хотим создавать ничего искусственного, не думаем вмешиваться произвольно в развитие вещей и конструировать государственный строй по нашим взглядам»; «то, что вы называете государством будущего — не может быть и не будет; то, что мы отстаиваем — это лишь естественный продукт развития, ближайший этап органической эволюции — не более и не менее».

И у Каутского, в его известных комментариях к «Эрфуртской программе» мы встречали то же стремление спрятаться от вопроса за удобные ширмы своеобразного социологического агностицизма. «Механизм человеческого общества» — читали мы там — «необыкновенно сложен, и даже для самого острого ума невозможно так исчерпывающе исследовать все его стороны, так точно измерить все действующие в нем силы, чтобы с точностью предвидеть, какие общественные формы будут результатом совместного действия и взаимодействия этих сил». И это говорил представитель школы, во всех других вопросах многократно злоупотреблявшей социальными прорицаниями будущего. А ведь дело, к тому же, сводилось не к простому угадыванию того, что случится, а к раскрытию собственных планов воздействия на формирование жизни, планов позитивного строительства; речь шла не о детальной стороне этих планов, а о самых их основах, о конкретном содержании этих планов в их основных принципиальных чертах, независимых от преходящих подробностей быстротекущей жизни. Но Каутский прочно утвердился на одном: «просто-напросто бесполезно и вредно составлять определенные позитивные предложения для прокладки дороги к социалистическому обществу и для его организации. Предложения в смысле определенного преобразования общественных отношений можно делать только для таких сфер, которые по условиям пространства и времени могут быть совершенно охвачены нашим взглядом, и над которыми мы

вполне властны. Поэтому социал-демократия может выставлять позитивные предложения лишь для современного общества, а не для имеющего наступить». Ну, а что же, спрашивается, делать со словами Маркса: «между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения одного в другое?» Как отстаивать для этого периода беспрограммность людям, к тому же еще считавшим крах капиталистического общества более близким, чем то оказалось на деле? Ведь это значило подвигаться к самому критическому моменту своего существования со связанными глазами, обрекая себя на социальные импровизации, на рискованные и непродуманные эксперименты, на «прыжки в неизвестность». И сам Каутский, в конце концов, должен был сделать еще одну уступку и решиться (в работе «Социальная революция» и «На другой день после социальной революции») на изыскания, которые заслужили этой работе от буржуазных критиков более насмешливое, чем справедливое прозвище «Бедекера по утопии».

В тех же примечаниях к Эрфуртской программе Каутский испробовал и другой метод отпарировать критику противников: простое отшучиванье. Они — иронизировал Каутский — «рассматривают социалистическое общество, как нечто в роде капиталистического предприятия или акционерного общества, которое должно быть «основано», и они отказываются подписаться на его акции, пока члены-учредители, Бебель, Либкнехт и К<sup>0</sup>, в особом проспекте не докажут достаточно убедительно осуществимости и рентабельности нового предприятия». Но современный социализм не «предприятие» вроде утопических фаланстеров или образцовых коммунистических колоний и потому «не нуждается в кредите этих господ для своего осуществления».

Это полемическое остроумие, в свое время, вероятно, казавшееся очень убедительным, ныне на нас не действует. Тем более, что если Бебеля его применение обрекло на противоречие с самим собою в прошлом, то Каутскому оно уготовало такое же противоречие с самим собою в будущем.

В самом деле, десяток лет спустя появилась книга, впервые попытавшаяся поставить ребром некоторые из первейших, элементарнейших предварительных вопросов конструктивного социализма. Книга эта носила название «Производство и потребление в социальном государстве» и была выпущена под псевдонимом «Атлантикус», за которым скрывался проф. Карл Баллод. Два вопроса ставились в нем и разрешались путем детального и внимательного статистического анализа: 1) «Насколько может быть увеличена производительность труда в совершенно социализированном человеческом общежитии, предполагая интенсивность труда, т. е. трату рабочей энергии отдельной личности, не изменившейся?», 2) «Будет ли возможным при рационализации народного хозяйства достигнуть общего благосостояния при сокращенном рабочем дне?».

Результат исследования проф. Баллода был положительный. Уже не голословно, а с вескими доказательствами в руках смог он повторить известные слова Энгельса (в Анти-Дюринге): «Возможность обеспечить всем членам общества при помощи общественной организации производства существование, которое не только явится в материальном смысле достаточным и будет становиться все богаче и богаче, но и гарантирует им свободное развитие и проявление».

ние телесных и духовных дарований, — эта возможность ныне имеется на лицо впервые — но она уже есть на лицо».

Чтобы доказать это, Баллоду пришлось не ограничиться одной бесцветной абстрактной схемой нового общества, но войти в подробности его деловой организации, в согласии с указаниями того же Энгельса: «Человечество должно будет знать, сколько труда требует воспроизводство каждого из основных предметов его потребления. Оно будет составлять производственный план соответственно имеющимся средствам, к которым в особенности принадлежат наличные рабочие силы». Как видите, это именно своего рода проспект, доказывающий и осуществимость, и рентабельность нового великого социального «предприятия». И, однако, Каутский не только не объявил книги Атлантикуса бесплодной игрой ума, но, напротив, нашел, что она заполняет чувствительный пробел в социалистической литературе.

Со стороны Каутского это была непоследовательность, — но такая непоследовательность, которая только делала ему честь. Но иначе взглянули на дело многие *dii minores* социал-демократической прессы. К стыду социализма, приходится отметить, что проф. Баллод, выпуская свой труд, уже под открытым забралом, новым изданием (под заглавием: «Государство будущего»), должен был жаловаться на то, что книга его в первом издании, по злой иронии судьбы, «со стороны буржуазных критиков удостоилась лучшего отношения, чем со стороны социалистических». Этот первый серьезный статистический подход к решению основных проблем «конструктивного социализма» натолкнулся на самую невероятную инерцию мысли и на толщу самых заскорузлых предубеждений.

«Мне ставили в упрек впадение в утопистику, грех против Святого Духа марксизма; заявляли, будто книга моя столь же мало научна, как работа какого-нибудь теолога о жизни после смерти; будто я впал в грозящее обществу опасностью фантазерство, ибо будто бы желаю провести социализацию таким сокращенным темпом, как если бы кто хотел добиться в 24 часа оплодотворения, роста и смерти, — тогда как социализация должна еще исторически развиваться, общество должно еще до нее дозреть, и т. п. нелепости. Эти критические критики... вечно апеллируют к Марксу и Энгельсу, чтобы оправдать свою собственную леность мысли и антипатию ко всякой самостоятельной духовной работе»... («Der Zukunftsstaat», von prof. K. Ballod, Stuttgart, 1920, s. 5).

Смешны, конечно, эти «умственные сидни», про которых поэт сказал:

Стучится идея о чем-то бишь новом?

Скорее закроем все двери засовом!

Но проф. Баллод, по-видимому, и не подозревал, что все эти нелепые сравнения его труда с сочинениями теологов о жизни после смерти — целиком, слепо и послушно, заимствованы были из речи Бебеля с трибуны рейхстага...

И можно ли удивляться поведению заурядных журналистов, почтительно комментирующих и превращающих в стертую монету слова «учителей», когда эволюция мысли самого Каутского в этом вопросе представляет собою далеко не блестящую картину: он движется вперед только от толчков со стороны, медленно и неохотно, упираясь и запаздывая — не он идет, а сила событий тащит

его в область, для его умственного склада чуждую и непривычную.

Каутский — социальный революционер. Но от этой революционности веет застоявшимся воздухом кабинета, наглухо закрытого своими четырьмя стенами от стихии жизни. Вспомните только о словах Ницше, что нет большей радости, как «накладывать свои руки на столетия, как на мягкий воск». Этот психологический пафос революции, этот ее животворящий дух, этот энтузиазм творчества — как он далек от намеренно, натянуто-бесстрастных выкладок первоучителей научного социализма о безличной логике стихийных хозяйственных процессов! Неудивительно, что иной раз кажется, будто сплошь авантюристский метод «галопирующих социализаций» большевизма, даже и тот ближе к заданиям конструктивного социализма, чем это изумительное самооскопление. Но, конечно, это лишь иллюзия. Ибо только полное отсутствие конструктивной системы социализма и могло породить безумную готовность большевизма экспериментировать над судьбами страны и жизнью народов совершенно так, как физиологи и медики совершают свои «*experimenta in corpore vili*»...

Прикладная, творческая сторона социализма бесконечно отстала от его теоретической, созерцательной стороны. Социализм был чересчур академичен для того, чтобы не оказаться застигнутым врасплох событиями; и многие, слишком многие его сторонники уподобились евангельским девам, у которых не оказалось масла в светильниках, когда пришел долгожданный светлый Жених...

В самом начале декабря 1918 года правлением германского союза «*Neues Vaterland*» в Берлине была созвана первая социалистическая хозяйственная конференция: единственным вопросом, поставленным в ее «порядке дня», был вопрос о «социализации» во всех ее видах. Мотивом созыва конференции была полная неудовлетворительность социализаторской политики правительства, которая ограничилась лишь назначением «комиссии по социализации», к тому же работавшей «при закрытых дверях» и этим еще более раздражавшей и без того нервно настроенные рабочие круги...

Создавшееся положение один из членов конференции, Альфонс Гольдшмидт (в докладе «*Die Angst vor der Sozialisierung*») характеризовал так: «К началу революции перед социализацией в страхе останавливались. О социализации рассуждали, ее требовали, но настоящей решимости приступить к ней не было. Со всех сторон выступали с социализаторскими предложениями и тенденциями, с проектами, с целыми планами. И это было такое хаотическое смешение понятий, такое хаотическое смешение методов, которому, поистине еще не было равного»...

Для рабочих масс, веривших в своих вождей, и часто не подозревавших, на какие трудности придется натолкнуться после победы, это было источником и недоумения, и разочарования. Из них-то и родились настроения, использованные впоследствии большевизмом, закричавшим просто и кратко об «измене вождей». Никакой измены не было, но была — растерянность, на фоне растущего ропота среди огромной социал-демократической периферии.

«Девятого ноября 1918 г.» — говорил, служа эхом этих массовых на-

строений, Карл Эггоф, — «народ взял свою судьбу в свои собственные руки, чтобы из рухнувшего военного государства воссоздать социалистическое хозяйственное государство. Быстро избранные рабочие Советы вверили ведение общественных дел старым партийным вождям. Казалось бы, эти последние также преисполнены благих намерений произвести обобществление капиталистических средств производства. Всю жизнь свою вели они в речах и писаниях борьбу против капитализма и штудировали своего Маркса. Но, увы — налицо не было установленных Марксом предпосылок, и вот, теперь они — все равно, были ли то «независимые» или зависимые социал-демократы, уже не знали, как быть с социализацией. В своем смущении они составили лишь комиссию по социализации, которая до ныне не дала ничего положительного, да по всей видимости не даст ничего и в будущем».

«Все социалистические теоретики, от Бернштейна до Каутского, не поняли сущности социализации... Если бы не это, они тотчас же приступили бы к социализации, вместо того, чтобы быть пассивными свидетелями растущего со дня на день раздражения и возмущения рабочих, загоняя сотни тысяч людей в объятия спартаковцев. Народ чувствует себя обманутым в своих ожиданиях плодов революции; своим здоровым инстинктом он не может понять, неужели народные трибуны, предвозвещавшие ему социализацию средств производства целыми годами, только тешили его туманными картинками? Он уже начинает думать, что господа члены правительства, — надо полагать, против собственной воли ограничивающие свои занятия лишь упорядочением делишек капитализма, — затягивают вопрос о социализации сознательно и умышленно... Насущнейшие задачи, — «возврат на землю», ее заселение, увеличение наших продовольственных ресурсов, устранение жилищной нужды и уменьшение безработицы — не только не могли быть разрешены, но еще и не начаты разрешением. Вместо того, чтобы заниматься этими жизненно-необходимыми вещами, правительство занято чисто академическими вопросами и оставляет государство рушиться, погребая его под собою. Вместо обещанного порядка правительство привело нас к всеобщему хаосу, вместо успокоения мы переживаем ежедневно растущее брожение неудовлетворенных масс, — не говоря уже об обещанном хлебе, который превратился в бич голода... К этому присоединяется еще безостановочный рост спекуляции, ростовщичества и необеспеченности. Правительство бессильно стоит лицом с этими угрожающими гибелью явлениями» («Wege und Ziele der Sozialisierung (Referate u. Diskussionen)», Verl. Neues Vaterland, 1919).

С разных сторон и с разных точек зрения раздавались такие и подобные речи, и раздаются еще поныне. В них (68) можно встретиться часто с преувеличениями и с пересолами; но в основе факт констатирован правильно.

И пусть не возражают нам, что все это — голоса большевистствующих «ноябрьских социалистов», соответствующих в Германии русским «мартовским социалистам». Возьмем книгу «правого» с.-д. А. Мюллера «Sozialisierung oder Sozialismus?» и прочтем: «Характерно, что социалистическая литература почти совершенно не занималась вопросом, какие же мероприятия придется осуществлять, когда вторая часть Эрфуртской программы будет осуществлена,

государство демократизировано, рабочий класс делается дирижирующим классом общества и политические препятствия социализации будут устранены». Сомнения больше нет" Доля вины за создавшееся положение лежит на односторонности и незавершенности самого научного социализма. Его прикладная, творческая сторона отставала от абстрактной теоретической, откуда и жалобы на академичность, на безжизненность, на кабинетно-доктринерский характер социализма. Скрывать от себя действительного положения вещей не приходится. Проблемы конструктивного социализма, как общее правило, социализмом теоретическим, научным, и в особенности господствующей «ортодоксальной» школой, были едва затронуты. Несколько чаще и охотнее брались за них различного рода социалистические «еретики», не боявшиеся видимости возврата к постановкам проблем, обычных для социализма утопического. Конструктивный социализм, в центре интересов которого стоят вопросы социалистического строительства, сравнительно с научным должен представлять собою высшую и более синтетическую форму. Можно сказать так: утопический социализм был только творческим синтезом, не основанным на достаточном анализе, и потому принимал скорее поэтическую и фантастическую, чем научную форму; научный социализм был по преимуществу аналитическим, скупым на синтез, и потому легко перерождался в сухой догматизм; и лишь конструктивный социализм, устраняя слабые, гармонически примиряет сильные стороны обеих предыдущих фаз развития: он переходит к творческому научному синтезу.

Совершенно прав был, поэтому, один из главных инициаторов берлинской «конференции по социализации», Герман Бек, когда он так рисовал общее состояние «бездорожья», на котором застали социализм катастрофы послевоенных внутренних потрясений:

«Как в частности должен выглядеть социалистический порядок вещей — об этом научный социализм, и в особенности марксизм, нам умалчивает. Маркс и Энгельс, равно как и социалистические конгрессы, в этом пункте совершенно пасуют. Эрфуртская программа германской социал-демократии отбрасывает всякое упоминание о распределении продукта труда в будущем обществе, как утопическое фантазирование. Она ограничивается тем, что изображает по марксовскому образцу тенденции развития современного буржуазного общества, повторяя все его ошибки (полное уничтожение мелкого производства, прогрессирующее обнищание масс и т. п.), а затем выставляет пестрый каталог разных политических требований. Эти последние в существенном уже осуществлены ноябрьской революцией без того, чтобы мы хотя на шаг приблизились этим к социализму. И Каутский в своей книге о социальной революции вообще, и, специально, в ее второй части «На другой день после социальной революции», не находит нужным занять какую-либо определенную позицию в этом основном вопросе. Таким образом, лицом к лицу с современностью, мы видим следующее состояние социалистической теории и практики. Идет борьба с частной собственностью на орудия производства и с нетрудовым доходом во всех его формах; право на полный продукт труда пользуется общим признанием в его отрицательном значении, в смысле отрицания права на вычеты из него в виде процента на капитал и земельной ренты. Что же касается положительной сто-

роны вопроса о праве на полный продукт труда, а именно — в какой форме может каждый рабочий получить из общего производства благ столько стоимостей, сколько сам он создал своей работой, — то в этом смысле продолжается полная неопределенность позиции. Это, разумеется, стоит в связи с невероятными трудностями, которые возникают при попытке калькулирования меновой ценности продукта труда (напр., хотя бы при помощи часов труда) с устранением рынка, а, следовательно, и цен. Далее, социалистическая теория и политика доселе уклонялись от ясного ответа на вопрос, в какой именно конкретной форме должно быть проведено обобществление средств производства, необходимо ли совершенно отменить собственность на средства производства, или следует лишь отнять у этой собственности функцию присвоения прибыли предприятия, и каким именно способом сделать то или другое. Нигде не было также с достаточной основательностью изложено, нужно ли — в случае отмены собственности на средства производства — произвести обобществление в такой форме, что общество (в лице органов самоуправления или государства) само от себя пускает в ход производственные предприятия, или же предоставляет хозяйственное ведение их рабочим коллективам или даже отдельным предпринимателям, превращенным в общественных чиновников, как бы за их счет, но при законодательном нормировании распределения доходов. Если же такого законодательного нормирования не предполагается, — как это, например, имеет место в современных производительных товариществах или в собственном производстве при потребительных союзах, или же в обществах взаимного страхования) то совершенно ясно, что в конце концов дело сводится лишь к видоизменению капиталистических форм производства, при котором предпринимательская прибыль лишь распределяется между более широким кругом участников, но отнюдь не достается обществу в целом. Наконец, в виду громадной величины новых задач, которые должны перейти в руки общественных органов, получает колоссальную важность вопрос о способах выбора руководителей и вообще перераспределении функций политической власти»... («Wege und Ziele der Sozialisierung», s. 75-76).

Мы здесь бесконечно далеки от Бебеля, убеждавшего рейхстаг, будто благодаря капиталистической концентрации все дело социалистического переустройства будет для пролетариата «просто детской игрой». Ясно, что подобные утверждения сами принадлежат к эпохе детства социализма.

И в своей последней книге — «Пролетарская революция и ее программа» — Карл Каутский должен был взять совершенно иной, новый тон. «Таким образом — говорит он, — создание социалистической организации хозяйства совсем не так просто, как это казалось нам в прежние времена, когда проблема эта еще не стояла перед нами так близко. В каком виде и как должна быть создана эта организация — вот вопрос, который больше всего занимает сейчас теоретиков и наиболее дальновидных практиков социализма... Для руководящих умов социализма... как раз самое время теперь со всею энергией взяться за эту работу. Первое место в этой работе должно принадлежать тем, кто обладает выдающимися организаторскими способностями, или, вернее сказать, тем, кто вместе с организаторским талантом соединяет и большие теоретические спо-

собности и знания».

Зияющий пробел в идеологии современного социализма признан, таким образом, самым главою «научной» или, вернее, догматической школы. Этот пробел должен быть заполнен. Эра конструктивного или организационного социализма приветствуется выдающимися представителями, ветеранами предшествующего, уходящего в вечность периода: «morituri te salutant».

Отныне нет более надобности уподобляться страусам, прячущим голову под крыло. Предсказания врагов социализма, что день победы последнего будет и днем его поражения, к несчастью, до известной степени сбылись. Но враги социализма полагали, что так будет вследствие принципиальной неразрешимости тех задач, которые ставит перед собою социализм. Все наше изложение имеет целью показать, что причина гораздо проще: незавершенность, однобокость прежнего, довоенного социализма.

Один из самых искренних и вдумчивых социал-демократических писателей, вышедших из школы Каутского, Генрих Штребель, открыто признает, что не без основания «враги социализма не мало насмехались над тем замешательством, в которое впал немецкий социализм, когда после своей политической победы он оказался таким беспомощным лицом к лицу с хозяйственными потребностями. В момент, когда социалистическому пролетариату свалилась прямо в руки политическая власть, — вожди его ни на минуту не могли придти к единогласию в вопросе о том, какими мерами необходимо приняться за систематическое прогрессивное преобразование существующего способа производства. Все прекрасно знали конечную цель социализма и надлежащее направление хозяйственного развития, но господствовали полная неясность относительно предстоящих этапов и относительно частных социализаторского плана». Не один русский человек оказывается задним умом крепок: тоже произошло и с «образцовым» социализмом Европы — немецким социализмом. «Со времени революции роковым оказалось для него то обстоятельство, что до тех пор он слишком мало занимался вопросом, какие переходные экономические меры надо принять после завоевания политической власти». И как ни близок духовно Штребелю «виднейший социал-демократический теоретик живущего поколения Карл Каутский», и его он считает не совсем свободным от упрека. «Несмотря на то, что Каутский высказал очень заслуживающие внимания соображения о том, что должно произойти «на второй день после революции», — однако все же и он недооценил необходимость иметь на всякий случай наготове хотя бы по крайней мере в основных линиях твердо очерченный экономический операционный план и основательно ориентировать в нем по крайней мере хоть высший генеральный штаб партии».

Упрек этот должен был больно задеть Каутского. Косвенный ответ на него был им дан в «Пролетарской революции», в словах, что для решения новых задач нужны и новые люди, ибо проблемы организационного социализма для своего решения требуют счастливого сочетания глубокой теоретической подготовки с творческим, комбинаторским талантом прирожденного организатора. «Среди нас, стариков, такое сочетание встречается редко, — о себе лично я должен признать, что не обладаю никакими организаторскими способностями».

ми...»

Та замечательная скромность, с которой заслуженный ветеран пережитой эпохи социализма сторонится перед идущими на смену людьми нового социалистического поколения, способна обезоружить самого придиричивого критика. К словам Каутского можно лишь прибавить одно. Вовсе не случайность, что среди «стариков» такую редкостью является сочетание большого багажа объективных познаний с духом творческого социального синтеза. Не в том беда, что кончающее свою жизненную стезю поколение было обделено природными данными; и не в том спасение, что новое поколение окажется почему-то более одаренным. Беда в том, что общий дух эпохи атрофировал у старого поколения позывы к творческому социальному синтезу и гипертрофировал преклонение перед выяснением «естественных тенденций органического развития» для того, чтобы по ним держать свой политический курс. И отголоском этого духа времени является другой косвенный ответ Каутского на Штребелевский упрек — ответ менее персонального характера. И насколько первый ответ заставляет смолкнуть все возражения, настолько второй способен их вызывать.

«Неоднократно — говорит Каутский — делали нам упрек в том, что мы слишком поздно приступили к нашим исследованиям, что мы должны были явиться с ними раньше: тогда исход революции был бы иным. Но я уже отметил, что без опыта революции мы не могли бы даже поставить на обсуждение этого вопроса в достаточно определенной форме: не могли ведь мы предвидеть, когда и при каких условиях мы придем к власти».

В первом томе «Капитала» Маркс с тонкой иронией говорит о «самопроизвольно слагавшихся буржуазных формах общественного хозяйства»: «В начале было дело. Следовательно, люди действовали прежде, нежели начали мыслить».

Прямо под эту иронию подпадает утверждение, что без опыта революции нельзя было и поставить конкретно вопроса о конструктивной проблеме революции.

Конечно, когда и при каких условиях социализм придет к власти — в деталях предвидеть было нельзя. Однако, можно и должно различать между необходимыми условиями его прихода к власти, — вытекающими из самого понятия об этом приходе, как исторически обусловленном событии, — и между побочными, посторонними, так называемыми «случайными» условиями, которые могли быть, могли и не быть, которые представляют особенность той или иной отдельной страны, или обусловлены простым совпадением разных причинных рядов во времени.

Карл Каутский это сам прекрасно понимал, когда в своей работе «На второй день после социальной революции» впервые признал невозможность обойтись без предварительного исследования «проблем, которые могут встать перед нами после завоевания политической власти». Он понимал, что в этом предварительном обследовании «необходимо отвлечься от всех усложняющих обстоятельств и исследовать интересующие нас проблемы в их простейшей форме, в какой они в действительности никогда не предстанут перед нами». Это не беда: изучение действительности всегда предполагает предварительное упроще-

ние ее; это упрощение достигается либо путем умственного абстрагирования, как в математике, с ее идеальными «точками» и «линиями», которые не занимают в пространстве ровно никакого места и в природе не существуют, или как в политической экономии, с ее «классически-чистыми» проявлениями конкуренции, обмена и т. п.; либо путем искусственной изоляции веществ и их взаимодействий, как в колбах и ретортах химиков. Лишь познание простейших случаев является путем к ориентации в случаях сложных, где действуют разные сторонние возмущающие влияния. Но именно поэтому и нельзя ссылаться на неизбежность в жизни этих непредвиденных возмущающих влияний, как на оправдание в том, что с изучением проблемы ждали до того момента, когда практика выяснит, с какими именно из этих случайных посторонних осложнений придется столкнуться.

Для Германии главным осложняющим влиянием было ускорение прихода пролетариата к власти событиями всемирной войны. Но и это «главное» не может считаться совершенно непредвиденным. Как с одной из возможностей, с ней считался еще Энгельс, нарисовавший на этот случай самый общий абрис соответствующих изменений в тактике политической борьбы. И никто в его выкладках не видел «авантюризма мысли», поскольку он не вдавался в невозможную практически детализацию, поскольку он не терял чувства меры в различении общего и основного от подробностей, в которых может быть бесчисленное множество вариантов или разночтений истории. При соблюдении такого же чувства меры рассмотрение «тактики созидания» было столь же возможно, как и рассмотрение «тактики борьбы за возможность этого созидания».

Не более основательна и дальнейшая защита Каутским антиконструктивизма в довоенном социализме. «В действительности — говорит он — мы совсем не опоздали. В Германии, правда, мы имели зимою 1918 — 1919 года в течение нескольких месяцев чисто-социалистическое правительство. Но германский пролетариат обнаружил в это время свою незрелость тем, что не нашел более разумного дела, как заняться кровавой междоусобицей. Мы имели три социалистических партий, яростно боровшихся друг с другом. Всякий беспристрастный человек должен признать, что у такого пролетариата не могло быть ни сил, ни способностей успешно проводить социализацию».

Этот жестокий, уничтожающий отзыв о германском пролетариате снимает с очереди вопрос об ответственности теоретиков немецкого социализма, застигнутых врасплох событиями. И снимает его совершенно несправедливо. Да, германские рабочие в момент революции раскололись. Но в чем заключался первоисточник раскола? В своей книге о германской революции такой умеренный социалист, как Эдуард Бернштейн, говорит: «Рабочие требовали — и субъективно были вправе требовать — чтобы было немедленно преступлено к осуществлению социализма». А между тем этому «тезису» из руководящих сфер был противопоставлен антитезис: «воздерживаться от всяких необдуманных шагов в области изменения народного хозяйства в целом». «Что касается социализации в узком смысле этого слова, — продолжает Бернштейн, — то отдельные мероприятия в этой области необходимо было тщательно обдумать и разработать, чтобы получить желаемое действие».

В том то и беда, что для германской социал-демократии переход к творческой работе оказался прыжком в неизвестное, на который она шла лишь под давлением революционной стихии. Доклад большинства специальной комиссии по социализации так и гласил: «большинство полагает, что возврат к капиталистической системе производства, которая бесспорно в состоянии была бы дать выдающиеся результаты в техническом и организационном отношении, невозможен по психологическим соображениям. Настроение рабочего класса таково, что никому не может придти в голову поставить его вновь под иго капитализма».

Эту разницу в психологии масс и вождей имел смелость резко формулировать на одном из майских собраний 1919 года Шейдеман: «Есть не мало людей, недовольных правительством... Но и мы недовольны народом».

Народ, нетерпеливый и требовательный, мешал спокойно «обдумывать и разрабатывать».

Вот этого-то, естественно, и не могла понять значительная часть массы. Для чего же и были ей нужны лидеры, идеологи, теоретики, как не для того, чтобы предварительно все «обдумать и разработать». Не обещал ли, к тому же, Бебель, что в момент прихода к власти социал-демократы «ни секунды не будут в сомнении, как наилучшим образом все сделать»? Не говорил ли он критикам с самым победоносным видом: «Уж над этим-то нам не нужно будет ломать головы. Это предоставьте нам». Не восклицал ли он: «Все дело будет просто детской игрой».

После этого если чему-нибудь и надо удивляться, так только разве тому, что массы не пошли, как один человек, за демагогами, которые объявили старых вождей, выдавших такие векселя и не смогших заплатить по ним, — злыми банкротами и социал-предателями. Лишь меньшинство рабочих пошло этим путем, — но прав Бернштейн, когда говорит, что «во времена всеобщего брожения нет ничего опаснее недооценки значения меньшинства, апеллирующего к народным страстям», ибо в такие времена «рассудительные элементы, вследствие свойственной им большей пассивности» уступают тем, «страстность которых придает им больше активности, и которые способны проявить силу напора, далеко превосходящую их численное значение».

Между теми, кто послушно и рассудительно готов был ждать, пока старые лидеры успеют «обдумать и разработать» свою социализаторскую программу, и теми, кто объявил их за это изменниками рабочему классу, не могло не образоваться и срединной группы, пытавшейся балансировать между обоими и внешним давлением преодолеть социализаторское кунктаторство верхов. Тем самым и были даны «три партии, яростно боровшиеся друг с другом». Но не потому нельзя было осуществить разумный социализаторский план, что этому мешал разнобой трех партий, а разнобой трех партий явился в результате того, что события застали германскую социал-демократию врасплох, без плана, без знания пути, которым она пойдет. А растерявшаяся пред натиском событий партия не может не потерять и своего единства, — что, в свою очередь, может лишь усугубить первоначальную растерянность...

И если Каутский совершенно прав, что «меры переходного времени к со-

циализму должны быть теперь включены в программу, ибо ныне нам уже больше не приходится довольствоваться в этом пункте смутными предположениями», то он был бы еще более прав, если бы к этому прибавил: «Лучше поздно, чем никогда».

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### Конструктивные искания синдикализма

Конструктивное бессилие социал-демократической мысли довоенного периода привело к целому ряду новых исканий и к формированию в недрах социализма новых идейных течений. «Природа не терпит пустоты». Постановка и разрешение конструктивной проблемы вызвали к жизни пять новых течений: революционный синдикализм, максимализм, большевистский коммунизм, гильдеизм и революционный социализм.

Революционный синдикализм ставит в центре своего решения конструктивной проблемы положение, что профессиональные синдикаты являются, в пределах современного общества, зародышем будущего общества. Более того, синдикат должен «создать в самом себе скелет будущего общества». (Энрико Леоне).

Революционный синдикализм зародился впервые в лоне «Федерации бирж труда», и его духовным праотцем надо считать Фернанда Пеллутье, человека с довольно ярко выраженным анархистским уклоном мысли. На Турском конгрессе этой федерации, в 1896 году, в особом докладе о роли бирж труда в будущем обществе, была установлена в основных чертах следующая схема воззрений: синдикаты, и в особенности их локальные средоточия, биржи труда, должны смотреть на себя, как на ячейки, из которых сложится новый общественный организм; в их руках постепенно сосредоточится все, что имеет отношение к производству и потреблению; они будут центром жизни экономической и социальной; государственные органы-паразиты будут вытеснены полезными институтами, созданными рабочими учреждениями самостоятельно, собственными силами, вне традиционных политических форм. Пока синдикаты должны осознать эту свою роль, готовиться к будущей миссии, теперь же, по мере возможности, образуя своего рода «государство в государстве».

Этот основной мотив долго варьировался и разрабатывался на все лады в сочинениях теоретиков синдикализма. Ж. Сорель, еще в ранней своей брошюре «L'avenir socialiste des syndicats» (когда он еще был близок к тред-юнионизму) высказывался последовательно за приурочение к синдикатам и всевозможных касс взаимопомощи, и рабочих образовательных учреждений, и кооперативных предприятий; он набрасывал затем возможные принципы перехода в руки синдикатов различных видов страхования рабочих, дела воспитательного и образовательного, даже дела упорядочения, урегулирования семейной жизни рабочего, в видах защиты жены и ребенка, и давал понять, что способность синдикатов концентрировать вокруг себя все, необходимое рабочему, едва ли не бес-

предельна; и что зависимость всех этих учреждений именно от синдикатов есть единственная гарантия их функционирования в интересах пролетариата.

Почему? А потому, вторил ему Лагардель, что синдикат «является единственной рабочей организацией, свойственной исключительно рабочему классу, созданной им самим для своих нужд и целей. Всякий класс на пути к эмансипации создает свои собственные органы. Буржуазия группировалась вначале в коммунах и затем, позже, в парламенте — то были орудия ее классовой деятельности. В свою очередь и в противоположность административному и парламентскому государству, рабочий класс образовывал, по мере своего развития, органы, приспособленные к его классовой борьбе: синдикаты, федерации синдикатов, биржи труда». Ему вторил Эмиль Пуже: «Так как синдикат есть единственная группировка, которая вполне и постоянно освещает антагонизм интересов, демонстрируя распадение общества на два класса, разделенные и несогласимые, — то синдикат является существенной, основной группировкой, ассоциацией *par excellence*; ему должно принадлежать первенствующее место среди всех других видов и родов человеческих агломераций; все должны быть ему подчинены, ибо если среди них и есть весьма полезные, то лишь он один безусловно необходим».

Итак, синдикат — конкурент государства, который должен стремиться, по выражению Сореля, опорожнить это учреждение от его полезных для рабочих функций; формула рабочего движения — «лишать государство его функций в целях укрепления мощи профессионального синдиката». Поэтому, «для рабочих революция есть нечто совсем другое, чем победа партии; это — эмансипация производителей, освободившихся от всякой политической опеки; это — разложение власти, организация общественных отношений вне управления не работников».

Лагардель, подхватывая слова старых синдикалистов о «государстве в государстве», говорил: «прогресс этого государства в государстве ознаменовывается расширением его функций и его учреждений в ущерб функциям и учреждениям буржуазного мира. Таким образом, рабочая организация, отнимая от буржуазного государства все, что есть в нем полезного, будет расти до тех пор, пока, сделавшись достаточно сильной, она не вытеснит окончательно старых форм, заместив их новыми, которые она несет в себе. По мере того, как политический строй дезорганизуется, экономический все больше совершенствуется и организуется» (синдикат у Лагарделя представляет «экономику», государство — «политику»; их борьба есть борьба общественности против государственности). Итак, лозунг синдикализма — «присвоить синдикатам, являющимся органами рабочего движения, все функции, касающиеся рабочего мира, отобрав их у государства». По мнению Лабриола, «синдикальные комиссии прекрасно справлялись бы и с задачами не тесно-экономического характера (напр., гигиеной, путями сообщения, разного рода общественными службами и т. д.). Так мы считаем гипотетически возможным для синдикатов поглотить государственную власть». Пытаясь глубже обосновать эту тактику синдикализма, Лабриола пробовал даже доказать, что и всякая революционная тактика, и всякий революционный процесс в истории «состоят в образовании нового организма

или целой серии организмов, которые, отличаясь от существующих раньше, должны стремиться к поглощению всех функций или же отдельных частей функций, какие только удастся оторвать от легального организма государственного строя («Реформизм и синдикализм», с. 191).

В этом смысле «характер всех синдикальных организмов с самого начала — антигосударственен» (Леоне). В своей статье «La Confederation generale du travail» (Pages libres, 1903 г. от 14 февраля) Пуже ставит все точки над «i», когда говорит: «В то время, как рабочий класс, организованный по специальным клеточкам, которыми являются синдикаты, завладеет орудиями производства, — синдикалисты, в своей язвоработной работе, возьмут на себя уничтожение и разрушение очагов старого общества — государства и муниципалитетов. С той поры основными центрами новой жизни явятся биржи труда и корпоративные федерации. К этим-то органам и перейдут те немногие полезные функции, которые в настоящее время находятся в ведении общественной власти». «Так воздвигается целое, отвечающее всем разнообразным потребностям и стремлениям пролетариата».

Такова в своей основе концепция революционного синдикализма. Она обладала, сравнительно с обычной догмой довоенного социализма, на первый взгляд, некоторыми очень существенными преимуществами.

Во-первых, она казалась совершенно свободной от всякого налета оптимистического фатализма. Капитализм не был в ее глазах каким-то необыкновенно услужливым по отношению к социализму предтечей его. Элемент творческого активизма самих рабочих масс был подчеркнут, наоборот, гораздо сильнее. Энрико Леоне с чувством нравственной удовлетворенности замечал, что для новой теории «вопрос о реализации социализма» решается «уже не при посредстве внешних элементов капитализма и современной промышленной среды, а, наоборот, при помощи внутренних элементов того органа растущей социализации труда, который ныне олицетворяется в рабочем синдикате». Иными словами, «экономические условия, необходимые для осуществления социализма, мы извлекаем не из степени концентрации капиталов, а из полноты развития и из способностей рабочего синдиката». Еще общее вопрос о неосновательности той «веры в автоматизм и фатальность социального прогресса», которая проскакивает постоянно в экономическом материализме, и которая, понятая *a la lettre*, была бы равносильна отрицанию «всякого преднамеренного и сознательного воздействия на общественную организацию», ставил А. Лабриола. Вообще синдикалисты на все лады старались доказать, что глубже понятый или исправленный экономический материализм «не должен противоречить волюнтарному характеру социализма», не должен превращаться в «объективно-технический фатализм уничтожения капитализма». Иначе мы превратили бы Маркса из «Мавра» — как шутливо звали его друзья — в какого-то «бледнолицего блондина», а его доктрину — «в безвредное пророчество дальнейшего течения общественного процесса — самопожирающего капитализма, который-де автоматически будет раздавлен самим развитием собственных сил». Революционный синдикализм отрицал, чтобы вся роль пролетариата сводилась к какому-то содействию «этому таинственному акту скрытого самоубийства»;

нет, борющийся пролетариат есть «субъект социализма, творец нового общества» в полном и высшем смысле этого слова; социализм же «не есть простой результат внешнего развития социальной жизни и чисто-промышленного производства, а продукт классового действия»; и притом именно творчески-созидательного действия.

Во-вторых, максимальная программа или идеал социализма и его Action-programm в новом движении связывались между собою гораздо более тесно и непосредственно. Дуализм максимальной и минимальной программы как бы исчезал. Вся тактика современных синдикатов диктовалась и направлялась, как прямое осуществление идеала, как непосредственное творчество учреждений, совокупность которых и образует синдикалистское «государство будущего», как только их развитие «опорожнит» современное государство от позитивных, нужных рабочим функций, как только это государство превратится в скорлупу от выеденного историей яйца, — скорлупу, которую без всякого ущерба можно будет раздавить и выбросить за борт. Потому-то синдикалисты и называли гордо свой социализм новым социализмом, социализмом организационным, творческим — «социализмом учреждений», в отличие от «парламентского социализма», социализма абстрактных догм и красивых речей.

«Le syndicalisme se suffit a lui meme». Синдикализм сам себе доволен; он — истинная, адекватная форма движения рабочего класса в целях его социальной эмансипации; он не нуждается ни в каких посторонних ему формах движения и организации. Так учили теоретики синдикализма. Спрашивается: может ли синдикализм объявить совершенно излишними и ненужными все другие формы организации и борьбы? Может ли он претендовать на монополию в деле воплощения в жизнь программы труда?

Наиболее видные и последовательные сторонники синдикализма, несомненно, претендовали на это. Но с самого начала они встречались при этом с камнем преткновения в виде деревни. Может ли синдикализм перекинуться и в область земледелия? Если может, то как? Какие он должен принять формы на сельскохозяйственной арене? Кого он там должен организовать, охватить: только ли сельскохозяйственных наемных рабочих, или также самостоятельных крестьян-земледельцев?

Для праотца романского синдикализма, Фернанда Пеллутье, вопрос решался довольно просто. Как анархист и уже поэтому совершенно свободный от марксистской догмы человек, он не только признавал огромное значение социалистической работы в крестьянстве, но даже полагал, что трудовые земледельцы некоторыми чертами психологии более промышленных рабочих подготовлены к коммунизму, хотя в других отношениях, особенно в подвижности и быстроте восприимчивости, уступают им.

Эту крестьянофильскую струю идей в синдикализме пробовал продолжать Жорж Сорель (в ст. «Agriculture et Economie», Revue Socialiste 1901 г., в предисловии к книге Гатти «Socialisme et la question agraire», а также в «Introduction a l'economie moderne»). Он набросал целый ряд весьма своеобразных (частью, впрочем, и прудонистских) идей. Он обвинял ортодоксальный социализм в слишком долгом игнорировании крестьянства и сельскохозяйственной

экономии вообще, вследствие которого в этой области ему затем пришлось открывать настоящие Америки. Он предлагал «отказаться от метода, которого придерживаются почти все социалистические писатели, пренебрегающие земледелием и занимающиеся крупными фабриками». Он обращал внимание на переворот в земледелии, вошедшем в связь с наукой, но предлагал не забывать, что прогресс земледелия имеет свою осью не машинизм и не концентрацию, как в индустрии: «когда в наше время говорят об интенсивной культуре, нужно прежде всего помнить о биологическом производстве, представляющем крайнее разнообразие и своеобразие, почему аналогии с фабриками становятся очень отдаленными». По всем этим причинам сельскому хозяйству будет принадлежать новая и важная роль, и нельзя «убаюкивать себя верой, что рабочие столиц имеют своего рода историко-экономическую миссию, а именно призваны посвятить сельского рабочего в тайны общечеловеческой идеи». Он принял даже апологию крестьянина, как социологического типа, как «истинного работника», интересующегося своим трудом, любящего тщательно, артистически исполненную работу, влюбленного в свое поле, гордящегося хорошим состоянием посева, рабочего скота и т. п. и стремящегося сделаться независимой силой. Он обращал особенное внимание на вытекающее из своеобразных производственных позиций крестьянина правосознание, на его удивительную устойчивость и своеобразную гармоничность. «Нет ничего более глубокого в социальной науке, как познание этого народного правового сознания; оно сохраняется с упорством поистине замечательным даже тогда, когда обстоятельства, его породившие, уже исчезли; оно лишь в конце своего развития приобретает то, что для наблюдателя представляется в нем наиболее характерным. Часто говорят, что оно обусловлено расой. Но ясно, что эта сила не в одинаковой мере присуща разным классам: правовое сознание тем более сильно, чем больше жизнь человека сконцентрирована вокруг труда... Это правосознание очень сильно в деревне». Он придавал особенное значение сельскохозяйственной кооперации, подчеркивая ее связь с античной ассоциацией-маркой (общиной). Кооперация, на его взгляд, несомненно, «влияет в направлении к социализму», и социалистам «следует пойти в деревню, а не в город, чтобы найти данные, способные выяснить все значение ассоциаций». «Земледельческая ассоциация — по его мнению — есть ассоциация *par excellence*, такая, в которой всего полнее осуществляется понятие, выражаемое этим словом»: прочное единство интересов в ней «скрепляется могучей территориальной связью, и общая деятельность руководится не внешней волей капитализма, а естественной координацией воли снизу».

Такова эта любопытная серия мыслей, которая могла бы служить исходной точкой для попытки превратить односторонний индустриоцентрический социализм в интегральный и синтетический. Но она вывела бы синдикализм из его замкнуто-самодовлеющего бытия. Она должна была бы привести к объединению по крайней мере двух течений: синдикальной эволюции в индустрии с кооперативной эволюцией в сельском хозяйстве. Это уже был бы не самодовлеющий синдикализм, а некий рабоче-крестьянский синдикало-кооперативный федерализм (его пробовали развивать лет пятнадцать спустя молодые теорети-

ки так называемых «левых социалистов-революционеров» (Чижиков и др.). С другой стороны, «открытие» Сорелем народно-трудового права (обычного права), могло бы получить немалое значение при критике буржуазного права разработке вопроса о юридической формулировке социализма; но Сорель совершенно догматически стоял всегда на той точке зрения, что социализм не нуждается в юридическом обосновании, и что «так называемый юридический социализм» есть не что иное, как поворот к утопизму и прямая измена материалистическому объективизму Маркса. И вот почему все эти интересные мысли остались отрывочными проблесками без дальнейших серьезных последствий. С фрагментарным по природе умом Сореля это бывало нередко.

Что касается учеников Сореля, то в них эта часть размышлений учителя нашла менее всего отголосков. Достаточно было просмотреть хотя бы главу о «Синдикалистской политике и крестьянах» в последней большой книжке Губерта Лагарделя «Рабочий социализм» (Hubert Lagardelle. „La Socialisme ouvrier", Paris 1911. p, 401 - 420). Он беспомощно бьется в кругу все тех же многосложных идей: — «Социализм всегда появляется, как порождение мира индустриального»... «Социализм во всем том, что в нем есть самого существенного, связан с крупной индустрией»... «Среда, существенно производительная по отношению к социалистическим идеям, есть индустриальная среда»... Что же касается крестьянина, который «подобно растению, всеми своими корнями внедряется в землю», то «мы только путем самообмана можем питать надежды на чисто-социалистические настроения с его стороны»; по-видимому, между ним и рабочим индустрии существует «абсолютный внутренний антагонизм»; и тот факт, что крестьяне не уничтожаются естественным ходом развития, и даже обретают в нем неожиданные источники новой жизненности, как будто загоняют социализм в деревне «в тупик»...

Огромное большинство синдикалистов в этом вопросе являлись не только марксистами, но даже и сверхмарксистами. Они буквально дрожали за его пролетарскую чистоту, — так дрожали, что из профессиональных синдикатов хотели бы сделать что-то вроде герметически закупоренных оранжерей, оберегающих рабочего от всяких «сторонних», внешних влияний. «Социализм — писал Лабриола — может быть охранен от окружающих его опасностей лишь путем возвращения его к его рабочей базе — пролетарскому первоисточнику, из которого он вышел». Синдикат, говорил Леоне, «являясь лагерем строго замкнутой жизни, охраняет свои кадры и свое внутреннее бытие от проникновения и воздействия всяких неоднородных элементов». Лагардель даже старую социал-демократию, нередко страдавшую прямою крестьянофобией, ухитрился обвинять в том, что она «на деле стала не исключительно рабочей партией, а партией народной, обращаясь сразу ко всем, тоже несомненно угнетенным, но имеющим радикально противоположные интересы классам». Лабриола объявлял абсурдом всякую концепцию социальной революции, которая не видит в наемном рабочем исключительного рычага последней, и сетовал на то, что в Италии индустриальный пролетариат должен был взять на себя «неестественную миссию воспитателя и организатора низших слоев народа с большим ущербом для характера движения».

Сделав для социализма заповедью «расширяться исключительно за счет одного только рабочего класса» и сузив до последней возможности понятие о нем, Леоне заявлял открыто: «синдикализм всячески, я бы сказал, даже усложняет представление о росте социализма путем призыва его к исключительно пролетарскому источнику».

Эдуард Берг побивал в этом отношении все рекорды, в самом пролетариате признавая «настоящим» лишь сверхпролетариат верхушек индустрии; до трудящихся и эксплуатируемых, не вываренных или недостаточно вываренных в фабричном котле, ему нет никакого дела; их недовольство, их брожение не интересно: «это — протест классов внекапиталистических; капитализмом потрясена их жизнь, разрушены обычаи, скомканы и уничтожены самые глубокие и самые прочно въевшиеся человеческие чувства. Синдикализм смотрит на себя, как на прямого наследника капитализма, восхищается могуществом его творчества и далеко не чувствует к нему того отвращения, какое испытывает дикарь: и, конечно, мелкий ремесленник, крестьянин, и, я без колебания прибавлю, светский человек являются такими дикарями».

И если первоначально синдикализм пытался как-то отгородиться от фаталистического преклонения перед капитализмом, от безудержно-оптимистического размалевывания его «социально-педагогических» заслуг, то в лице Берга он далеко оставил за собою все, что только было по этому поводу сказано наиболее плоскими вульгаризаторами марксовских положений об исторической миссии капитализма. Эдуард Берг поет восторженные гимны капитализму, «этому дивному чародею, сумевшему, благодаря отваге, соединенной с индивидуальной инициативой и сотрудничеством, вызвать из недр социального труда спавшую там бесконечность производительных сил человечества». Захлебываясь от славословия, Берг «восхищается могуществом его творчества»: «его железной дисциплиной рабочие массы были вырваны из своей первобытной лени и индивидуалистического анархизма и сделались способными к производительному, все совершенствующемуся труду». И по этому поводу он охотно философствует на ту тему, что цивилизация началась и должна была начаться с принуждения; такое принуждение было полезным, благодетельным, творческим», и если теперь мы можем надеяться на режим свободный, то лишь благодаря тому режиму принуждения, который дисциплинировал человечество и постепенно сделал его способным возвыситься до свободного, добровольного труда».

Невольно вспоминается пушкинская эпиграмма на одного историка старой школы:

В его истории изящность, простота  
Доказывают нам без всякого пристрастья  
Необходимость самовластья  
И прелести кнута.

Берг, по-видимому, никогда и не задавался вопросом — не эта ли самая «благодетельная» принудительность, подневольность труда возбудила к нему отвращение и сделала его в сознании человечества как бы наказанием Божиим, порою за какие то грехи прародителей, не она ли привела к тому, что кризис

капиталистической дисциплины в новое время стал угрозой существованию трудовой дисциплины вообще. Берт вряд ли понял бы крестьянского поэта, когда он говорит: «Весело я лажу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю... весело на пашне». Берт так впитал в себя «чародейный» дух буржуазной культуры, что готов щеголять даже теорией, выставляющей человечество в качестве прирожденного коллективного лентяя и эгоиста, которого только бич укротителя зверей-капитализма выдрессировывает в обученное социальное животное. «Капитализм был жестоким воспитателем — вспоминает Берт — но возможно ли воспитание без некоторой суровости? возможно ли без строгой, и, пожалуй, жестокой дисциплины победить присущие человеку леность и нежелание повиноваться?» Правда, современная педагогика порывает с традициями «суровости», правда, говорят, что ныне даже лучшие мастера дрессировки животных бросают веру в универсальную силу бича и каленого железа, и «жестокость» заменяют заботливым уходом и лаской, способной возбудить инстинкты добровольного подражания и соревнования в выучке; но что до этого Берту, который вспоминает, что еще Гегель открыл великую истину: «повиновение есть школа командования». Это избитая казарменная пропись, этот плоский афоризм, во вкусе Драгомирова, Людендорфа или Кастельно, должен окончательно укрепить социалистов в той истине, что нет света, кроме как в капиталистическом окошке, и нет входа в социалистический элизиум иначе, как через капиталистическое чистилище.

Так глохли новые конструктивные искания синдикализма в тупиках еще более утрированного догматического сектантства.

Посмотрим теперь, насколько силен оказался синдикализм в разрешении конструктивных задач, хотя бы лишь в узких пределах фабричных центров и их населения.

Вырастить все «государство будущего» из синдиката, как из его эмбриона, нельзя, не решивши одной существенно важной проблемы.

Синдикат есть соединение частноправового характера. В него входят и в нем остаются добровольно. Выход из него всегда свободен. Его решения имеют лишь морально-принудительную силу. При разногласиях внутри ничто не может помешать его распаду на два конкурирующих синдиката. Всякие высшие сочетания синдикатов также имеют значение лишь свободного соглашения. Дисциплина в пределах всей «конфедерации» крайне слабая. Не говоря уже о возможности для отдельного синдиката выйти из состава конфедерации, он может и в ее пределах довольно свободно практиковать свою собственную политику. Конфедеральный центр не располагает никакими средствами принудить отдельный синдикат действовать в определенном духе. Наконец, может существовать и два конкурирующих друг с другом конфедеральных центра.

Государство и его функции носят, напротив, публично-правовой характер. Член государства имеет по отношению к нему определенные субъективно-публичные права, в процессе истории растущие и умножающиеся. Каждому индивидуальному праву противостоит обязанность государства. Если право индивидуума нарушено, он в защиту его может «привести в движение правопорядок». Со своей стороны, государство, чтобы быть в состоянии обеспечить

права лиц, располагает, в определенных пределах, принудительной властью над лицами. Индивидуум имеет не только права, но и обязанности по отношению к целому; государство располагает организованной силой, посредством которой может понуждать гражданина неуклонно выполнять эти обязанности. Мы не касаемся здесь вопроса о том, как выполняет государство эти свои функции, каким и чьим правам оно фактически служит или не служит. Мы берем лишь юридическую природу государства и берем тот факт, что некоторые его функции (много их или мало — все равно) являются положительными, т. е. полезными и необходимыми культурными функциями.

Теперь спрашивается, каким образом синдикат может перенять постепенно все эти функции государства, если юридическая природа государства и юридическая природа синдиката теперь прямо противоположны? Перейдя к синдикату, выйдут ли эти функции из области публичного права, утратят ли свой обязательный характер, превратятся ли они в простые предприятия частной инициативы? Или синдикат, переняв их, перестанет быть частнопроводным учреждением, а превратится в учреждение публично-правовое, связанное со всем национальным целым определенными положительными обязанностями и правами, регулирующими в законодательном порядке?

Вот основной вопрос — и решение его может быть дано в двух противоположных направлениях. В первом случае, синдикальная революция, захват синдикатами средств производства будет непосредственным и немедленным осуществлением анархического строя общежития. Во втором, — синдикальная организация явится скелетом нового государственно-правового строя, получит принудительную власть над своими членами, охватит принудительно в своих недрах все население. Это будет новый корпоративно-экстерриториальный тип государственного управления.

Как же отвечали на этот вопрос синдикалисты? Да, в сущности, никак. Они его даже и не ставили. Это ведь вопрос о юридической стороне социализма. А когда Менгер заговорил о «юридическом нигилизме», о беззаботности по отношению к правовым формулировкам, как о пробелах социалистического мирозерцания, — Сорель ответил, что это не пробел или недостаток, а напротив — «огромная заслуга» (sic) Маркса. «Если хоть в малой степени принимать принципы исторического материализма, то в подобном предприятии нельзя увидеть ничего, кроме сплетения софизмов». Право лишь идеологическая надстройка, и самостоятельная чисто-юридическая критика или построение чисто-юридической положительной системы есть фантом. «Всякий автор, который займется юридической критикой собственности, должен совершенно отказаться от марксистской системы»... «Марксистский метод, безусловно, осуждает все фантазии такого рода».

Это значило — перепрыгнуть через вопрос и оставить его в темноте. Игнорируя юридический анализ разрастания будущего общества из синдикатов, синдикалисты признавали лишь объективно-исторический метод доказательств. Они полагали, что за них говорят исторические аналогии. Они считали отцом этих аналогий самого Маркса, который в 1866 г. через генеральный совет Интернационала внес на рассмотрение Женевского международного конгресса ре-

золюцию о роли профессиональных союзов (на немецком языке целиком опубликована впервые в «Neue Zeit» XXIV, II, 873-874). В этой резолюции, после определения значения этих союзов в рамках буржуазного строя, говорится: «С другой стороны, профессиональные союзы, даже помимо собственного сознания, сделались центрами организации рабочего класса, подобно тому, как средневековые коммуны и муниципалитеты сделались ими для буржуазии. Если профессиональные союзы необходимы для повседневных партизанских стычек, происходящих между капиталом и трудом, то они еще важнее, как организованные средства ускорить уничтожение самой системы наемного труда. Отвлекаясь от своих первоначальных целей, профессиональные союзы должны научиться совершенно сознательно действовать, в качестве центральных фокусов организации рабочего класса, в интересах великой цели — его полной эмансипации».

Синдикалисты обеими руками ухватились за эту аналогию. Они полагали, что только их построение и отвечает духу этой важной мысли, брошенной Марксом. Как буржуазия не могла бы для своей эмансипации использовать феодальных учреждений, ибо это была бы пустая трата сил — «нового вина не вливают в старые меха» — так и пролетариату нельзя использовать для своей эмансипации классовых органов буржуазии (парламента, политической демократии), но надо создать такие свои органы, которыми он «порывает с капиталистическим государством», а не «прирастает» к нему.

Правда, буржуазия росла и укреплялась в коммунах. Правда, что с самого начала внутри этих коммун она создавала для первоначальной организации своих сил против феодалов свои собственные, чисто-классовые, исключительно -классовые группировки. Такими органами борьбы постепенно становились возникшие еще задолго до начала этой борьбы общества ремесленников, торговые кооперации, благотворительные братства для взаимной помощи и поддержки и т. п. Эти организации могут быть вполне уподоблены профессиональным синдикатам; как и синдикаты, они прежде всего были организациями частноправового, а не публично-правового характера. Совершенно другое дело — сами коммуны, на которые, однако, именно и ссылался синдикализм. Они создавались в результате борьбы, с санкцией органов старого строя, и в этом смысле именно как будто «прирастали» к нему, — что, однако, не помешало их буржуазной миссии. Коммуна устанавливалась законно, на основании договора между гражданами и сеньором; последний давал коммунальную хартию, т. е. грамоту, подтверждавшую самое существование коммуны, иногда определявшую некоторые черты ее внутреннего устройства, и всегда — отношения между ней и сеньором. Коммуна именно «прирастала» в виде полунезависимого маленького общественного и политического организма, к общей системе, совокупности маленьких государств, из которых состояло средневековое королевство; она даже «приравнивалась к феодальной баронии, представляя *собой* коллективную сеньорию». Где же здесь аналогия с синдикатами?

Это отсутствие аналогии можно продолжить и дальше. Только в торговых палатах, городских братствах, ремесленных союзах и т. д. — подобно профессиональным синдикатам — состав был однородно-классовым. Иное дело —

коммуна. Здесь наблюдалось всегда большее или меньшее смешение и разнообразие. Были, конечно, коммуны, не включавшие в свой состав целиком весь класс рабочих; в других исключения были меньше (сервы, незаконнорожденные и т. п.); в иных членами считались лишь домовладельцы, в других — все жители; в одних — только горожане, в других — также жившие в городе рыцари и духовные лица. Еще в большей степени то же самое относится к парламенту, который представлял собою собрание государственных чинов и сословий; не буржуазия его создала, она лишь в него проникла, его преобразовала и превратила в орган своего господства. Итак, только в первоначальный период своего развития буржуазия ютилась в своих, специально созданных, чисто классовых органах; эти органы никогда не теряли для нее своего значения, но довольствоваться ими она не могла; по мере ее роста, усиления ее значения, этих органов для нее оказывалось недостаточно. По мере своего усиления, укрепления, роста буржуазия безбоязненно выплывала в открытое море всеклассовых учреждений, не боясь потерять свою физиономию, а, напротив, смело рассчитывая ассимилировать и повести за собою все более или менее родственные элементы, а иногда даже и более чем отдаленно-родственные. И она могла это делать безбоязненно, ибо она была в это время растущей исторической силой, а ей противостояли силы вырождающиеся. В таком же положении теперь находится и пролетариат. Он, конечно, нуждается и не перестанет никогда нуждаться (пока он является особым борющимся классом) в своих собственных классовых органах — синдикатах; такова мысль Маркса, принимаемая и синдикалистами; но, опираясь на синдикаты, он может и должен — вопреки синдикалистам, но согласно Марксу — завоевать себе опорные пункты и в учреждениях всеклассовых, используя те из них, в которых он успел получить господство, также, как орудия своего освобождения. И всякая боязнь при этом смешаться с другими и утратить свою классовую индивидуальность может быть лишь симптомом неверия в себя, а где нет веры в себя, там слабость, незрелость, там неспособность совершить великое дело социальной революции.

Таким образом, мы могли бы сказать, что в основном построении синдикалистов было и новое, и верное; но, к сожалению, то, что в нем сравнительно с Марксом было ново, то не верно, а что было верно, то не ново. В позднейшей социал-демократической литературе еще Ф. О. Герц (В «Sozialistische Monatshefte» — статья «Feodales und bürgerliches Eigentum», подписанная псевдонимом Friedrich Ott) хорошо аргументировал ту идею, что новые социальные формы не «создаются» декретами после того, как старые ими же «отменяются», а прежде всего органически вырастают в пределах старого строя и существуют как бы в порах его, не давая себя ассимилировать, разрастаясь и подготавливая новые навыки, новые способности, новое правосознание. Сила, производящая законодательную революцию, лишь обобщает то, что уже существует *de facto*, как зародыш, эмбрион нового строя. Так, в недрах феодального строя, как это доказывают тысячи фактов, уже зародились, существовали и подтачивали его новые формы буржуазной собственности. Так, теперь ту же роль играют все виды рабочего коллективизма: профессиональные союзы, кооперативы, учреждения муниципального социализма, общинная собственность и

т. д.

С другой стороны, нужно вспомнить идею Эмиля Вандервельда (в «Neue Zeit», статья «Die innere Organisation der belgischen Arbeiterpartei»), что бельгийская рабочая партия совокупностью своих учреждений пытается стать (и фактически все более становится) социалистическим эмбрионом в недрах капиталистического общества, своими образовательными учреждениями, своими Maisons du Peuple, обслуживающими всевозможные (вплоть до эстетических) потребности рабочих, своими кооперативами, синдикатами и т. п. (в Бельгии, как известно, кооперативы и синдикаты входят в состав партии), она все более и более, все всестороннее и всестороннее охватывает жизнь своих членов; внутри этого все растущего эмбриона создается совершенно новая атмосфера, новые отношения, основанные на свободе, равенстве и братстве; это — не только прообраз будущего социалистического строя, но и рычаг для революционного переустройства существующего «по своему образу и подобию».

Революционный синдикализм лишь сузил эти идеи. Строеение будущего общества от этого, разумеется, упростилось; но тем труднее стало показать, что все разнообразие жизни и вся сложность представляемых ею проблем, с одной стороны, будут всецело охвачены в синдикалистские рамки, а, с другой стороны, что эти последние не окажутся для них прокрустовым ложем.

Чтобы благополучно пробраться между этими Сциллой и Харибдой, синдикализм попробовал так ограничить свою будущую компетенцию, что ее конструктивная мощь оказалась снова урезанной в самом главном и существенном.

«Социалистическая революция — говорил Леоне — таким образом означает перемещение общественной оси с политического управления государства на центральную власть пролетариата, т. е. на ту пролетарскую власть, которая, как внутренний механизм, рождается из стихийной федерации всех его естественных органов — синдикатов». Если под этим разуместь вообще естественное ослабление в будущем обществе — функции «управления людьми» и увеличение удельного веса дела «управления вещами и процессами производства», то спора не будет; не будет спора и в том, что в этом последнем деле синдикатам будет предоставлены «честь и место». Такие завзятые «парламентские социалисты», как Жорес, давно признавали, что синдикальные организации, надлежащим образом видоизменившись, сделаются в будущем обществе органами хозяйственной администрации соответственных отраслей производства, органами достаточно автономными, но не самодовлеющими и не исключительными. Но ученики Сореля, выступая с притязаниями исключительно из синдикатов сформировать костный скелет будущего общества, не только в том смысле «антигосударственники», что умаляют функции государства, но и в том, что отказываются воспринять от него и главную функцию «управления процессами производства», а именно функцию организации планового хозяйства. Так, для Леоне неприемлема, ему глубоко противна самая идея регулирующего единства всей хозяйственной жизни; с ним-то он, собственно, и борется в лице государства. «Синдикализм, не менее чем манчестерская школа (sic!) выступает против концепции государственного ведения производства. Он считает последнюю неосуществимой. Отсутствовали бы те автоматические законы, которые только и

делают возможным развитие экономического организма. Попытка воплотить ее в жизнь должна была бы совершиться путем целого ряда мероприятий, суровых понуждений, санкций, авторитарных воспитательных мер, при которых никто даже приблизительно не в состоянии исчислить растрату сил и богатств, разницу между наличной комбинацией коэффициентов производства и той, которая естественно необходима для доставления высшей выгоды всем гражданам; никто не в состоянии, дальше, предвидеть целый ряд ошибок при предварительном исчислении действительно потребного, а также и уменьшения количества продукта, произошедшего вследствие ослабления эластичности инициативы группы капиталистов-производителей».

Таким образом, синдикализм совершенно отрекся от основного регулятивного принципа социализма в хозяйственной области. Какой же мыслим социализм без внесения планомерности и единства в общественное хозяйство? Это уже не социализм, а какой-то эклектический социал-либерализм. И действительно, Леонэ неоднократно повторял, что «классическая политическая экономия, породившая манчестерскую школу, вполне сходится с синдикализмом на том, что государство... препятствие, а не созидательный элемент для развития богатств»; что «современный синдикализм в известной степени сходится также и с некоторыми положениями либерализма»; что «научная, органически-цельно понятая манчестерская школа отстаивает и освещает те же экономические законы и те же формулы, которые служат положительной базой для синдикализма»; что, наконец, синдикализм есть просто какое-то «организующее манчестерство»...

В самом деле, что же мог сказать нам Леоне о синдикалистской концепции социалистического строя, кроме того, что ею передаются «внешние условия производства в коллективное владение синдиката?» Каковы при этом отношении одного «синдиката-владельца» к другому? Какого положение несиндикованных? Какие последствия влечет за собою раскол в синдикате? Чем «владелец-синдикат» избегает ошибок в «исчислении действительно потребного», в определении «разницы между наличной комбинацией коэффициентов производства и необходимой для доставления высшей выгоды всем гражданам?» и т. д., и т. д., — ошибок, по его мнению, неустранимых для государства? И, вообще, неужели вся критика «государственного социализма» нужна была Леоне лишь для того, чтобы остановиться на каком-то необыкновенном либерально-манчестерском синдикальном или кооперативном социализме? Для устранения всех этих вопросов у Леоне не оказалось — увы, — другого выхода, кроме туманных, неопределенных вариаций на манчестерскую тему о естественной гармонии «по закону конкуренции, являющемуся в свою очередь следствием Госсеновских законов гедонистских принципов»... Все, в конце концов, будет хорошо, ибо останутся налицо «автоматические законы», причем «соответственно гедонистскому постулату, каждый экономический фактор стремится достигнуть известной выраженной в материальных благах суммы удовлетворений, равных той, которой достигает другой подобный ему фактор»...

Мы слышали раньше, что, благодаря синдикализму, «социализм завершается». Теперь мы видим, что наоборот, он остается хотя и упрощенным, но не-

завершенным. Тот же Леоне, предвидя это указание, заранее оправдывается тем, что научный социализм «питал всегда отвращение к формулам специфированного изображения будущего общества». Мы возвращаемся к исходной точке. «Социализм, вытекающий из самых недр общественной жизни, из пролетарского класса — не идеал, а классовая борьба». Так в синдикалистской фразеологии возродился безвозвратно скомпрометированный тезис социал-реформизма: «*Das Endziel ist nichts, die Bewegung ist alles*». Если синдикалисты, как Лабриола, иногда все же разрешали себе упомянуть об идеале или конечной цели социализма, то лишь для того, чтобы немедленно сказать, что «никто а priori не может предсказать, в каких конкретных и юридически конституированных институтах рабочий класс целиком осуществит его». Еще откровеннее Лагардель, который говорил: «Я не знаю, осуществится ли «будущее общество». Признаюсь, что интересуюсь им постольку, поскольку жизнь людей, подготовляющих его, оказывается этим самым подготовлением трансформированной... Я не связал своей судьбы ни с какой абстрактностью, я только человек настоящего. Что мне важно, чего я жду, я, социалист 1906 года, это видеть, в тот момент, когда я живу, как мир преобразовывается, хоть слабо, под дыханием нового движения» (в статье «*Mannheim. Rome, Amiens*»).

Наконец, главный насадитель синдикализма на русской почве, Л. Козловский, доходил даже до упреков социал-демократам за то, что они в последнее время «стараятся внести возможно больше ясности, точности и определенности в представление о будущем социальном строе»...

Дальше идти некуда. Так синдикализм сам расписался в собственном банкротстве, сам пришел к отрицанию своей конструктивной сущности. И, себе в извинение, придумал углубленное философское оправдание своему принципиальному агностицизму в вопросе о будущем обществе. Оно имело глубоко-пессимистический характер. «Жизнь не поддается идеализации» — говорил Леоне, ибо «человек, нераздельная парцелла глобуса, с ним же вместе и погибает. Человечество имеет пределом своего будущего не вершину, не верхушку прогресса, а растворение, пожалуй, наиболее жестокою борьбу, как выражение разложения цивилизации, как следствие крупных пертурбаций, происшедших в общих физических условиях жизни»...

С этой точки зрения было бы еще последовательнее объявить всякий социализм — химерой.

По мере того, как слабела и атрофировалась десница синдикализма, крепла и уродливо вытягивалась его шуйца. Явилась на свет знаменитая теория «социальных мифов» Жоржа Сореля. Всеобщая стачка из реального средства борьбы, — *ultima ratio* пролетарской аргументации против капитализма — из тактического метода, употребляемого планомерно, с полным сознанием, расчетливостью, обдуманностью и пониманием ответственности — при свете этой теории превратилась в какое-то туманное понятие о чем-то вроде социального второго пришествия и страшного суда, о полном крахе всей современной цивилизации, о почти апокалипсической катастрофе и конечном распаде всего буржуазного общества на свои составные элементы. Опираясь на бергсонизм, Сорель придал этой теории quasi философское «прагматическое» обоснование,

объявив, что идея всеобщей стачки и должна оставаться такой — романтически туманной, иррациональной и недоказуемой, ибо, по Бергсону, такие идеи ценны не сами по себе, не по своему конкретному содержанию, которое неизбежно фантастично, неизбежно — «живая легенда», а по своему влиянию на умы и воленастроение масс. За этим сознательным возведением романтических революционных мифов в ранг верховного критерия всей практической борьбы у Сореля последовала не менее парадоксальная апология насилия. Сорель становится заклятым врагом «пацифизма» во всех его видах. В тактике, идущей на соглашения и компромиссы, он видит обоюдный декаданс и буржуазии, и пролетариата, — расслабление их воли, дряблость, — «соглашательство», как сказали бы теперь. Он зовет к пролетарскому терроризму всякого рода, как к средству и в самой буржуазии пробудить боевой активистский дух. Только такая, отчаянно борющаяся за свое дело буржуазия способна пробудить дух героизма и в пролетариате; иначе человеческая история закиснет в болоте сделок, в серых сумерках безвременья. Поэтому же он начинает ненавидеть и пацифизм в делах международных; он начинает защищать войны, как сильное средство, способное растолкать, разбудить сонливое человечество. Рука об руку с этим идет у Сореля с головокружительной быстротой усиление демагогического элемента. Он состязается с наиболее охлократическими видами анархизма в резкости и грубости антипарламентских, антидемократических, и особенно антиинтеллигентских выходов. Он оказывается в опасном соседстве с демагогами справа, с неомонархистами, с так называемыми *camelots de roi*, этими предтечами нынешнего фашизма, и это соседство порою уже начинает принимать (как у его ученика, Ж. Берта), характер какого-то двусмысленного и рискованного союза.

Нет никакого сомнения, что, рассматриваемое исторически, это умонастроение части синдикалистов было ничем иным, как туманным и инстинктивным предчувствием и даже предвкушением грядущей великой разрухи — эры мировой войны и порожденных ею «революций отчаяния». Европейская буржуазная цивилизация слепо шла к грандиозному мировому пожару. Часть революционного пролетариата и его идеологов ощущала род смутной тяги к этому грандиозному пожару, подобной той инстинктивной тяге, которая гипнотизирующе влечет бабочек к пламени свечи или птиц к ослепительным огням маяка. Недаром Сорель последнее издание своих «Размышлений о насилии», в которых не лучшие стороны марксизма вступали в противоестественный союз с не лучшими сторонами ницшеанства, сопроводил предисловием, состоящим из сплошного гимна Ленину. Недаром, подобно своему учителю — Сорелю, умер большевиком и самый выдающийся из практиков демагогического синдикализма, Гриффюэль.

Этим плачевным концом был исчерпан, в нем совершил сам над собою *reductio ad absurdum* романский революционный синдикализм предвоенной формации. Он как бы расписался в собственной неспособности заполнить тот пробел, который чувствовался в довоенном социализме, и в котором заключался весь *raison d'être* его собственного зарождения и первых успехов. Он сошел со сцены. Но зародыши здорового конструктивизма, присущие ему, не умерли.

Они перешли в наследство к новому движению: к английскому гильдеизму. Гильдеизм уже не враждебен ни политическому социализму, ни демократии. Он — возврат к ним на базе того же синдикального начала, но уже лишенного прежней исключительности.

«Сореллизм» духовно умер. Лучшие из оставшихся теоретиков синдикализма, как Артуро Лабриола в Италии, как Максим Леруа во Франции, в последних книгах подвергают серьезному пересмотру свои прежние воззрения, явно и заметно приближаясь к тому общему социалистическому руслу, от которого они одно время так далеко отклонились. Параллельно этому и фактическое синдикальное движение, с Confederation Generate du Travail во главе, под руководством Жуо, Мергейма и др., решительно очищает свои ряды от романтиков насилия, от большевистских и бунтарско-демагогических элементов, становится видною позитивною и конструктивною силой современности, и сближается с социалистической партией на началах взаимного уважения и равенства. В синдикализме начинается новая глава с углубленным содержанием.

Но прежде, чем анализировать эти новые, более глубокие и содержательные тенденции синдикализма, надо покончить с его прошлым, и рассмотреть, какой резонанс имел романский социализм в странах отсталых, в странах, где чисто пролетарское движение, замкнувшись в себя и уединяясь в раковине зачаточного профессионализма, оставалось неизбежно крошечным оазисом, затерянным в пустыне, обреченным на трагическое одиночество и потому на тактику наиболее отчаянную и авантюристскую. Такою странною является прежде всего — Россия.

Синдикализм, перенесенный на русскую почву, в душевной атмосфере революционного подполья подвергся еще большему перерождению в демагогические, в абсолютно антиконструктивные формы, чем на Западе. Здесь явились на свет своеобразные родственные друг другу течения «рабочего заговора» и «рабочевольчества». Течения эти, на обычном революционном жаргоне получили название «махайщины», по имени их духовного отца, Махайского, бывшего (в 90-х годах) членом «Польской партии социалистической» и пришедшего к своей теории во время ссылки в Верхоянске, Якутской области. Исходным пунктом его умственного развития был марксизм. Но в деле проповеди своих взглядов он имел двойника, вышедшего из противоположного народнического лагеря — Е. Лозинского, проповедника «рабочевольчества». А. Вольский (псевдоним Махайского) и Е. Лозинский — основоположники «истинно-русского» демагогического синдикализма, некоторыми своими чертами находящегося в опасном соседстве с черносотенством.

«Рабочий заговор» (по Лозинскому, «рабочевольчество») есть единственный истинный «пролетарский социализм». «Рабочее дело заключается в той экономической борьбе, которую ведут сами массы наперекор всем демократическим и социалистическим формулам» (Е. Лозинский. «Что же такое, наконец, интеллигенция?», с. 24, 59, 75 и др.; «Итоги парламентаризма», его же, с. 4). Эти формулы навязываются рабочему извне, особым общественным элементом, который, проникая в пролетарский лагерь под видом «умственного рабочего», является волком в овечьей шкуре. Особой своей заслугой теоретики «ра-

бочего заговора» или «рабочевольчества» считают именно разоблачение истинной социальной природы этого общественного элемента: трудовой интеллигенции.

«Интеллигенция, как класс» — утверждал Е. Лозинский — «необходимо и неукоснительно, при посредстве целого ряда тонких расчетов и блестящих своим «благородством» лозунгов, стремится использовать рабочую борьбу в видах торжества своих собственных господских интересов». Ей удалось «задумать, привести в действие и довести до счастливого конца» — в виде социализма — «небывалое еще в истории классово-борьбы надувательство», обнаружив при этом «самые высшие степени лицемерия», и показав миру «самые рафинированные формы» обмана. Существует «хитросплетенный заговор социалистической интеллигенции против рабочего, обездоленного народа», «круговая порука дальновзорких авгуров» социализма, свято блюдуших свою «классовую интеллигентскую тайну». Задача рабочевольчества — научно анализировать природу «умственного труда» и тем самым дать, наконец, рабочим понятие о «дьявольски хитрой, гениально-припрятанной сущности современного социалистического движения».

«Научное» разоблачение социальной природы умственного труда сводится к ряду весьма упрощенных и вульгарных положений. С точки зрения наших теоретиков, служебное положение «трудовой интеллигенции» и продажа ею своей рабочей силы капиталисту, есть лишь обманчивая видимость. Интеллигенция не является по отношению к капиталу «неимущей». Она владеет капиталом, но только в скрытой форме: этот неосязаемый, «духовный» капитал есть ее знания. С большой помпой ставят «рабочевольцы» ребром такой вопрос — который они считают «вопросом вопросов»: что такое знания? Есть ли это рабочая сила, или же это есть средства производства? И отвечают так: полученное образование, накопленный запас необходимых знаний ни в каком случае отождествлять с «рабочей силой» нельзя: это — суть «средства интеллектуального производства». На этом «научный анализ» закончен: с торжеством провозглашается вывод, что «духовный капитал» интеллигента не есть лишь образное выражение, но действительно «капитал» в политико-экономическом смысле этого слова, «капитал», владение которым обращает в «капиталиста». Интеллигенция, как класс, таким образом является составною частью капиталистического класса, и притом немаловажною: это — большая и важнейшая по значению его половина. Если она борется с классом капиталистов, заведующим материальною стороною общественной жизни — промышленниками, купцами, банкирами — то это лишь «своя, семейная вражда», междоусобная борьба за гегемонию внутри класса; она так же мало противоречит коренному классовому единству борющихся, как мало противоречила такому же единству борьба представителей денежного и производительного капитала с присвоителями земельной ренты — землевладельцами.

Это «глубокомысленное» рассуждение свидетельствовало лишь о величайшей экономической безграмотности его авторов. Нелепа была самая постановка вопроса о том, являются ли знания рабочей силою или средствами интеллектуального производства. Ибо рабочая сила есть также «средство произ-

водства», и даже одно из самых важнейших средств производства. Нелепо и выделение «знаний», как отличительной особенности умственного труда, в отличие от труда физического. В физическом труде лишь самый грубый, простейший мускульный труд чернорабочего не включает в себе никаких или почти никаких элементов «знаний». Всякий квалифицированный работник должен обладать довольно большими знаниями, выучкой, а на высших ступенях даже известным техническим образованием. Таким образом, «научный микроскоп» рабочевольцев должен был бы открыть капиталистическое естество в социальной природе почти всего пролетариата, за исключением лишь самых низших его слоев. Они хотели анализировать интеллигенцию, как экономическую категорию. Это было их право. Интеллигент, умственный работник, рассматриваемый исключительно под экономическим углом зрения, оказался бы работником умственных ремесел, чаще всего — полным пролетарием, иногда — полупролетарием, иногда — самостоятельным ремесленником, реже — ремесленником-хозяином, выбивающимся в «эксплуататоры». Возьмем для примера хотя бы врачебное дело. Это — ремесло, отчасти захваченное процессом капитализации. В некоторых отраслях врачебного дела орудия производства, — всякого рода инструменты и приспособления — развились до такой степени, что приобретение их непосильно всем и каждому. Лишь «тузы» врачебной профессии в состоянии оборудовать согласно последнему слову врачебной техники клинику, амбулаторию, приемный покой или санаторию; это будет «капиталистическое предприятие» в подлинном смысле этого слова; врачипролетарии в нем должны довольствоваться скромною служебного ролью ассистентов, хотя сплошь и рядом на их плечах лежит вся тяжесть работы, а модный врач-светило дает «предприятию» свое имя и «высшее руководство», получая львиную долю доходов. Интеллигенция сама является классово-расслоенной величиною. «Научное открытие» рабочевольцев состояло в том, что, перескакивая через это расслоение и вообще не вдаваясь во все эти «подробности», они просто объявляли «умственный труд» замаскированной формой приложения «духовного капитала», а духовный «капитал» видели в «знаниях». Всякое приобретение знаний при этом смахивало на буржуазное грехопадение. Но этого присутствия элемента комизма в своем теоретизировании они не замечали.

Первоучитель и основоположник теории, Махайский, с усердием самоучки и самоуверенностью педанта, ухватившись за существование в современном обществе большей или меньшей «монополии образования», на все лады пережевывал положения, что чем выше уровень знаний, тем выше в современном обществе и оценка их, как дающих «труд высшего качества», труд высоко квалифицированный; чем выше оплата такого труда, тем легче вложить еще большие средства в дело образования своего потомства, еще более подняв уровень их труда, а стало быть и уровень его оплаты, и т. д., до бесконечности, с натянутыми аналогиями между таким «накоплением духовного капитала» и обычным капиталистическим накоплением. «Образованное общество» в его воображении вырастало в какую-то все более замыкающуюся в себе фактическую кас-

ту, отбрасывающую «мускульных работников» вниз, без надежды на проникновение в ее ряды. Что в деятельности большинства умственных работников — писателей, ораторов, лекторов, педагогов и т. п. — по самой природе этой деятельности содержится элемент учительства, т. е. широчайшего сообщения другим, распространения среди масс, словом социализации знаний — об этом наши теоретики как будто никогда даже краем уха не слышали. Конечно, монополия образования в современном обществе доселе существует. Но борьба с ней прежде всего предполагает довольно простое общедемократическое требование, стоять за которое можно, даже не будучи социалистом: это требование организации всеобщего бесплатного обязательного образования на государственный счет. Из-за такого простого практического вывода не стоило поднимать «so viel Geschrei um so wenig Wolh». Правда, махаевцы могли еще сказать — и говорили — что без экономического равенства осуществление «всеобщего и равного права на образование» невозможно; в этом была доля правды, поскольку «экономика» и все прочие области жизни связаны друг с другом чрезвычайно тесно, и успехи в одной области требуют успехов в другой; но связь эта не односторонняя, взаимная; если бы этого не понимали, то попали бы в сложный, искусственно созданный «заколдованный круг»: нет умственного равенства без экономического, но и экономическое равенство недостижимо без умственного. Рабочевольцы еще требовали низведения всех заработных плат до уровня платы чернорабочего, — словно идеал заключается в нивелировке по низшему уровню, словно высшее благо есть уравнивание в нищете. На деле разрешение проблемы лежит, конечно, совсем в другой области: в подъеме на высшую ступень оплат низших видов труда, а еще более — в облегчении и облагораживании худших, наиболее «черных и грязных» видов труда, что является хотя и сложной, но совсем не неразрешимой технической проблемой, которую разрешить в благоприятном смысле для масс должны — те же «умственные рабочие»...

Махаевцы не учли или не хотели учесть еще многого другого. За тем фактом, что и знание можно искусственно превратить в монополию, они проглядели обстоятельство гораздо более существенное. Они проглядели основную особенность знания, как ценностного блага, сравнительно с благами вещественно-материальными. При пользовании последними (особенно, когда они налицо в ограниченном количестве) обычно доля одного неизбежно растет за счет доли другого, который должен ими «поделиться» с другими. Но приобщение к знанию масс вовсе не ведет к «обеднению» знаниями их обладателей, вовсе не требует их «экспроприации», лишения их духовного имущества. Но это самоочевидное и осязательное различие несколько не мешало махаевцам и рабочевольцам продолжать свои грубые и аляповатые аналогии между материальным и духовным «капиталами», — аналогии, являющиеся грубой карикатурой на «научный анализ». Во второй части своего большого труда («Умственный рабочий») глава школы подобными аляповатыми выкладками пытался даже установить, будто из всего общественного годового дохода, из всей национальной чистой прибыли  $\frac{2}{3}$ , потребляет «образованное общество»,  $\frac{1}{6}$  рабочие, и  $\frac{1}{6}$  — капиталисты. Из этого то — буквально «из пальца высосанного»

— расчисления неопровержимо вытекало, что социализм есть ничто иное, как классовая идеология «образованного общества» или «умственных рабочих», отвлекающая внимание мускульных рабочих от главного, крупнейшего социального паразитизма в сторону второстепенного и меньшего. Социализм зовет рабочих на борьбу с капиталистами из-за возврата присваиваемой ими всего лишь одной шестой доли национального дохода, отнюдь не помышляя передать в рабочие руки те 2/3 дохода, которые потребляются интеллигенцией. Так, торжественно провозглашал Махайский — «под щитом социалистической науки произрастает беспрепятственно новейшая форма грабежа» (А. Вольский, «Банкротство социализма XIX столетия», с. 29); и эта новейшая и утонченная форма эксплуатации и командования может сохраниться «даже в социал-демократическом государстве, даже в анархической общине». Ибо пролетарии «вековым грабежом лишены не только средств производства, но и умения управлять всею современною усовершенствованною промышленностью». Монополия этого умения, захваченная «умственным рабочим», и будет в руках последнего средством извлечения прибавочной стоимости из рабочих.

Казалось бы, именно существование квалифицированных рабочих и является лучшей гарантией того, что вместо разрыва «умственного рабочего» с чернорабочим наступит спайка между ними чрез посредство промежуточного, соединительного звена — технически обученного рабочего, который соединяет в себе черты того и другого. Иначе рассуждают махаевцы и «рабочевольцы». Все эти средние звенья для них уже подозрительны. И в самом деле, ведь их труд включает в себя элемент «знания», а знание есть «капитал». С этой точки зрения истинно-пролетарскими являются лишь чернорабочие низы пролетариата, непосредственно соприкасающиеся с безработными, с оборванцами, с отверженцами общества. Истинно-пролетарское движение «присоединило бы к себе всех безработных, всех босяков, которых отталкивают социалисты», — отталкиваю!, чтобы избежать неудобных бунтовских лозунгов «хлеба голодным, работы безработным», способных двинуть и «все голодные миллионы деревень, для которых получается, наконец, возможность жить, а не помирать в мечтаниях о черном переделе» (его же, «Буржуазная революция и рабочее дело», с. 78). «За все время деятельности социалистов в среде рабочих устанавливалась и развивалась эта взаимная вражда между лучше оплачиваемыми рабочими и наименее обеспеченными слоями рабочего народа, чернорабочими, босяками»; социализм выделял именно таких, омещаненных, «порядочных, уважающих культуру рабочих», и давал презрительные клички «люмпен, паразит» босяку; воспитанные в социализме рабочие сливаются с буржуазией в своем отвращении от «босяков, лобузов, хулиганов», за то, что эти последние — истинные парии современного общества — инстинктивно прозревают, «сколько лжи в этой социалистической болтовне».

Становясь, таким образом, идеологами люмпен-пролетариата, махаевцы неизбежно впитывали в себя его настроения. Люмпен-пролетарий знает лишь самый черный и грязный труд, неспособный внушить к себе привязанность и любовь. Люмпен-пролетарий не паразит, но в отвращении к труду он не уступит паразиту. Неустойчивость заработков чернорабочего, кроме того, вообще

часто ввергает его в безработное состояние, и этим усиливает его фактическую и психологическую отчужденность от процесса производства. Люмпен-пролетарий протестует против несправедливости в распределении благ, и когда мечтает о коммунизме — то это совсем особый коммунизм, коммунизм потребления, «захвата», «дележки».

Все, что было «конструктивного» в романском синдикализме, окончательно испаряется в этой переделке его на истинно русский лад. Махайский ставит в вину социализму вообще, марксизму в частности то, что он «дело освобождения рабочего класса, т. е. захват им имущества господствующих классов, подменяет голой перспективой ассоциационного способа производства»; что он верует в достижение равенства «не прямым путем нападения поработанных на владеющие классы и приобретения ими равных имущественных прав на всю цивилизацию, на все наследие веков, а окольным специальным путем преобразования способа производства по особым кооперативным принципам» (А. Вольский, «Умственный рабочий», ч. III, вып. I, стр. 17, 33). Махаевцы не знали термина «грабь награбленное», но приняли бы его, конечно, с восторгом. Именно в поверхностном грабеже награбленного, а не в коренной перестройке всей производительной системы страны видели они истинно-пролетарскую революцию. Понятно, что и вопрос о необходимости иметь заранее готовый план этого переустройства их совершенно не интересовал. «Довлет дневи злоба его». Опоздать они не боялись, то необходимо сохранить непрерывность хода производства в процессе революции — эта мысль никогда и не ночевала в их головах. «Пролетариат, путем своей мировой конспирации и диктатуры, достигнет господства над государственной машиной не для того, чтобы выводить из затруднения, из анархии и банкротства хозяйственный строй, который не может справиться с переросшими его тесные имущественные рамки производительными силами». Напротив, ему «не остается ничего другого, как при первом удобном случае побольше истребить, побольше разрушить дотла тех проклятых богатств, которые вечно создаешь, которые вечно господа целиком отбирают»... (здесь, поистине, произведено *reductio ad absurdum* сорелевского понимания марксизма, согласно которому движение через капитализм к социализму «включает в себя долгий период капиталистического строительства (*construction*) и заканчивается быстрым разрушением (*destruction*), которое и является делом пролетариата». (*Réflexions sur la violence*, Vme ed., 1921, p. 112). Крайний оптимизм в оценке конструктивных заслуг капитализма — легкое средство освободить пролетариат от конструктивных задач и сосредоточить его на более легкой *деструктивной* психологии...).

Дать более свободный разгул деструктивным тенденциям вряд ли возможно. В этом направлении дальше идти некуда. Это — самоубийственная тактика слепого, озлобленного и мстительного отчаяния, тактика, в лучшем случае похожая на деяние библейского слепого Самсона — «погибай, душа моя, вместе с филистимлянами!»

При таких настроениях совершенно понятно, что «рабочевольцы» отметили от себя позитивную работу на почве демократических учреждений решительнее, чем какое-либо другое течение: «строй политической свободы» для

них «лишь более прочная тюрьма для рабочих масс». «Партия рабочей революции, партия рабочих восстаний не станет требовать политической свободы, она будет жить в подполье, как под абсолютизмом, так и в демократии». Только «политические младенцы» могли бы на глазах у властей «готовить то рабочее восстание, которое должно напасть на имущество буржуазии и отнять его, ту всеобщую стачку, которая должна как гром свалиться на голову буржуазии». Все это «необходимо подготавливать втайне, с помощью заговора». Необходимы, следовательно, нелегальные стачечные комитеты, «союзы сопротивления», боевые классовые синдикаты; их метод действия — «подпольный заговор для превращения вспыхивающих столь часто и столь дурно рабочих стачек в восстание, во всемирную рабочую революцию». Но от прежних заговорщических организаций эта организация «Рабочего Заговора» должно будет отличаться прежде всего шириной охвата: впервые целью ставятся «мировая организация пролетариата, его международная конспирация и единокорная акция, как одного целого». Рабочему классу предстоит «новая эпоха борьбы, эпоха всемирных рабочих заговоров»; основным рычагом их действия будет всеобщая стачка, но не политическая, а чисто-экономическая, в том смысле, что «единственными ее требованиями будут экономические требования, касающиеся ручного труда»; конечным ее актом будет «экспроприация не только капиталистов, но и всего образованного общества, всех потребителей доходов, превышающих доход рабочего».

Таков, по мнению рабочевольцев, «единственный путь к господству пролетариата, к его революционной диктатуре, организация захвата политической власти». Диктатура, разумеется, предполагается «безличная» и «непосредственно классовая»; впрочем, иначе и не может быть в движении, направленном против интеллигенции, против «вожаков», против «монополистов организаторской функции». Что касается до основного характера той подпольной организации, которая должна воплотить дело «рабочего заговора», то Махайский (Вольский) предполагал что-то вроде нелегальных союзов профессионального типа. Е. Лозинский же, после опыта 1905 года, когда впервые по инициативе меньшевиков возник «совет рабочих депутатов» Петербурга, склонялся явно к организации именно такого «советского» типа. Он превозносил «новый тип общеклассовой организации пролетариата», в виде системы «выборных делегатских комитетов от каждой мастерской, от каждой фабрики, от каждой более или менее значительной группы для руководства экономической борьбой в области данной мастерской, данной профессии или данного района. Представители от комитетов, объединенные в более центральные организации, областные и общероссийскую, руководят более широкими и серьезными выступлениями». Такая «советского типа» организация и установила бы власть «рабочей воли», ее революционную диктатуру. Таким образом, уже тогда, в узком кругу охарактеризованных нами сектантов-демагогов, вполне созрела идея диктатуры советов. Но «махаевцы» и «рабочевольцы» остались крошечными сектами, как будто явившимися исключительно для того, чтобы на себе самих, на своем собственном примере логически довести до абсурда все то, что в синдикализме было демагогического и однобоко-сектантского. Что касается большевиков, то они в

ту эпоху не менее других социалистических течений относились к «махаевщине» пренебрежительно и враждебно; а к организациям «советского типа» они тогда относились в высшей степени осторожно, предлагая взять их «под гласный надзор» партии. Это не помешало большевикам впоследствии, когда «времена созрели», позаимствовать из махаевщины многое. Ленин всегда без всякой церемонии поступал по правилу: «je prend mon bien ou je le trouve».

«Махаевщина» и «рабочевольчество» сошли со сцены сильно скомпрометированными, нигде не имея большого успеха, и производя кое-где лишь дезорганизующую и деморализующую работу, играя на самолюбии «мускульных рабочих» и натравливая их на «белоручек-интеллигентов». Мы уже упоминали, что на этом поприще они оказались в опасном соседстве с черносотеннопогромными элементами. Они не брезговали даже некоторым «идейным флиртом» с ними, уверяя их, что они — лишь бессознательные и сбившиеся с пути или недоношенные махаевцы.

«За время своей освободительной борьбы — писал А. Вольский — российская интеллигенция убедилась, что у нее есть еще один ненавистнейший враг; она его называет чернью, хулиганами. Ими она думает наполнить все российские тюрьмы после окончательного достижения всеобщей свободы». С нескрываемым злорадным торжеством описывает он, как ее представители «гибнут уже не от царских пуль, а от ножа оборванного босяка»; как «прилично одетых проповедников социалистического идеала, свободы и всеобщего счастья бьют, жгут, режут люди в лохмотьях». Он издевается над тем, что «интеллигенция по этому поводу считает себя великомучеником всеобщей свободы», и что для нее «избивающие интеллигентов хулиганы — это поголовно оплаченные в участках изверги, разбойники, ничем не отличающиеся от царских шпионов и полицейских»; с его же точки зрения в лице социалистов «черносотенцы бьют своих врагов, которые, не довольствуясь тем, что живут грабежами рабочих, пользуются еще самою рабочею борьбою для полного укрепления своей паразитной жизни»... («Буржуазная революция и рабочее дело», с. 72, 73, 74).

Стихия ненависти, питаемой «чернядью» против «чистых господ» и «белоручек», без большого успеха разжигавшаяся демагогами «рабочего заговора» и «рабочевольчества», впоследствии вспыхнула ярким пламенем при большевиках. Большевики натравили ее на все другие социалистические партии на всю небольшевистскую «саботажническую интеллигенцию». Могло бы казаться, что такая демагогия есть игра с огнем, который может, кстати, прихватить и большевистскую интеллигенцию. Этой же опасности, казалось, шли навстречу и предтечи их, Махайский и Лозинский, сами типичнейшие интеллигенты. Но уже они знали простой секрет, как предотвратить ее. Интеллигенция оказывалась врагом рабочего класса, кроме той ее части, которая самоотверженно разоблачила эту социальную природу интеллигенции, как таковой, кроме немногих «способных преодолеть свою классовую, свою волчью природу», и потому чистых от подозрения в прикрытии высокими идеалами «всевозможных господских замыслов и вождедений», — словом, «истинных друзей рабочих масс». Секрет отличить их от волков в овечьей шкуре прост: друг рабочему тот интел-

лигент, кто громогласнее всего ругает интеллигенцию. Большевики впоследствии прибавили к этому другой, еще более простой отличительный признак: обладание партбилетом РКП.

Гора родила мышь. Интеллигенция была развенчана лишь для того, чтобы на ее место поставить сверхинтеллигенцию. Самоотверженной и прекрасной сверхинтеллигенцией в обоих случаях оказывались «мы», а коварной и надувательской интеллигенцией — все прочие. От всего помпезного антиинтеллигентского похода оставалась лишь простая и грубая «*affaire d boutique*».

Но всего характернее то, что теоретический прародитель всей этой антиинтеллигентской демагогии, Жорж Сорель, не замедлил сочувственно откликнуться на ее пышный расцвет в большевистских рядах. Побивая все рекорды, он в 1922 г. закончил предисловие к своим «Материалам к теории пролетариата» истерическим возгласом: «Кровавый урок русских событий даст почувствовать всем рабочим, какое противоречие существует между демократией и миссией пролетариата: идея создания правительства из производителей не погибнет; и клич «смерть интеллигентам!», за который так часто упрекают большевиков, быть может, в конце концов, властно привьется к работникам всего мира»... Его ревностный ученик, Э. Берт, разумеется, не замедлил восторженно подхватить мысль — сделать из этого погромного клича «*un mot d'ordre pour tout le mouvement ouvrier*»...(G. Sorel, Post-scriptum k Avant-propos, открывающем сборник старых его статей под общим заглавием „*Guerre des Etats ou Guerre des Classes*“, 1924, p. 66).

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### Аграрная конструкция социалистов-революционеров

Революционный синдикализм по отношению к довоенному социализму, несомненно, являлся попыткой теоретического «ревизионизма»: но, в отличие от ревизионизма Бернштейна, ревизионизма справа, он представлял собою попытку ревизионизма слева. Его теоретики, как мы видели, не всегда имели смелость отдать себе полный отчет в своей собственной сущности. Новизна смущает; отсюда сорелевская попытка доказать, будто весь современный ему «политический социализм» представляет собою ничто иное, как чудовищное извращение марксизма, и будто «революционный синдикализм» есть ничто иное, как восстановление в первоначальной чистоте его настоящей сущности. В частности, Сорель есть яркий тип литературного и политического неудачника. Какая-то новая мысль у Сореля почти всегда бьется, беспомощно запутываясь в узах старых догм, и частично прорывая их; но эти догмы для него вовсе не являются как бы «лесами», при помощи которых строится новое здание, и которые легко снимаются, как только окончена постройка; да и самая мысль не слагается ни во что цельное, разбиваясь на брызги парадоксов и желчных выходок.

«Левизна» устремлений революционного синдикализма не помогала ему в достижении поставленных себе целей. Во всякой «левизне» есть то здоровое, что она всегда означает большую решительность, с которой данное движение «утверждает себя» и порывает с чем-то старым, «отряхнув его прах с своих ног». Но это решительное самоутверждение не всегда бывает в равной степени и негативным, и позитивным. Отрицать и разрушать проще, чем созидать. Левизна однобоко-негативная вместо позитивной — есть левизна нездоровая, безответственно-демагогическая, деструктивная. Нет серьезной социально-политической деятельности без ответственности, и нет ответственности без созидания, без позитивного творчества.

Итак, в то самое время, как социализм германский либо хранил свято ортодоксальную догму, либо в противовес ей порождал лишь бернштейнианство, ревизионизм справа, — романский сореллизм неудачно дебютировал революционно-синдикалистическим ревизионизмом слева. Одновременно с этим на противоположном конце Европы, занятом славянским миром, возникла другая, более свободная по отношению к марксизму разновидность «ревизионизма слева»: революционный социализм, принявший конкретную политическую форму в программных построениях русской партии социалистов-революционеров, вслед за которой народились аналогичные партии — украинская, белорусская и др. Их теоретики начали «ревизию слева» догм довоенного социализма совсем с иного конца; не с фабрики, не с индустрии, а с деревни, с земледелия. С самого начала у них выпукло проявилась тенденция к «конструктивному» методу, впоследствии все более и более укреплявшаяся и развивавшаяся.

Социалисты-революционеры с самого начала приняли лишь с большими оговорками марксистскую идею о положительной «исторической миссии» капитализма. С их точки зрения, конструктивные способности капитализма не всегда, не при всяких условиях места и времени, не во всех отраслях производства и не во всех странах одинаково бесспорны. Но и там, где их проявления всего бесспорнее, нельзя забывать оборотной стороны медали. Конечно, при известных условиях капитализм оказывается социальной формой, чрезвычайно эластичной и «вместительной» по отношению к росту производительных сил, к увеличению власти человека над природой. Живое свидетельство — так наз. страны классического капитализма. Там он в невероятной степени поднимал уровень национального богатства, а тем самым и емкость территории по отношению к населению; там он создавал колоссальные по размерам сгустки организованного труда — грандиозные фабрично-заводские центры, кладези новой трудовой идеологии и живые родники новых волевых устремлений. Создание новых устоев социального бытия в таких странах явно и значительно обгоняло распад старых, докапиталистических устоев; притягательная, центростремительная сила классовых новообразований довольно легко справлялась с противоположной, центробежной силой деклассирования старых общественных слоев. Эти страны классического капитализма, его «обетованные земли», не чужды были, однако, другой опасности. Социальные условия, создаваемые капитализмом для пролетариата не были там «неблагоприятны» в прямом и простом смысле этого слова; но они были, если позволено будет так выразить-

ся, слишком благоприятны. Преуспевающий на мировом рынке капитализм этих стран сравнительно довольно охотно делился со своим национальным пролетариатом крупными золотыми дождями, лившимися на него во всех концах земного шара. Высшие, наиболее квалифицированные слои пролетариата косвенно делали, таким образом, сопричастниками его преуспеваний. Марксизм говорил о пролетариате, как о наследнике капитализма. Но тот факт, что всякий национальный пролетариат становился непосредственным наследником именно своего национального капитализма, при наличности национальных капитализмов, занимавших на мировом рынке привилегированное положение, делал самих пролетариев чересчур заинтересованными в наследстве, в состав которого входили эти привилегии. Марксизм пророчески говорил, что пролетариат следует за капитализмом по пятам, как его черная тень. Но «тень» оказывается в слишком большой зависимости от предмета, отбрасывающего эту тень. Зловещую сторону этой чересчур крепкой связи мы видели во время мировой войны, когда пролетариат разных стран последовал «по пятам» — каждый за своей буржуазией — во всеобщую кровавую свалку. Не только оказалось, что в своей безусловности фактически неверно положение, будто «пролетариат не имеет отечества»; оказалось, что в состав драгоценного понятия «отечество» для пролетариата весьма существенным элементом входит понятие о преуспевающем национальном капитализме — а преуспевание каждого национального капитализма в целом ряде случаев происходит за счет соседа. Дары конструктивной деятельности капитализма в такой стране являлись «дарами Данайцев» для пролетариата этой страны, рассматриваемого, как часть единого мирового пролетариата, ибо часть он противопоставлял целому, устраивая ее благосостояние в ущерб благосостоянию других частей целого. Словом, в этих странах капитализм в известных отношениях слишком «благоприятствовал» рабочему; «благоприятствовал» более, чем своеобразно; невеста была «слишком красива».

Наличность «обетованных земель капитализма», стран, где капитализм пользуется монопольным положением в мировой борьбе за хозяйственную мощь, предполагает наличность и других стран, стран-данниц. В них общая картина экономического развития носит прямо противоположный характер. Деструктивная работа капитализма — разрушение им старых хозяйственных форм — сильно перегоняет его конструктивную работу, созидание новых устоев существования. Процентное отношение «деклассированных» к ново образующимся кристаллизованным классам в таких странах гораздо менее благоприятно, и столь же неблагоприятно вообще взаимное соотношение между положительными и отрицательными сторонами капитализма. Если в капитализме вообще, как гласит крылатая фраза, «национальное богатство есть нищета народа», то за этою общею фразой нельзя забывать вот чего: если «богатство» взять за числитель, а «нищету» за знаменатель, то в одних странах сравнительно с другими и числитель может быть значительно больше, и знаменатель значительно меньше; числитель и знаменатель изменяются не как функции друг друга, а каждый отдельно, в самостоятельном направлении. Наряду со счастливыми капиталистическими странами есть и обойденные, в которых деструктивные стороны капитализма преобладают над конструктивными.

Не менее важно отдать себе отчет и в том, что взаимное соотношение между конструктивными и деструктивными сторонами капитализма неодинаково и в различных отраслях производства. Разные ветви национального хозяйства можно расположить в стройный ряд, по восходящим степеням конструктивных и по нисходящим степеням деструктивных свойств капитала. Самую «верхушку» в этой классификации займет, так сказать, наиболее индустриальная из индустрии, — та, где машинами изготавливаются машины. Этот «самодовлеющий машинизм», эта «змея, держащая в зубах кончик собственного хвоста», есть сфера, где положительная роль капитала достигает своего апогея. Наоборот, деструктивная роль капитала апогея своего достигает там, где он непосредственнее всего соприкасается с живыми родниками природных богатств и стихий. Там, где добывается сырье, где растет зерно, лен, шерсть, — в сфере промышленности добывающей, в сфере агрикультуры, — «шуйца» капитализма до того вытягивается, а «десница» атрофируется, что капитализм превращается, можно сказать, совсем в «левшу». Его творческие достижения здесь более, чем скудны. Его внешне-эксплуатирующая, паразитическая роль — огромна.

Можно прибавить, что самый распад национальностей на два лагеря — стран-владык и стран-данниц, стран с блестящим развитием капитализма, и стран с капитализмом чахлым, отсталым, полупаразитическим, в известной степени сводится на более элементарное различие разных отраслей производства, по степени проявления в них творческих способностей капитала. Ибо мы имеем уже на лицо, с развитием мирового рынка, соответственное развитие международного разделения труда.

Мы видели, что даже в странах, не обиженных соотношением конструктивных и деструктивных сторон капитализма, современная социалистическая мысль прощается с былым оптимизмом, не воспекает, как прежде, автоматического расчищения для социализма пути самую механикой капиталистического развития. На первый план выступает значение для социализма не стихийного и безличного творчества капитализма, а сознательного и организованного творчества самих рабочих масс. Однако, фоном для этого творчества, хозяйственной базой его является все же безличная эволюция капитализма.

Для отраслей производства, в которых капитализм гораздо больше является паразитом, чем творцом, где он не в силах вытеснить мелкое трудовое хозяйство, но облегает его и подчиняет его себе извне (в сфере кредита, обращения товаров, обеспечения средствами производства, и в том числе главным средством производства этих отраслей хозяйства — землею), — «историческая миссия» капитализма становится благочестивою буржуазною легендой. Для роста производительных сил, для максимального использования почвы в интересах всей страны, возложить надежды приходится не на земельных магнатов, а на мелких самостоятельных тружеников-земледельцев. Их собственному почину должно было принадлежать соединение труда и собственности, воздвижение коллективистических надстроек над индивидуальным хозяйством.

Это «соединение» теоретики партии социалистов-революционеров рассматривали не как единичный «акт», а как длительный, органический процесс.

Речь шла, конечно, не о проповеди крестьянам, как все спасающего сред-

ства, каких-нибудь идеальных земледельческих «коммун», которыми впоследствии одно время увлекались аграрные политики русского коммунизма. Эти кабинетные измышления не могут быть и не бывают жизнеспособны, хотя бы к ним крестьян стали заманивать всевозможными льготами и премиями. Единственным результатом такого искусственного насаждения коллективных форм труда и собственности, этого «внутреннего социалистического протекционизма», может быть лишь образование мнимых, показных «коммун на час», для получения ссуды, ее проедания и разбредания во все стороны.

Здоровая социалистическая политика не может иметь своим стержнем подобное дилетантское прожектерство.

Она должна исходить из анализа сельскохозяйственной трудовой кооперации, как самостоятельно зарождающегося и органически развивающегося явления.

Кто хочет вести социалистическую работу в деревне, кто хочет привлечь деревню к социализму, тот должен суметь с головой войти в реальное хозяйственное строительство передовых слоев деревни — в их кооперативное строительство.

Кто хочет принять участие в деревенском кооперативном движении, и работать в нем не ошупью, не эмпирически, а руководясь путеводною звездой социализма, — тот не может этого достигнуть, не выработав социалистической теории кооперации вообще и сельскохозяйственной кооперации в особенности.

Задача эта не легка. На ней предстоит экзамен конструктивным способностям современного социализма.

Речь идет не о том, чтобы извне ловко навязать кооперативному движению органически несвязанные с ним социалистические цели. Дело идет о том, чтобы раскрыть в реальном кооперативном движении перспективы развития все в высшие и высшие формы — такого развития, каждый последовательный этап которого есть подготовка следующего этапа — такого развития, которое идет обычной дорогой всех естественных процессов развития в природе — по линии наименьшего сопротивления, но идет вверх, т. е. ведет к осуществлению линии наивысшего результата.

Общее направление этого пути можно считать определившимся. Кооперирование крестьянского хозяйства начинается не с сердцевины его — не с земледельческого производства собственно — а с его периферии, с того, что образует сферу сношений этого хозяйства с внешним миром. Снабжение крестьянского хозяйства всем, что ему необходимо для преуспевания — средствами производства, машинами, орудиями, улучшенными семенами, искусственным удобрением, кредитом, сельскохозяйственными знаниями, наконец, — с одной стороны; сбыт на сторону продуктов крестьянского хозяйства и придание этим продуктам наилучшей для сбыта формы (путем переработки, напр., сырых овощей в сушеные, винограда в вино, молока в масло и сыры, и т. д.), с другой стороны: вот две сферы, с которых начинается кооперирование деревни. Заметившие это явление социал-демократы пытались выразить его в терминах: в деревне будущее принадлежит не производительным товариществам, а товариществам производителей (Эд. Давид). С другой стороны, мелкобуржуазные аполо-

геты хозяйственного индивидуализма немедленно ухватились за это различие, не вдумываясь в его относительный характер и стараясь придать ему абсолютное и вечное значение. Для них земледельческое хозяйство резко делится на две сферы, процессов механических (закупки, сбыт, переработка) и процессов органических (земледельческое производство в узком смысле этого слова); допуская, что первая из этих сфер может и должна стать ареной применения кооперативного принципа, они считают, что этому принципу не дано переступить за порог второй из этих сфер, являющейся вечной и неприступной укрепленной позицией абсолютного хозяйственного индивидуализма. Такова духовная сущность буржуазной теории сельскохозяйственной кооперации. С самого начала она носит существенно-ограничительный характер, а priori заключая кооперацию в известную «черту оседлости». Теоретики социалистов-революционеров и их научные союзники решительно выступили против этого замыкания сельскохозяйственной кооперации в твердые, раз навсегда данные внешние рамки. Земледельческая кооперация, с их точки зрения, еще слишком молода для того, чтобы считать размеры ее преобразующих сил в земледелии уже вполне определенными. Ее метод — преимущественно экспериментальный, и догматически суживать применение его — значит укладывать кооперацию на прокрустово ложе мнимо-научных предубеждений. С точки зрения социалистов-революционеров, определилось пока лишь общее направление кооперативной эволюции в деревне. Она, действительно, берет свое начало на довольно отдаленной периферии трудового земледельческого хозяйства, она как будто сначала ведет лишь «внешнюю политику» его. Но чем дольше развивается она, тем ярче сказывается, как велико влияние этой «внешней» политики на «внутреннюю». За иллюстрациями ходить недалеко. Кооперация по сбыту заинтересована для успеха своих операций в однородности и в определенном уровне доброкачества своего товара. Отсюда берут свое начало первые, сначала весьма поверхностные попытки нормировки сдаваемых продуктов. Затем, для успеха этой нормировки оказывается необходимости глубже проникнуть в царство хозяйственного индивидуализма и предписать некоторые обязательные нормы для тех самых трудовых процессов, в результате которых продукт и получается того или иного качества. Нормы эти не произвольны, они диктуются природой дела. Не произвольно и увеличение числа этих норм, не произвольно, словом, все более и более глубокое внедрение «кооперативного окружения» в самую сердцевину производства. Кто же, спрашивается, и на основании чего может сказать «кооперации производителей» свое пророческое теоретическое veto на каком-то произвольном этапе его нормирующего проникновения в глубь хозяйственной деятельности отдельного производителя? Пусть *сегодня* она не идет дальше известных границ — какая гарантия, что завтрашний день она не переступит через них? Кооперация первоначально обвела вокруг индивидуального земледельца довольно широкий и отдаленный круг. Но этот круг не оказался замкнутым. Он спиралеобразно суживался, с каждым новым замкнутым все приближаясь к хозяйственному «центру». Сущность социалистического решения этого вопроса, основным мотивом социалистической теории кооперации и является рабочая гипотеза, не усматривающая в природе

сельского хозяйства никаких абсолютных пределов или границ дальнейшему кооперативному его перерождению. Эта рабочая гипотеза обладает, во всяком случае, уже тем крупным преимуществом перед буржуазной, ограничительной рабочей гипотезой, что не подрезает крыльев кооперативному строительству, не воздвигает для него никаких заповедных областей, не накладывает никаких табу, не вступает в антагонизм с экспериментальным существом кооперативной работы.

Не дает для таких ограничений научного основания и различие в сельском хозяйстве сферы механических процессов от сферы процессов органических. Ибо, во-первых, само это различие относительно. Земледелие от индустрии, конечно, отличается преобладанием «органичности» над «механичностью». Но ведь, в конце концов, этим сказано лишь, что в трудовом процессе земледелия играют важную роль сложные природные силы, пока еще нами не разложенные на составные элементы, и потому так заметно и перманентно прерывающие механическую работу наших естественных и искусственных трудовых органов, что последним остается лишь как бы вспомогательная роль при главном и основном процессе — самопроизвольном процессе, свершающемся в лаборатории природы — растительной или животной. Но основное и вспомогательное, главное и придаточное — все это понятия относительные. И в индустрии, например, во многих отраслях химической промышленности, есть немало места своеобразным «промежуткам», в течение которых продукт предоставляется действию природных сил. В самом земледелии взаимное соотношение между «органическими» творческими процессами природы и «механическим» вмешательством физической силы человека есть не постоянная, но переменная величина. Это соотношение изменяется, и притом, разумеется, все время в направлении увеличения удельного веса физического вмешательства человека сравнительно с удельным весом независимых от него процессов природы. Первое все нераздельнее и всесторонне вплетается во вторые. К чему это все приведет? В конце уходящей и теряющейся вдали грядущего перспективы мы все же видим искусственное приготовление белковых веществ — великое освобождение человека из тисков неразложимых, иррациональных, самодовлеющих органических процессов природы. Механика — и очень «хитрая механика» человеческого вмешательства станет госпожой стихийной «органики», а не наоборот. Перед лицом таких перспектив, пусть далеких, но вовсе не фантастических и не противонаучных, смешны близорукие претензии наставить на путях сельской кооперации какие-то рогатки с претензией на их незыблемость, на их непреходящую «сверх историчность».

Но и этого мало. Не только в самых высших — нынешних и грядущих — формах своих кооперация проникает и в заповедную область сельскохозяйственного производства собственно. Даже на заре кооперации, в ее элементарнейших, полуинстинктивных, — если можно так выразиться, предкооперативных формах — производственный процесс собственно отнюдь не оставался целиком вне сферы ее проникновения. Возьмем такую первобытно-стихийную форму кооперации, как кооперация по распределению основного средства производства в земледелии, т. е. по справедливому распределению, по равномер-

ному использованию самой земли. Эта своеобразная кооперация носила название поземельной общины. Она знала и совместную косьбу сена с дележом накошенного; знала и общественные запашки для наполнения продовольственных амбаров и для уплаты повинностей; знала и элементарную форму производственной кооперации — «супрягу». Все это — объединение сил в сфере непосредственного производственного процесса. А ведь эти старинные стихийные формы «артельной» работы сравнительно с планомерным, сознательным, научно-осмысленным кооперативным строительством современности — тоже, что детский лепет сравнительно с языком Пушкина или Шекспира...

Социалистическая теория кооперации еще только слагается, идя рука об руку с практикой развивающейся кооперации. Социалистическая теория кооперации предполагает, что перерождение последней в высшие и высшие формы и есть тот «особый путь» вращающийся в государство будущего, который дан земледелию сравнительно с «путем» индустрии в социалистический элизиум через капиталистическое чистилище. И здесь нет никакого произвольно-метафизического декретирования «предустановленной гармонии» между кооперацией и социализмом. Ибо социализм, «государство будущего» не предпосылается а priori в земледелии кооператизму, а в индустрии — синдикализму, как нечто абсолютно для них внешнее. Нет, именно из естественного, органического развития синдикализма и кооператизма конструктивным социализмом почерпается конкретное реальное содержание для заполнения им абстрактной формы «социалистического идеала».

Теоретики партии социалистов-революционеров, не приемля однобокой исключительности синдикалистов, однако, находили у последних здоровую основную тенденцию: в быте самих рабочих масс, в их естественно вырастающем правосознании и особенно в создаваемых ими самими ростках «трудовой ответственности» искать тех принципов, которые, в очищенном от всяких случайных и чуждых наслоений виде, могут и должны быть развиты до своих последних логических выводов и распространены на всю жизнь страны, иными словами, положены в основу нового трудового строя.

Социалисты-революционеры полагали, что и трудовая земледельческая среда, подобно среде городского фабричного пролетариата, вырабатывает такие основы и принципы. Они полагали, что трудовое крестьянство не есть простой «пережиток» прошлого, но неизбежный «жизненный элемент» настоящего и будущего. Они с самого начала не оказали никакого кредита догме, согласно которой сельское хозяйство развивается, только с опозданием, по тому же самому шаблону, как и городская индустрия. Все эти догматические «отходные» крестьянину, и мелкому трудовому хозяйству, все эти категорические предсказания близкого пришествия и победоносного хода через арену сельского хозяйства крупнокапиталистических «зерновых фабрик» — они встречали полным скептицизмом. Они и в области земледелия ждали, конечно, объединения, социализации труда и собственности — но не «сверху», а снизу, не под ферулой опекуна-капитализма, а путем хозяйственной самостоятельности самих тружеников-земледельцев. Иными словами, для них будущее земледелия рисовалось не в виде капиталистической, а в виде кооперативной эволюции. Иными слова-

ми, в земледелии кооперация играла для них ту же роль, какую в индустрии синдикат. В сельскохозяйственной кооперации и в земельной общине видели они ту деревенскую «трудовую общественность», которая в городских рабочих кварталах развивалась вокруг пролетарских профессиональных союзов или «гильдий». В самой сельской общине они также видели не что иное, как своеобразный вид кооперации. Для них поземельная община была разновидностью кооперации по совместному использованию средств производства, а именно — по совместному, уравнительному использованию того главного и основного «средства производства», каким в сельском хозяйстве является сама земля, почва.

Анализируя сущность поземельной общины, как своеобразной формы трудовой кооперации, социалисты-революционеры открывали в ней прогрессивный ряд форм уравнивания, примирения, синтеза двух существенно различных прав: права на труд (права, обеспечиваемого общиной путем отвода каждому своему сочлену на равных основаниях с прочими участка земли) и права труда (права труда, раз вложенного в землю и неотделимого от нее, слившегося с землею в виде улучшения почвы, на соответственный этой затрате эквивалент). Община, в известных, весьма узких, ограниченных локальных рамках, является отрицанием индивидуальной монополии на землю, но отрицанием неполным и несовершенным. Социалисты-революционеры сделали попытку очистить от всяких чуждых наслоений и от локальной ограниченности два эти основных трудовых принципа мужицкой земельной кооперации, и распространить их на всю земельную территорию страны. Вся земледельческая Россия, таким образом, как бы превращалась в одну огромную «поземельную общину», а отдельные местные соседские земельные союзы превращались как бы в ее разветвления, органы. Земля не становилась после этого для крестьянина «чужой», не превращалась в «собственность» какого-то далекого, многоголовного и вместе безличного, полумистического существа — государства; земля не «отбиралась» у него и не делалась «казенной», а сам он — не превращался от этого в «пролетария», пользующегося землею с милостивого «разрешения» государства. Он оставался обладателем своего индивидуального «права на землю», двойного по характеру — равного права с каждым другим земледельцем на отвод участка земли, и равного права с каждым другим земледельцем на извлечение из земли трудового эквивалента. В пределах использования этого права он был *inattaquable*, он стоял твердою ногой на позиции, недоступной ни для чьего вмешательства. Но это право было уже не «монопольное» право, источник эксплуатации чужого труда, но существенно трудовое и равное с другими право пользования.

Таким образом, в этом построении несомненен известный элемент самобытности, несомненна сильная окраска чисто-русских национальных условий. Однако, ее не следует преувеличивать. «Самобытным» и чисто «национальным» здесь является лишь способ связать идеи, которые несет с собою социализм по отношению к поземельной собственности, с обычным правом, с естественным трудовым мирозерцанием русского земледельца. Им в значительной степени обуславливается необычайный успех социалистов-революционеров в

деревне, в деле проповеди социализации земли. Умение представить социализацию земли, как логический вывод из обычных взглядов на землю, ходячих среди трудовых масс крестьянства, осмыслив эти взгляды и углубив их, произвели «чудо». Стихийное аграрное движение малоземельных крестьян, охватив всю основную толщу русского крестьянства, пошло всецело под аграрными лозунгами партии социалистов-революционеров, и на первых же действительно свободных всенародных выборах в Учредительное Собрание дало ей абсолютное большинство. Это был случай, беспрецидентный в истории. Социалистическая партия, всенародно заявляющая о своем намерении радикально уничтожить право частной собственности на землю, при первом же применении в стране всеобщего избирательного права, крестьянскими голосами приходит к положению правящей партии! И, чтобы не уступить ей места, фактически захватившая в свои руки власть, конкурирующая с нею партия — большевистская — вынуждена спешно выбросить за борт свою собственную аграрную программу и громогласно объявить, что берется проводить в жизнь аграрную программу партии социалистов-революционеров! И, чтобы дополнить эту картину торжества аграрной программы партии с.-р., остается лишь прибавить, что к основным положениям той же программы социализации земли ранее большевиков публично примкнула и другая фракция бывшей единой социал-демократической партии — фракция меньшевиков. Это произошло на первом всероссийском съезде советов рабочих и солдатских депутатов. Там, голосами социалистов-революционеров, соц.-дем. меньшевиков и внепартийных социалистов была принята, по докладу автора этой книги, резолюция, воспроизведшая все основные принципы «социализации земли», как ее себе рисовали теоретики партии социалистов-революционеров.

Все это несколько не является удивительным, ибо и в Западной Европе конструктивная мысль видных социалистов, работая в аграрной области, неизбежно приходила, хотя бы частично, к аналогичным выводам. Так, в Германии Эдуард Давид, при всей умеренности своего ревизионистского мирозерцания, одно время довольно близко подошел к решению аграрной проблемы, предложенной партией социалистов-революционеров, хотя и придал ему более оппортунистический и потому несколько «кусочный» характер. В написанном Давидом специально для русской читающей публики сокращенном, но законченном варианте своего труда «Социализм и сельское хозяйство» (в распространенном варианте этот труд тогда был незакончен, он был оборван на первом томе) мы находим следующее интересное место:

«Социалистическая аграрная политика должна ставить себе непременною целью содействовать переходу крупных имений в общественное владение. Вопрос лишь в том, что может и должно случиться с этими имениями после того, как они будут обобществлены? Какому режиму их подчинить?

«Существование крупных хозяйств, находящихся во владении государства или муниципалитета и имеющих централизованное бюрократическое управление, бесспорно возможно в экономическом отношении, пока речь будет идти об экстенсивных культурах. Если же поставить себе целью развитие более интенсивной земельной культуры, то при нынешнем положении знаний и стрем-

лений земледельческой массы, самостоятельное крестьянское хозяйство является в громадном большинстве случаев единственной экономически возможной формой, гарантирующей как технический, так и социальный прогресс.

«Так как коллективные формы владения и индивидуальные формы хозяйства прекрасно могут уживаться рядом, то из сказанного выше, разумеется, вовсе не следует, что общественное имущество должно быть разделено между крестьянами. Из него вытекает лишь, что должно быть установлено право на пользование землею, и предоставлены земледельцу гарантии, что плоды его личных усилий, заботливости и интеллигентности до тех пор будут обеспечены за ним, или за его землей, пока он в состоянии будет отдавать свои силы земле. Вполне сознательный интерес к увеличению и упрочению экономических успехов — вот что является главным. Однако же никому не может быть предоставлено юридическое право на пользование землей без обязательства лично ее обрабатывать. Почва должна служить средством эксплуатации природы, но никак не эксплуатации человека — человеком. Создание параллельно с этим производительно-потребительных товариществ послужит к обеспечению права на жизнь за каждым отдельным человеком и будет содействовать планомерному развитию производства в самых различных направлениях. Только таким я в состоянии себе представить грядущее воскресение старинной коммунистической общины, исцелившейся от своих язв и вооруженной всеми преимуществами прогресса современной культуры».

Итак, по крайней мере для одной части земельной территории страны Эд. Давид считал возможным создание нового аграрного режима, в котором частная, монополярная по существу собственность на землю, вместе с абсолютной рентой, отменялась (а не просто переходила к «государству», как у буржуазных национализаторов); освобожденная от пут монополии земля объявлялась доступной труду — и только труду; это новое, индивидуальное по своему характеру трудовое право, должно быть производным права на жизнь, — стало быть, очевидно, равным общегражданским правом.

Последнее логически вытекает из построения Давида, но им самим не высказано. Ибо ведь весь этот круг идей у Давида незавершен; его новый трудовой аграрный кодекс действует лишь на территории экспроприированных крупных поместий. На остальных же землях (*quieta nonmoveat*), по-видимому, продолжают существовать старые, привычные отношения. Временно, разумеется, в таком сожителстве разных форм нет ничего невозможного; но а *la longue* разные правовые начала, живущие в непосредственном соседстве, должны вступить в борьбу между собою. Либо обычная, мещанская частная собственность должна путем «права давности» превратить общегражданское трудовое право на землю, замкнутое в узких рамках бывших латифундий, в совсем не новое, а обычное право вульгарной вечно-наследственной аренды, а затем, может быть и в право собственности; либо, наоборот, вся прочая земельная собственность подпадет сначала под власть нового определения собственности, как «социальной функции», в которой право неразрывно связано с обязанностью — именно, с обязанностью личным трудом извлечь из территории максимум необходимых для страны продуктов, а потом уже просто превратиться в понятие

права и обязанности трудового использования земли, как общего и всенародно-го блага, источника всякой жизни и базы всякого земного существования.

Во Франции конкретнее попытался формулировать основы нового трудового аграрного кодекса будущего Люсьен Делиньер. Он так же, как и Эдуард Давид, имеет в виду совмещение коллективного владения землею с индивидуальным пользованием ею. Но у него все виды нынешнего землевладения и землепользования приводятся, так сказать, к одному знаменателю. С самого начала функционирования нового режима будет преступлено к быстрому предварительному образованию земледельческих наделов, которые будут немедленно предоставлены земледельцам. Эта работа будет произведена коммунальными комиссиями на основаниях, указанных центральной администрацией. Общим принципом будет: оставлять мелким собственникам их земли, увеличивая их, если они достигают величины надела, уменьшая — если они его превосходят; разделять поместья между арендаторами и половниками, которые их обрабатывают; и, наконец, предоставлять остаток наиболее способным поденщикам. Но тотчас после этого суммарного передела начнется пересмотр его с целью исправления ошибок, которые неизбежно проскользнут в это дело. Этот пересмотр будет работой длительной; он продолжится, вероятно, несколько лет и будет обставлен всеми желательными гарантиями. Комиссии, которые будут его производить, будут заключать не только местных людей, необходимых по своему знанию местности, но также и посторонних, чуждых всяким местным интересам, независимость которых обеспечит справедливость действий комиссий. Важно в самом деле, чтобы во всей Франции наделы имели одинаковую ценность, и чтобы они не были в некоторых коммунах чрезмерно увеличены.

«В каждой мэрии будет находиться земельный реестр, в который каждый заинтересованный может заносить свои замечания относительно предварительного распределения наделов, — и можно быть уверенным, что за этими замечаниями дело не станет! Они будут первыми указаниями для поверочных комиссий, но те должны будут считаться с ними только в известной мере.

«Мы спрашивали себя, не следует ли сделать все наделы одинаковыми не по площади, а по доходу, и не было ли бы более предпочтительным образовывать наделы разной ценности, чтобы можно было раздавать их в вознаграждение наиболее заслуженным земледельцам, и не обескураживать их, ограничивая слишком узко результаты их усилий. После размышления мы думаем, однако, что это означало бы бесполезное усложнение и известные трудности, и что можно легко, избегая эти трудности, вознаграждать трудолюбивых и искусных земледельцев так, чтобы стимулировать постоянно добрую волю каждого...

«Площадь земельного надела должна будет неизбежно варьировать соответственно ценности земель и роду культуры, так как доход с него должен быть одинаков во всей Франции. Наделы должны быть составлены таким образом, чтобы занять время и силы земледельца, его жены и ученика, оплачиваемого государством, с тем, однако, что государство дает ему бесплатно известное число дополнительных дней, которое может оказаться необходимым. Число этих дополнительных дней неодинаково для каждого надела и определяется с самого начала, раз навсегда, в момент образования надела. Оно незначительно и сво-

дится к нескольким дням в периоды спешных работ (покоса, жатвы, уборки винограда) для наделов хорошего качества и малой площади, а также для наделов, расположенных в местах скотоводческих. Оно увеличивается по мере увеличения площади надела, бесплодия почвы и трудности культуры. В известных случаях даже прибавляется к земледельцу постоянный помощник, не считая временных в периоды исключительных работ.

«Таким образом можно достичь того, что все земледельцы Франции, в каком бы районе они ни находились, будут получать одинаковое вознаграждение за одинаковый труд.

Различия будут зависеть только от личных качеств каждого из них» (Lucien Deslinieres, «L'Application du Systeme Collectiviste», avec preface de Jean Jaures, Paris 1899, p. 215-217.).

Так как вещи лучше всего познаются путем сравнения, то мы и наметим здесь прежде всего пункты сходства и различия между проектом Делиньера и «социализацией земли» согласно программе русских социалистов-революционеров.

И там, и здесь земля изымается из товарного оборота. И там, и здесь землепользование нормируется на трудовых и уравнивающих началах. Но у Делиньера крайне сбивчиво, неясно, а частично даже противоречиво, излагается, какой же принцип положен в основу нормировки. Здесь есть ссылка и на коммунальные комиссии, устанавливающие размер надела, и на руководящие указания центральной власти, согласно которым они оперируют. Но вопрос не в том, из какой инстанции выйдет официальная норма наделения, а чем будет руководиться эта инстанция. Здесь неприемлем никакой субъективный произвол и никакой грубый глазомер, здесь должен быть взят какой-то объективный признак, допускающий точное цифровое выражение; без этого не помогут ни местные, ни посторонние люди, не «специальные реестры», ни что-то вроде «жалобной книги», которая может быть, конечно, залита потоком «замечаний заинтересованных лиц», столь же разнообразных по мотивировке, сколь разнообразны могут быть критерии. Но у Делиньера приведены чуть ли не всевозможные и друг друга исключают критерии: здесь и надел, который «может занять время и силы» земледельца, его жены и еще подручного (трудовая норма, которая при употреблении усовершенствованных машин и орудий или при экстенсивной культуре даст слишком большие участки, вызывающие негодование остающихся без земли); здесь и «наделы равной ценности», в то время, как исключением земли из товарного оборота уничтожится прямой показатель ценности — цена; что же касается до показателя косвенного (цена, как капитализированный из известного процента доход), то критерий дохода сначала отвергается Делиньером, как «бесполезное усложнение», для того, чтобы потом все же постулировать одинаковость доходов всех наделов, как конечный результат неизвестно каким методом произведенного раздела; здесь и простая территориальная равновеликость наделов, — как будто в разных местах, а, главное, для разных видов сельскохозяйственных культур, географически равное будет и хозяйственно равносильным! Из этой сбивчивости и расплывчатости мог бы последовать только режим властного административного «усмотрения», необхо-

димо приблизительного и неопределенно-нивелирующего. Но всякая искусственная нивелировка сверху имеет колоссальную опасность: это — застойная тенденция, исчезновение стимула к проявлению хозяйственной инициативы, к улучшению хозяйства. Опасность эта при системе Делиньера, с ее бюрократической регламентацией без точных объективных оснований для такой регламентации, так очевидна, что Делиньер придумал разные способы вознаграждения прилежных земледельцев, вплоть до увеличенного надела, причем ясно, однако, что эта система «вознаграждений» дает еще больший простор начальственному усмотрению и еще больше ставит земледельца в зависимость от бюрократии. Ясно, что сама система нормировки землепользования, как таковая, должна содержать элемент «вознаграждения» за лучший труд и лучший способ обработки, как естественный, самопроизвольный результат этого лучшего труда и лучшего способа хозяйства. Еще более неудовлетворителен проектируемый Делиньером институт «ученичества», т. е. скрытого батрачества наполовину за государственный счет, с целью при его помощи, между прочим, сбалансировать дифференциальную ренту.

Таким образом, полная неудовлетворительность системы Делиньера, которую, думается, незаслуженно высоко оценил Жорес, сводится к двум основным первопричинам. Во-первых, его система наделений и поправок к наделениям происходит слишком бюрократически. Здесь почти нет места хозяйственной демократии, т. е. самодеятельности местного населения. Как будто забыто, что уравнительное использование земли должно быть одним из видов кооперации, а кооперация означает свободу, автономию и самоуправление. Во-вторых, Делиньер не нашел объективного, допускающего точное статистическое определение критерия для нормировки надела. Бюрократически-произвольный, опекунски-регламентаторский характер всей системы от этого только увеличился.

Первой из его ошибок русским социалистам-революционерам, быть может, легче было избежать уже потому, что русские земледельцы не представляют собою такой разрозненной «человеческой пыли», как насквозь собственнически, индивидуалистически настроенные крестьяне Франции. Земельная община, как примитивная форма кооперации по снабжению сочленов главным из средств производства, землю, здесь уже была прототипом автономной «трудовой общности», отправной точкой, исходя из которой можно было поставить вопрос о «Великой Всероссийской Поземельной Общине», как самоуправляющемся целом.

Здесь стоит вспомнить взгляд Маркса на общину, который столько раз толковали, перетолковывали, изъясняли и комментировали то так, то эдак. В настоящее время можно устранить, наконец, 99% всех этих комментариев и споров, ибо опубликовано, наконец, свыше сорока лет пролежавшее под спудом письмо Маркса к В. И. Засулич, где он уже не в условной, а в совершенно категорической форме говорит, что хотя «Капитал» не дает доводов ни за, ни против жизненности деревенской общины, но «выполненное мною специальное изучение этого вопроса, для которого я брал материалы из первоисточников, привело меня к убеждению, что эта община есть опорный пункт социального возрождения в России, только для функционирования в качестве такового надо

прежде всего устранить пагубные влияния, давящие ее со всех сторон, а затем обеспечить ей нормальные условия свободного развития» («Из Архива П. Б. Аксельрода», изд. Русск. Рев. Архива, 1924, с. 16).

Именно такая программа действий и легла в основу всех аграрных построений, аграрных требований и деревенской тактики партии социалистов-революционеров. «Свободное развитие» принципа аграрной демократии, лежащего в основе общины, в высшие формы и должно было вылиться в систему социализации земли.

Превращение всей земельной территории страны в грандиозную «поземельную общину» не надо грубо понимать, как обязательное введение повсюду мелкой поземельной общины старого типа, с передельно-чересполосным пользованием. Конкретные формы землепользования — чересполосное или «отрубное», краткое или длительное, уравниваемое общими переделами или только «свалками-навалками», далее, уравниваемое прямо, отрезками у одних и прирезками другим, или же косвенное, путем обложения, и, наконец, дележ по «едокам» или по «работникам» — при этом допустимы самые разнообразные: они могут быть предоставлены свободному выбору самого местного земледельческого населения. Никакого бюрократического навязывания сверху при этом быть не может. Социализация есть не что иное, как распространение начал демократического самоуправления на новую область: на земельное хозяйство страны. Причем эта «хозяйственная демократия» в аграрной области не означает, однако, грубого и произвольного «самодержавия большинства», неограниченной власти сельского «мира» над индивидуумом; индивидуальное по существу своему, «право на землю» в новом демократизированном аграрном режиме играет ту же роль, какую «неотчуждаемые права человека и гражданина» играют в политической демократии. Всякий, кто может доказать, что несправедливыми распоряжениями местного самоуправляющегося коллектива его «равное с другими согражданами трудовое право землепользования» нарушено, имеет к нему право иска, может в свою защиту «привести в движение правопорядок».

Но соответствует ли этому «равному общегражданскому праву» теории что-нибудь совершенно реальное и конкретное в жизни, или это лишь какой-то неопределенный и загадочный икс? Иными словами, каков реальный объективный способ определения индивидуальной доли хозяйствующего субъекта-земледельца в общем достоянии — матери-земле, соответствующей этому «праву»? На этот вопрос ответить нетрудно, опираясь на данные сельскохозяйственной статистики.

Эта статистика дает, прежде всего, исходные пункты для вычисления этой доли. Достаточно взять чистый доход земледельческого хозяйства страны и разделить его на число земледельческого населения; мы получим в итоге среднюю, нормальную «долю» каждого в этом доходе. Теперь, местная аграрная статистика, руководясь этим, может дать ответ для любого района, вида почвы и рода сельскохозяйственной культуры, какой величины участок при обычных («средних») в данное время в данной местности способах обработки, будет соответствовать законным «правовым притязаниям» любой семьи —

большой, средней, малой.

Так как и размеры семей, и способы культуры суть величины изменяющиеся, то, разумеется, не может быть и речи о каких-то перманентно действующих «ножницах», которые бы по указанию «недреманного статистического ока» немедленно обрезали образующиеся излишки у одних и столь же немедленно прирезали бы «недостачу» другим. Земельное хозяйство есть организованное, соразмеренное в своих частях и соподчиненное высшему плановому единству целое, и постоянное вмешательство в него, нагрузка, а особенно разгрузка от земли «на ходу» дезорганизует хозяйство, грандиозный всероссийский «черный передел» возможен был лишь однажды, в момент аграрной революции, сразу очистившей для трудового хозяйства новые обширные территории, занятые до того российскими лендлордами. Кроме того, пока нарастающая неравномерность еще очень мала, при отрезках и прирезках пришлось бы манипулировать слишком незначительными клиньями, явно не стоящими того, чтобы из-за них предпринимать громоздкое дело передвижки межей, при которой либо усилилось бы дробление и чересполосица, либо во избежание ее пришлось бы приступить к еще более сложному и громоздкому делу обмена участков. Но в этом и нет никакой надобности. Те «нормы индивидуального землепользования», которые могут устанавливаться (и периодически пересматриваться) для отдельных районов и видов культур (зерновое хозяйство, огородное, бахчевое, виноградарское, табачное, хлопковое, свекловичное и т. д.) текущей агрономической статистикой, должны быть не «прокрустовым ложем», над которым стоит человек с поднятым топором, чтобы обрубить либо ноги, либо голову тому, кто вырос сверх его мерки. Эти «нормы» определяют лишь, в каких размерах землепользование одного не сокращает ничьих столь же законных притязаний; сверх этого несправедливо давать ему пользоваться без соответственного, эквивалентного возмещения за его счет того, кому при данной хозяйственной ситуации нет конкретной возможности использовать полностью свое право. Такое «возмещение», однако, организовать нетрудно. Для этого нужно лишь, чтобы сверхнадельные лишки (избыток земли сверх установленной нормы) облагались особым налогом в размерах среднего для данной местности чистого дохода, и чтобы собранные с этого налога суммы шли, прямо или косвенно, на землеустройство тех, кого в данный момент общество затруднено удовлетворить в полном размере, соответственно равному для всех праву. Нетрудно видеть, что этот способ сбалансировать неравенство приложим не только к землепользованию отдельных хозяев в пределах селения, но и к неравенствам в землепользовании отдельных селений в пределах района и целых районов — многоземельных и малоземельных — в пределах страны.

При постоянном действии такого специального налогового механизма, общая система уравнительного трудового землепользования действует, сама поддерживая собственное равновесие. Накоплять сверхнадельные лишки становится невыгодным: во всяком случае, невыгодным далее известных, не очень больших размеров. Сверхнадельный лишек, при обложении его в размерах среднего чистого дохода, выгодно оставить в составе владения, если благодаря высшей, чем средняя, интенсивности хозяйства он дает более среднего чистого

дохода; или если он, сам не принося этого высшего дохода, дает возможность так организовать хозяйство, что оно в общем дает такой, выше среднего, чистый доход. Расширять же площадь землепользования ценою более экстенсивного хозяйства, путем «разжижения» на большей арене той же суммы затрат труда и капитала будет уже явно невыгодным. «Присоединять поле к полю» ради самого процесса присоединения, т. е. ради монополизации территории, ради чистой земельной алчности, будет просто убыточным делом. Такая тенденция в условиях описанного демократически-трудового аграрного строя станет нежизненной. Сверхнадельные лишки, случайно образовавшиеся, будут охотно уступаться соседям или сдаваться, как ненужные и обременительные, органам местного самоуправления; последним тоже невыгодно будет держать их «впусте», необработанными; и если на месте не оказалось бы на них претендентов, то им осталось бы позаботиться о привлечении на них земледельцев из перенаселенных местностей. Итак, такой аграрный режим имел бы еще и то преимущество, что не способствовал бы естественной при других условиях тенденции многоземельных районов своекорыстно и ревниво замыкаться в своих пределах, ставя рогатки для «иногородних» и равнодушно глядя на то, как в районах малоземельных население задыхается от земельной тесноты.

Однако, ясно вот что: как бы ни был безукоризнен с точки зрения «уравнительной справедливости» этот демократизированный трудовой аграрный режим, его нужно было бы категорически отвергнуть, если бы он был несостоятелен с точки зрения роста производительных сил, если бы он не прищипывал этого роста, а, наоборот, ослабляя его, содержал в себе застойную тенденцию и нивелировал всех и вся на каком-то неподвижном прозябании на уровне «всеобщей посредственности».

Но социализация земли по программе партии социалистических революционеров является, по своему общему духу и своим естественным последствиям, прямой противоположностью такому идеалу сельскохозяйственно-квиеетизма. Напротив. В основу социализации земли положен принцип: право прилагать к земле труд свободно от всякой дани; земля освобождается от пут частной собственности и доступ к ней — свободен; тем самым уничтожается абсолютная рента (в смысле Маркса); а существование абсолютной ренты доселе тяжелой гирей висело на всяком, кто хотел приступить к занятию сельскохозяйственной деятельности; из производительных затрат во славу монополии собственника делался огромный непроизводительный вычет; если бы социализацией земли устранялся лишь этот вычет, и то мы имели бы уже огромный плюс для сельскохозяйственного прогресса. Но социализацией земли достигается не только это. Мы уже видели, что практикуемая ею уравнительность основывается на данных о средней доходности при обычных для данного района способах обработки и организации хозяйства; на тех же средних данных основано и усиленное обложение «сверхнадельных лишков». Что касается высшего, увеличенного дохода с единицы площади, проистекающего от улучшенных способов хозяйствования, то он усиленному обложению не подлежит, и величины земельной доли пользователя не сокращает. Итак, режим демократического трудового аграрного строя никакой искусственной нивелировки, а

тем более — равнения по отсталым хозяйствам, не производит; наоборот, он включает в себя бесспорную премию за хозяйственную предприимчивость, премию за хозяйственную прогрессивность, как естественный результат этой прогрессивности.

Столыпин когда-то ставил в своем земельном законодательстве «ставку на сильных». Большевики одно время ставили ставку на «деревенскую бедноту», а потом принялись ломать себе голову, как бы поставить «ставку на середняка», устроив с ним «смычку». Социалисты-революционеры ставили и ставят ставку на «передовика» — на носителей сельскохозяйственного прогресса и распространителей его, чрез сельскохозяйственную кооперацию, на массу трудовых хозяйств.

Аграрное реформаторство социалистов-революционеров при своем зарождении было встречено, как величайшая ересь. Их попытка опереться на непролетаризированного крестьянина была поставлена им в счет, как явное тяготение к мелкобуржуазной стихии. Их надежды создать широкое массовое крестьянское движение во имя такой широкой и радикальной социализаторской программы были признаны за величайшее идеализаторство деревни, за иллюзию и утопию. Жизнь были высшим оправданием их точки зрения. Лозунг социализации земли победоносно прошел по всей территории Великороссии, Украины, Белоруссии и частично, урезанно втеснился даже в аграрное законодательство издревле собственнических окраин: Латвии, Эстонии, Литвы, Армении, Грузии.

Социализация земли, подводя прочную базу под кооператизацию сельского хозяйства и находя в ней свое естественное дополнение, открыло деревне путь к социализму и социализму — путь к деревне. Аграрная революция приложила к ней свой «штемпель жизни».

Этот успех идеи социализации земли, в связи с революционным методом ее проведения, уже наметившийся в революции 1905 г., чтобы окончательно определиться в 1917 г., для незрелых умов сыграл, однако, роль «великого соблазна». По грубой и поверхностной аналогии с «социализацией земли революционным путем», некоторые элементы в рядах партии попробовали представить себе одновременную с этой аграрной революцией «социализацию фабрик и заводов», как единовременный революционный акт. Так родился на свет максимализм, — сначала с «народнической» окраской, затем он сошел со сцены, но оставил свои идеи и планы по наследству марксистски окрашенному большевизму.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### Максимализм, как предтеча большевизма

Европейским социалистам «максимализм» ныне известен, главным образом, как обозначение одной из трех фракций, на которые распался итальянский социализм. Это — фракция Серрати, стоящая где-то на границе между чистыми

социалистами и чистыми коммунистами. В эпоху, когда «Венский» интернационал сливался в Гамбурге с «Лондонским», из состава Венского интернационала, протестуя против этого слияния, выделились три крошечные фракции, которые, однако, выступили с немалыми претензиями: основать еще один «свой собственный» интернационал или эмбрион будущего интернационала. То были: русские «левые социалисты-революционеры», объединившиеся с «союзом русских максималистов»; оставшаяся вне объединенной германской социал-демократии «независимая» группа Георга Ледебура; «левые» литовско-белорусские социалисты-народники. Они рассчитывали еще на присоединение итальянских максималистов-серратианцев и сходных с ними французских «социалистов-коммунистов» группы Фроссара. По-видимому, это и был бы, в отличие от социалистического и коммунистического интернационалов — интернационал «максималистский».

Из этого эфемерного новообразования ничего не вышло, да и не могло выйти. Большевизм второго сорта делается излишним там, где есть на лицо «первый сорт». Но исторически максимализму перед большевизмом принадлежит, несомненно, первенство. Максимализм исторически был предтечей большевистского коммунизма. Он возник, как и большевизм, впервые на русской почве в эпоху «бури и натиска», в 1905 году. Он зародился первоначально не в социал-демократической, а в народнической среде, именно в рядах «партии социалистов-революционеров». Он как бы предчувствовал практику большевизма наших дней; он предвосхитил ее в мысли и рвался к ней всем сердцем и умом тогда, когда большевизм еще целиком стоял на «минималистских» позициях.

С максималистской точки зрения, «социалистом может быть назван только тот, кто убежден в осуществимости теперь же социализма» (Е. Тагин, «Принципы трудовой теории», с. 94). Для осуществления социализма не хватает только желания его осуществить, да веры, что «все прочее приложится». Лидер максималистов, М. П. Соколов, по свидетельству его биографа, любил вспоминать о первом периоде русского социализма, периоде наивной, ничем несокрушимой веры в непосредственную близость социальной революции. «Такой бы верой, да нашим теперешним восставшим народом, — говаривал Соколов, — не только что сделать социальную революцию — весь мир перевернуть можно бы было» (Сборн. «Воля Труда», с. 172).

Талантливейший из теоретиков максимализма, М. А. Энгельгардт, правда, признавал, что условия осуществления социализма тройки: 1) объективно-экономические условия, 2) научная зрелость понятия о плане будущего строя, и 3) наличность всенародного энтузиазма, характерного для всякой «великой революции», в отличие от революции «малой». Однако, на деле значение первого условия меркло и для него перед последним. «Буржуазное общество — поэтизировал М. Энгельгардт — чудовище народных сказок, в котором скрывается очарованный принц; чтобы разрушить чары и освободить прекрасного принца — социалистическое общество — нужно произнести волшебное слово. Этим словом — революционным энтузиазмом, доходящим до степени религиозного экстаза, — обладает Россия». «И вот почему из всех современных стран только Россия действительно подготовлена к социальной революции, только

она, несмотря на всю азиатчину, ужасающую отсталость, Батыевские порядки, несмотря на все это, только она может явиться инициатором новой эры в существовании человечества... Unglaublich, aber wahr; Россия подает сигнал Западной Европе, и западноевропейские страны повинуются этому сигналу и примыкают к русскому революционному движению»...

Для русского максимализма было в высшей степени характерно это восторженное состояние духа, для которого проза реальной жизни казалось лишь видимым, призрачным бытием, а какой-то сказочный мир экстазов, пророчеств и волшебных слов — высшей реальностью. Бросается в глаза тот факт, что здесь перед нами лишь революционная перифраза теорий русского национально-религиозного мессианизма, во вкусе хотя бы Вл. Соловьева. Этот вдохновенный русский мистик писал: «Наружный образ раба, доселе лежащий на русском народе, неудовлетворительное положение России в экономическом и других отношениях не только не могут служить возражением против ее призвания, но скорее подтверждают его, ибо та высшая сила, которую русский народ должен провести в человечество, есть сила не от мира сего; а внешнее богатство и порядок относительно ее не имеют никакого значения» (Вл. Соловьев, «Критика отвлеченных начал», с. 432). Соловьев от русского народа тоже ждал мистического «волшебного слова». У максималиста Энгельгардта и славянофильствующего мистика Соловьева только содержание ожидаемых «волшебных слов» было различно, а вся остальная психология была совершенно одинакова. Это — психология людей, опьяненных верою. И Энгельгардтовское «Unglaublich, aber wahr» — разве это не простой перифраз христианского «Credo, quia absurdum»?

Теоретики максимализма радостно преклонялись перед иррациональным моментом в революции и «тем неведомым, чего никакой бухгалтер не сосчитает, никакой политический аптекарь не взвесит, никакой политический химик не анализирует». Революция манила их именно буйной стихийной игрой доведенных до точки кипения страстей, перед которой бессильны выкладки разума, и которая обращает мудрых мира — в безумцев, а воплощенное безумие делает властителем дум. Для максималистов не было таких объективно-материальных препятствий, которых нельзя было бы взять штурмом, «найтием революционного вдохновения». Эти романтики чуяли в народном брожении веяние «гения революции». А известно, что «гений, не учась, учен, коль придет в восхищение». И потому максималистская тактика превращалась в демагогию, цель которой заключалась в том, чтобы скорейшим путем приводить толпу, плебс в состояние «революционного восхищения».

Писания максималистских теоретиков изобиловали красноречивым изображением того, как в атмосфере революции растут восприимчивость и впечатлительность масс, как с эпидемической силой распространяются в них новые настроения, как пронизываются, они электрическими токами волевых импульсов, а вместе с этим как рождается в них вера в свои силы и всяческие «дерзновения». И когда они всем этим приводились к старому Дантоновскому лозунгу — *de l'audace, de l'audace et encore de l'audace* — они были до известной степени совершенно правы. Да, в процессе революции воспламеняемость масс страшно растет. Да, выбитые из колеи повседневного существова-

ния, потрясенные громом событий, массы жадно впитывают евангелие нового учения, дающего теоретическую обосновку, развитие и возведение в принцип смутно сознаваемых ими их собственных интересов. Это, конечно, огромный плюс для дела революции. Но ведь это плюс, главным образом, для негативных, отрицательных ее задач. Но есть другие задачи революции — положительные, позитивные. Те же свойства масс, которые необходимы для разрешения этих задач, к сожалению, не растут в равной мере от дуновения революционного урагана. Те созидательные силы, те организационные навыки, та способность к хозяйственному самоуправлению, к экономическому творчеству, которые будут нужны для использования революции, — развиваются, главным образом, в органические, а не в критические эпохи. Это есть медленно накапливаемый капитал. «Напряжение», «восприимчивость», «впечатлительность», «электрические волевые токи» и т. п. здесь влияют крайне мало и не всегда влияют в положительную сторону. Рабочий класс имеет свою «органическую работу», — он в недрах буржуазного строя развивает свои классовые учреждения, свои механизмы защиты и нападения, свои окопами обнесенные позиции, свой укрепленный лагерь. В синдикатах, в кооперативах, в партиях и т. д., и т. д. он вырабатывает свою пролетарскую, социалистическую культуру. В огне тревожных событий, потрясающих страну, он может развить громадную разрушительную силу. Но какая мера этой разрушительной силы будет им разумно использована и какая будет расточена бесплодно, — это определяется суммой накопленного им культурного капитала. Только этот культурный капитал и организационные средоточия его, созданные рабочими уже в недрах старого строя их собственные, рабочие, классовые организации и учреждения — есть твердая исходная точка, опорный пункт для всякого замышляемого ими социального переустройства. Такого переустройства нельзя вызвать к жизни простым актом воли, революционным декретом, хотя бы исходящим не от кучки людей, а от обширной коллективности. Элементы нового строя, его живые стержни, должны быть подготовлены в том особом мирке, который создается вокруг себя новым классом в противовес окружающему его старому миру. Прежде чем нанести окончательный удар феодальному миру, буржуазия уже организовалась в его недрах, уже создала зачатки буржуазной собственности, буржуазного обращения, буржуазного права, буржуазной нравственности; она уже имела целый ряд своих классовых учреждений; она уже составляла в недрах феодального общества новый мирок в миниатюре. Этот эмбрион нового общества ко времени великой французской революции был уже готовым; революция дала ему возможность развиться в новый организм; революция расчистила ему почву. Но если бы этого не было, если бы буржуазная культура еще не была подготовлена в недрах старого строя, — революция не была бы Великой Революцией, не создала бы новой эры; она осталась бы колоссальным потрясением страны, огромным кровопролитием, надолго истощающим силы и старого, и нового мира; как бы долго она ни продолжалась, как только усталость взяла бы свое, так тотчас же, в силу исторической инерции, возродился бы приблизительно старый общественный строй.

Это превосходно понимал и красноречиво излагал еще Герцен.

«Пусть каждый добросовестный человек сам себя спросит, готов ли он? Так ли ясна для него новая организация, к которой мы идем, как общие идеалы коллективной собственности, солидарности, и знает ли он процесс (кроме простого ломанья), которым должно совершиться превращение в нее старых форм? И пусть, если он лично доволен собой, пусть скажет, готова ли среда, которая по положению должна первая ринуться в бой?

«Прежде дело хотели взять грудью, усердием, отвагой и шли зря на авось, мы на авось не пойдем... Знания и понимания не возьмешь никакими *coup d'etat* и никакими *coup de tete*... Всякие попытки обойти, перескочить сразу от нетерпения, увлечь авторитетом или страстью, приведут к страшнейшим столкновениям, и, что хуже, к неизбежным поражениям.

«Общее постановление задачи не дает ни путей, ни средств, ни даже достаточной среды. Насильем их не завоеешь. Подорванный порохом весь мир буржуазный, когда уляжется дым и расчистят развалины, снова начнет — с разными изменениями — какой-нибудь буржуазный мир. Потому, что он внутри не кончен, и потому еще, что ни мир строящийся, ни организация не настолько готовы, чтобы пополниться, осуществляясь.

«Работники, соединяясь между собою, выделяясь в особое «государство в государстве», достигающее своего устройства и своих прав помимо капиталистов и собственников, составят первую сеть и первый всход будущего экономического устройства. Международный союз может вырасти в Авентинскую гору а *l'interi ur*. Отступая на нее, мир рабочий, сплоченный между собою, покинет мир, пользующийся без работы, и он, отлученный, *volens-nolens* пойдет на сделки. А не пойдет, тем хуже для него...

«Я нисколько не боюсь слова «постепенность», опошленного шаткостью и неверным шагом разных реформирующих властей... Тот, кто не хочет ждать и работать, тот идет по старой колее пророков и прорицателей, ересиархов, фанатиков и цеховых революционеров. А всякое дело, совершающееся при помощи элементов безумных, мистических, фантастических, в последних выводах своих неминуемо будет иметь и безумные результаты рядом с дельными».

Максималисты видели лишь дуновение революционного энтузиазма, охватившего Россию и по видимости совершенно преобразовавшего массы. Им казалось поэтому, что Россия подготовленнее к социалистическому перевороту, чем всякая другая страна. Это было грубое заблуждение. Они не видели, что в России менее, чем где-либо, развита и подготовлена социалистическая культура и те ее классовые организационные центры, которые в других странах Европы уже имеют свою долгую историю. Они не умели и не хотели различать негативной и позитивной революционности рабочего класса; они не допускали, что перевес первой над второй может быть для рабочего класса роковым. Они стремились так же смешивать их, так же представлять себе одну — функцией другой, так же перескочить через их различие и обособленный анализ, как это делали анархисты в лице Бакунина, с его знаменитой фразой: «Дух разрушения и есть созидаящий дух». Этим они страшно упрощали свою задачу — разрешения проблемы грядущей революции, — конечно, лишь в воображении, а не в жизни.

Благодаря этому «упрощению», этой вульгаризации задач революции, максималисты стали измерять степень «готовности страны к социалистическому перевороту» простой распространенностью среди взволнованных масс обычных социалистических лозунгов, Schlagwörter, боевых словечек, всяческих «долой» и «да здравствует»...

Максималисты подверглись довольно большому влиянию революционного синдикализма. У него они целиком восприняли критику политического социализма, демократии и парламентаризма; от него они заразились «катастрофическим» представлением о конце капиталистической цивилизации и туманно-романтическим культом революционного насилия. Характерно, что, жадно впитывая эту негативную сторону синдикализма, максималисты остались совершенно нечувствительны к его позитивной стороне. Мы видели, как высоко ценил синдикализм непосредственное социально-экономическое творчество рабочих масс, как прищипывал он их в работе по созиданию рабочей культуры и всевозможных рабочих классовых учреждений уже в недрах нынешнего общества. Мы видели, что он рассматривал профессиональные союзы, не только как центры текущей борьбы, как боевые аппараты, но и как центры классового творчества, подготовку скелета будущего общества, как лаборатории нового трудового права и новой трудовой культуры. Он мыслил прогрессивное расширение функций синдикатов, идеальным пределом которого будет удовлетворение синдикатом всех потребностей рабочих — не только боевых, но и культурных, просветительных etc. Синдикаты, со своим третейским разбирательством, должны создать новые формы суда; со своими съездами, конференциями и согласительными совещаниями должны подготовить зародыш новых государственных форм — профессиональной демократии. Синдикаты должны были постепенно отобрать у государства и местных самоуправлений все их действительно полезные для рабочих функции, после чего напасть на них и разрушить их, чтобы построить рабочее государство на совершенно ином фундаменте, уже давно заложенном. Революционный синдикализм давал идею приготовления социалистической культуры в очень однобокой форме; он насильственно втискивал ее всю в рамки синдиката и либо отрицал другие формы приготовления социалистической культуры, либо старался подчинить их гегемонии синдиката (политическая организация рабочего класса, кооперативное движение); но он все-таки эту идею давал.

Этими своими сторонами революционный синдикализм был глубоко почвенным течением, обоими ногами твердо опиравшимся на реальный рост самоорганизации рабочего класса. Не то — максимализм. Его революционный романтизм недоверчиво отворачивался от прозы повседневного пролетарского классового быта; в ней он чуял веяние духа мещанства. По мнению Энгельгардта, «все классовые пролетарские учреждения, действуя в капиталистическом обществе, неминуема осуждены работать в капиталистическом духе, ставя своей целью неразменный червонец. Эта мечта о неразменном червонце отравляет и душу пролетария... «А так как современные кооперации, профессиональные союзы и проч., в конечном результате ведут к образованию сбережений у рабочего, то психическое воспитание, даваемое этими организациями, является

весьма сомнительным» (М. Энгельгардт, «Задачи момента», с. 29). Е. Тагин видел в них не «зародыши будущего общества», а лишь новые формы эксплуатации, грозящие тем, что множество мелких собственников-пайщиков будут эксплуатировать меньшую количественно группу трудящихся производителей (Е. Тагин «Основные задачи трудовой республики», в сб. «Воля Труда», с. 72). Н. Кольский указывал на гибельную для них «ассимилирующую силу социальной среды», и доказывал, что чем развитее буржуазные формы, тем труднее трудовому классу поднять голову, «размахнуть руку, раззудить плечо», тем более скреп и инерции будут его удерживать в рамках буржуазного строя (Н. Кольский, «В чем заключается революционная тактика», там же, с. 27).

Казалось бы, из этого могли вытекать только ультра-пессимистские выводы. И в самом деле, Е. Тагин сделал отсюда необходимое логическое заключение: он открыл, что «по мере развития капитализма шансы на трудовой строй падают, а не увеличиваются» (Е. Тагин, «Минимум программы-минимум», и пр., там же, с. 104). Почему? Это понятно. «Чем выше производительность труда в пределах классового строя, тем больше материальных и духовных средств для закрепощения трудящихся сосредоточивается в руках господствующего класса, тем меньше шансов на освобождение труда от гнета эксплуатации. В пределах капиталистического строя трудящиеся дальше отстают от своего освобождения, чем в пределах мелкого хозяйства, когда материальная сила господствующего класса была ничтожна» («Основные задачи трудовой республики», с. 73-74). А так как — увы, — эволюция все более и более отдаляет всю Европу от эпохи господства мелкого хозяйства; так как, к несчастью для максималистов, производительность труда в пределах классового строя продолжает расти, то вывод ясен. Каждый день все более и более отодвигает Европу от возможности «освобождения труда от гнета эксплуатации». С какой стороны ни посмотреть на максимализм, — оборотной стороной его казового, ультра-оптимистического революционизма являлся самый глубокий пессимизм. Максималисты верили в «увеличение материальных и духовных средств для закрепощения трудящихся» в руках хозяев; но они не верили в такое же медленное, но прочное увеличение духовных и материальных ресурсов рабочего класса. Дело социальной революции приобретало для них, поэтому, вид отчаянной, азартной ставки. Нужно в какой-нибудь стране захватить классовый строй в самом зародыше и чудодейственным образом, «захватом фабрик и заводов» повернуть в другую сторону колесо истории; тогда, быть может, эта социальная революция отсталой страны даст извне толчок делу социализма в других странах, более передовых, у которых собственных сил для избавления труда от ига капитала становится все меньше и меньше. И это как нельзя более гармонировало со всей физиономией максимализма, со всей его тактикой. Она соединяла в себе одновременно трагические черты героизма отчаяния с комическими чертами азартной игры со ставками ва-банк, с действием на авось и напролом.

Отсюда и другая черта максимализма: его проповедь своеобразной теории «революционного меньшинства». Гр. Нестроев прямо провозгласил: «Совершенно излишне, чтобы большинство пролетариев состояло из социалистов. Необходимо лишь для возможности переворота проникнутый трудовой психи-

кой народ, готовый бороться за свое освобождение, и сплоченное, энергичное, инициативное пролетарское меньшинство, которое стало бы во главе движения» (Гр. Нестроен, «Беглые заметки. От минимализма к максимализму». Сб. «Воля Труда», с. 64).

Маркс говорил, что «прошло время внезапных вспышек, революций, совершаемых сознательным меньшинством во главе бессознательных масс. Полное преобразование всего общественного строя предполагает деятельное участие массы, ее сознательное отношение к тому, за что она борется и чего ей требовать». *Nous avons changé tout cela*. Ибо «мы» придумали подготовительную и переходную к социализму упрощенную форму власти труда, «Трудовую республику». Форма эта очень проста. Написанная Петром Тарасовым первая программа московского союза максималистов заявляла, что он предлагает «прямо программу *maximum*, т. е. захват теперь же не только земли, но и всех орудий труда — фабрик, заводов, машин в руки трудового народа... Всякое правительство в таком случае делается совершенно излишним, а остаются свободные общины, которые устраивают жизнь по общему согласию на таком основании: каждый работает сколько может и берет, сколько ему нужно». К списку подлежащих захвату предметов были прибавлены впоследствии жилые строения и капиталы. Захват по этой программе был еще более расплывчатым, чем в программе синдикалистов. Максималисты полагали, что «вопрос о том, подготовлена ли рабочая масса к тому, чтобы ввести коллективное производство — это вопрос праздный, ибо «при социализации фабрик и заводов всё и все (курс, подлинника) остаются на своих местах, — кто вел производство, тот на первых порах и будет вести. Лишь вместо отдельных собственников выступает один — трудовой народ» (Гр. Нестерев, там же, с. 65). Столь же праздным оказывался и вопрос о том, сумеет ли рабочий класс выдвинуть из своей среды людей, способных быть организаторами общественного хозяйства. Зачем? К чему? «Инженеры, техники, управляющие, директора на первых порах также остаются на своих местах, в «услужении» у народа» (Е. Тагин, «Ответ Виктору Чернову», с. 32). «Технический персонал тоже никуда не исчезнет». Вот и все. Наконец, у нас есть еще хозяева, — мы позабыли хозяев! «Хозяева могут остаться временно в качестве администраторов со средним вознаграждением за их труд, если их труд будет продуктивен и если рабочие выберут их» (Там же, с. 47). Ну, а с помощью хозяев максималистская революция будет уж совершенно обеспечена. Ясно, что при таком порядке «массы сразу поднимутся на ту высоту, с которой возврата в тихое и безмятежное царство кабалы и эксплуатации уже не будет».

Итак, центральную роль в максималистской программе играло понятие «захвата». С него начиналась максималистская эра. Его значение представлялось прямо чудодейственным. Так, например, до этого захвата все учреждения: всеобщее избирательное право, кооперативы, синдикаты, муниципальный социализм — вредны для рабочего класса; после захвата они становятся необходимы и полезны. Почему? Потому, что захват создает некоторое, хотя и примитивное, экономическое равновесие, без которого рабочий слабее хозяина и потому неизбежно проигрывает на всяком поле битвы. Утвердившись на этой

точке зрения, максималисты, естественно, ввели, как исходный пункт своей программы, также и элементарную «дележку» потребительного характера. «Трудовое сознание рабочих, насквозь пропитанное убеждением, что все богатства — плоды их горемычного труда, без обиняков подскажет им, что необходимо сперва завладеть всеми пищевыми запасами, одеждой и другими предметами первой необходимости и разделить это сообща между всем населением» (С.Я. Светлов, «Задачи грядущего», стр. 30). Апелляция при этом к «трудовому сознанию» рабочих сближает эту точку зрения с системами потребительного коммунизма, характерными для некоторых разветвлений анархизма (в том числе для русской «махаевщины») и рассчитанными на психологию безработного люда и даже люмпен-пролетариата. Эти элементы, выкинутые современным строем за пределы регулярного производства, естественно психологически настраиваются не столько думать о коммунизме производства, сколько о коммунизме потребления. Социализм одних — «реорганизовать производство». Социализм других — «отнять и разделить».

То же и в области политики. От «махаевцев» и «рабочевольцев» русские максималисты отличались положительным отношением к демократической республике... если эра ее существования будет вместе с тем эрой освободительного «захвата». До захвата демократия есть ложь: «путь парламентской борьбы, борьбы за влияние на государственный механизм — по Н. Кольскому — является методом крайне непродуктивной затраты энергии, крайнего истощения сил и многообъемлющего вреда (Н. Кольский, с.53). Для С. Светлова вина парламентских учреждений заключалась в том, что «они служат разрядниками сгущающейся атмосферы недовольства, ненависти и голода; и вся злоба, которая по капле проникает в душу рабочего, вместо того, чтобы накопляться, закалить его энергию и стимулировать в борьбе, пропадает по мелочам (Светлов, «Задачи грядущего», с. 12). Всяким представительным учреждениям в рамках буржуазного капиталистического строя максималисты объявляли «бойкот», и Е. Тагин приветствовал «более передовых рабочих Европы», которые «для своего освобождения вступили на путь революционного синдикализма, махнув рукой на парламентскую борьбу». Он заявлял, что «если бы у него был выбор лишь между ПСР в ее современном виде и анархистами, он бы, конечно, отдал предпочтение анархистам-синдикалистам» (Сб. «Воля Труда», с. 130 – 132). Он приравнивал парламентскую тактику к «тактике непротivления», высмеивал «парламентскую борьбу — на языках», и объявлял, что «парламентские дельцы — это лукавые или наивные, добрые или злые, но главным образом — зайцы». Про германскую социал-демократию максималисты говорили, предвосхищая демагогию Коминтерна и Зиновьева: «революционеры Запада уже достаточно ее раскусили и поняли ее вождей, выпускающих свои белые лапки и по спинам пролетариата взбирающихся на тепленькие общественные местечки, вроде мягких депутатских кресел». Оказывалось, что «сознательный революционный пролетариат Запада уже давно порвал и с каждым днем все более и более порывает связь с этими господами». Но особенно удачно побивали максималисты парламентаризм тем, что пролетарии «едва ли в момент всеобщей стачки перестанут хотеть есть, и вряд ли доставят им хлеб своими языками жалкие парла-

ментарии». В итоге, конечно, оказывалось, что парламенты нужны только буржуазии, «чтобы укрощать пролетариат и развращать их мысль... Рабочий не заинтересован в этих ловушках. Они не дадут ему ничего, кроме лишних цепей и новых господ» («Наш путь», с. 55-57). Наконец, официальное «извещение» об образовании максималистского «союза» прибавляло к списку преступлений, числящихся за представительными учреждениями, еще такое: они «берут на себя роль мозгового мыслительного аппарата; оставляя трудящимся лишь органы исключительно подчиненного характера».

Казалось бы, после всего этого к лозунгу демократической республики возврата нет. Идя в критике парламентаризма на буксире у анархистов, максималисты, однако, вдруг с известного момента прерывали эту связь посредством настоящего *tour de force*. Наши антипарламентарии сразу превращались в парламентариев, как только вместо демократической республики возникает трудовая республика; а эта смена, или, точнее, метаморфоза, достигалась захватом фабрик, заводов и капиталов.

Что же такое трудовая республика? Она по Нестроеву «характеризуется одновременным переходом в руки трудового народа политической власти, земли, фабрик и заводов.

Но это еще не социализм. Для социалистического переворота необходимо еще организовать трудовой народ в социалистический союз, который сознательно реорганизует весь строй на социалистических началах, т. е. обобществит и собственность, и производство, и распределение». Этот союз организуется уже в трудовой республике, которая является удобной ареной для его развития. «От демократической республики трудовая республика с исторической точки зрения отличается весьма существенно. Переход от демократической республики к социализму требует революции; переход от трудовой республики к социализму возможен эволюционным путем, путем органического «врастания». Трудовая республика есть переходная ступень» («Сб. В. Тр.», с. 35). «Трудовая республика — писал Тагин — это не идеальный наивысший строй. Она на пороге старого и нового строя, но она не старый и не новый строй. Она лишь начало, преддверие нового строя, она — трудовое царство, где осуществляется Воля Труда» (Там же, с. 99). «На смену нынешнему общественно-хозяйственному строю — писал Н. Кольский — не может, как Минерва из головы Юпитера, явиться идеальное гармоническое общественное устройство... Ни сейчас, ни через столетие на смену буржуазному строю не может придти подобное общество. Каждый строй проходит три фазы своего развития; зарождения и роста, расцвета и упадка... Социалистический строй, как и всякий другой, должен пережить эти три фазы, и, конечно, прежде всего зародиться — это будет фаза эмбриональная». «Не об элизии мы говорим, а о трудовой республике, эмбриональной форме идеального социалистического обобществления, единственно возможной, реальной форме». В качестве таковой, трудовая республика есть нечто такое, что «понятнее и больше говорит уму и сердцу трудящихся, чем социалистический строй (Н. Кольский, там же, 77, 82; «Воля Труда», с. 26).

Присматриваясь ко всем этим определениям, мы должны констатировать

в них одно: принципиальное признание невозможности перескочить прямо в социалистический строй; иными словами, принципиальное признание неизбежности постепенности в эволюции к социализму. В умы максималистов просочилось таки понятие о такой величине творческой задачи социалистического переустройства, которая не допускает возможности разрешения ее сразу. Итак, нужен последовательный ряд мер, каждая из которых может служить отправной точкой для других, облегчая, подготавливая их и предшествуя им, в качестве меры более элементарной, более удободостижимой. Но если созидательная творческая работа должна совершаться этапами, то расчищающая ей дорогу работа ликвидационная не должна ли идти такими же точно этапами? Казалось бы, это ясно. *Destruam et aedificabo*, как гласил гордый девиз Прудона. Но до сих пор только реакционеры понимали этот социалистический девиз так, что социалисты сначала хотят все разрушить, а потом, когда от старого мира ничего не останется, начать строить новый мир. Творчество и разрушение для социализма нераздельны. Разрушает социализм постольку, поскольку непосредственно замещает разрушенное; он отрицает, утверждая новые базы жизни. У него тоже «*determinatio est negatio*». Между той и другой стороной его деятельности, несомненно, должно сохраняться известное соответствие. Плохо ли, хорошо ли, жизнь в современном обществе течет по определенным руслам. Можно изменять направление течения; но это делается созданием нового русла; только когда новое русло готово, останавливают течение по старому руслу, и от этого не происходит никакой неурядицы. Но что было бы, если бы прежде всего прекратить движение по всем старым руслам, и только затем приниматься постепенно за то, чтобы рыть, одно за другим, новые? Конечно, ничего, кроме наводнения, которое помешает всякой работе. Между тем, признав необходимость постепенности в позитивно-строительной задаче, максималисты не видели необходимости того же и в задачах негативных; и упорно хотели начать с единовременной ликвидации старого строя по всей линии. Отправная точка переворота — захват всех фабрик, заводов, капиталов. Таким образом, сразу огромное количество предприятий переходит в руки общества. Но это значит, что общество вынуждено сразу принять на себя ответственность за их судьбу, сразу с каждым из них должно что-то сделать, как-то каждое из них упорядочить. Куда же делось признание о необходимости органической постепенности этой работы? Правда, мы уже видели, как выпутался из этого положения Нестроев; он предположил, что на первых порах социализация фабрик и заводов все и всех оставляет на своих местах, перемещая лишь право собственности и право получения дохода. Но ведь это сплошной курьез, о котором серьезно и говорить нельзя. Общество не может принять на себя ответственности за ход Дел в «капиталистическом строе без капиталистов». Как будто все зло только в капиталистах, а не в самом строе — и всего более в строе! И если обществу, с одной стороны, предлагают приступить к постепенному созданию социалистических порядков, а с другой стороны требуют, чтобы оно немедленно и сразу приняло в свои руки буквально все фабрики, заводы и капиталы, то ему задают задачу, подобно отысканию квадратуры круга.

Здесь то и лежит первоисточник всей той путаницы и неразберихи, кото-

рую сделали неизбежной для себя максималисты.

«Последнее обвинение, которое нам надо отвести, — говорил Тагин — это то, что как только заходит речь о том, как практически провести в жизнь социализацию фабрик и заводов, максималисты теряются и дают разноречивые ответы. Предположим, так, но разве это может дать право с легким сердцем отказать от разрешения вопроса?» Но максималисты вовсе не были виноваты в том, что они терялись и бродили ощупью: им и нельзя было не растеряться. Они виноваты были только в том, что допустили неправильную, невозможную постановку проблемы. Раз допустив такую постановку, немислимо справиться с нею — можно только бессильно барахтаться.

И максималисты барахтались. Они прежде всего встречались с одной существенной трудностью. Фабрики «захвачены» и переписаны на имя единственного владельца — общества. Но продукт этих фабрик не доставляется еще прямо социалистическим потребителям, имеющим право на это; их потребление еще не учтено и не организовано, они не представляют еще, фигурально выражаясь, коллективного заказчика общественного производства; иными словами, продукт наших фабрик должен быть продан. Но ведь тогда вступают в силу железные законы конкуренции; вступает в силу разница производственных условий на отдельных фабриках; вступает в силу борьба из-за рынка, в которой сильный теснит слабого, удачливый — неудачливого; с сохранением конкуренции и анархии производства сохраняются и кризисы. Быть может, они еще обостряются, ибо ко всему этому присоединяется все-таки огромная пертурбация в заведывании предприятиями; как гладко ни представляй себе дело, при «захвате» по всей линии, целого ряда новых заминок и, расстройств в функционировании народного хозяйства не избежишь. Но если «трудовая республика» будет дебютировать острым промышленным кризисом и связанным с ним бедствиями, не будет ли этот кризис для нее могилой? Если правительство трудовой республики, взяв в свое заведывание фабрики и заводы, и, следовательно, взвалив на свои плечи ответственность за ход промышленных дел, не сможет избежать этого кризиса, — сколько должно подняться разочарований, сколько недовольства! Какая благоприятная почва для того, чтобы реакция подняла голову! Какая блестящая иллюстрация несостоятельности социалистической идеи общественного ведения хозяйства! Эти фабрики и заводы, в которых «все и все остались на своих местах», но которые зачислены за обществом, могут быть еще более благодарным материалом для дискредитирования социализма, чем печальной памяти французские национальные мастерские 1848 года. Ибо это еще большая карикатура на социалистическое хозяйство. Максималистам пришлось в серьез призадуматься о том, как бы разгрузить общественную власть от бремени ответственности за неизбежную хозяйственную анархию и разруху. Тагин первоначально предлагал, поэтому, захваченные фабрики и заводы» объявить собственностью рабочих артелей. Социализм, по его тогдашнему мнению, был мыслим «не только как общественная организация хозяйства, в котором отдельные члены — равноправные винтики одной общей машины, и которая подразумевает высокоразвитую сложную технику и высшую производительность труда вследствие технического разделения труда и машинного

производства, но и как такая организация, где хозяйства соединяются вместе в артель»... Социализм, как «артельное» хозяйство, мыслим, следовательно, и на низших ступенях техники. Пример — деревня, где такой социализм порою уже осуществлялся в небольших размерах в «больших» дворах, т. е. во дворах, соединенных кровными связями живших одним общим хозяйством или в общем пользовании угодьями» (Принципы трудовой теории, с. 82, 51-52). Это у Тагина называлось «социализмом, как кооперацией простого сотрудничества», в отличие от «социализма, как кооперации сложного сотрудничества». «Трудовая республика» максималистов и должна была осуществить «кооперацию простого сотрудничества». В деревне, на худой конец, как «ячейка» трудовой республики их удовлетворила бы даже патриархальная «большая семья» тем более — артель, в городе — единичная производительная кооперация. Однако, долго оставаться на точке зрения подобного примитивного «семейного» и «артельного» максимализма было невозможно. История производительных коопераций слишком красноречиво говорила максималистам о том, что такие кооперации при работе на рынок подпадают под его неумолимую власть и обнаруживают тенденцию к вырождению в акционерные компанийки новорожденных мелких буржуа, причем дело скоро кончается тем, что наряду с пайщиками в кооперации появляются и... наемные рабочие. Вот почему максимализм скоро вынужден был внести в свою «артельную» систему организации кое-какие «синдикалистские» поправки и дополнения. План построения «трудовой республики» видоизменился так: «захват» должен сопровождаться «передачей всех немелких фабрик, заводов и мастерских (свыше, напр., 5 чел.) во временное распоряжение рабочих, работающих на них, составляющих артель и получающих как бы право хозяйственного самоуправления с известными ограничениями» (ограничения состоят в запрете наемного труда, в праве высших органов «вселять» в артель новых членов, нормировке цен продуктов и нормировке минимума и максимума заработка). Артели рабочих и служащих, например, хлопчатобумажного производства составляют один профессиональный союз-синдикат, который и обсуждает все вопросы данного производства... Этот союз вычисляет необходимую цифру производства в год с необходимыми запасами, распределяет его по отдельным фабрикам, а также и рабочих... такому союзу артели каждой фабрики данного производства должны передавать на окончательное рассмотрение проекты смет и недоразумения профессионального свойства». «Окончательное утверждение цен товаров и расценок должно принадлежать местным и центральным профессиональным союзам» («Ответ Виктору Чернову», с. 45-47).

Здесь мыслилось, таким образом, товарное хозяйство, в котором по образцу нынешних синдикатов хозяев с нормировкой производства должны были оставаться синдикаты и тресты рабочих артелей. Эти синдикаты и тресты являлись, однако, не простым частноправовым, добровольным соединением; это — органы трудовой республики; так как фабрики и заводы объявлялись общественной собственностью, то отдельная артель не могла по собственной воле вступать или не вступать в соответственный синдикат; верховное распоряжение и контроль принадлежали «трудовой республике», как территориальному госу-

дарственному союзу, имеющему свой центр и свои местные разветвления; да и профессиональные синдикаты сами являлись не более, как такими разветвлениями, подчиненными территориальным органам самоуправления.

Однако, и этот план, спустя несколько времени, оказался несовершенным и был радикально исправлен в еще более «синдикалистским» духе. «Артельный» элемент окончательно распустился, растворился в синдикальном объединении. Синдикаты, ранее бывшие обособленными рабочими трестами, теперь были соединены между собою «интерпрофессиональными» звеньями как на местах, так и в центре. Зато соответственно была ослаблена роль чисто-территориальных организаций (муниципий). Для всего построения усваивалась и терминология романского синдикализма.

«Все, занятые в той или иной области производства, распределения, выполняющие те или иные общественные функции, соединяются по профессиям, охватывающим всю страну».

«В пределах каждой коммуны, каждого округа профессиональные синдикаты выбирают местные и окружные конфедерации труда; для руководства организацией труда всей страны выбирается Центральная Конфедерация Труда».

«Синдикаты заведуют всеми отраслями производства, сокращают одни предприятия, расширяют другие. Они принимают меры к обобществлению мелкого производства «сверху вниз» и «снизу вверх». «Синдикаты нормируют труд и устанавливают трудовые эквиваленты. Таковы задачи Синдикальной организации труда».

«Центральная Конфедерация их (синдикатов) совместно с Центральным Советом Труда выполняет роль регулятора-управителя».

«В отличие от других форм Трудовой Республики я назову свою территориально-синдикальной» («Воля Труда», стр. 83-84, 91 и 94).

Однако здесь являлось новое затруднение. Мы уже видели, что максимализм с большим недоверием относился к реальному профессиональному движению рабочих: оно было для максимализма чересчур почвенным, позитивным, практическим. Тагин затвердил себе: «профессиональная организация рабочих приучает их лишь к одному: уметь вникать в хозяйские интересы и сообразно им выставлять требования, — приучает их к мирному житию в любви и добром согласии с хозяевами. Никогда еще прочно укрепившаяся, пустившая корни вглубь профессиональная организация не стояла на страже классовых интересов — профессиональные организации не создают и по самой сущности своей не могут создать технической подготовленности, ибо они отнюдь не задаются задачей управления производством». Поэтому его «территориально-синдикальные» публично-правовые органы не вырастали из нынешних частно-правовых профсоюзов, но являлись, как Минерва из головы Юпитера. Они создавались из ничего декретом Трудовой Республики, а вовсе не представляли собою органического, «самотеком» происшедшего увенчания реального синдикального движения современного пролетариата. Если уж искать в современности зародышей этих органов, то, скорее всего, их можно было бы найти в «советах». Не доверяя «прочно укрепившейся, пустившей корни вглубь профессиональной организации», максималисты сразу влюбились в «советы». И здесь

они снова предвосхитили будущее большевиков, которые в 1905 г. еще отнеслись к «советам» с некоторым недоверием. Эти непрочные, поверхностные, импровизированные организации, вызываемые к жизни исключительными эпохами революционного подъема и рассыпающиеся, как только прилив сменяется отливом, пользовались тогда симпатиями повсюду, но по разным основаниям. Меньшевики ценили в них выход из подполья, из узкого круга семьи «профессиональных революционеров» на широкую арену и мечтали на фундаменте «советов» создать «широкую рабочую партию». Социалисты-революционеры глядели на «советы», как на революционные рабочие клубы и «предпарламенты», при посредстве которых возможно межпартийное единство рабочего революционного фронта и общесоциалистическая дисциплина. Большевики, в противовес тем и другим, пытались поставить «советы» под опеку, под формальное руководство и контроль, — под «гласный политический надзор» нелегальной соц.-дем. организации. И лишь максималисты, в лице Тагина, уже тогда ухватились за идею «советов», чтобы с ее помощью превратить анархо-синдикализм в своеобразный «анархо-советизм». С точки зрения Тагина, «первым организационным шагом» трудового класса должна быть «организация пролетариата не под знаменем партий и не под профессиональным значком, а под классовым, т. е., организация в советы рабочих депутатов и в крестьянские союзы, в которых посторонние элементы могут иметь право лишь совещательного голоса». «Дело борьбы трудового народа должно находиться целиком в руках трудящихся. Остальные могут лишь помогать, но не управлять. Поэтому мы за лишение всех нетрудовых элементов в организации права решающего голоса. Они могут иметь лишь совещательный голос. Чуждые труду, эти элементы слишком легко склонны смотреть на него, только как на силу, и нередко очень мало считаются с его интересами» («Ответ Виктору Чернову», с. 48; «Принципы etc.», с. 95). Здесь максималисты опять предвосхищали большевизм и могли впоследствии с полным правом предъявить Ленину обвинение в том, что он самым бессовестным образом идейно обокрал их.

Впрочем, максимализм в целом не пошел за Тагиным и его сторонниками, составившими в его недрах лишь одно «крыло», артельно-синдикалистско-советистское. Рядом с этим крылом существовало и другое, которое можно было бы назвать «коммуналистическим».

Если Тагин базировал свой «максимализм» сначала на артелях, затем — на «территориальных синдикатах», чтобы, наконец, объявить скелетом будущего общества «советы рабочих депутатов», то Светлов, Нестроев и др. заменили в этой роли советы муниципиями или коммунами. В остальном все оставалось одинаковым. В защиту своего предпочтения муниципий всем прочим органам они выдвигали три основных соображения. 1) «Рабочие синдикаты или заводские артели составляют лишь часть населения коммуны, следовательно, коммуна должна заведовать делами, в которых заинтересованы все — и рабочие, и крестьяне, и интеллигентные труженики». 2) Своеобразную опасность представляет «возможность вырождения рабочих синдикатов, находящихся благодаря такой монополии в привилегированном положении, 3 эксплуататорские акционерные компании». 3) Необходимо, чтобы во время революции победив-

шие в одном месте массы «сейчас же, не дожидаясь ничьей указки, начинали дело нового общественного переустройства на той территории, которая находится в данный момент в их руках» — что опять выдвигает на первый план муниципию (Нестрев «Сб. В. Т.», с. 47; Светлов, «Сб. статей», Москва 1907, с. 27-28).

Картина революции, с этой точки зрения, представляется такою. «Вся страна покроеется отдельными оазисами, владеющими всеми фабриками и землями данной местности. Прежде всего регулируются отношения производства и распределения, касающиеся данной территории. Сейчас же организуются, вернее пускаются в ход производства продуктов первой необходимости, распределяются наличные и легко-воспроизводимые блага. Под руководством советов, комиссий, самих собою возникших в среде рабочих масс, происходит реорганизация всей общественной жизни там, где только народные трудовые массы одержали верх. Это — первые шаги». Подобный коммуналистический и децентрализованный метод социального переворота «имеет те преимущества, что победа трудового народа вовсе не предполагает необходимости победы всюду, даже в незначительных местечках». Исходная точка здесь — «революция коммуналистическая, децентрализованная»; сущность «коммуналистического метода социальной революции» заключается «в реорганизации общественной жизни путем экспроприации всех богатств в пределах каждой территории в отдельности».

Максималисты-коммуналисты, разумеется, постоянно ссылались на то, что, будто бы, за них свидетельствует «опыт Парижской Коммуны».

Так ли это? Что пыталась и что могла дать Парижская коммуна в смысле «коммунализации фабрик и заводов», в смысле осуществления в миниатюре, в пределах самодовлеющей муниципальной единицы, программы - maximum социализма?

Есть два направления в оценке Парижской Коммуны. Одни авторы — не-социалисты — естественно, относятся к ее экономической программе более скептически, другие — социалисты — склонны рассматривать ее под более благоприятным углом зрения, склонны мысленно продолжать проявленные ею тенденции, развивать их до наиболее крайних логических — с точки зрения социализма — последствий. Но ни те, ни другие в своем анализе деятельности Коммуны не обнаруживают данных, которыми наши максималисты могли бы обосновывать свои тактические построения.

Обозрев деятельность Коммуны и ее «главные меры, приводимые теми, которые желают видеть в Коммуне первое социалистическое правительство» (а их пришлось недолго перечислять), Жорж Вейль приходит к заключению, что меры эти «были скорее мерами вспоможения рабочему классу, чем социалистическими актами» (Ж. Вейль. «История социального движения во Франции». М., 1906, с. 145). Г. Иекк, считающий Коммуну «найденной наконец политической формой, под которой могла осуществиться экономическая организация рабочего класса», тоже должен признаться, что «величайшим социальным мероприятием Коммуны было» — что бы, вы думали? — «самое ее существование и деятельность». Ибо частные ее мероприятия «могли только наме-

тить то направление, в котором должно было действовать управление народа через народ». Он перечисляет — отмену ночного труда хлебопеков, запрещение понижать заработную плату рабочих практикой произвольных штрафов — все это меры весьма скромной программы - *minimum*. Наконец, он доходит до кульминационного пункта: «другим мероприятием того же рода была передача закрытых владельцами мастерских и фабрик рабочим товариществам за известное вознаграждение, независимо от того, бежал ли капиталист или же он просто прекратил работу» (Г. Иекк, «Интернационал», СПб., 1906., с. 133). Здесь то и хотят видеть максималисты приступ к «социализации фабрик и заводов». Присмотримся, однако, поближе к этой мере. Более точное ее определение мы находим в известной «Справочной книге социалиста» Штегмана и Гуго. Вот что читаем мы там: «Декрет от 16 апреля устанавливал объединение рабочих синдикальных палат, с целью вести статистику мастерских, покидаемых своими владельцами, выдавать на них средства из государственных сумм и пускать их в ход силами рабочих ассоциаций, а также для того, чтобы назначать комиссии присяжных для присуждения выдачи вознаграждения хозяевам фабрики и определения размеров его» (Русский перевод этого места в изд. под ред. В. Богучарского, СПб, 1906, с. 397, неверен). Как видите, тут не было прямой «передачи», как революционной меры, а лишь проект довольно сложной машины для того, чтобы «бросовые» предприятия поддерживались переходом в руки производительных коопераций. И это — при условиях, давших возможность члену Коммуны Артуру Арну написать: «в виду бегства значительного числа промышленников, она предписала также, чтобы покинутые заведения, после того, как будет произведено следствие и охранены права хозяев (*sic*), были переданы в руки рабочих ассоциаций, которые и продолжали бы работу (Артур Арну, «Народная история парижской коммуны», изд. Глаголева, с. 184). Декрет, в сущности предписывал не «передачу», а... исследование; оно должно было служить для осуществления представленного Френкелем проекта об ассигновании сумм для развития рабочих производительных коопераций. «Шагом к его осуществлению — читаем мы у Инсарова (Г. Раковского) — явился приказ произвести описание всех мастерских и фабрик со всем их инвентарем, покинутых бежавшими в Версаль хозяевами. Коммуна успела организовать одну кооперативную мастерскую оружия, отданную под руководство Авриала (Х. Инсаров (Г. Раковский), «Современная Франция. История третьей республики», СПб, 1900, с. 25). Вот к чему сводится, при свете исторической критики, «социализация фабрик и заводов» при Коммуне. Все ее остальные экономические меры (освобождение от квартирной платы, отсрочка платежей по договорам, частичный безвозмездный возврат заложенных в ломбарде предметов первой необходимости и т. п.) уже абсолютно не касаются производства и представляют собою заботу о продовольственных и жилищных нуждах бедного населения; иногда они прямо мотивируются необходимостью «распределить равномерно потери, понесенные парижским населением от осады». Но характерно, что несмотря на столь скромный характер деятельности Коммуны, она все-таки натолкнулась на громадные затруднения. «По недостатку собственного опытного персонала, коммуна должна была оставить на службе всех прежних чиновни-

ков, за исключением самых главных. Таким образом, коммуна должна была пользоваться услугами прямо враждебного ей служебного персонала. Дезорганизованная коммуна лишилась всякого авторитета. Декреты ее не исполнялись, приказы ее делегатов оставались без внимания по капризу низших чиновников» (Там же, с. 249). По всем этим причинам, Парижская Коммуна действительно представляет собою поучительное явление, но если оно способно служить прекрасной иллюстрацией к чему-нибудь, то не к чаяниям и планам максималистов, а к той критике, которую эти планы были встречены.

Если мы хотим найти в истории пример «коммуналистического метода революции» согласно максималистскому ее пониманию, то мы должны обратиться вовсе не к Парижской Коммуне, а к восстаниям, руководимым «аллиансистами» (бакунистами) во время Испанской революции 1873 года. Там был поднят лозунг революционной автономии коммун, там организовались революционные «комитеты общественного блага» и выкидывались лозунги «немедленной полной эмансипации рабочих» в пределах самодовлеющих муниципальных единиц. Энгельс подводил итог их движению в таких выражениях: «Каждый город действовал на свой солтык, и провозглашал, как самое главное, не координированное действие с другими городами, а обособленность от них, и этим отрезал всякую возможность единого общего натиска». То, что в некоторых революциях старого времени «было неизбежным злом раздробление и обособление революционных сил, позволявшее тем же самым правительственным вооруженным силам наносить поражение восстаниям порознь, одному за другим — то здесь был объявлено принципом высшей революционной мудрости» (Fr. Engels, «Die Bakunisten an der Arbeit», в «Internationales aus dem Volkstaat», Berlin 1894, s. 24 u. 27). Вот где, по-видимому, был впервые открыт этот знаменитый «новый метод» максималистов — «коммуналистический метод социальной революции». И в *этом* пункте, как во многих других, максимализм был жив только тем, что он брал на прокат у анархизма.

В этой концепции следует еще отметить вечное смешение настоящих созидательных, конструктивных задач, требующих органической работы и глубоко обдуманного плана, с задачами временными, преходящими, военно-революционными. Суть «коммуналистического метода революции» сводилась к тому, что уже в самом процессе революции, как переворота, как гражданской войны, на плечи каждого отдельного города, общины, села, взваливалось колоссальное — поистине «максимальное» количество творческих задач, и если бы их принять всерьез, то, разумеется, они всецело поглотили бы всю энергию восставших в момент, когда эта энергия целиком и без остатка требовалась на задачи распространения революции вширь. Не может быть ошибки более губительной для революции, как замыкание восставшей местности в кругу своих внутренних вопросов, в пределах своей «околицы». Необходимо распространить революцию по всей стране, необходимо мобилизовать возможно большее количество сил, чтобы двинуть их поднимать восстание в соседних местах или помогать восставшим в этих местах. Необходимо строго различать этот первый, чисто военный период, от следующего, — собственно, строительного. Нет сомнения, что и для военного периода необходимы энергические меры в эконо-

мической области. Но это не столько вопрос об организации производства, сколько вопрос об организации продовольствия. Необходимо, прежде всего, обеспечить революционные мобилизованные силы всем необходимым. Необходимо обеспечить от нужды и голода семьи восставших и ушедших в революционную армию. Но экстренные меры революционного периода по необходимости будут иметь качественно иной характер, чем органические меры открывающейся за этим периодом эпохи. Одно дело производственный вопрос, другое дело продовольственный вопрос. Во время гражданской войны приходится, главным образом, пользоваться богатствами, накопленными в дореволюционное время, и лишь в очень малой мере производить новые. Меры этого времени чаще должны будут напоминать военную реквизицию, чем социализацию. Да и критерий для решения вопроса о том, за какую отрасль производственного дела важнее всего взяться, будет глубоко различен для революционного и для послереволюционного периода. Для первого важнее всего, с одной стороны, предметы первой необходимости, в особенности пищевого довольствия, а с другой стороны — производство средств защиты и нападения. Но вопрос о питании — важный как для снабжения отрядов революционной армии, так и для обеспечения восставшего пункта, особенно на случай осадного положения, — разрешается, главным образом, устройством запасов и складов, революционным таксированием цен, установлением революционной монополии по закупке и продаже (с запрещением частного посредничества, принудительной закупкой и реквизицией). Организовать на новых началах производство предметов пищевого довольствия всего труднее, ибо здесь играет главную роль мелкое производство, по месту своего нахождения чаще всего стоящее вне города — в деревне. Какая громадная разница с послереволюционным периодом для вопроса о постепенности в социализации разных отраслей производства, начиная с тех, которые, во-первых, наиболее сконцентрированы, и от которых, во-вторых, находятся в особенно большой зависимости все другие отрасли производства. Но они предполагают не узко городской, а широкий национальный рынок, а потому и социализированы должны быть не в тесных рамках самодовлеющей муниципальной единицы. То, что особенно важно и целесообразно для послереволюционного периода, — то для эпохи гражданской войны стоит на втором плане, и наоборот. Еще рельефнее это сказывается в вопросе о производстве средств защиты и нападения. Это — самый последний вопрос для социального переустройства в пределах уже установившейся «трудовой республики». Это — самый первый вопрос для революционных центров во время гражданской войны. Необходимо ясное различие двоякого рода задач, соответственно двоякого рода периодам в жизни страны. Максималисты, не различая их, наваливали на «восставшую революционную коммуну» своих мечтаний задачи обоюродные. В итоге могло произойти лишь одно из двух. Либо были бы приняты всерьез органически-созидательные задачи, и тогда теоретическая фантастика заслонила бы живое дело и связала революцию по ногам и рукам; либо военно-революционные задачи окрасили бы своим цветом понимание задач творческих, и тогда произошло бы «милитаристское» искажение самых задач социализма. Как это может случиться — через десять с не-

большим лет показал на своем плачевном опыте и примере большевистский «военный коммунизм».

Но оба крыла максимализма, синдикально-советистское и коммуналистское, кроме специальных затруднений, вытекающих из особенной природы каждого, имели перед собою и общие точки преткновения. Главным вопросом, над которым должна была задуматься максималистская мысль, был вопрос о возможности в трудовой республике кризисов, как следствия сохранения товарного производства и рынка. В этом отношении максималисты буквально повторили историю тех предшественников научного социализма, которые придумывали всевозможные хитросплетенные планы, чтобы, сохранив рынок и конкуренцию, уничтожить их логические последствия — анархию производства, эксплуатацию и кризисы. Разница только в том, что одно дело — заниматься этим прожектерством до Маркса, и другое дело — после Маркса. Но максималисты не смущались. Они призывали на помощь статистику, которая будет в трудовой республике особенно развита и даст возможность предвидеть неустойчивые и капризные колебания рынка. Они апеллировали к повышению производительности труда, которая должна была быстро наступить в трудовой республике и поставить «социализированные» предприятия вне всякой конкуренции. И все-таки приходилось, волей-неволей, сделать неприятное признание: «Мы совершенно не думаем отрицать того, что это дело трудное, постановка которого требует времени, что в течение переходного времени от старого строя к новому, которое может растянуться на более или менее продолжительное время, а также в первое время нормального периода, кризисы будут теоретически неизбежны до тех пор, пока научно-организованная статистика не справится полностью со своей задачей. Верно также и то, что кризисы на первых порах будут теоретически возможны под влиянием заграничной конкуренции, под влиянием конкуренции дешевых товаров, которые из простого материального расчета будут покупаться крестьянами» ( Гр. Нестроен, Сб. «В. Г.», с. 49). Как же быть с этим? Е. Тагин, как человек решительный, не задумывался. Есть старинное испытанное средство: протекционизм. Правда, оно архибуржуазно; но его можно облагородить, наименовав «социалистическим протекционизмом». «Государство в интересах целого может на время приспособления-реорганизации сохранить таможенную». «В этом случае некоторые продукты обойдутся государству несколько дороже, т. е. величина национального дохода несколько понизится; но зато, благодаря иной системе распределения, в карманах тружеников останется все же больше, чем прежде». Все это прекрасно, но не мешало бы, кажется, при этом учесть следующие маленькие обстоятельства. Ввозит Россия преимущественно фабрикаты, вывозя сырье. Прибегнув к «таможне», правительство заставило бы огромное крестьянское население покупать не более дешевые заграничные товары, а более дорогие товары «социализированных» фабрик. Но неужели же это и значит «постепенно втягивать» крестьян в крупное, обобщественное производство? Не значит ли это, наоборот, отталкивать их от всяких социалистических затей и давать самый благодарный материал для демагогов реакции, которая воспользуется всяким поводом, чтобы поднять голову?

Спасти от этих тревожных вопросов мог лишь самый необузданный оптимизм, в котором, однако, недостатка у лидеров максимализма не было. В сборнике «Наш путь» вопрос о коммерческих связях с остальным миром и о финансах максималистской «трудовой республики» решался следующим образом. «Из-за границы нам требуется сравнительно небольшое количество товаров, усовершенствованных машин (только на первое время) и предметов роскоши (без которых в крайнем случае можно было бы обойтись)». «На всемирном рынке трудовая республика займет самое выгодное положение, положение богатого промышленника между нуждающимися; богатый всегда продает и покупает при лучших условиях, чем нуждающийся» («Нуждающимися» оказываются здесь капиталисты и торговцы буржуазных стран, их тресты, их государства. Так Юнгфрау и Монблан — низменности по сравнению с Эверестом — максималистом среди гор...). Но, может быть, они полезут со своими товарами к нам, тормозить своей конкуренцией дело продажи продуктов социализированных фабрик? Пусть только попробуют — шапками закидаем. «Они бессильны. Трудовое государство, самый крупный промышленник в мире, ничьей конкуренции не боится». Почему? Это ясно: «Капиталисту нужна прибыль, трудовой республике она не нужна». Т. е., что это значит: «не нужна?». Максималисты устанавливают в трудовой республике «право на полный продукт труда». Современная прибыль есть часть из этого «полного продукта». В социалистическом строе нет прибыли, как особой категории, в смысле капиталистической экономии, как вычета из «полного продукта труда» рабочего, но отказаться от соответственной части стоимости, чтобы дешевле продавать свои продукты за границу, это значит — пойти на тот же вычет, только вычет в пользу контрагента по международному обмену. Это, конечно, сделать можно (Мы оставляем здесь в стороне всю неудовлетворительность формулировки «право на полный продукт труда», прекрасно показанную Марксом в его критике Готской программы. Мы условно становимся на точку зрения максималистов). Можно принять и другую меру, о которой говорит тот же автор: «Ту часть промышленности, которой будет угрожать конкуренция западных буржуев, избавить на более или менее продолжительное время от налогов». Это возвращает нас, другими путями, к тому же протекционизму. Возврат акциза, избавление от налогов, субсидии, да еще премии за вывоз — это все мероприятия, хорошо известные. Жаль лишь, что они несколько не увеличат ресурсов «трудовой республики».

Но за это наши финансисты от максимализма несколько не опасались. Денег, что ли, у нас не хватит? Но эпохе максимализма соответствуют особые нормы денежного обращения. При этом стоимость денег (металлических или бумажных — безразлично) определяется доверием к выпускающему. Но, ведь, «трудовая республика — богатейший в мире собственник, землевладелец, фабрикант и купец, и к ней можно питать безграничное доверие». Не ясно ли, что печатать деньги тоже можно почти безгранично: максималистские кредитки пойдут прекрасно циркулировать на всех внешних и внутренних рынках. «На что нужны в промышленности деньги? На закупку сырья, на плату рабочим и служащим, на покупку машин. Выпуская приблизительное количество бумаж-

ных и медных денег годового производства, трудовая республика распределяет их в виде беспроцентного займа между областными самоуправлениями в соответствии с их годовым производством». Таким образом наши будущие максималистские Джоны Лоу обеспечивали все необходимое... для финансового краха. Интересно впрочем, не то, что теоретические недоноски, недоросли максимализма дофантазировались до вульгарнейших нелепостей, а то, что впоследствии прошедшие школу Маркса большевики, с Лениным во главе, не задумались их проделать, и увлекли за собою огромное большинство русских марксистов.

Русские народники-максималисты пророчески предвосхитили в своих фантазиях едва ли не все крупнейшие большевистские эксперименты. Неудивительно, что обращенная против них из лагеря социалистов-революционеров критика являлась столь же пророческой в смысле предсказаний неизбежного фиаско максималистской программы. Судьба большевистских экспериментов является по всей линии как будто ничем иным, как «на заказ» сделанной иллюстрацией справедливости этой критики. В эсеровской антимаксималистской литературе 1905-1910 годов большевики могли бы целиком найти весь свой «исторический гороскоп», — с подлинным верный.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### Уроки венгерского коммунистического опыта

Максималисты не имели никакого представления о том, какие серьезные трудности необходимо преодолеть при строительстве социалистических форм. На опыте с этими трудностями пришлось столкнуться историческим наследникам максимализма — русским большевикам.

Однако, возможен еще некоторый предварительный спор о степени «показательности» этой опытной проверки. По крайней мере, сами большевики с большой горячностью и настойчивостью всегда утверждали и до сих пор утверждают, будто на результаты их опыта нельзя ссылаться, как на неопровержимое свидетельство ложности их постановки и разрешения задач социалистического переустройства. «Нам — заявляют громогласно они — не дали произвести наш опыт в чистом виде. Нам мешали, нас толкали все время под локоть бесчисленные враги нашего дела. Буржуазия ответила на первый же наш приступ к работе замаскированным локаутом, бегством, оставлением предприятий на произвол судьбы, гражданской войной и призывом на помощь иностранцев. Социал-демократы меньшевики и социалисты-революционеры объявили нам не менее непримиримую войну. Те и другие увлекли почти всю интеллигенцию на пассивное сопротивление нам путем всестороннего саботажа. Гражданская война, поддерживаемая иностранцами прямо — вооруженной интервенцией — или косвенно — блокадой, вот что является истинною причиной того хозяйственного развала, который желают приписать несостоятельности нашей эконо-

мической политики. Это гражданская война вызвала хозяйственный развал: вызвала частью непосредственно, прямым опустошением обширных районов огнем и мечем, частью же косвенно, заставив нас изменить предположенную нами планомерную и постепенную политику — политикой военного образца, т. е. крутыми, бесповоротными и насильственными мерами. Кто поймет все значение этого факта, тот перестанет ссылаться на голые фактические итоги нашего господства, как на лучшее осуждение самую жизнь наших планов».

Было бы нетрудно парировать все это возражение, указав, что гражданская война — и не только война с буржуазией, но и братоубийственная война, раздиравшая ряды самого рабочего класса — была в России не случайностью, но обусловлена была тем же самым большевистским методом совершения социалистического переворота. С этой точки зрения приходилось бы различать лишь непосредственно-разрушительное действие большевистской хозяйственной политики, как таковой, от ее же разрушительного действия, произведенного косвенным путем — посредством вызванной ею многолетней гражданской войны, расщепившей и бросившей друг против друга ряды самого рабочего класса. Однако, различие остается, и для конструктивной теории социализма оно чрезвычайно важно.

Большую помощь в деле этого различения может нам дать тот же самый большевистский опыт, только произведенный при иных, более простых условиях: опыт «советской Венгрии». И потому мы рассмотрим его уроки раньше уроков «русского эксперимента», хотя исторически он начался позже.

Коммунисты в Венгрии для прихода к власти не нуждались в вооруженном перевороте по типу русского октябрьского переворота. «В Венгрии не было никакой пролетарской революции в собственном смысле слова. Власть попала в руки пролетариата, так сказать, с вечера на утро и легально», — говорит коммунист Евг. Варга.

Ключи от власти были ему чуть-чуть не на серебряном блюде поднесены правительством революционных буржуазных радикалов типа графа Карольи, убедившемся в своей бессилии справиться с создавшейся ситуацией. К тому же, новое правительство, правительство социальной революции, было образовано на основе коалиции социалистов с коммунистами, при гегемонии последних: таким образом было сохранено единство рабочего фронта, и коммунисты получили совершенно обеспеченный тыл.

Правда, «венгерский эксперимент» не был доведен до конца. Он был вдруг оборван внешней вооруженной интервенцией. Венгерским коммунистам, если бы они захотели подражать своим русским товарищам, было бы легко встать в позу людей, которые так твердо и так верно вели страну по пути освобождения труда, что старому буржуазному миру не оставалось иного «средства спастись от убийственного морального удара, как немедленно прекратить грубым вмешательством внешней силы счастливо удававшийся венгерский коммунистический опыт. К тому же, венгерская советская республика — дело прошлого, а о кратковременном и бурном прошлом так легко создать любой «красный миф», неподдающийся никакой проверке: это не то, что Московский коммунизм, по отношению к которому любой Фома неверующий может высту-

пить с попыткой в «язвы гвоздичные» вложить персты свои... Но венгерские коммунисты сумели не соблазниться этой легкой позицией и отнестись к своему опыту гораздо вдумчивее и умственно-совестливее.

По крайней мере, такова позиция бывшего народного комиссара и президента высшего Совета Народного Хозяйства советской Венгрии, оставшегося верным коммунизму и после фиаско венгерского опыта — Евгения Варги, в его интересной книге «Die Wirtschaftspolitischen Probleme der proletarischen Diktatur» (Wien, 1921).

Варга говорит, и говорит не без основания: «Мой труд менее всего является агитационной брошюрой или книгой, написанной ради самооправдания. Я без всякого страха раскрываю все ошибки, которые были сделаны нами во время венгерской диктатуры советов; и во всех случаях я констатирую, было ли действительно проведено известное положение в жизнь, или же оно просто осталось бумажным; я далек от того, чтобы желать давать рецепты для действий и творчества пролетариев других стран; это было бы неисторической наивностью». Такое отсутствие всякой претенциозности и рекламизма выгодно отличают книгу Евгения Варги от многого множества книг и брошюр, написанных *ad majorem communismi gloriam* и преисполненных благочестивою ложью, которую их авторы в другие оправдывают тем, что это «ложь во спасение»: во спасение мировой революции. Варга вообще далек от сознательного иезуитизма и от демагогической беспринципности. Он — не узкий «материалист», и, сам будучи марксистом, твердо и убежденно заявляет: «в революционные периоды идеологии необходимо придавать гораздо больше значения, чем полагает значительная часть марксистов».

Истинный идеолог движения — это не ловкий и шустрый профессиональный адвокат его, а представитель его глубокой интеллектуальной совести. Таким идеологом коммунизма пытается быть Е. Варга. И потому он открыто заявляет: «иной читатель разочарованно выронит из рук эту книгу. Иного отпугнет невероятная огромность задач, стоящих перед пролетарской революцией. Но колоссальные трудности, представляющиеся пролетарскому режиму, ни в каком случае не должны быть недооценены: это нам показал наш венгерский опыт. Наша цель — не породить какое-нибудь эфемерное воодушевление, которое постыдно сломится перед первым затруднением»...

Книга Варги, действительно, свидетельствует прежде всего о том, что главную трудностью для социализма является вовсе не захват и удержание политической власти, а как раз правильное использование ее для построения социалистического здания будущего.

Евгений Варга и его друзья по делу были одновременно и несчастнее, и счастливее своих русских единомышленников и учителей. Внешнее нашествие вооруженного врага прервало их деятельность. Это была катастрофа, несчастье. Но она избавила их от несчастья несравненно большего. Они не были вынуждены жизнью, подобно русским коммунистам, собственными руками ликвидировать все больше и больше из того, что создавали, и восстанавливать то, что разрушали. Они не продержались у власти до этого момента. Но они все же продержались у власти достаточно времени для того, чтобы изведать основные

трудности предприятия, чтобы отдать себе отчет во всей сложности тех «проклятых вопросов», с которыми связано дело перестановки народного хозяйства страны с капиталистических рельсов на социалистические.

«Коммунистический эксперимент» Е. Варги и его товарищей происходил в стране, насквозь земледельческой; стране с немногими городскими индустриальными оазисами, вроде Будапешта, посреди аграрной «пустыни». Обе партии, производившие опыт — и венгерские социал-демократы, и новообращенные, получившие крещение в России, венгерские коммунисты, равно представляли собою чисто пролетарский, типически городской социализм, с «индустриоцентрическим» миросозерцанием. В аграрной политике они чувствовали себя нетвердо, и были гораздо осторожнее русских коммунистов. Это дало им возможность избежать многих русских ошибок. Они не обострили так, как это было в России, борьбы между городом и деревней. Они довольствовались (166) бы «нейтрализацией крестьянства», и старались не очень его трогать. Правда, что у этой осторожности была и другая сторона: весь аграрный переворот, даже экспроприация крупной и средней земельной собственности «в большинстве случаев имели место лишь юридически; социально же во многих случаях произошло так мало перемен, что земледельческое население об отчуждении земли часто не имело никакого ясного представления» (Eugen Varga, назв. соч., с. 87).

Что же происходило в городе? Там пролетарские массы ждали от «своего» правительства немедленного улучшения своего экономического положения. Казалось бы, что стоит поперек дороги этому улучшению? В Венгрии, как и везде, капиталисты получали большие прибыли; прибыли эти, как везде, во время войны гигантски возросли; на фабриках производилась для них прибавочная стоимость; отныне она должна была оставаться у рабочего. Мало того. Прибавочная стоимость производилась и вчера, и третьего дня, и три, и тридцать три, и триста тридцать три и еще неизвестно сколько годов тому назад. Она накапливалась у капиталистов. И чем большее число прежних поколений жило под режимом прибавочной стоимости, тем более блестящими должны были оказаться результаты капиталистического накопления. Тем счастливее — доля тех рабочих, которые дождались, наконец, светлого дня, когда на жизненном пиру, составлявшем удел богачей, и для них нашлось место — и не где-то в конце стола, а в переднем углу.

В абстракции — там, где есть только математические величины, — норма прибавочной стоимости, норма прибыли, уровень заработной платы, — все было гладко.

Но когда к этим абстракциям пришлось приискивать их материальные воплощения, все невероятно запуталось и усложнилось.

Прежде всего, «прибавочная стоимость» оказалась разделяющейся на две части. Только одна шла на личное потребление капиталиста. Другая капитализировалась, т. е. обращалась в средства производства — здания, машины, инвентарь, технический и административный аппарат предприятия. Ею воспользоваться в смысле житейском — потребительском — было нельзя. Производство должно не только непрерывно продолжаться: оно должно совершаться во все расширяющихся размерах; рост населения и рост его потребностей требуют

безостановочного роста производства, а, стало быть, и производительного капитала. Иначе произойдет снижение хозяйственной, а за ней и общей культуры.

Оставалась та часть прибавочной стоимости, которая шла на личные потребности самого капиталиста. После экспроприации экспроприаторов, уже ее то, казалось бы, можно было без всяких препятствий обратить на пользу рабочего. Не тут-то было. То, что в теории фигурировало, как часть прибавочной стоимости, удовлетворявшей личное потребление капиталиста, в жизни предстало, как известная совокупность вещественных благ. И громадное большинство этих вещественных благ оказалась совсем не того сорта, чтобы сделать их подходящим источником немедленного и существенного улучшения материального быта рабочего.

Роскошные дворцы богачей? Но они менее всего были приспособлены для обитания их рабочими семьями, и одно поддержание их в прежнем виде требовало таких расходов на ремонт, на освещение, на отопление, что рабочей семье это было не под силу; а для того, чтобы сбить в одном таком помещении достаточно семейств для посильности этих расходов, они были не приспособлены, и превращались в неуютные казармы; кроме того, их могло хватить лишь на устранение малой доли жилищной нужды (за годы войны в городах строительных работ почти не было!), а «вселение» немногих лишь дразнило аппетита оставшихся за флагом. Роскошные автомобили, игрушки-яхты, чудо искусства, на котором можно отважиться хотя бы на кругосветные путешествия? С ними рядовому пролетарию так же нечего было делать, как с призовыми скакунами, многотысячными охотничьими собаками или разными оранжерейными раритетами из заморских стран. Стильная мебель, коллекции картин и древностей? Ими можно было полюбоваться и сдать в музей. Погреба изысканнейших вин, чудеса гастрономических магазинов? Огромнейшие ценности, если считать на деньги, но очень малые для здорового, неискушенного пролетарского желудка. Многомиллионные драгоценности? Чудеса моды? Тайны косметики? Ажурное белье? Ткани тоньше паутины? Все эта была веками накапливавшаяся веками «прибавочная стоимость», но ее вещественная форма делала ее для пролетариата неиспользуемой...

«Беднота» городов и фабричных кварталов нуждалась прежде всего в пище, затем в топливе, в простой, но добротной одежде, обуви, жилище, мебели. То, что было нужно ей, потреблялось классом капиталистов в ничтожном, сравнительно с общим его расходным бюджетом, количестве. Бедняку легко рассчитывать, что одного ожерелья с проезжей ламы-аристократки было бы достаточно, чтобы обеспечить всю семью свою до гроба. Но когда пролетарская революция отдает в руки всем беднякам все ожерелья, — ими не насытить ни одного человека... Ибо отдельный бедняк мог бы это ожерелье продать, но чтобы оно было куплено — нужна наличность покупающих такие вещицы богачей, а не экспроприация их.

Сбыть все это за границу? Но куда? Очевидно, в буржуазные государства. Но для них законность собственности пролетарского государства на все эти вещи более, чем сомнительна. Буржуазные суды часто подводят торговлю экспропрированными ценностями под рубрику «сбыт краденого», и, со своей

точки зрения, поступают последовательно. Быть может, в их бойкоте бессознательно сказывается и другое Рынок предметов роскоши — рынок избранных. Он очень ограничен. Попробуйте выбросить на этот рынок (хотя бы и мировой) всю сумму предметов роскоши, экспроприированных в целой стране — и получится только катастрофическое падение цен, временный, но самый ужасный кризис сбыта и разорение соответствующих торговцев и производителей. Социалистическое государство не может не испытать блокады со стороны буржуазных. Но ссылаться на буржуазную злобу тут нечего. Предположим, что все государства стали социалистическими, и блокада пала. Станет ли от этого дело, лучше? Ни мало. Ибо социалистической России так же не для чего будет везти в социалистическую Англию драгоценности царской семьи Романовых, как Англии вести в Россию драгоценности английского королевского дома.

Социалистический переворот практически почти упраздняет значительную часть ценностей, в которых овеществлена прибавочная стоимость целого ряда поколений. Множество красивых ненужностей — не исключая и живых, вроде куколок-женщин, роскошных дам полусвета, жриц наслаждений, вроде пышной челяди, вроде всей той обстановки и всех тех аксессуаров, которые к ним относятся — или вовсе теряют свою потребительную ценность, или сохраняют лишь условную — музейную, коллекционную. Огромная часть богатства капиталистического мира неусвояема жаждущим лучшей доли пролетариатом. Мало того. Немалая часть пролетариата была занята производством всех этих ненужностей. Она на первых порах просто остается после этого крушения без работы, а следовательно — без куска хлеба...

Во время французской революции, как известно, аналогичную с дикой Вандеей роль оплота реакции — часто играл индустриально развитой Лион. Почему? Историки давно это знают. Лион был центром изготовления шелковых изделий. Когда гильотина «укоротила на целую голову» одних представителей рядившейся в шелка знати и выгнала остальных в эмиграцию, Лионскую шелковую промышленность постиг жестокий кризис. Не то, конечно, чтобы лионские ткачи просто и кратко требовали возврата людей, щедро оплачивавших товары их хозяев. Но эти ткачи хотели свободы, равенства и братства, а получили прежде всего безработицу и голод. А это повергло их в общее состояние разочарования и раздражения, которым легко пользовались всякие демагоги: в том числе и демагоги контрреволюционные. Социалистическая революция может иметь своих «лионцев» еще в большей мере, чем революция буржуазно-демократическая.

Что вытекает из всего предыдущего? А вот что. Эксплуатируемый труженик современности ждет от социального переворота непосредственного, немедленного улучшения своего положения. И он наивно надеется, что облегчение это произойдет просто и легко, и что величина его измеряется размерами накопленной у капиталистов прибавочной стоимости. А между тем, его ждет на опыте горькое сознание, что на огромную часть ее приходится махнуть рукой: что с возу упало, то подлинно пропало. Бесконечное количество трудового пота пролито, в нужде и лишениях, только для того, чтобы кристаллизироваться в такие утехи пресыщенной праздности, с которыми будущему обществу почти что

нечего будет делать. Прежнего часто не воротить. Главное завоевание будущего общества окажется завоеванием, обращенным не в прошлое, а в будущее...

Это — первое разочарование, которое суждено испытать рабочему классу, если он, раздраженный дешевой демагогической агитацией, ждет от перехода власти в свои руки какого-то немедленного социального чуда — молочных рек и кисельных берегов. Большинство выгод, которые дает пролетарская революция, суть выгоды потенциальные. Их еще нужно реализовать...

Да, пролетариат не будет более отдавать «прибавочной стоимости» своему хозяину-капиталисту. Но это не значит, что его потребление увеличится на всю величину прибавочной стоимости. Львиная доля ее должна обратиться в «сбереженный труд», овеществленный в орудиях, машинах, всяких вспомогательных средствах нового и притом расширенного производства: это та часть, которая у капиталиста превращалась в растущий «производительный капитал». Что же касается другой части, то использовать ее для улучшения собственной жизни пролетариат сможет лишь тогда, и после того, как он сумеет перестроить весь современный строй хозяйства. Целые отрасли производства, служившие потребностям праздного, пресыщенного слоя, должны отпасть или существенно сократиться; капитал и рабочие руки из них должны быть перенесены в другие отрасли производства; пропорциональное соотношение между разными разветвлениями промышленной деятельности должно быть установлено новое, на каких-то продуманных рациональных основаниях; лишь после этого плоды народнохозяйственной деятельности предстанут в виде такого количества и рода вещественных благ, что их хватит на лучшее, чем было доселе, удовлетворение потребностей всех трудящихся. Без такой колоссальной и многотрудной перестройки пусть хоть завтра по нашему прошению, по щучьему велению все богатства страны достанутся без всякой борьбы пролетариату: первым результатом будет все же промышленный кризис, нарушение равновесия национального хозяйства, со всеми вытекающими из него бедствиями. Ибо современное равновесие, на основе закона спроса и предложения, на основе указаний, даваемых «платежеспособным потреблением», неразрывно связано с нынешним имущественным неравенством. Пусть завтра на место неравенства водворится равенство — и все нынешнее равновесие подорвано в самой основе, и необходимо совершенно иное распределение хозяйственных сил, труда и капитала между разными областями народного хозяйства. Нужна организационная, конструктивная революция, соответствующая по величине революции юридической, имущественной; и поскольку пролетариат оказался бы неспособен ее совершить, постольку он стал бы первый страдать от хозяйственной анархии, от проигрыша, источником которого был — его выигрыш; постольку, стало быть, он одержал бы «Пиррову победу».

Значение всего сказанного усугубляется тем, что пролетарские революции наступали на наших глазах немедленно в итоге мировой войны, и при том в странах, потерпевших поражение. Война означала для народного хозяйства еще более жестокое извращение всей производительной деятельности, чем индивидуальная роскошь, расточительность и извращенность потребностей богача. Притупленный, пресыщенный вкус богача вызывал к жизни тысячи изыскан-

ных, дразнящих ненужностей; по внешности они давали иллюзию богатства, роскоши; на деле это была фикция. Война и милитаризм, с чудесами дипломатии и хитросплетениями бюрократизма в жизни наций — то же, что извращенная роскошь и мотовство в жизни индивидуума. Война может создавать и создавала иллюзию кипучего расцвета промышленного дела, металлургии, горного дела, и пр., и пр.; расстреливая в воздух жизненные ресурсы наций, она применительно к этому организовывала сложнейшую, высоко развитую систему — где колесико цепляется за колесико, и так без конца — систему «созидания хозяйственных благ» — фиктивных благ. Война создавала миражи мнимого процветания промышленности. Заводы лихорадочно работали, — квалифицированные рабочие были нарасхват, — во избежание стачек им хорошо платили — в рабочем движении рос реестр «завоеваний военного времени» — огромные армии создавали увеличенный спрос на предметы питания, — деньги лились в деревню. Что все это были карточные домики искусственного богатства — скрадывалось до поры до времени увеличенным выпуском бумажных денег. Мыльный пузырь раздувался, блестел всеми цветами радуги... пока не наступал момент лопнуть.

Война создала поэтому и другой живой абсурд современности. Стали бояться конца войны, потому что это означало «демобилизацию», демилитаризацию всей хозяйственной жизни, перестановку ее с военной ноги на мирную. Было ясно, что всякое замедление, запоздание в перестановке производства с одних рельс на другие — будет равносильно экономическому кризису, безработице, нужде и лишениям. Было ясно и то, что с миражами будет кончено. Выступит жестокая проза жизни: изношенный инвентарь, убыль рабочей силы, общий регресс и снижение производства, наводнение страны взамен реальных ценностей цветными бумажками, товарный голод, валютная анархия, продовольственный кризис...

Огромны и чудовищны противоречия капитализма. Пролетариат — его наследник. Но — по закону наследства — и пролетарская революция оказывается чревата колоссальными противоречиями.

Опыт пролетарских революций, вспыхнувших после войны, прежде всего показал, что, по проверке опытом, современное человечество вовсе не столь богато, как то казалось многим на первый взгляд. Множество иллюзий в решении социальной проблемы зависит от самой частой, избитой, ходячей ошибки, которую навевает житейская практика капиталистического строя: от смешения частно-хозяйственной и народнохозяйственной точки зрения.

Ростовщик «богатеет», ссужая праздную аристократию под огромные проценты ресурсами для мотовства. Аристократ «богатеет» собирая ренту со своих поместий. Банкир «богатеет», ссужая разных лиц, в том числе и ростовщика, оборотными средствами для их операций. Гробовщик «богатеет» от разразившейся эпидемии холеры, увеличившей «спрос» на его «продукцию». Владелец пушечного завода «богатеет» от обрушившейся на мир эпидемии военных столкновений. И буржуазное общество битком набито «богатеньями» этого рода. Положиться на «богатства» буржуазного строя и совершить переворот, рассчитывая путем простого «грабежа награбленного» и уравнительного разде-

ла богатств дать народу сразу заметное улучшение его положения — это значит идти на верное банкротство.

Вот с какой точки зрения приходится пересмотреть вопрос о том, какой момент надо считать наиболее благоприятным для социальной революции, в чем видеть «зрелость» или «подготовленность» для нее, с какого конца к социальному переустройству подходить, и какой перспективный план этого переустройства наметить.

С этой точки зрения приходится отвергнуть, как вреднейший предрассудок, мысль, будто социалистическое переустройство всего легче может пройти после войны. Война и революция в истории связаны нередко, войны часто ведут к революциям; но кого? Победенных, а не победителей. Но революции побежденных — суть, в конце концов, революции отчаяния, революции безысходности. Социалистическая революция по самому существу своему имеет международное задание и международный характер. Но война, делящая весь мир на два лагеря и оставляющая после себя победителей и побежденных, делает господами положения как раз нации-победительницы, нации, в которых нет революционной ситуации, — т. е. делает врагов начавшейся революции властителями мира, а эти революции сразу же вгоняет в тупики и закоулки. Победоносными же революции могут быть лишь в том случае, если они занимают не арьер-план, но авансцену истории.

«Диктатура пролетариата — говорит и Варга — наступила не там и не тогда, когда и где лучше развились в недрах старого общества необходимые предпосылки нового общества, а там, где основы принудительной власти господствующих классов были сильнее всего расшатаны поражениями на фронте. Но поражение на полях сражений было как раз и вызвано предшествующим упадком материальных и людских производительных ресурсов, их недостаточностью для дальнейшего продолжения войны»...

Маркс ждал социального преобразования, как следствия хозяйственного полнокровия страны, как счастья, вызванного избытком жизненных сил, для которого узы старого общества слишком тесны. Революции большевистского образца суть, напротив, революции от надрыва, от истощения. И они сами надрывны и патологичны.

К этим революциям массы были призваны поданной им надеждой немедленно же улучшить свою участь. А между тем, теоретики этих революций — и Варга прежде всего — из их опыта вывели следующую практическую мораль: «Мы приходим к тому выводу, что диктатура пролетариата как раз знаменосцам нового общественного порядка, индустриальным пролетариям, вначале может дать лишь моральное и культурное удовлетворение в смысле жизненного положения. По отношению же к материальным благам, напротив, дальнейшее падение их жизненного уровня неотвратимо. Избранной части индустриального рабочего класса это надо сказать прямо и откровенно». Мы ответим: во-первых, правду надо говорить всем, а не только избранным; во-вторых — *post factum* говорить это излишне; если же сказать это наперед — то сомнительно, чтобы таким предупреждением можно было двинуть рабочих на так задуманную и построенную революцию. Скорее всего, из него был бы сделан вы-

вод, что, очевидно, для революции еще не пришло время.

Много в марксистской литературе говорилось о положительной исторической роли капитализма, — концентрации рабочих, внедрении в них духа единства, солидарности, дисциплинированности, — о суровой, но плодотворной школе «вываривания в фабричном котле», как говорил когда-то первый русский марксист, Зибер.

Но и дисциплинированность рабочих под жестокою ферулою капитализма оказалась «палкой об двух концах».

Капитализм оторвал рабочего от органической духовной связи с судьбою промышленного предприятия, в смысле понимания секретов его преуспевания или упадка, в смысле учета условий его рентабельности. Эта сторона дела стала естественной монополией капиталиста. Весь вещественный (174) результат производства, после такого разрыва и в силу его, в глазах рабочего распался просто и кратко на две части: часть, получаемую рабочим, и часть, достающуюся капиталисту. «Прибавочная стоимость» — вот был враг. Но г. этой «прибавочной стоимости» перемешиваются, по терминологии самого Маркса, интересы капиталиста, как «экономической категории» (как просто представителя «интересов предприятия», его целостности, преуспевания, роста, качественного прогресса), с интересами капиталиста, как личности, занимающей определенное высокое социальное положение. «Две души живут в его груди, и одна хочет разлучиться с другой». Капиталист, как экономическая категория, должен быть воплощением тенденции капитала к возрастанию, к укрупнению, к побиванию своих конкурентов техническим прогрессом и увеличением размеров предприятия. Капиталист, как человек, живущий на верху общественной пирамиды, должен затмевать конкурентов богатством своей обстановки, своих вечеров и обедов, туалетов, даже своих «благородных прихотей», в блистании «статью» ли породистых коней, красотой ли своих содержанок, бриллиантами ли жен и дочерей, коллекциями ли картин, или древностей, и т. п.

Антагонизм этих двух моментов в жизни и социальных функциях капиталиста по существу почти совершенно ускользают от рабочего. Самое распределение капиталистической прибыли между «двумя душами» капиталиста совершается где-то за кулисами. Если одна «душа» одерживает победу над другой, и капиталист начинает проживать свой основной капитал, то общество иногда от этого почти не терпит; вес кончается переходом фабрик и в другие руки.

При первых опытах «рабочего контроля» в России имел место попавший на страницы газет характерный случай. Представители рабочих, рассматривая вместе с администрацией одного предприятия бюджет этого последнего, никак не хотели согласиться с тем, что предприятию в данном его состоянии неоткуда взять средства на увеличение заработной платы. И вот на этой почве у них «ошибочка вышла»: они с торжеством извлекли из актива предприятия рубрику, в которой значился «основной капитал». Чем не выход? И не только для отдельного предприятия, но и для всего советского строя! Эта забавная «ошибочка», о которой упоминалось и в прениях на первом после октябрьского переворота железнодорожном съезде, стала как бы живым символом. Социальная революция в России долгое время, действительно, во всех отношениях жила за счет

основного капитала страны, за счет ее прежних запасов, т. е. жила на фоне прогрессирующего хозяйственного истощения и «опрощения»...

Да, капитализм дисциплинировал рабочих. Но его дисциплина была дисциплиной из под палки. И как в царской армии смерть палочной дисциплины первое время стала смертью всякой дисциплины, так и на фабрике. Говорить, хотя бы после социальной революции, о каком-то надзоре за интенсивностью труда, об устранении «лодырничества», значило погубить себя в глазах массы безвозвратно. Защищать от самих рабочих интересы предприятия, как такового – значило воскрешать все старые ассоциации идей, связанные с интересами предпринимателя. Что эти интересы не безусловно идентичны; что в истории не раз интересы промышленности расходились с интересами промышленников; что судьбы промышленности государство не раз должно было защищать от близорукое отечественного промышленного класса, – все это не продумывалось или забывалось. Самый технический и административный персонал предприятия, даже после исчезновения экспроприированного капиталиста, по старой памяти рассматривался в качестве его прислужников, и, следовательно, врагов пролетариата. А это, в свою очередь, отпугивало их от нового строя и заставляло испытывать тяготение к старому и сожаление об ушедшем «хозяине», который, однако, извлекал барыш и из их труда, как извлекал его и из рабочих.

Уже буржуазно-демократическая революция Кароли, говорит Варга, означала на фабриках «полное разложение капиталистической дисциплины». «На фабриках образовывались заводские советы, по произволу устанавливавшие размеры заработной платы, изгонявшие из предприятий нелюбимых директоров, и даже «социализировавшие» отдельные заведения, т. е. попросту объявлявшие их собственностью занятых в них рабочих. Капитализм стоял лицом к лицу с этим движением совершенно беспомощно, не имея более вооруженной силы для поддержания своего классового господства и классовой дисциплины. Со дня на день нормы выработки рабочих уменьшались, производство неудержимо гнбло». И хотя Варга утверждает, что именно эта неспособность буржуазии справиться с положением привела его и многих других к мысли, что вне диктатуры пролетариата нет спасения промышленности, — однако добросовестность заставляет его признаться, что в Венгрии (как и в России) диктатура пролетариата с самого начала означала «дальнейшую дезорганизацию трудовой дисциплины, дальнейшее падение выработки рабочего».

«От одной из самых прочных опор интенсивности труда при капитализме, от системы поштучной платы, которою, во всяком случае, обеспечивался известный минимум дневной выработки, пришлось отказаться. Отмена сдельного труда и введение чистой оплаты затраченного рабочим времени была истинным, идеологически уже закореневшим, основанным на природе капиталистических отношений требованием рабочего класса. Сила идеологической инерции привела к тому, что требование это было сохранено и даже особенно подчеркнуто рабочими и по отношению к образованному всею совокупностью трудящихся пролетарскому государству... Соответственно принципу возможно большего нивелирования доходов были сильно повышены существовавшие до-

толе выплаты необученным рабочим, тогда как вознаграждение лучше поставленных рабочих осталось почти неизменным... Нечего и говорить, что тотчас же было осуществлено и другое выдвинутое рабочими требование: восьмичасовой рабочий день для взрослых, шестичасовой для подростков. Всеобщее введение сменной оплаты труда вместе с расшатанностью трудовой дисциплины привело к новому, далеко зашедшему падению интенсивности труда и дневной выработки. Освобожденные от классовой дисциплины капитала рабочие и в процессе труда проявили заходящую крайне далеко недисциплинированность. Рабочие часы в точности не соблюдались, на предписания руководителей работ не обращалось внимания. Производительность труда шагнула далеко назад. Таково было естественное последствие близоруко-эгоистического настроения подавляющего большинства рабочих. Порабощенные капиталистическим духом рабочие не могли понять, почему более медленный и слабый рабочий будет за свою меньшую работоспособность вознаграждаться так же, как лучшие рабочие за работоспособность исключительно выдающуюся. Результат всеобщего введения сменной платы состоял в том, что интенсивность работы пала, и в производительности труда обнаружилась тенденция равняться по мерке наихудшего из рабочих. И это иногда проявлялось совершенно открыто». Варга красноречиво изображает процесс борьбы избранных, более сознательных рабочих против этого обывательского вырождения общей массы своего класса. Было перепробовано все, вплоть до плана «премирования» лучше работающих мануфактурой и даже предметами роскоши! Была выработана следующая градация карательных мер: 1) замечание от фабрично-заводского совета, 2) выставление имени плохого работника на «черную доску», 3) перемещение на худшее место в том же заведении, 4) уменьшение платы или пайка в соответствии с худшим качеством работы, 5) увольнение из заведения, 6) увольнение без права поступления в другие предприятия той же отрасли промышленности, 7) то же без права получения пайка безработных, и 8) исключение из профессионального союза, т. е. необходимость найти себе какую-нибудь другую профессию... Не приходилось отступать и перед репрессиями массового характера, как, напр., полная приостановка плохо работающего предприятия с последующим раскассированием всего рабочего состава или назначение в предприятие наделенного исключительными полномочиями производственного диктатора...

Вряд ли правильно будет спорить с Варгой «принципиально» о допустимости или недопустимости этих и подобных мер. Ясно, однако, что чем большее место в системе экономической политики занимают эти меры, тем ненормальнее общее положение, тем несомненное, что во всем перспективном плане социального преобразования есть какие-то глубокие внутренние погрешности. И, в основе, конечно — погрешность переоценки сил и возможностей рабочего класса. Ибо перепрыгнуть через свою собственную неподготовленность — всего невозможнее, всего головоломнее.

Теперь уже ясно, что в вопросе о том, «готова» та или другая отрасль народного хозяйства, или целый народнохозяйственный организм для переустройства на социалистических началах — решающим вовсе не является технический момент — насколько при капитализме эта отрасль концентрирована, на-

сколько централизовано управление его и насколько совершенны его производственные методы. «Готов», «подготовлен» должен прежде всего и больше всего сам человек. Иными словами, основным условием переустройства является подготовленность самого рабочего класса. А эту «подготовленность» надо понимать не в смысле готовности в любой момент «отнять» у хозяев их предприятия, а в смысле накопления пролетариатом организационных навыков, опыта самоуправления в собственной среде, умения созидать и упорядочивать свою трудовую общественность, свои рабочие учреждения, свой быт, свою культуру. Если этого нет – диктатура пролетариата неизбежно вырождается в диктатуру над пролетариатом; и в самом лучшем случае, если диктаторствуют действительно лучшие его элементы, это все-таки будет печальная попытка авангарда рабочего класса вытащить остальную массу его из трясины за уши, с опасностью оборвать эти уши, с необходимостью взяться за нагайку, и новое вино социального освобождения вливать в старые меха палочного управления «рабочим быдлом»... А в худшем случае — это будет и вовсе радостной для буржуазии картиной бунта Калибана, чем-то вроде зрелища «пьяного илота», которым так успешно спартанцы укрепляли в своей молодежи аристократически-кастовый дух.

Этого, однако, еще мало. Пролетарская революция в Венгрии наткнулась еще на одну непредвиденную ее теоретиками трудность. Совершенно неожиданно наступил продовольственный кризис в городах. Когда попробовали вникнуть в причины этого кризиса, то пришли к заключению, что пролетарская революция лишь выявила то отсутствие хозяйственного равновесия между городом и деревней, которое характерно для буржуазного строя, но в нем разрешается в пользу города такими простыми средствами, которыми социализм пользоваться не может.

Вот что выяснилось в этом вопросе для Варги.

«Во всех странах Европы, даже в так называемых аграрных, бедных государствах восточной и средней Европы, в мирное время города всегда были хорошо снабжены продуктами питания. Было немислимо, чтобы кто-нибудь за свои деньги не мог получить никаких жизненных продуктов. Это не значит, чтобы каждый был сыт: кто сидел без заработка, тот на это время принужден был поголодать. Но всякий денежный доход мог быть реализован в средствах питания.

«Как получал город жизненные средства из деревни? Формально, разумеется, за всеобщий эквивалент, за денежное вознаграждение. По существу же из разных источников: частью за равноценное возмещение в хозяйственных благах городского происхождения, в тех продуктах индустрии, которыми город снабжал деревню, частью же — как воплощение разных видов нетрудового дохода: земельной ренты крупного землевладельца, процентов с крестьянской задолженности, налогов. Крупные землевладельцы проедали в городах свою земельную ренту: они сбывали сельскохозяйственные продукты, в которых она овеществлялась, на городском рынке. Крестьянам самим тоже приходилось везти свои продукты на городской рынок без всякого материального возмещения: из вырученных денег они погашали разные налоги и платежи. Эти аграрные

страны могли не только пропитать свои города; в их распоряжении оставались большие количества жизненных припасов для экспорта в страны Запада.

«Но и это пропитание городов, и вывоз продуктов питания за границу были возможны лишь потому, что потребление деревенского «черного народа», миллионов необученных рабочих, стояло на чрезвычайно низком уровне. Хотя бы, скажем, у венгерского народа среднее потребление хлеба, мяса и сахара значительно отстает от такого же потребления у французского, английского или немецкого народа. Да и откуда же много потребить венгерскому сельскохозяйственному пролетарию, годовой заработок которого официальной статистикой был установлен... в 400 крон? Но и потребление мелкого самостоятельного хозяина-земледедца было чрезвычайно мизерно: правда, в хлебе у него недостатка не было, но мясо у него обычно бывало не более раза в неделю, по праздникам. Вывоз средств существования за границу и достаточное снабжение городов были возможны только благодаря недоеданию сельскохозяйственного рабочего населения. Так было в Венгрии, — как было и в России, и в Румынии.

«Войною это равновесие между распределением и снабжением было разрушено. Всеобщая дороговизна изменила распределение дохода в пользу непосредственных производителей — за счет живущих с «жалованья», с платы за труд. Городское население могло покупать лишь уменьшенное количество средств существования, ибо жалованья и заработные платы не могли поспевать за дороговизной. А между тем номинальная величина платежей, лежащих на сельскохозяйственном населении, — арендных плат, процентов по долгам, налогов — оставалась неизменной... Каждый отдельный крестьянин должен был доставлять значительно меньшую часть своего урожая на покрытие налогов, процентов, земельной ренты собственника. Распределение доходов испытало значительные колебания в пользу деревни, в пользу сельского хозяйства. Крестьянин сумел покрыть свои долги; в виде % за них город перестал получать жизненные припасы. «Жизненный уровень крестьянства повысился. Это повышение отразилось, в первую очередь, в улучшенном питании. Что касается потребностей в индустриальных продуктах, что касается вообще уровня культурных потребностей, — то вряд ли у стоящего на низшей ступени развития крестьянства они выросли.

«Но если бы он и захотел, все равно, для собственных ли личных надобностей, для возобновления ли своего хозяйственного инвентаря, приобрести продукты индустрии, — это было для него невозможно. Вследствие блокады и приспособления всей отечественной промышленности к военным целям, господствовал всеобщий товарный голод. Главный результат наступившего изменения в распределении дохода состоял в лучшем питании сельскохозяйственного населения. Один венгерский крестьянин выпукло выразил это в таких словах: «раньше я возил на базар уток, а сам питался картофелем; теперь я вожу на базар картофель, а жареных уток ем сам». Город получал от деревни все меньше продуктов, и притом продукты все худшего качества. Но и за них в обмен город не мог предложить почти никаких реальных ценностей. Деньги, которые до войны в обмене между городом и деревней играли лишь посредническую роль, постепенно изменили свою функцию. Город пользовался ими по отноше-

нию к деревне, как окончательным платежным средством... Некоторое время крестьянин довольствовался этим положением; он запрятывал деньги, как сокровище, в свой заветный старинный сундук. Вскоре, однако, он устал коллекционировать золотые и серебряные кружочки, а чаще — пестро размалеванные бумажки. И вот, повышение его жизненного уровня приняло наиболее экономически-опасную форму: земледelec стал работать мало, производить мало, а избыток жизненных продуктов отдавать лишь непосредственно за реальные ценности. В Венгрии — впрочем, совершенно так же, как в Германии, Австрии, России, — деньги еще до установления диктатуры пролетариата перестали быть «всеобщим эквивалентом», блестящим, вызывающим всеобщий энтузиазм воплощением общественного богатства».

Остановимся на один момент здесь и подчеркнем кое-какие стороны происшедших изменений, которые у Варги выступают недостаточно отчетливо. Варга, по-видимому, полагает, что если в буржуазном обществе равновесия между городом и деревней не было (оно было нарушено в пользу города), — то после войны, и особенно после революции, палка оказалась перегнутой в противоположную сторону. Однако, из его собственного изложения следует не совсем это, а нечто другое. Крестьянин если и выиграл, как потребитель, то проиграл, как производитель. Зависть горожанина к ставшей лучше питаться деревне обычно являлась близорукою завистью — чисто-обывательского пошиба. «Работает мало, производит мало, излишки отдает лишь в обмен за реальные ценности». Но ведь это уменьшение производства отражало, прежде всего, ухудшение и изношенность инвентаря, убыль рабочего скота и убыль в рабочей силе. Улучшенное потребление на основе ухудшающегося производства — это означает победу крестьянского «сегодня» над крестьянским «завтра». Ибо, в конце концов, судьбы потребления зависят от судеб производства, и расхождение между ними означает, что потребление само подпиливает под собою тот сук, на котором оно держится.

Каким образом могло это произойти с крестьянством, которое настолько обычно пропитано «хозяйственным» настроением, что его часто корят за скопидомство, но никак не за расточительность и мотовство?

Деревня обычно весьма стеснена в оборотных средствах. Крестьянское хозяйство должно приносить доход, достаточная часть которого должна быть капитализирована, т. е. обращена на семена, на воспроизведение (ремонт) и улучшение орудий производства, и часть — обращена в резервный фонд, без которого подверженное случайностям погоды и климата хозяйство может погибнуть от одного-двух неурожаев. Лишь остальное может идти на «прожиток». Этого остального часто не хватает. Отсюда тяжелое положение в деревне стариков и больных, отсюда частое отношение к многодетности, как к «наказанию божескому». Дети, больные, старики — все это представители «непроизводительного потребления».

Однако же, может ли всякое улучшенное питание крестьянской семьи быть зачислено тоже в графу «непроизводительного потребления»? Ведь улучшенное питание равносильно лучшему возобновлению тканей и соков организма, равносильно лучшему состоянию рабочей силы, большей выносливости и

большей мощности ее. Недоедание ведет к слабосилию, к понижению бодрости и энергии, часто — к усиленному ненормальному взвинчиванию ее алкоголизмом. Самые судьбы потомства стоят в огромной зависимости от питания родителей, и недоедание идет рука об руку с физическим вырождением, которое не пощадило и деревни. Только объедение и прихоть, переходя за норму, в сторону нездорового перенапряжения питательного аппарата, чреватые тем же вырождением организма, и сказываются снова понижением энергии организма, лишь в другой форме — в характерной форме утяжеления, ожирения, «лености». Высшие культурные потребности, в образовании, в книге, возникающие легко и свободно лишь на базе здорового удовлетворения низших потребностей, физических, тоже не могут сами по себе создавать потребления производительного, ибо без них нет квалифицированного труда, без них нет высшей техники, без них нет прогресса сельскохозяйственной культуры. Не аскетизм, не сужение потребностей, а, напротив того, их расширение, их дифференцирование есть двигатель хозяйственного прогресса.

В современной деревне — по крайней мере, в деревне аграрных стран востока и юго-востока Европы — дело со всем этим обстоит еще до такой степени плохо, что, казалось бы, странно и дико поднимать шум о росте крестьянского «непроизводительного потребления». И, конечно, в абсолютном смысле его не было. До «обжорства», «пира плоти», оупляющего и понижающего энергию, в деревне после войны и революции, во всяком случае, было далеко-далеко... Это только изголодавшийся горожанин мог воображать что-либо иное, согласно пословице: «в чужих руках каравай велик»...

«Заработная плата сельскохозяйственной челяди, батраков, пришлых сезонных рабочих и дольщиков — констатирует Варга, — как раз возросла быстро. И это повышение было реальным: натуральная заработная плата не то, что плата в денежных знаках, ценность которых падает. Количество натуральных продуктов, получаемых в качестве заработной платы, (как зерно, сало, молоко) — удвоилось. Дольщики, работавшие до войны за десятую часть урожая, во время диктатуры пролетариата стали получать одну восьмую, иногда даже одну седьмую долю. И демократической революцией Кароли, и диктатурой пролетариата воспользовались прежде всего сельскохозяйственные рабочие и деревенская беднота, уровень жизни, в особенности же питание которых достигло никогда не бывалой высоты».

Все это так. Надо, однако, помнить, что сельскохозяйственные батраки стояли как раз на самой низкой ступени по оплате труда среди всех категорий пролетариата. И если сам Варга говорит, что даже самостоятельный, лучше батрака поставленный крестьянин имел мясо лишь раз в неделю, то удвоение этой нормы значит не более, как скромное потребление мяса два раза в неделю. Как будто, завидовать тут еще нечему.

Но как же быть, если у городского рабочего материальный жизненный уровень не повысился от диктатуры пролетариата вовсе? Или даже понизился?

Нет сомнения, что здесь возможно простое средство: путем государственного принуждения в той или другой форме отобрать у батрака и мелкого крестьянина часть их материальных «завоеваний революции» и отдать ее го-

родскому рабочему. И точно так же нет сомнения, что это будет означать — войну между городом и деревней!

Русские большевики не останавливались перед этим и натворили немало бед, которые потом пришлось спешно, сломя голову, поправлять и «ставкой на середняка», и «смычкой с деревней», и лозунгом «рабоче-крестьянского правительства», и зигзагами «нэпа». Е. Варга благоразумнее их. Он пришел к такому выводу:

«Разрешение противоречия между политическим господством пролетариата и неустранимым понижением его жизненного уровня не может состоять ни в чем ином, кроме принорования производства к новому распределению дохода: уничтожение всякого рода роскоши и повышение производства предметов массового потребления, главным образом — создание избыточного сельскохозяйственного производства в крупных размерах»...

«Основное условие повышения жизненного уровня (трудящихся) — это рост сельскохозяйственного производства; но оно связано с годовым, а в некоторых отраслях даже с много-годовым производственным периодом. Производство нужных для пролетариата в растущем количестве продуктов массового потребления тоже требует крупного вложения капитала в индустрию и создания новых производственных аппаратов, для чего нужен ряд лет. Таким образом, к преобразованию может быть приступлено «немедленно», но получить плоды его в большинстве случаев можно будет лишь по истечении многолетнего периода»...

Но что же из этого следует? Да только то, что социализация индустрии должна не предшествовать аграрным реформам, а следовать за ними, быть может, даже выждав их положительных результатов, и произведена быть должна не «единым махом», а в порядке какой-то логической последовательности, которая неизбежно окажется и последовательностью во времени. Должен быть выработан определенный «операционный план», в котором простейшее предшествует более сложному, в котором предшествующие шаги будут подготовлением последующих, по общим правилам экономии сил и максимума результатов. В операционном плане должны быть творчески синтезированы «линия наименьшего сопротивления» и «линия наибольшего эффекта». И уже ясно, что исходной точкой должно быть разрешение вопроса о «хлебе насущном», разрешение аграрной проблемы во всей ее величине, как проблемы не только распределительной, но и производственной.

Когда-то Маркс сказал (эти слова его мне приходилось не раз цитировать и раньше): «Die soziale Umgestaltung erst von dem Grund aus, dass heisst von dem Grund — und Boden aus ernsthaft anfangen muss».

Опыт первых пролетарских революций вкладывает в эти слова новый, глубочайший смысл.

Игра слов — Grund — земля, и Grund — основание, основа, перестает быть простою игрою слов. Она выражает глубочайшую логику понятий.

В начале большевистского опыта, когда были заняты красноармейскою стражею банки, и торжествующие победители вообразили, будто овладели ключами к неисчерпаемым богатствам буржуазного мира, мы говорили им:

«Все это — ослепление, все это — глубочайшие иллюзии. Никакого дома не строят с крыши. Банки — это самая верхняя из надстроек капиталистического здания, это — увенчивающая его и возвышающаяся над всем зданием высокая башня. Не новая система банковского дела решает вопрос о социальном преобразовании. Дом надо строить не с крыши, а с фундамента, а фундамент класть на землю. Элементарнейшие потребности страны в питании, топливе, строительных материалах удовлетворяются землей. Для всякой индустрии первым предварительными условиями ее существования является обеспечение сырьем и топливом, а их опять-таки дает земля.

«Капитализм — это царство индустрии. В ней достигли мощного развития производительные силы. Но земледелие, добывающая промышленность, сельское хозяйство остаются по-прежнему объектом чисто внешней, поверхностной эксплуатации, они в своем развитии далеко отстают от индустрии. Пропорциональности в развитии народно-хозяйственного организма нет. Город живет за счет нищеты деревни.

«Чтобы социализированная индустрия не была карточным домиком, построенным на песке, под нее должна быть предварительно подведена прочная база обеспеченного внутреннего рынка. Его даст только трудовое крестьянство, с рациональной системой землепользования, с действительными, а не мнимыми избытками продуктов, а, стало быть, и с соответственной покупательной силой по отношению к сельскохозяйственным орудиям, машинам, предметам обихода, мануфактуре и т. и. Всякая другая, не такая деревня после социального преобразования оставит город без пропитания, и городу придется «выковыивать хлеб из деревни штыком».

Индустриальный социализм — идейно слишком одностороннее детище современного однобокого индустриального капитализма — не сознавал, что в правильном разрешении аграрного вопроса — единственно надежный исходный пункт для всего дела социального преобразования. И аграрный вопрос явился подводным камнем, на котором кораблю пролетарской диктатуры суждено было получить первую убийственную пробоину.

В известной мере это справедливо для всего социализма, взятого в мировом масштабе. Но особенно это верно по отношению к странам аграрным, в которых все противоречия капиталистического строя вскрываются в особенно обостренной форме и ведут раньше всего к социальным и политическим потрясениям.

В этих странах необходимо, чтобы социализм как можно скорее перестал быть чисто городским продуктом, сумел стать творческим, созидательным, конструктивным социализмом прежде всего в области земледелия, и в земельном устройстве страны нашел точку опоры для всего дальнейшего социального строительства. Земельное устройство должно быть исходным пунктом глубоко и всесторонне продуманного перспективного плана всего социального переустройства, рассчитанного на длительный период. В этом перспективном плане каждый новый шаг должен следовать за успехом в проведении предшествовавшего шага, и часто выжидать известных его результатов, являющихся не сразу, должен быть рассчитан на то, что достаточно закреплены и успешно проведены

все логически-предварительные его условия. Этапам социализации должны соответствовать и этапы времени, чтобы созидательная работа не отставала от разрушительной. Вне этого возможен лишь безудержный авантюризм экспериментирования на удачу над судьбами живых людей, над судьбами миллионов. Вне этого есть лишь нелепая вера в чудодейственную силу декретной красной магии. Вне этого неизбежно дискредитирование социализма, разочарование масс и злорадное торжество буржуазных глашатаев лозунга «назад к капитализму».

Ныне это всецело доказано «русским опытом», в котором такую колоссальную роль играла борьба за власть и декретный фетишизм.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### Отправная позиция и метод большевизма

Если в своем политико-экономическом мирозерцании социализм сразу резко порвал с буржуазною идеологией и перешел как бы в совершенно иную, новую плоскость мышления, то в своих тактических принципах он далеко не сразу «отрешился от старого мира, отряхнул его прах со своих ног». Традиции буржуазного революционаризма долго еще в большей или меньшей степени тяготели над умами революционеров из пролетарского лагеря. В особенности въедливым и живучим оказался свойственный буржуазным революционерам гипноз «захвата власти». Буржуазный революционер, боровшийся с абсолютизмом, был так ослеплен кажущимся «всесилием» своего врага, что проникся верою в чудодейственную власть над жизнью насилия, принуждения, государственной власти и ее «декретов». Но та же вера на первых порах была и у социалистов, — вера в возможность, взобравшись на вершину власти, возвыситься до своего рода «творчества из ничего», — вызывать новые формы жизни мироздательным приказом «да будет!» — словом, вера в социальное чудо. Этот своеобразный, не конструктивный, а какой-то «императивный социализм», в воображении своем, словно «Дух Божий», «ношашеся вверху бездны»; «земля же бе неустроена и пуста».

Еще не так давно, — до наступления мировой войны, так много перевернувшей в умах, — все эти «детские болезни социализма» казались уже пройденною стадией. Лишь немногие, выжившие из ума, старцы, рисовавшие социальную революцию пролетариата в привычных образах буржуазных якобинцев девяносто третьего года, да не успевшие «вжиться в ум» зеленые юноши по прежнему примитивно представляли себе социализм, просто как завладение властью — этой чудесной лабораторией государственной алхимии, где любой металл можно превратить в золото, где декретная черная и белая магия прикажет жизни из буржуазной превратиться в социалистическую, и жизнь послушается магических слов властного приказа. Но война, внеся смятение в умы, воскресила все эти угасшие иллюзии. Весь дух империализма, весь дух войны — крайнее напряжение «воли к власти». Война сделала государство диктато-

ром страны. Война заставила все силы нации испуганно сжаться, сплотиться вокруг государства и послушнее, чем когда-либо, повиноваться его указаниям. Чуть не каждая из воевавших наций знала моменты, когда она чувствовала себя в положении осажденной, блокированной крепости накануне штурма. Всеобщее беспрекословное повиновение диктовалось инстинктом самосохранения. Сомнения, критика, ропот были роскошью, которую нельзя позволить и которая граничит с преступлением. Принудительное начало торжествовало по всему фронту общественной жизни, опутывая и используя все активные силы нации. Говорили о «военном социализме», якобы уже почти осуществленном в порядке осадного положения. Никогда еще «военная власть» не была такой «верховой» и всемогущей. Удивительно ли, что ее созерцание загипнотизировало и многих социалистов? Удивительно ли, что воскрес и этот упрощенный «императивный социализм»?

В России этот гипноз власти над умами даже самих революционеров должен был встретить меньше всего психологических препятствий, ибо Россия была страной, менее всего воспитанной в традициях народовластия, менее всего впитавшей в плоть и кровь его принципы, более всего привыкшей к господству все ведающей, вездесущей и всемогущей автократии. Вековое господство самодержавия врезалось в психологию, коварно впивалось не жалящими ногтями в души самих революционеров, делала их втайне духовными автократами. Подполье с его узким кругом профессионалов революции, похожих на членов своеобразного полурыцарского, полумонашеского воинствующего ордена и с требованием железной дисциплины, довершало дело. Русский большевизм и был тем крылом революционной демократии, на котором накопились путем естественного подбора элементы с этим специфическим настроением.

Отсюда и особое положение русского большевизма с начала русской революции среди других фракций революционной и трудовой демократии. Одна черта более всех других выделяла большевиков и отличала их от их «друго-врагов» по революции и социализму. Этою чертою была «воля к власти».

Все другие фракции относились к власти, к участию в ней, с большой осторожностью, — иногда даже с чрезмерной, переходящей в настоящую эпидемию «властебоязни». Одни думали, что уже одного совпадения войны с революцией достаточно, чтобы сделать задачу социалистического правительства задачей, подобной квадратуре круга. Казалась неизбежной дилемма: либо война убьет революцию, либо революция убьет войну. Но революция, происходящая только по одну сторону фронта, убивает войну лишь односторонне; в военном смысле она может стать самоубийством: не дать стране достойного, революционно-социалистического выхода из положения, а дать лишь постыдный: капитуляцию перед империалистическим соседом. Другие главным образом вставляли в тупик перед общей некультурностью и хозяйственной отсталостью России. Эти считали слишком эфемерными и миражными стихийные взрывы туманно-социалистических симпатий, эпидемически быстро охвативших сверху до низу народные массы. Большинство социалистов полагало, что их время, вопреки всем обманчивым видимостям, еще не пришло, что надо резервировать себя для будущего; с их точки зрения, настоящее было так смутно, тревожно и запутано,

что ни одна партия не в силах взвалить исключительно на свои плечи все тяжелое бремя власти. Надо объединение всех «живых» сил страны... Но поперек дороги этой тяге к «большой коалиции» стояло разделение ответственности друг за друга. И в то же время отсутствие в России такой буржуазной партии, которая сознавала бы весь трагизм положения и готова была бы надлежащим образом возвыситься и над партийным самомнением, и над обычным уровнем буржуазных предрассудков и appetитов, — еще более запутывало положение, и без того запутанное до самой последней степени. Вот почему в течение 1917 года в России не раз бывало совершенно парадоксальное положение. Борьба между партиями не прекращалась, но эта борьба шла более вокруг власти, чем за власть. Или, если хотите, это была как будто борьба за власть наизусть: чуть не каждая партия старалась свалить власть в возможно большей степени на чужие плечи... Бывали моменты, когда власть чуть ли не «валялась на улице», и все, упираясь, спорили, кому и на каких основаниях подобрать ее. Никто не хотел сделать это в одиночестве, и никак нельзя было столкнуться о том, на каких условиях взять ее сообща. Слишком различно было понимание смысла переживаемого периода, слишком различны намечавшиеся у разных социальных групп программы действий.

Уже на первом всероссийском съезде советов, когда Церетели, порицая безответственную оппозицию большевистского стиля, заявил, что партия «всеми недовольная» должна иметь свою осуществимую положительную государственную программу, которую она готова выполнить одними собственными силами, взяв в свои руки безраздельно власть, и что такой партии в России нет, — Ленин произвел большую сенсацию, крикнув с места, что такая партия в России есть, и что эта партия — есть большевистская партия.

Эти дерзкие слова первоначально вызвали дружный смех большинства. И даже сами большевики казались сконфуженными «бестактной выходкой» своего вождя. Но Ленин знал, что говорил, и продолжал стоять на своем *credo*. В его словах звучала своеобразная железная логика. «Политическая партия вообще, а партия передового класса в особенности — не имела бы права на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы жалким нулем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить власть» (Ленин, собр. соч. т. XIV, с. 217). «Вопрос о власти есть коренной вопрос всякой революции» — не уставал твердить он (там же, с. 12). «Самым главным вопросом всякой революции является вопрос о государственной власти. В руках какого класса власть — это решает все» (там же, с. 102.).

Власть — это все. Захват власти — ключ ко всему. Эта старобланкистская манящая идея владеет умом Ленина всецело. Он вскоре прививает ее всей большевистской партии, не встречая при этом сколько-нибудь серьезного сопротивления. Те же исторические образы, которые вдохновляли французских бланкистов, начинают вдохновлять и русских большевиков. Своей верой в могущество государственного принуждения они все больше и больше напоминают якобинцев Великой Французской Революции. Все чаще и чаще ссылаются на них, цитируют их, или просто говорят их словами, примеряют к себе костюмы и роли Марата, Робеспьера и Дантона. Впрочем, для Ленина уже в 1903

г. (см. его книгу «Шаг вперед, два шага назад») революционный социал-демократ был не что иное, как «связанный с организацией сознательного пролетариата якобинец». От большевиков тем же заражаются и левые эсеры, один из которых даже в наши дни пытался иносказательно обрисовать большевистско-левоэсеровскую распрю, сведя ее к прототипам и открыв принципиальную рознь «Робеспьера и Дантонова начала в революции». И аналогии с якобинством имеют свой *raison d'être*. Революционного якобинства не могло бы быть, если бы Франция не была до революции страной величайшей, чудовищной централизации. Париж, диктующий всей Франции свою мятежную волю, был только революционной перифразой дореволюционного строя. Диктатура якобинцев была только инсurreкционной версией королевского заявления: «государство — это я». Большевизма в России тоже не могло бы быть, если бы не было в ней веками внедренного престижа и очарования мощи исконного самодержавия. Без режима «помазанника Божия» не могло бы быть и режима «помазанников собственной революционной воли». Незаметно, медленно, но верно, происходила психологическая мимикрия, и она сделала свое дело. Ленин даже чистую демократию в официальной большевистской программе не умел определить иначе, как искажающими ее сущность словами «самодержавие народа». Диктатура пролетариата, в определении Ленина, вполне и безусловно выглядит своеобразным классовым абсолютизмом и даже деспотизмом. Ленин своей персоной дал пролетариату воскрешенную фигуру «добротного тирана». Вместо «царя-батюшки», явился «батюшка-Ильич».

Как зачарованный одной светящейся во тьме яркой точкой, не оглядываясь по сторонам, не зная сомнений и колебаний, принимая, что все средства хороши, если они ведут к цели — большевизм упорно шел к захвату власти. Труден ему казался только первый шаг: овладение государственным механизмом. Но раз эту задачу каким-нибудь фокусом удастся разрешить, все прочее приложится. Ведь «революция состоит в том, что пролетариат разрушает аппарат управления и весь государственный аппарат, заменяя его новым, состоящим из вооруженных рабочих» (там же, с. 391). Проще и радикальнее этого ничего быть не может. Впрочем, Ленин специально занимался вопросом: «Удержат ли большевики государственную власть» и в брошюре под этим заглавием дал классический образец рассуждения, если не гениального, то, во всяком случае, простого, как все гениальное.

«Россией управляли после революции 1905 года 130 тысяч помещиков, управляли посредством бесконечных насилий над 150 миллионами людей, посредством безграничных издевательств над ними, принуждения огромного большинства к каторжному труду и полуголодному существованию.

«И Россией, будто бы, не смогут управлять 240.000 членов партии большевиков, управлять в интересах бедных и против богатых. Эти 240 тысяч человек имеют за себя уже теперь не менее 1 миллиона голосов взрослого населения, ибо именно такое соотношение числа членов партии к числу подаваемых за нее голосов установлено опытом Европы и опытом России, хотя бы, например, августовскими выборами в Питерскую Думу. Вот уже у нас государственный аппарат в один миллион людей, преданных социалистическому государст-

ву идейно, а не ради получения 20 числа ежемесячно крупного куша» (там же, с. 236).

Конечно, если все, голосующие за партию, есть потенциальный государственный аппарат, если партию и ее периферию рассматривать, как эмбрион будущей правящей касты, а страну считать подготовленной для введения социализма потому, что она, привычная вверять свои судьбы той или иной правящей касте, в данный момент эту новую касту готова терпеть больше, чем ее предшественницу, то вопрос так прост, что проще и быть не может.

Ленину казалось, что он один прекрасно понял мысль Маркса о невозможности для победившего пролетариата просто воспользоваться для своих целей старой государственной машиной, о необходимости эту машину «разбить». Он воображал, что выполнит эту заповедь тем, что наводнит министерства, департаменты и канцелярии живым потоком «вооруженных рабочих». Что и говорить, такое наводнение на первый взгляд может показаться колоссальной ломкой. Но только на первый взгляд. Ибо все зависит от того, что произойдет после него.

Одно из двух. Или новый класс, от имени которого произведен переворот, уже создал в своем лоне зародыши новых учреждений, из которых и может развиваться качественно иной «аппарат» государственной власти; или он представляет собою возбужденную, но бесформенную массу, которая, спугнув с места старых, испытанных и солидных бюрократов, сможет только на спех фабриковать их заместителей — из собственной среды: «*ôte-toi, que je m'y mette*».

Только в первом случае мы имели бы на лице конструктивную зрелость класса для обновления самого характера государственного механизма; во втором же случае произошла бы лишь поверхностная смена личного состава управляющих. Только в первом случае мы имели бы, наконец, действительную трудовую демократизацию, управления; во втором же — лишь плебеизацию персонала. Только в первом случае мы имели бы попытку бороться с распадом страны на две резко отличных касты: управляющих и управляемых; во втором — лишь смену управляющих каст. В начале, конечно, новопришельцы сильно отличались бы от тех, кого они заместили; но, чем дальше, тем больше «закомиссарившиеся рабочие» приобретали бы кастовый дух, который явился бы лишь своеобразным вариантом прежнего бюрократизма.

Бюрократию делает бюрократией не привилегированное социальное происхождение ее носителей, а тот факт, что она имеет в своем монопольном обладании чрезвычайно важную социальную функцию: функцию управления. Когда функция эта резко отделена от всех остальных социальных функций и высоко поднята над ними, (а вся теория государства, как носителя суверенитета, словно нарочно и создана для этой цели), — тогда неважно, выходцами из какой среды являются отдельные представители бюрократии. Бюрократия сама является могучей социальной средой, бюрократия сама организуется как бы в самодовлеющий класс, сообщающий отдельным своим сочленам особый «квазиклассовый» интерес, носящий имя карьеризма. Карьеризм может свирепствовать в коммутическом государстве так же, как в буржуазном, если только ком-

мунистическое государство сохранило централистически-авторитарный политический строй. А «диктатура» его не только сохраняет, но и усугубляет. «Красный карьеризм» и «красный бюрократизм» под новым обличьем сохраняют все черты старого существа. И прежде всего основною их особенностью является: претензия из одного центра диктовать правила жизни всей огромной стране, плохо зная все различие конкретных условий, презируя требования жизни и ставя выше всего свои кабинетные бюрократические системы и теории.

Нет ничего хуже, когда социализм для своего торжества в стране организуется в самодовлеющую касту, монополюбно присваивающую себе функцию управления — это неминуемо означает утрату социализмом своего собственного лика и столь же неминуемо означает его бюрократическое вырождение.

От такой утраты социализмом собственного лика предостерегал более полстолетия тому назад еще Герцен, сравнительно с взглядом которого взгляды Ленина представляют собою огромный и решительный регресс.

«Нет, господа, — пророчески писал Герцен, как будто обращаясь к нынешним кремлевским «вождям мировой революции» — полно нам из себя представлять громовержцев и Моисеев, возвещавших молниею и треском волю Божию, полно представлять мудрых пастырей стад людских! Метода просвещений и освобождений, придуманных за спиною народа и втесняющих ему его неотъемлемые права и его благосостояние — топором и кнутом, исчерпаны Петром I и французским террором. Манна не падает с неба — это детская сказка, — она вырастает из почвы; вызывайте ее, умеете слушать, как растет трава, и не учите ее колосу, а помогите ему развиваться, отстраняя препятствия — вот все, что может делать человек, и этого за глаза довольно». Дважды, трижды пророчески писал он: «желая восстановить свободу народа и признать его совершеннолетие, для скорости обращались с ним, как с материалом благосостояния, как с мясом освобождения, *chair au bonheur public*, вроде наполеоновского пушечного мяса...»

Эти глубокие и тонкие замечания, казалось, раз навсегда кончали с попытками привить социализму глубоко антидемократический, опекунский, характер. Убийственно метко характеризовал их Герцен, как какой-то революционно-социалистический «петрограндизм». Думал ли он, что десятки лет спустя жизнь, увы, слишком склонная «твердить зады», даст такую блестящую иллюстрацию к его ироническим характеристикам, как большевистская эпопея?

Максиму Горькому, кажется, первому пришла на ум «блестящая» мысль сравнить Ленина с Петром Великим. Но он не остался в этом отношении одиноким. Жорж Сорель, прочитав в буржуазной швейцарской газете слова о том, что Ленин весь пропитан духом сорелевской апологии насилия, немедленно — в сентябре 1919 года — откликнулся на них заметкой «За Ленина». «У меня — писал он — нет никакого положительного основания предположить, что Ленин черпал свои идеи из моих книг; но если бы это было так, я не мало гордился бы тем, что участвовал в идейном формировании человека, который представляется мне одновременно самым крупным теоретиком социализма со времени Маркса и главою государства, гений которого напоминает гений Петра Великого».

«Можно было бы сказать — прибавляет Сорель, — что Ленин хочет, подобно Петру Великому, форсировать историю (*forcer l'histoire*)». И, ставя все точки над *i*, поясняет: «слово *forcer* взято здесь в смысле, весьма близком к тому, какой оно имеет у садовников» («*Pour Lenine*», *appendice III*, в «*Reflexions etc.*», р. 442 и 443).

Эдуард Берт, всегда питающийся крохами со стола своего учителя, не мог не подхватить и этой его идеи. «Главное — писал он — это вывести историю на истинно революционный путь... Это и есть то самое, что Ленин сделал в России; его дело — это поистине то, что у садовников называется *forcage*, как прекрасно заметил Сорель; его диктатура аналогична той, при помощи которой Петр Великий европеизировал боярскую Русь; ...его дело — лучшее продолжение дела Петра Великого... Из России, ужасающе отсталой с экономической точки зрения, из этой добычи пьяных и невежественных попов, из этой России, насквозь азиатской, доставшейся ему в наследство от царизма, Ленин творит социалистическую Россию, в которой восторжествует самый возвышенный плод западной цивилизации» (E. Berth, *Guerre des Etats ou guerre des classes*, Paris 1924, р. 228 и 238).

Таким образом, мы имеем дело уже не с метафорой беллетриста, а с целой теорией. В этой теории отдельная властная личность, с кучкой своих приверженцев, являются настоящим демиургом. Отношение, в которое она становится к целой стране, к целому великому народу, приравнивается к опытам садовника над низшим, растительным миром. Роль низшего растительного организма выпадает на долю... русских народных масс. Восхищение перед советской Россией, свойственное этим автором, — Сорель объявил всю западную Европу, и особенно Англию, буржуазным Карфагеном, недостойным одержать победу над Москвой, являющейся Римом современного пролетариата! — все это показное и ходульное восхищение скрывает под своею блестящею внешнею глущайшее презрение к настоящей, народной России. Ибо эти синдикалисты, принципиальные «массовики», конечно, не вверили бы никогда у себя на родине судеб рабочего движения в руки одной властной личности, или даже в руки одного крепко организованного, замкнутого, дисциплинированного, политического «рыцарского ордена». «В этом смысле — говорит Берт — большевизм далек от того, чтобы быть на высоте нашего революционного синдикализма... но состояние России и незрелость в ней рабочего класса делали необходимой тактику, которой следовал Ленин» (эта идея соответствует самым отсталым, примитивным условиям производства и культуры, и Каутский правильно заметил в своем ответе Троцкому, что «большевизм, приблизив страну в хозяйственном отношении ко временам Петра и Екатерины, вернул ее к этой эпохе и политически». Сравнение Ленина с Петром Великим — лишь помимо-вольное и разукрашенное идеологически признание этого факта.). Ну, а несовершеннолетним, конечно, нужен опекун; вот почему «русскому должно быть здорово» то, от чего европейцу смерть. Эта двойная бухгалтерия — благоразумное отклонение большевизма для запада, наряду с великодушным признанием его вполне подходящим для России, впрочем, встречается у очень и очень многих западных социалистов. И они даже не подозревают, сколько оскорби-

тельного в их логике для русских социалистов, для России.

Возможность применить на практике методу «петроградизма», т. е. вкопачивать в народ социализм «дубинкой Петра Великого», стало заветной мечтой Ленина. Во имя этой мечты была предпринята упорная и ожесточенная борьба за власть.

Цель была достигнута. Власть была взята. Оставалось испробовать на деле всемогущество государственного принуждения. Машина — новая машина, импровизированная ИЗ «вооруженных рабочих», из двухсот сорока тысяч членов партии, опирающихся на миллион «примыкающих», — заработала. Как из рога изобилия, посыпались на страну декреты, по своему содержанию один значительнее другого. Каждый рассекал какой-нибудь из гордиевых узлов современности. «Мы помним, — говорил впоследствии Ленин, как в Смольном мы проводили зараз по десяти, по двенадцати декретов» (том XVI, с. 103). То была законодательная плодовитость, не имеющая себе равной в истории.

Нераскаянные скептики — к числу которых принадлежал и автор этой книги, — тогда же отметили, что декретный ливень первого периода после октябрьского переворота имеет чрезвычайно мало общего с действительной законодательной работой. Почти все крупные законодательные акты, являющиеся вехами на пути созидания новых форм жизни, предполагают создание соответственного аппарата для проведения их в жизнь: без этого аппарата они подобны удару шпагой по воде. Большинство первых большевистских декретов были именно декретами такого рода: взять хотя бы для примера декрет о земле. Декрет гласил о социализации земли, об уравнительном землепользовании, но не устанавливал ни определенных норм землепользования, ни точного способа их определения. Не имея аппарата для проведения нового земельного строя в жизнь, новая власть декретом своим тем самым просто приглашала население самостоятельно осуществить его «снизу». В результате получился, как мы увидим в посвященной этому вопросу специальной главе, расхват земли с самым грубым, глазомерным, несовершенным и при том узко-локальным соблюдением «уравнительности». Все происходило хаотически, сумбурно, с бесконечным количеством трений, и с огромным ущербом для сельскохозяйственной культуры. Впрочем, ни к чему более совершенному декреты и не стремились. Сам Ленин, рассказывая впоследствии об эпохе приготовления декретов дюжинами зараз, прибавлял: «То было проявление нашей решимости пробудить опыт и самостоятельность пролетарских масс (там же, с. 103). С этой точки зрения неопределенность, чрезмерная общность, неразработанность и недостаточная конкретизированность декретных «императивов» были даже не недостатком, а достоинством. «Когда декрет говорит такую вещь — комментировал Ленин — это значит: вы попробуйте так сделать, а мы потом взвесим итог вашего пробования. Мы потом разберем, что именно вышло. Когда мы разберем, мы будем двигаться вперед» (том XVIII, ч. 1-ая, с. 17). Декреты, следовательно, часто бывали просто приглашениями, адресованными рабочим и крестьянам, действовать, как бог на душу положит, в известном направлении. Иными словами, захватившие власть еще не освоились с ролью законодателей и вместо законов выпускали полупрокламации, с той разницей, что ими уполномочивали кого-то

— всех вообще и никого в частности — устанавливать новые юридические состояния и отношения.

Социалисты меньшевистского толка подвергли с самого начала это необузданное декретное творчество уничтожающей критике. Они указывали, что его императивы без приготовления аппаратов, проводящих их в жизнь, превращаются либо в мертвую букву, либо влекут за собою последствия, не имеющие ничего общего с задуманным. Они иронизировали, что декретами щедро даруются народу все блага мира — увы, без всякого соображения с их реальной наличием. Пародируя их широковещательную форму, социалисты-меньшевики спрашивали, что же собственно останавливает новую власть от издания декретов хотя бы в таком роде: «сим даруется каждому гражданину право на труд», или «право на равную с прочими долю в национальном доходе России», или даже еще проще: «сим вводится социализм». Указывали и на то, что многие из этих декретов были, в сущности, ничем иным, как бесплатно, на государственный счет издаваемыми партийными избирательными плакатами, полными заманчивых посулов и обещаний. Ибо в то время ведь большевики не даром торопились поспеть до конца выборов в Учредительное Собрание. Смысл этой торопливости — в соблазне самим провести выборы под громкий аккомпанемент декретного облагодетельствования всей страны, обеспечивающий декретодателям большинство. Только после неудачи в этом предприятии большевики решили разогнать Учредительное Собрание. Веру в декретные чудеса социалисты-меньшевики сурово расценивали, как демагогический трюк наверху, недомыслие внизу. Констатировалось шумное рождение какого-то своеобразного «декретного социализма» или «социалистического декретинизма».

Прошло пять лет, и Ленин вынужден был задним числом подтвердить безусловную справедливость этой суровой критики. Ничего иного и ожидать было нельзя. Ибо все это искусственное втискивание грандиозного социального потрясения России в старые знакомые формы Великой Французской Революции с ее декретами не выдерживало никакой критики.

Великая Французская Революция разрушала устаревшие формы феодально-цехового социального регулирования народного хозяйства, чтобы дать полный простор свободной игре индивидуальных сил и стремлений. Она просто расковыривала новую, так сказать самопроизвольную систему общественного хозяйства; систему, в которой как распределение сил и средств между разными отраслями хозяйства, так и установление национальных цен на продукты хозяйственной деятельности и всех взаимоотношений разных факторов производственного процесса — все представлялось стихийной игре конкурирующих сил. В этом был основной социальный смысл революции — в этом, а не в тех чрезвычайных регулировках чисто «осадного» характера (таксы, конфискации и иные способы деспотического вмешательства в имущественные отношения), которые обуславливались переходящими условиями военно-революционного времени. Полную противоположность этому основному заданию Великой Французской Революции представляют собой основные задания «пролетарской коммунистической революции». Здесь, наоборот, идет дело о прекращении

«самопроизвольной системы общественного хозяйства, о ее превращении в планомерно и всесторонне регулируемую; о том, чтобы общество, как целое, стало из раба господином своих собственных хозяйственных отношений; о том, чтобы общественное сознание впервые сделалось не только стихийным рефлексом общественного социального быта, но и его регулятором.

Особенный характер Великой Французской Революции сделал естественным преобладание в экономической области разрушительной деятельности над созидательной. А власть, принуждение, приказ, декрет всего действеннее именно в области запрета, уничтожения. Однако, и в этой области властный приказ еще не всесилен. «Всякому, даже не учившемуся в семинарии» известно, например, что самые суровые законы против ростовщичества не достигали цели, пока ему одновременно не было противопоставлено позитивной работы — организации доступного и дешевого государственного и кооперативного кредита; та же судьба часто постигала и законы против пьянства — без противопоставления ему организованной системы разумных развлечений; или запрет свободной торговли хлебом — без организации в достаточных размерах государственного снабжения. Запрет ненормальной формы удовлетворения той или иной человеческой потребности без одновременного создания иной, нормальной — не уничтожает ее, и только удорожает ее оплату, в которую включается определенный процент «за риск предприятия» — пропорциональный размерам этого риска.

Видя ключ ко всему в государственной власти, в приказе, в декрете, большевизм сознательно или бессознательно избрал следующий основной метод работы. Наметив то русло, по которому «решено» властно направить течение жизни, большевизм начинал с того, что перегораживал рогатками, запружал плотинами все другие возможные пути и русла. Не оставить для жизни никакого другого выхода — это и значило для большевиков вынудить, по методу исключения, желанный для них выход. Для них было ново, что может получиться и еще один — совсем иной — абсолютно ими непредвиденный результат: а именно, что жизнь просто упрется в тупик абсолютной безвыходности, и дело пойдет на разложение и вырождение.

Многочисленны и разнообразны были свидетельства жизни о бессилии голого декрета в области созидательной работы — начиная с примеров самых элементарных. Объявляется «ликвидация безграмотности» в самом чрезвычайном, ударном, «военно-полевом» порядке. Нет достаточного числа учителей? Ничего: мобилизуем всех образованных людей, не хватит их — мобилизуем всех грамотных и предпишем им в течение такого-то срока обучать всех безграмотных. Мобилизуем и безграмотных, в порядке поголовного ополчения поведем всех, старых и малых, на обучение к новопожалованным учителям, покорно исполняющим свою миссию («прикажут — акушером буду»). А надолго ли продолжится «грамотность», сообщенная человеку в порядке как бы всеобщего обязательного оспопрививания, и как скоро она перейдет в рецидив безграмотности — об этом можно не очень задумываться. Необходимо провести систему рабочего контроля — декретом сообщим обычному заводскому митингу компетенцию специальной контрольной инстанции. Нужно обобщить этот

контроль? Для этого не хватает правильно организованных профессиональных союзов? «Огосударствим» эти союзы, сделаем членство в них для рабочих обязательным, — и рабочие, заснув неорганизованными, на другой день утром проснутся «профессионально сорганизованными». Так же точно «огосударствим» потребительные общества, так же сверху по всему фронту «принудительно кооперируем» население. Так же выработаем сеть электростанций, достаточную для электрификации всей России, и т. д., и т. д. И только под конец заметим, что пробавлялись фикциями, что хотя и «гладко писано в бумаге», да «забыли про овраги», и по справке окажется, что прочерчены лишь внешние линии голых форм, для заполнения которых нет реального культурного содержания, и которые поэтому остаются пустопорожними формами... И, наконец, сам Ленин додумывается до великой истины: кроме предписанных декретами форм жизни, есть еще открытая новым Колумбом Америка: это «культурный уровень», через который нельзя перескочить в порядке декретов, в который нужно вжиться, чтобы с ним расти. И вот в один из самых последних своих «светлых моментов» Ленин бросается из одной крайности в другую: он требует, чтобы все коммунисты превратились ни больше', ни меньше, как в простых «культурников». В культурничестве, в самом простом и обыкновенном культурничестве — все спасение!

Более того. Ленин с опозданием пришел к «просиянию своего ума», открыв, что «у нас в конце 1917 года было написано весьма достаточно вещей, оказавшихся в весьма достаточной степени только исписанной бумагой» (ам же, с. 10.). Декретная мания у него прошла. «Ни малейшей влюбленности в декреты у меня нет», — заявляет во всеуслышание он: «что мы сделали много ошибок, в этом нет сомнения; точно так же может быть, что большая часть наших декретов подлежит изменению; я не защитник всех декретов и не хочу изображать декретов лучшими, чем они есть». Более того, под давлением своего рода декретного катценъяммера он даже иронизирует: «Такая печальная штука эти декреты, которые подписываются, а потом нами самими забываются и нами самими не исполняются» (там же, с. 394)... Более уничтожающего приговора не мог бы произнести и злейший враг октябрьского переворота.

Даже, когда Ленин пытался, хотя бы лишь с исторической точки зрения, защищать декретную полосу в большевистском прошлом, и тогда он этой защитой только подтверждал все, что говорили о ней его противники. «Эти декреты, которые практически не могли быть проведены сразу и полностью, играли значительную роль для пропаганды. Если в прежнее время мы пропагандировали общими истинами, то теперь мы пропагандируем работой... Это — призывы к массам, призыв их к практическому делу. Декреты — это инструкции, зовущие к массовому практическому делу. Вот, что важно. Пусть в этих декретах многое негодно, много такого, что в жизни не пройдет, но в них есть материал для практического дела... Мы не будем смотреть на них, как на абсолютные постановления, которые надо во что бы то ни стало, тотчас же провести... Это — проба практического действия в области социалистического строительства» (том XVI, с. 149).

Пропагандистские документы... Призывы... инструкции... декларации...

пробы... все, что угодно, только не законодательные акты с конкретными формами их проведения в жизнь. И это. настолько верно, что в конце концов сам Ленин не выдержал и разразился громовой тирадой — против кого? — против себя же самого, ибо по какому же иному адресу может быть направлено это грозное предостережение, звучащее, как приговор:

«Надо добиться, чтобы произведенный нами переворот не остался только декларацией. В свое время были нужны эти декларации, заявления, манифесты, декреты. Этого у нас достаточно. В свое время эти вещи были необходимы, чтобы народу показать, как и что мы хотим строить, какие новые и невиданные вещи. Не можно ли народу продолжать показывать, что мы хотим строить? Нельзя. Самый простой рабочий в таком случае станет издеваться над нами. Он скажет: что ты все показываешь, как ты хочешь строить, ты покажи на деле, как ты умеешь строить. Если не умеешь, то нам не по дороге, проваливай к черту. И он будет прав» (том XVIII, ч. 1-ая, с. 17).

И «самый простой рабочий», действительно, не раз имел основание сказать эти горькие слова тем, в кого сначала он уверовал почти так же легко и быстро, как легко уверовали они в самих себя. И после этого даже такие коммунисты, стоящие «левее здравого смысла», как Бухарин, додумались до такой великой истины:

«Теперь мы отлично понимаем всю сложность положения: декретами социализма не введешь.. .» («Правда», 1923 г., № 144).

Иными словами: отсутствия конструктивных способностей не заменишь простым злоупотреблением повелительными наклонениями... и такими же наклонностями. Органического развития хозяйственной демократии не заменишь диктатурой.

Такова была та «великая истина», которую, наконец, наполовину, усвоили себе представители русского большевизма. Она была куплена дорогой ценою горького опыта: горького и для большевиков, и для страны, для народа, над живым телом которого годами производились вивисекционные опыты. Крепкие задним умом, они убедились лишь после длинного ряда жалчайших неудач. И этот их «задний ум» и продиктованная им тактика самоликвидации родились в мучительных потугах и схватках, одно время обративших страну, но жестокому и верному слову Ленина, «в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса».

Вот почему мы и говорим, что в лице большевизма мы имеем дело с полной противоположностью конструктивного социализма: с социализмом императивным по форме, деструктивным по существу.

Я понимаю, что с самого начала такая формулировка может вызвать недоумение. «Деструктивный социализм» — это есть какое-то воплощение *contradictio in adjecto*. С одной стороны, социализм по самому существу своему предполагает грандиознейшую перспективу творчества новых форм. С другой стороны, всякий реформатор неизбежно ломает и разрушает старое, и в этом смысле всякий социализм неизбежно «деструктивен». Его формула: *destruo, ut aedificabam*, разрушаю, чтобы построить. И как будто не может вызвать недоумение. «Деструктивный социализм» — это бы исключительным признаком

«деструктивизма».

Однако, взаимное соотношение разрушительной и созидательной, деструктивной и конструктивной стороны в социализме требует более глубокого анализа, чем тот, вся суть которого исчерпывается трюизмами о том, что созидание и разрушение суть родные братья, или две стороны одного и того же дела.

Здесь мыслимы, прежде всего, в высшей степени серьезные разногласия о том, что чему должно предшествовать: разрушение творчеству, или творчество разрушению?

На первый взгляд ответ прост: чтобы «построить» что-нибудь, надо сначала расчистить для этого место. Социальное здание прошлого — рассуждает вульгарный революционизм — должно быть прежде всего пущено на слом; только после этого на его месте может быть воздвигнуто здание будущего. Если спросить, где же и как будет жить человечество в тот промежуток времени, когда старое здание уже будет снесено, а новое еще не воздвигнуто, то вопрос этот устраняется ссылкой на краткость этого периода, а короткое время, разумеется, можно прожить и на биваках, под наскоро сколоченным навесом, а не то — так и просто под открытым небом.

Стоит лишь немного вдуматься в сущность этого мнимого ответа, чтобы понять, как легко — и даже легкомысленно — осуждаются им массы на какое-то длительное беспочвенное существование, связанное к колоссальным снижением культуры, с социальным опрощением, с возвратом к какой-то первобытной полудикости. И неудивительно, что такой левый революционный синдикалист, как бывший секретарь союза синдикатов Сены, Перро, недавно, вдумавшись в этот вопрос, заявил: «когда хотят затронуть самый механизм общества, то — полагаем мы — не следует начинать с разбиванья его в дребезги... Общество можно сравнить с жилищем, которое, в каком бы оно ни находилось состоянии ветхости и запущенности, не может быть снесено до тех пор, пока, под его прикрытием, не возведут нового здания, способного приютить обитателей под свою кровлю».

Все эти фигуральные выражения и грубые аналогии, конечно, еще ничего не решают, а лишь намекают на разные способы решения. Так и здесь. Ясно, что наряду с направлением, характеризуемым выше приведенными рассуждениями, мыслимо и такое направление в социализме, которое предполагает между капитализмом и социализмом некоторую переходную эпоху, которая будет не эпохой органического перерождения и систематической перестройки капиталистического режима в социалистический, а эпохой как бы краха всей современной цивилизации, всеобщего снижения, культурного опрощения, в котором от старого не останется камня на камне. Этот опрощенный быт, своего рода экономический первозданный хаос, в котором расплывутся развитые формы современного капитализма, и будет той исходной точкой, из которой, наконец, постепенно начнут выстраиваться новые социальные образования.

Как античную цивилизацию постигло великое всеобщее крушение, и новая жизнь, с высшими социальными формами, стала возрождаться лишь из мглы средневековья, так ждет подобная же великая катастрофа и современную

буржуазную цивилизацию. Социализм будет не ее перестройкой, новой постройкой на развалинах, на пустырях, созданных новой величайшей мировой социальной катастрофой.

Именно в этом роде, как мы уже видели, давно представлял себе кончину капитализма главный теоретик романского революционного синдикализма, Жорж Сорель. Универсальная всеобщая стачка для него вырастала в грандиозный «социальный миф», в род нового всемирного социального потопа, приканчивающего с дряхлым миром. Новая жизнь должна начаться как бы с совершенно новых исходных точек земного шара. Синдикаты — своего рода ковчег Ноев — после потопа пристающий к горе Арарату, чтобы оттуда начать овладение очищенной от буржуазной нечисти землею.

Нечто вроде этого встречаем мы и у нашего Герцена в ту эпоху, когда, под тягостным впечатлением краха революции 1848 года, он «духовно состарившийся» стал крайним пессимистом по отношению к судьбам европейской цивилизации.

Герцен не верил в способность этой цивилизации эластично переродиться в новую, социалистическую. Он провидел ее вырождение и смерть.

Но что же значат эти слова: «смерть европейской буржуазной цивилизации?» Это значит, что она не прямо уступит свое место новой, высшей по укладу цивилизации, но что за нею, как за светлым днем, наступят сначала сумерки вырождения, а затем темная ночь: «слабые, хилые, глупые поколения протянутся как-нибудь до взрыва, до той или другой лавы, которая их покроет каменным покрывалом и предаст забвению летописей». «Совершенно так, как античная цивилизация угасла и сменилась мраком средневековья».

«Многие не видят смерти только потому, что под смертью они понимают какое-то уничтожение. Смерть не уничтожает составных частей, а развязывает их от прежнего единства, дает им волю существовать при иных условиях. Разумеется, целая часть света не может сгинуть с лица земли; она останется так, как остался Рим в средних веках; она разойдется, распустится в грядущей Европе и потеряет свой теперешний характер, подчиняясь новому и вместе с тем влияя на него». Она погибнет, как погибла античная цивилизация, от нашествия новых варваров; только на этот раз варвары будут не внешними, а внутренними. Это те, кто сейчас «умирает с голода и холода и ропщет над нашей головой и под нашими ногами, на чердаках и в подвалах, в то время, как мы, «шампанским вафли запивая, — толкуем о социализме». И когда настанет их час «хорошее и дурное, правый и виноватый погибнут рядом. Это будет не суд, не расправа, а катаклизм, переворот» (Герцен, сочинения, т. V, с. 131, 138 и 65).

Герцен здесь действительно смутно провидел нечто. Он думал лишь, что его предсказания оправдаются на Западной Европе. А они оправдались прежде всего на России. Пришествие большевизма в огне гражданской войны действительно было «катаклизмом», слепым и стихийным, крушившим, не разбирая, правого и виноватого. Герцен не верил в зрелость западно-европейского пролетарского демоса, думая, что его зальет своими волнами пролетарский охлос. Но главные скопления охлоса оказались не на Западе, а на Востоке.

Герцен не боялся очистительного огня революции, Герцен не боялся и

гибели старых форм общественности; он боялся незрелости рабочего класса, которому суждено стать их могильщиком. «Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения... Как ни тяжела эта истина, с ней надобно примириться, поладить, потому что изменить ее невозможно».

Социализм будет наследником не цветущего капитализма, как учил Маркс, а «сыном ночи», «длинной ночи хаоса и запустения». Он будет не непосредственным преемником буржуазной цивилизации, а творцом «из ничего» совершенно новой цивилизации, «начатой с самого начала...»

«А там? А там настанет весна, молодая жизнь закипит над гробовой доской, варварство младенчества, полное неустроенных, но здоровых сил, заменит своего предшественника, старческое варварство; дикая, свежая мощь распахнет в молодой груди юных народов, и начнется новый круг событий и третий том всеобщей истории...» (там же, с. 136 и 139).

Здесь совершенно явно сквозит возврат к точке зрения Вико, по которой исторический круговорот, а не прогресс, является законом жизни человечества.

Перевес в будущей революции деструктивных сторон над конструктивными с этой точки зрения не должен смущать. Так и надо. На месте оранжерейной цивилизации будут пустыри. На них произойдет зарождение новой, дико-растущей, но за то полной сил новой жизни.

Как ни кажется на первый взгляд туманно-романтическим и не реальным это воззрение, но мировая война и вызванные ею опустошения и социальные потрясения показали, что и в нем были какие-то элементы провидения будущего, что оно было лишь преувеличением действительно наличных тенденций; преувеличением ничуть не большим, чем противоположная ему маниловски-реформистская концепция о таком мирно-эволюционном, постепенном, безболезненном перерождении капитализма в социализм, что трудно будет даже сказать, когда же собственно капитализм перестал быть капитализмом, и с какого момента начать социалистическую эру жизни человечества.

По крайней мере, Россия действительно дала миру картину величайшего краха и развала всего, что было создано довоенной эпохой, картину величайшего экономического и культурного «опрощения». Развитые формы хозяйства как бы распались на свои составные элементы. Возврат к примитивизму стал одно время общим явлением.

Неудивительно, что в России же явились и теоретики, готовые возводить этот факт в неизбежный закон. Лидер левых коммунистов, Н. Бухарин, посвятил его выведению и доказательству значительную часть своего теоретического труда «Экономика переходного периода», при чем под «переходным» периодом он понимает тот, который отделяет капитализм от коммунизма. И вот что у него получается:

«Производственная анархия, или, как ее обозначает в своем труде о «Послевоенных перспективах русской промышленности» проф. Гриневецкий, революционное разложение промышленности есть исторически неизбежный этап,

от которого нельзя отделаться никакими lamentациями» (Н. Бухарин, «Экономика переходного периода», М., 1920, с. 48). Старое общество и в его государственной, и в его производственной формулировке раскалывается, распадается до самых низов, вплоть до самых последних глубин» (Н. Бухарин, «Экономика переходного периода», с. 5).

Крахи предшествовавших цивилизаций сравнительно с крахом буржуазной культуры должны выглядеть, с точки зрения Бухарина, как детская игра. В истории «никогда еще не было такой грандиозной ломки». Строить будущее общество придется «из распавшихся элементов». Через «неизбывные муки переходного периода» мы идем к «социализму, вырастающему на груди обломков» (там же, с. 5, 6 и 102).

И сам глава большевистско-коммунистической школы, Н. Ленин, еще более настойчиво приглашает всех взглянуть мужественно прямо в глаза этой трагической правде. Если ранее все социалисты — правые, левые — безразлично, сам Ленин не был исключением — в своей проповеди сулили от шагов к социализму немедленное улучшение положения рабочих масс, то современный коммунизм, наоборот, по долгу революционной совести должен предупреждать рабочих, что в течение долгого инкубационного периода их ждут, после ликвидации капитализма, тяжелые времена «неизбывных мук». Кто их боится — тому нечего и думать о социализме, как и социализму нечего с ним делать. Ядом сарказмов осыпает Ленин «сладеньких социалистов», которые отвергают такой путь к социализму. «Они слышали и признавали теоретически, что революцию следует сравнивать с актом родов, но когда дошло до дела, они позорно трусили». Но ведь «рождение человека связано с таким актом, который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса». Вот, что надо ясно представлять себе, когда говоришь и думаешь о «старом обществе, которое беременно новым». «Роды бывают легкие и бывают тяжелые. Маркс и Энгельс, основатели научного социализма, говорили всегда о долгих муках родов, неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму». Революцию же после войны Энгельс считал «особенно тяжелым случаем родов». Ленин не забывает даже и о том, что «трудные акты родов увеличивают опасность смертельной болезни или смертельного исхода во много раз». Но, вместо того, чтобы продолжить это давно набившее оскомину сопоставление с родами до невыгодного пункта о преждевременных родах и выкидышах, спешит скорее прервать аналогию и заявить, что «если отдельные люди гибнут от родов, новое общество, рождаемое старым укладом, не может погибнуть» (собрание сочинений, т. XV, стр. 362-363). Этот квазинаучный декрет не подлежит критике: ему надо внимать и слушаться.

Для Ленина всякие сомнения в концепции социализма, как феникса, рождающегося из пепла, есть идейная трусость, есть лишь «хныканье дрянных душонок». Однако, при всем его непреклонном, закаленном оптимизме, впоследствии, во время большевистских экспериментов и их краха, и ему приходилось не раз при зрелище «неизбывных мук переходного периода» бить тревогу, восклицая: «Мы стоим перед катастрофой!»... «Страна гибнет, оттого, что после войны в ней нет элементарных условий для нормального существования». «Ко-

гда слышишь сотни тысяч жалоб на голод, когда видишь и знаешь, что эти жалобы правильны», — тогда приходится даже не «хныкать», а криком кричать, воплем вопить — так, как завопил однажды сам Ленин, — что при такой разрухе «не только социализма не будет, а просто околеют все с голоду, как собаки, в то время, как хлеб лежит рядом» (там же, с. 243 и 247). И порою, вместо привычных пророчеств о близком торжестве коммунизма, с его уст срывались невольно другие полупророчества: «как будто с цивилизацией, с культурой страны опять возвращаются к первобытному варварству, опять переживают такое положение, когда дичают нравы, звереют люди в борьбе за кусок хлеба»... (там же, с. 331). Но эти черные мысли он отгонял снова и снова прочь от себя, чтобы дать торжество все тому же надрывному коммунизму отчаяния, боящемуся отдать себе ясный отчет в своей собственной сущности и воображающему себя порою коммунизмом веры.

Есть такие же ноты и у Н. Бухарина. Он допускает даже, что дорога распада, разрушения старого «вплоть до самых последних глубин» не обязательно приведет к рождению нового общества. «Теоретически мыслимо дальнейшее разложение, «гибель культуры», возвращение к примитивным формам средневекового полунатурального хозяйства, словом, та картина, которую рисует Анатолий Франс в конце своего «Острова Пингвинов...» («Экономика переходного периода», с. 49).

Крайности сходятся. Этими оговорками крайний левый, страдающий гипертрофией деструктивного элемента, фанатически верующий коммунизм становится в опасную близость с самыми скептическими и пессимистическими течениями прошлого и современности.

А их много, очень много. Все они в большей или меньшей мере сходятся на идее краха, гибели нашей культуры. Здесь и «Untergang des Abendlandes» Шпенглера и «Сумерки Европы» Ландау и «катастрофическое мировосприятие» так называемых «евразийцев», с их «исходом к Востоку»; здесь в особенности идеи проф. Виппера, который убежденно и твердо говорит: «Да, мы откинута в глубину средневековья, и это не только метафора».

Концепция возврата к средневековью здесь всего интереснее. Она считает неизбежным то, что для Бухарина было лишь теоретически мыслимо. «Нам приходится вспоминать об этой эпохе не только потому, что мы силою вещей повергнуты в хаотичность и первобытные условия жизни, которые были ей присущи, — говорит Виппер, — но еще по одной причине». И здесь проф. Виппер, исходя из иной отправной точки и приходя к иным выводам, говорит слово в слово, как Бухарин: о том, как «будут обособляться и ссориться между собою распавшиеся части большого целого», как «разлаженные колеса и рычаги колоссальной машины, вышибленные из своих соединений, будут ломаться и крушить друг друга»; как медленно будут создаваться новые коллективные связи при общей ослабленности государства, при слабости первоначальных и неокрепших ростков, возрождающейся общественности, при общей «варваризации», но и при наличности некоторой доли «здорового варварства», примесь которого в конце концов даст свою пользу одряхлевшей, подорванной изнутри цивилизации...».

Все начнется сначала. С исходной точки начнется какой то в незначительной вариации «круговорот истории»...

Чрезвычайно характерно, что именно в России, где огромная страна целыми годами была превращена в арену экспериментов «деструктивного» социализма, явились и самые пессимистические теории «гибели культуры» и наступления эпохи «нового средневековья» — теории, для которой история человечества есть какие-то «дьяволы качели»: взад — вперед, взад — вперед. В России капитализм был все время весьма худосочным и оранжерейным растением, и крушение его произошло особенно легко, стремительно и полно. Вся ее хозяйственная система первую затрещала по всем швам, не выдержав всемирной затяжной войны на истощение. В ней «деструктивному социализму» задача была особенно легка, ибо почва для него была подготовлена «деструктивным капитализмом»...

В самом деле, социалистическая теория уже давно и чрезмерно злоупотребляла гимнами творческой роли капитализма. Делами его десницы заслонялись дела его шуйцы. Конструктивная, созидательная, организационная деятельность капитализма била всем в глаза. А его подкоп под все основы бытия человечества был глухой подземной работой, до поры и до времени прикрытой условностями дипломатической лжи, тьмой и молчанием. Правда, империалистический период развития капитализма давно превратил состояние мира в состояние скрытой войны — и бег взапуски по пути вооружений в колоссальную непроизводительную растрату народнохозяйственных ресурсов. Но только война, всемирная война, война на всеобщее истощение показала миру во весь рост деструктивные тенденции капитализма.

Деструктивный социализм есть законное детище деструктивного капитализма. Он буквально загипнотизирован созерцанием своего родителя и доходит до полнейшей мимикрии, до самого рабского копирования его особенностей. Множество его положений до мировой войны показались бы чудовищными, свидетельствующими о психической ненормальности. После этой войны они оказались в порядке вещей. Психологическая почва для них была разрыхлена.

За то и самый вопрос о взаимном соотношении деструктивной и конструктивной работы в социализме поставлен теперь ребром, с такой степенью остроты, что от него невозможно ни увернуться, ни отговориться.

Выбор должен быть сделан. Решения должны быть продуманы до самого конца. И формулированы с полной четкостью и ясностью.

Никакой псевдореволюционной фразеологией затемнить существо дела более невозможно. Ясно одно. Если мы не хотим, чтобы при нашем соучастии человечество действительно погрузилось во мглу нового средневековья, мы должны подвергнуть деструктивный социализм уничтожающей критике в самих его духовных истоках. И прежде всего мы должны покончить с предрасудком, имеющим видимость трузизма: будто бы в работе социализма разрушение неизбежно предшествует созиданию, расчищая для него почву.

Конструктивный социализм отменяет от себя соблазн красивой анархической фразы: «Дух разрушения и есть созидательный дух». Дух созидания не может не быть в то же время и духом отрицания и разрушения: всякое новое неиз-

бежно отрицает старое; но обратная теория неверна: дух разрушения может и не быть созидательным и устрояющим духом. И даже если по заданию своему дух разрушения является (точнее, хочет быть) духом созидающим, от чаши до уст еще далеко: успех не в одинаковой степени может увенчать две стороны революционной работы. И нельзя себе представить ничего худшего, как для отдельного реформатора, так и для целой новаторской партии, партии будущего, чем роковое отставание их созидательной работы от разрушительной. Помимовольный культурно-социальный регресс вместо намеченного прогресса является неизбежной карой исторической Немезиды за всякое проявление конструктивной незрелости.

Итак, для конструктивного социализма с самого начала дана одна великая заповедь: — должно быть соблюдено строгое равновесие между созидательной и разрушительной стороной преобразовательной работы. И другая, подобная ей: созидание должно не следовать за разрушением, тем самым неизбежно перманентно отставая от него, но везде, где это возможно, даже предшествовать ему.

Исторические прецеденты предшествовавших революций говорят именно за эту великую заповедь. Ошибочно было бы думать, что величайшее из социальных потрясений прошлого. Великая Французская Революция, сначала уничтожила феодализм, а затем начала создавать основы буржуазного, капиталистического уклада жизни. Этот новый уклад уже был налицо, совершенно готовым, он гнезвился, так сказать, в порах старого режима. Городская жизнь уже давно исподволь перерабатывалась в новые формы; в цехах и гильдиях созревала новый промышленный мирок, ничего общего не имеющий с феодально-иерархической системой; и лишь когда удельный вес этого нового мирка возрос, а старый режим стал путями для его растущей молодой и самоуверенной силы, революция разорвала эти пути: не для того, чтобы «творить из ничего» а лишь для того, чтобы распространить на всю страну основы жизни, уже созревшие в классовых организациях бюргерства, в его приватном «мирке». Отмена крепостного права в России произошла тогда, когда уже сильно возрос слой «вольных хлебопашцев», и наряду с фабриками, употреблявшими крепостной труд, выросли и такие, на которых был труд вольнонаемный, и когда практика показала, что вольнонаемный труд продуктивнее крепостного. Политическая свобода, конституционное народовластие было распространением на всю страну начал скромного местного самоуправления, сложившегося в недрах авторитарного режима, и казавшегося на первых порах всего лишь некоторым подспорьем ему в деле управления страной. Социализация земли в России была лишь распространением на всю страну, на весь аграрный строй принципов, в неразвитом виде лежащих в основе скромной поземельной общины, с ее равным правом на землю всех новородившихся членов общины, и равным правом всякого вложенного в землю труда на вознаграждение соответственным эквивалентом. Подобно этому и целостная система социализма не может быть «творчеством из ничего» на руинах беспощадно-уничтоженного прошлого. Рабочие синдикаты, чей голос имеет все больше и больше значения при установлении внутренних распорядков в промышленных заведениях; коллективные до-

говоры, эти зачатки временных фабричных конституций; земельные общины и товарищества; кооперативы, организующие потребление и вокруг них работающие на это организованное потребление, по его заказам, мастерские; рабочие «гильдии», пытающиеся объединить представителей труда физического и духовного, мускульного и технически-организационного, и являющиеся синтезом кооперативизма и синдикализма; новое трудовое право, трудовая мораль, трудовая культура и трудовая идеология, зреющая, как в этих организациях, так и в союзной с ними партийно-политической организации труда — все это суть ростки новой жизни, живые эмбрионы государства будущего, или лучше сказать, дифференцирующиеся органы этого эмбриона. В их лице готовится и зреет социализм. Революция, — великая, решающая революция, а не преждевременный выкидыш — может быть лишь плодом созревания этого эмбриона, не довольствующегося больше зародышевым прозябанием на частнопроводных началах в лоне старого строя, почувствовавшего, что ему тесен мирок классовых учреждений. «Мирок» должен завладеть миром и стать новым миром. Бьет час распространить на все общество выработанные в его недрах новые нормы бытия. Буржуазные формы жизни в самых основаниях своих могут быть отныне потрясены, снесены, отменены, разрушены. Человечество не очутится ни на биваках, ни под открытым небом. Оно не совершит авантюристического «прыжка в неизвестное». Оно пойдет вперед, а не назад. Таков нормальный порядок здорового развития. Перевернуть его вверх ногами — значит «дух разрушения» сделать злым гением всеобщей разрухи. С социализмом большего несчастья случиться не может. И это несчастье было уделом большевизма.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### Социализация кредита

При всей неясности, смутности и неопределенности общего «операционного плана» превращения капиталистического общества в социалистическое у большевиков, некоторые намеки на такой план все же у них можно было найти. Большевики, конечно, понимали, что одним росчерком пера социализма не введешь, что не все буржуазные позиции одинаково легко занять и не все они одинаково важны. Предстояло выбрать, так сказать, некоторые «командующие высоты», и, укрепившись на них, продолжать свое «внедрение» в сложную систему буржуазных «окопов».

Из этих «командующих высот» две выдвигались ими на первый план. Национализация банков казалась Ленину занятием наиболее важной и господствующей над всеми другими «командующей высоты». Введение рабочего контроля было занятием другой.

Еще в «манифесте коммунистической партии» Маркса и Энгельса, в числе мер, посредством которых совершается приступ к превращению капиталистического строя в социалистический, значится: «централизация кредита в ру-

ках государства при помощи безусловно монопольного национального банка, основанного на данный государством капитал». Это, в ряду предполагаемых им мер, первая, носящая серьезный конструктивный характер; все предыдущие меры (конфискация имущества мятежников, высокий прогрессивный налог, изъятие в руки государства земельной ренты и отмена права наследования)—по преимуществу негативны.

Авторы «манифеста» оговаривались, что каждая из этого рода мер «может показаться экономически недостаточной и необоснованной, однако, способна самостоятельно разрастаться по мере развития движения и является неизбежной в качестве средства для совершения переворота во всей системе производства». Позднее (1872 г.) они заявили, что проектированным ими «революционным мерам, изложенным в конце второго отдела, вовсе не следует придавать особого значения»; состоящая из них «упомянутая практическая программа местами устарела». Вряд ли похоже, однако, чтобы эта оговорка могла быть специально применена к пункту о национализации банковского дела. Хотя эта идея весьма почтенна по возрасту (это — сенсимонистская идея, особенно выдвинутая на первый план Базаром), но Маркс не раз возвращался к ней значительно позднее. Так, в посмертном III-м томе «Капитала» он проводит такую аналогию. Подобно тому, как кредитная система сыграла огромную роль в деле превращения разрозненных капиталистических частных предприятий в обширнейшие акционерные компании, — она, уже в руках общественного коллектива, сыграет такую же колоссальную роль в деле «постепенного расширения кооперативных предприятий в более или менее национальном масштабе».

Эти отрывочные строки, написанные в шестидесятых годах прошлого века, дают понять, что в деле перехода от капиталистического общества в социалистическое, Маркс — по крайней мере, тогда — отнюдь не считал исчерпывающим методом увеличение числа национализированных предприятий, а по меньшей мере одинаковую роль отводил частнопроводимому кооперативному движению. Именно вслед за положением о могучей роли кредита в деле расширения кооперативной системы до общенациональных размеров, непосредственно стоят знаменитые, столько раз подвергавшиеся всевозможным толкованиям и перетолкованиям строки: «Капиталистические акционерные предприятия, как и кооперативные фабрики, следует рассматривать, как переходные формы от капиталистического способа производства к ассоциированному (общественному), только в одних противоречие устранено отрицательно, в других — положительно».

Итак, общественный или «ассоциированный» способ производства, по Марксу, является из слияния двух русл в одно. С одной стороны, развитие акционерного дела создает — как мы бы сказали теперь, после грандиозной эпопеи синдикатов, трестов и «финансокрации», — нечто в роде «социал-капитализма»; здесь этот социал-капитализм превращается в социализм при посредстве экспроприации. С другой стороны, обобществление собственности и труда происходит снизу, путем «кооперативизации». Этот процесс ускоряется социалистической системой кредита. Итак, социалистическая система кредита, предполагающая его огосударствление и монополизацию, играет в позитивной

или собственно-конструктивной системе Маркса не менее важную роль, чем «негативное» средство — экспроприации, секвестра или конфискации.

И в других своих писаниях, напр., везде, где он высмеивает «банкирские» планы Прудона и его предшественников, Маркс дает понять, что критика его не относится к самой идее сделать реформу кредита могучим орудием превращения капиталистического общества в социалистическое. Для Прудона в создании дарового кредита заключался «весь социализм, вне же него — лишь химера и утопия». Кроме того, даровой кредит создавался вне государства, на частно-правовой почве. Многие в «банкирских» прожектах Прудона были незрелым, что не помешало другим элементам его воззрений на кредит оказаться почти пророческими провидениями (Ср. William Oualid, «Proudhon banquier» в книге «Proudhon et notre temps». Bibliothèque de Philosophie moderne, Paris, 1920). Прудон может с большим правом претендовать на имя «отца кооперативного кредита». Маркс представлял собою противоположную, сен-симонистскую тенденцию — кредита, сосредоточенного в руках государства, и потому имеющего под собою гораздо более прочную базу — обеспечения, в последнем счете, «всем достоянием государства»; в основу всего ставится, как сказано в «Манифесте», «безусловно монопольный национальный банк, основанный на данный государством капитал». Мы ныне стоим далеко от старых споров; одно в марксизме и прудонизме для нас устарело, другое способно дополнять друг друга. В частности, вряд ли кто из серьезных теоретиков социализма станет теперь отрицать принцип сотрудничества государственного и кооперативного кредита в деле социальной реформы. Ленин, однако, целиком отстаивал сенсимонистскую традицию в марксизме во всей ее односторонности и исключительности.

«Без крупных банков социализм был бы неосуществим» — писал Ленин, подчеркивая курсивом всю значительность этого положения. «Крупные банки есть тот «государственный аппарат», который нам нужен для осуществления социализма и который мы берем готовым у капитализма, причем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеобъемлющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственный банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике — это уже девять десятых социалистического аппарата. Это — общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать, нечто вроде скелета социалистического общества. Этот государственный аппарат (который является не вполне государственным при капитализме, но который будет вполне государственным у нас, при социализме) мы можем «взять» и «привести в движение» одним ударом, одним указом»... (Собр. соч., т. XIV, стр. 231).

В общем, картина получается грандиозная. Единый национальный банк, с отделениями при каждой волости, при каждой фабрике... Да еще взявший на себя заведывание всем «общегосударственным счетоводством, общегосударственным учетом производства и распределения продуктов»... Конечно, звучит или совершенно детской наивностью, или рассчитанной на чужое невежество демагогией уверение, будто все это может быть создано «одним ударом, одним

указом». Хотя бы уже один вопрос о том, где взять подготовленный персонал для столь дифференцированной, всеохватывающей, всеведающей и всемогущей банковской системы, должен был бы хоть немного охладить разгоряченное воображение автора. Но верно то, что так понятая реформа кредита, действительно, при наличии реальных условий для ее осуществления, была бы недалеко от приготовления если не «девяяти десятым», то все же доброй половины социалистического аппарата. Свойственный уму Ленина однобокий, упрощающий монизм, конечно, сейчас же превращает эту организацию кредита в «нечто вроде скелета социалистического общества». Беда в том, что в другие моменты, с такими же шорами на глазах, с таким же «моноидеизмом», он превращал в «скелет будущего социалистического общества», то «советскую систему», то Всероссийский Совет органов рабочего контроля, то Всероссийскую систему «совнархозов», то, по-синдикалистски, сеть профессиональных союзов, а под конец жизни неожиданно-странно приблизился даже к системе самодовлеющего кооператизма, при которой диктатура пролетариата играет роль лишь защитной антибуржуазной ширмы. Таким образом, я позволю себе сказать, что у социалистического общества оказывается «слишком много скелетов», - как старик Калхас, жаловавшийся, что в приношениях церкви «слишком много цветов». Это какое-то многоскелетное, даже «пан-скелетическое» состояние социалистической системы совершенно не оставляет никакого места социализму во плоти и крови.

Построение Ленина, несомненно (он этого и не скрывает), навеяно взглядами Гильфердинга, развитыми в его классическом «Финансовом капитале». Нарисованная им яркая картина «финансократии» и «банкократии», как высшей заключительной фазы капитализма, показывая внутреннюю сущность того, что делает его империализмом во вне, могла только подкрепить в социализме тенденцию поставить во главу угла социального переустройства национализацию банков. Именно национализация банков была той «навязчивой идеей», которая подверглась немедленно, как только перед социализмом ребром ставился вопрос: «с чего начать?»

Даже и теперь, после опыта социалистических и коммунистических правительств России, Венгрии и Германии можно встретиться с чрезвычайно преувеличенной оценкой роли национализации банков в деле превращения капиталистического общества в социалистическое. Даже в одном из лучших современных эскизов «конструктивного социализма», в маленькой, но содержательной книжке Отто Бауэра, «DerWeg zum Sozialismus», мы встречаемся со следующей серией идей:

«Так как в капиталистическом обществе нет налицо никого, кто бы заботился о сохранении пропорциональности между отдельными отраслями промышленности, о равномерном, соответствующем расчленении потребностей, развитию отдельных ветвей производства, то это обстоятельство является одной из важнейших причин постоянно возвращающихся хозяйственных кризисов. Эту заботу и возьмет на себя будущий центральный национальный банк. Ведь в его распоряжении будут свободные капиталы всего общества. Он и будет решать, между какими отраслями производства в какой мере должны быть

размещены эти капиталы. Управляемый доверенными людьми общественного коллектива, он будет всегда направлять те капиталы, которыми он располагает, именно туда, куда необходимо народу; следовательно, применять их к строительству тех отраслей индустрии, в продуктах которых ощущается недостаток, и отстранять от тех, которые не служат никаким насущным народным потребностям. Таким образом, именно обобществление банков будет решающим шагом в деле преодоления капиталистической анархии.

«Центральный национальный банк скорее всего разовьется в высший направляющий орган всего народного хозяйства: в тот орган, который будет регулировать распределение капитала и труда между отдельными отраслями производства» («Der Weg zum Sozialismus» von Otto Bauer, Wien 1921, s. 30) .

Здесь правомерно возникает, однако, одно серьезное сомнение. Что в социалистическом обществе будет какое-то центральное учреждение, в область ведения которого отойдет задача установления «планового хозяйства», — нет спора. Но из какого органа современности разовьется это учреждение — это другой вопрос. Так, например, центральное общегосударственное хозяйственно-статистическое бюро может законно конкурировать в этом деле с центральным банком, ибо учет всех факторов производства им производится гораздо полнее и всестороннее, чем то делает банк. Но вопросом является прежде всего то, действительно ли «высший направляющий орган всего народного хозяйства» разовьется непременно из какого-нибудь существующего учреждения буржуазного строя, как своего эмбриона? Почему это должно быть так? Почему ему не возникнуть *заново*, в качестве высшей «надстройки» над всеми этими учреждениями? Не будет ли более нормальным и здоровым, чтобы при таком демократически организованном — не чиновничьем, а с широким представительством трудовой общественности — «Высшем Экономическом Совете» — в качестве его вспомогательных и подчиненных органов были — и национальный центральный банк, и общегосударственное хозяйственно-статистическое бюро?

В нынешнем обществе финансы господствуют над производством. Но в нынешнем обществе человечество вообще является не господином, а рабом своих экономических отношений; отсюда постоянное превращение в буржуазном обществе средств в самоцели, отсюда их самодовлеющая и господствующая позиция в хозяйстве. Конечно, как «не человек для субботы, а суббота для человека», также должно быть «не производство для банков, а банки для производства». В жизни все наоборот. Стремление производственного капитала сделать банки своим служебным орудием оказывалось доселе покушением с негодными средствами. Сбирая сбережения всей страны, концентрируя, словно в фокусе, рассеянные лучи национального богатства, распоряжаясь, таким образом, чужой, концентрированной, всенародной — силой, банкократия по своему произволу может и пригревать, и сжигать все, что существует в сфере ее действия. Банки есть место зарождения и роста самодовлеющей финансовой олигархии.

Совершенно ясно, поэтому, что демократизация кредитной системы есть мера, выдвигающаяся на первый план. Эта мера нужна не только ради социа-

лизма, т.е. она диктуется не только интересами кредитования национализированных предприятий. Нет, в ней заинтересована даже значительная часть производственной буржуазии. Законодательство, которое решится изъять фактическую монополию управления банками из рук крупнейших акционеров и в обязательном порядке введет в собрание этих акционеров представителей организованной промышленности, торговли, организованного труда, организованного потребления и организованной общественности вообще, удовлетворит одновременно двум требованиям: бережного отношения к той могучей, той чудодейственной силе, которая развилась в лице банковских учреждений, фактически удесятворяющих находящийся в действии национальный капитал и упраздняющих вредную летаргию всяких народных «сбережений», с одной стороны, и уничтожения вредных сторон самодовлеющей, готовой попирать интересы производства «олигархии денег» — с другой.

Подобно тому, как для Маркса введение «ассоциационного способа производства» («социализация производства», как сказали бы мы теперь) шло одновременно по двум, в конце концов, сливающимся руслами: трудовой кооперации и буржуазного акционирования, так и социализация кредита пойдет также по двум руслам: создание кооперативного кредита с одной стороны, демократизации банковского дела с другой.

В конечном итоге, разумеется, слияние и синтез обоих движений даст полное обобществление кредита, создание его единой и монопольной общегосударственной системы. Но оно именно отвечает не на вопрос: «с чего начать?», а на вопрос: «чем закончить?»

На то же указывает и внутренняя связь между централизацией кредита и введением планового хозяйства; ибо плановое хозяйство также является не преддверием социализма, а увенчанием здания социалистического общества; смотреть на дело иначе — значит перевернуть жизнь с ног на голову.

Здесь то и заключалось первое, наиболее глубокое и принципиальное расхождение между большевиками и социалистами-революционерами. Последние ответили на большевистский декрет о национализации кредита категорическим заявлением, что это означает строить дом с крыши вместо фундамента.

Банковая система — это, именно, вершина капиталистической системы, ее крыша, — если не увенчивающий эту крышу заостренный, возносящийся к поднебесному простору шпиль. Воздушные замки единой монопольной централизованной кредитной системы, одновременно всесторонне-учетной и всесторонне-распорядительной по отношению ко всему производству, с разветвлениями, доходящими до каждой волости и до каждой фабрики, на бумаге могли выглядеть как угодно хорошо; но при попытке построить их на деле возможен только грандиозный обвал, с риском раздавить, погрести под собою всякий кредит вообще, в том числе и кооперативный кредит, судьбы которого социалисты-революционеры принимали особенно близко к сердцу. Опыт жизни показал, что опасения их были более чем обоснованы.

Ныне этот спор надо признать за «старый спор, уж взвешенный судьбою». Лучшие теоретики современного марксизма, присмотревшись к указаниям опыта, подвергли в этом пункте свои взгляды радикальной ревизии.

Первый шаг в этом направлении сделан был Отто Бауэром, — шаг, на первых порах еще нерешительный, оправдываемый не принципиально, а лишь временными и преходящими условиями послевоенной ситуации.

«В последние десятилетия перед войной банки подчинили своему господству всю крупную индустрию; финансовый капитал царил над промышленниками, как их владыка. Кто тогда стремился к социализации индустрии, мог по праву верить, что ее лучше всего начать с социализации банков ...

«Война существенно изменила хозяйственные функции банков. В течение войны банки сделались до такой степени орудиями государственных займов, что сравнительно с этой все остальные их функции отодвинулись на задний план. Если взять дело в его основе, то придется сказать, что в течение войны они превратились в ничто иное, как реквизиционные учреждения военного командования, облеченные миссией — извлечь для военных целей из населения последний свободный грош. Поэтому значительнейшая часть актива банков состоит из их претензий к государству и из подписки на государственные займы. Поэтому, ныне обобществление банков никоим образом не может иметь того же действия, какое оно имело бы в нормальное, мирное время. А так как ныне для восстановления своего народного хозяйства мы нуждаемся в иностранном кредите, то едва ли ныне социализацию банков можно было бы произвести столь же легко, а тем более — столь же целесообразно и действительно, как в мирное время. Таким образом, социализация нашей индустриальной продукции должна начаться не с социализации банков. Мы должны сначала предоставить банкам время и возможность ликвидировать свои связанные с войною операции, восстановить и развить свои нормальные, мирные функции, и только уже после этого думать о социализации банкового дела. Социализация банков должна быть не началом великой социализаторской операции, а ее завершением и увенчанием» (Ibid., 28-29).

Заключение совершенно правильно, но мотивировано оно недостаточно, ибо указывает лишь на привходящие и усугубляющие мотивы вместо основных и коренных; и потому оно производит впечатление идущего дальше своих логических предпосылок. Решительнее и принципиальнее взглянул на дело К. Каутский в своей книге «Пролетарская революция и ее программа». Очень метко охарактеризовал он происхождение старого взгляда: «овладение крупными банками» есть первый шаг пролетарского режима для занятия этой «ключевой позиции», ныне составляющей силу финансового капитала, а вместе — для приобретения «решающего влияния на хозяйственную жизнь даже в тех ее областях, которые еще не созрели для социализации». С отличающей его искренностью Каутский признается: «вместе со многими из своих друзей и я думал, что так оно и будет... Однако, опыт и более глубокое исследование вопроса, напротив, говорят о том, что огосударствление капиталистических банков не есть верный путь к обладанию кредитом». Для этого нынешняя организация банков слишком тесно связана с нынешней организацией всего хозяйства; изменения в

ней предполагают параллельное изменение очень многих сторон всего экономического уклада. «Таким образом, полное огосударствление банковского дела, которое, казалось, должно было быть исходным пунктом социализации, можно рассматривать, как ее заключительный *момент*».

Социалисты-революционеры могут лишь с большим внутренним удовлетворением зарегистрировать эти компетентные подтверждения *a posteriori* — давно сделанного ими прогноза. Жизнь решила в их пользу.

---

Наряду с вопросом — «*что*», стоит не менее важный вопрос — «*как*». Вопрос этот также был затронут Лениным и разрешен следующим образом.

«Но, может быть, это «накладывание рук» государства на банки представляет из себя какую-нибудь очень трудную и запутанную операцию? Филистеров стараются обыкновенно запугать именно такой картиной... На самом же деле национализация банков, решительно ни одной копейки ни у одного собственника не отнимая, абсолютно никаких ни технических, ни культурных трудностей не представляет...

«Смешение национализации банков с конфискацией частных имуществ — есть обман публики буржуазной прессой... Собственность на капиталы, которыми орудуют банки, удостоверяются разными свидетельствами: акциями, облигациями, расписками и т. п. Ни единое из этих свидетельств не пропадает и не меняется при национализации банков, т. е. слиянии всех банков в один государственный банк. Кто владел 15 рублями по сберегательной книжке, тот остается владельцем 15 рублей и после национализации банков, а кто имел 15 миллионов, у того и после национализации банков остается 15 миллионов в виде акций, облигаций, векселей, товарных свидетельств и т. п.» (Собр. соч., т. XIV, стр. 183).

Таким образом, Ленин категорически отгораживал социализацию банков, как передачу в руки общества из рук финансовой олигархии власти над аппаратом, регулирующим концентрацию национальных сбережений и предоставление их для производительных целей отдельным предпринимателям или группам их, — от всего постороннего, и особенно от взгляда на банки, как на залежи конкретной имущественной «добычи». Казалось, он понимал, что одно с другим несовместимо. Функционирование банковского аппарата всецело зиждется на доверии к нему; притекание средств в банки прямо пропорционально гарантированности вкладов; или мы налагаем руки на вклады и тогда подрубаем тот сук, на котором хотим усесться; или мы дорожим аппаратом, всю мощь которого надеемся обратить на новое дело и на новые цели; тогда всеми силами необходимо избегать малейшего неосторожного жеста, способного парализовать функционирование аппарата и подорвать к нему доверие.

Что же произошло на деле?

Утром 14-го декабря 1917 г. все частные банки были неожиданно захвачены красноармейскими отрядами. Этому не предшествовало ровно ничего: никакого декрета, никакого обсуждения вопроса в заседавшем тогда высшем органе советской республики — «Всероссийском Исполнительном Комитете

Советов». Он был поставлен перед *fait accompli*; ему оставалось лишь в вечернем заседании, без сколько-нибудь серьезного обсуждения, поставить свой штемпель на объявлении банковского дела государственной монополией, и одновременно — на декрете о «ревизии сейфов». То прорвалась точка зрения «добычи».

Хотя в это время социалисты-революционеры и соц.-дем. меньшевики уже бойкотировали центральный «советский парламент», тем не менее даже и в его составе, среди союзных большевикам «соц.дем. интернационалистов» и «левых эсеров-интернационалистов» поднялась некоторая тревога. От лица растерявшихся левых эсеров Трутовский заявил, что его партия в принципе будет голосовать за национализацию банков, но полагает, что «при практическом проведении декрета в жизнь нужно быть сугубо осторожным. Необходимо избрать комиссию и лишь после детальной разработки в ней предполагаемых мероприятий приступить к их осуществлению». Ленин иронически ответил, что декрет, внесенный во Всеросс. Исп. Комитет, «ничего кроме принципов и не содержит», и что, стало быть, левым эсерам спорить не о чем. В самом деле, декрет о национализации банков был, подобно большинству декретов того времени, простой, бессодержательной декларацией. Формы проведения в жизнь ее принципов определялись вступительной красногвардейской практикой и последующим бюрократическим усмотрением...

Смелее выступил от лица соц.-дем. интернационалистов Б. Авилов. Он протестовал — хотя и тщетно — против узурпации прав «советского парламента», против грубого экспериментирования, против гильотинирования прений. Это был «глас вопиющего в пустыне». «Банковское дело — справедливо говорил он, — наиболее трудное и запутанное из всех современных вопросов. Нужно сначала выработать план, наметить пути, пригласить знающих, опытных, компетентных людей, и затем уже приступить к национализации банков. Таким примитивным подходением к вопросу, желанием все решить одним ударом топора вы только подорвете хрупкий организм кредита, понизите курс рубля, и, утверждаю, — ничего, кроме величайшего развала, не получится».

Ленин отвечал ему просто. Хрупкость, сложность аппарата, запутанность вопроса — все это, конечно, азбука, но когда к ней апеллируют «для тормоза всех социалистических начинаний» — она превращается в систему запугивания, в демагогию. «Мы часто подходим к хрупким вещам, однако, мы с ними справлялись, справляемся и справимся». В объяснение поспешности с занятием банков вооруженной силой, он рассказал, что ему предшествовали переговоры с банковскими дельцами, во время которых сообщена была выработанная система мер по отчетности и государственному контролю за деятельностью банков. Все как будто было хорошо, но вот кто-то из банковских служащих прибежал к Ленину с сенсационным сообщением: «они вас обманывают, спешите пресечь их преступную деятельность, направленную прямо во вред вам». «И мы поспешили», — наивно, с эпическим спокойствием повествовал Ленин. Но еще наивнее было его объяснение, что же будет дальше. «Мы знаем, что это — сложная мера; никто из нас, даже имеющих экономическое образование, за проведение ее не возьмется. Мы позовем специалистов, занимающихся этим делом, но только

тогда, когда ключи будут у нас в руках» (Собр. соч., т. XV, стр. 49). А покуда что, дело кредита может оставаться под ключом, с приставленным к нему красногвардейским караулом...

Ленин упорно продолжал считать, что все это — в порядке вещей, что полный паралич и дезорганизация кредитной системы — прекрасный исходный пункт для дальнейшего реформирования ее. Разрушение должно предшествовать созиданию, и длиной промежутка между ними смущаться нечего. Строить вольнее — на пустырях. — Это «великое подразумеваемое» деструктивного социализма владело его умом безраздельно. Тонем человека, гордящегося своим делом, докладывал он обо всем этом и позже, в январе 1918 г., третьему всероссийскому съезду советов:

«Банки — это крупные центры современного капиталистического хозяйства. Тут собираются неслыханные богатства и распределяются по всей громадной стране, здесь — нерв всей капиталистической жизни. Это — тонкие и сложные органы, они выросли веками, и на них направлены были первые удары советской власти, которая встретила сначала отчаянное сопротивление в Государственном банке. Но это сопротивление не остановило советской власти. Нам удалось основное в организации Государственного Банка, это основное в руках рабочих и крестьян, и от этих основных мер, которые еще долго придется разрабатывать дальше, мы перешли к тому, чтобы наложить руки на частные банки. Мы поступили не так, как это порекомендовали бы, вероятно, сделать соглашатели: сначала подождать Учредительного Собрания, потом выработать законопроект и внести его в Учред. Собрание, и этим оповестить господ буржуа о нашем намерении, чтобы они могли найти лазейку, как от этой неприятной вещи избавиться. Мы поступили иначе: не боясь вызвать нареканий «образованных» людей, или, вернее, необразованных сторонников буржуазии, торгующих остатками своего знания, мы сказали: у нас есть вооруженные рабочие и крестьяне. Они должны сегодня утром занять все частные банки... И после того, как они это сделают, когда уже власть будет в наших руках, лишь после этого мы обсудим, какие нам принять меры. И утром банки были заняты, а вечером Ц.И.К. вынес постановление: «банки объявляются национальной собственностью», — произошло огосударствление, обобществление банковского дела, передача его в руки советской власти» (Ibid, стр. 83—84).

Мы подчеркнули выше фразу, что в банках «собираются неслыханные богатства». Это примитивное представление о банках, как о чем-то вроде подвалов «скупого рыцаря», быть может, и является разгадкой странной боязни, как бы банкиры не догадались о намерениях советской власти и не успели скрыть от нее то, что она думает захватить. Но в том то и дело: чему же именно надеялся Ленин не дать укрыться в лазейку, что хотел он «врасплох захватить» в банках? «Неслыханные богатства»? Горы золота? Или самый аппарат национальной организации кредита? Последний — не иголка, которую можно «спрятать», утаить, зашить в подкладку платья и на себе контрабандой перетащить куда-нибудь за границу через какую-то «лазейку». Все, что Ленин говорил в защиту своего метода — кавалерийского метода «налетов» на кредитные учреждения — просто нелепо. И ясно, что он был слишком умен для того, чтобы само-

му принимать эти слова в серьез. «Не в шитье была тут сила». Метили, конечно, не только на «аппарат», нечто невесомое, но и на вполне реальные банковские капиталы. Ревизия сейфов, произведенная тем же грубым методом, впервые выдала истинные намерения «реформатора», побудившие его хозяйничать в банках на подобие слона в посудной лавке. Дальнейшие меры по аннулированию государственных займов, по ограничению пользования вкладами и по частичной их конфискации еще более подтвердили это. Когда Ленин до прихода к власти подготавливал общественное мнение к социализации банков, представляя ее в качестве чрезвычайно-невинной, чисто-организационной, а не «конфискаторской» меры, он пользовался «языком, как средством сокрытия мыслей». Придя к власти, он бросил словесную маскировку и предстал в своем натуральном виде — не конструктора, не организатора-созидателя, а прежде всего — демагога.

Так распорядиться банками, как это сделал Ленин, значило, конечно, уподобиться тому анекдотическому цыгану, который на вопрос о том, что он сделал бы, если бы его выбрали царем, ответил: «украл бы сто целковых и самого лучшего коня, и ускакал бы с ними на нем». Пожертвовать банковским аппаратом, в развитии которого он сам хотел видеть «девять десятых социализма», ради того, чтобы обшарить сейфы и «постричь» вкладчиков, было настоящим самоубийством. Но никакими «аппаратами» Ленин не дорожил. Он с упорством маньяка верил в возможность их созидания «одним ударом, одним указом». И с равнодушием кабинетного подпольщика воображал, что жизнь можно безнаказанно остановить, чтобы чище, свободнее от всякого «старья» была арена, на которой он «заново» начнет строить. Вся система национального кредита была разгромлена. Затем было национализировано... пустое место.

Разгром кредита не мог не быть и разгромом промышленности. Фактически утратив банки, как финансирующий источник, в самый критический момент своего существования, в момент демобилизации промышленности, перевода ее на новые рельсы — при необходимости дополнительных вкладов капитала на это дело, и при общей заварухе, — разладе транспорта, недостатке сырья и топлива — тщедушная русская индустрия, жившая на казенных заказах, рухнула. Фабрики перестали дымить, капиталисты, обвиняемые в тайном локауте, ударились в бег, безработица «освободила» пролетариат. «Советская власть» принялась жить на оставшиеся от старого запасы, а из безработных — вербовать отряды продовольственные, карательные, заградительные и т. п. Распадом промышленности и хозяйственной анархией было заплачено за жалкую «добычу».

Но чем убийственнее была цена, которою русский пролетариат заплатил за эксперименты над банками, тем громче и демагогичнее кричала большевистская пресса о колоссальных богатствах, доставшихся в руки рабочему классу от «наложения рук» на эти средоточия богатства буржуазного лира. Тщетно социалисты-революционеры и социал-демократы (последние — возмущенные лишь методом большевистской социализации банков, но не видевшие всей ошибочности идеи избрать именно ее исходным пунктом всей хозяйственной реорганизации) пытались выяснить, что банки -- не «кладовые» богатств, а

лишь проходные дворы, с бумажными следами двойного потока денежного обращения (прием вкладов и обращение их в ссуды предприятиям; возврат ссуд и выплаты вкладчикам). Банкир вульгарному сознанию улицы меньше всего рисовался, как организатор и регулятор этого двойного потока, но более всего — как владелец золотых гор...

Его богатствам — счета нет.

О, как красив, и вместе страшен

Взрощенный им превыше башен,

Глядящий в небо — столп монет!

И «улица» аплодировала жесту Ленина, пославшего красноармейцев — вернуть эти золотые горы пролетариату. «И золотой пожар горел, как красный смех, в сердцах людей...» Разочарование должно было прийти позже. В разгаре разбуженных демагогией чаяний, подкладкой которых была все та же извечная *auri sacra fames*, толпе казались предательским заступничеством за живые «золотые мешки» все попытки объяснить, что личные богатства банкира — не *источник*, а побочное *следствие* мощи его банковского аппарата; что банк работает средствами, колоссально, неизмеримо превышающими его личные ресурсы; что банковая *наличность*—; сущие пустяки в сравнении с неуловляемым красногвардейскою хваткою *оборотом*, в котором — вся, несоразмерно огромная с кассовой наличностью *суть* кредита; словом, что истое чудо здесь — не размеры ресурсов банкира, а сложнейший и тончайший механизм кредитной системы, которая извлекает из всех концов страны, властно втягивает в себя,

Крутит своим водоворотом

Гроши, добытые кровавым потом,

Дневные барыши купца,

И сбережения скупца,

И рядом с ними, лепту вдовью,

Ему врученную со страхом и любовью...

Аппарат был дезорганизован, перестали втягиваться отовсюду и впали в хозяйственную летаргию крупные и мелкие сбережения страны, разом уменьшился действующий национальный капитал, — «распалась цепь великая, распавшись, раскачалась, а раскачась, ударила — одним концом по барину, другим — по мужику!» А теоретик большевизма, возродя все случившееся в перл создания или, по крайней мере, в неотвратимый закон истории, принялся доказывать, что все это в порядке вещей, что так и должно быть, ибо в переходный период «старое общество в его производственной формулировке... распадется до самых низов, вплоть до самых последних глубин», и социализм придется строить «из распавшихся элементов», «на груде обломков».

---

Однако, известная мера разочарования от эксперимента с банками у теоретиков большевизма все же не могла не остаться. Только они никак не могли перед своею интеллектуальной совестью признаться в том, что должны в жал-

ком исходе его винить самих себя. Подобно Бухарину, они вину взваливали на «живучесть старых представлений» довоенного социализма, которые достались в наследие от него даже большевикам.

«Типичным в этом отношении может служить рассуждение Р. Гильфердинга («Финансовый капитал») о том, что захват шести главных банков («головки») пролетариатом передает в распоряжение последнего всю промышленность, потому что при финансово-капиталистических производственных отношениях банки являются организационными узлами производственно-технической системы, — «всего аппарата». Эмпирически ныне доказано, что ничего подобного не происходит, ибо реально захват банков лишь подрывает командную власть капитала. Почему? Вопрос разрешается просто. Потому, что банки «управляли» промышленностью на основе специфических, кредитно-денежных отношений. Тип связи здесь был тип кредитной связи, который как раз и рушится при захвате банков пролетариатом».

«Связи кредитно-денежного и финансово-капиталистического типа рвутся при завоевании власти пролетариатом целиком, бесповоротно и навсегда. При захвате банков кредитные отношения лопаются и ни о каком «восстановлении кредита» не может быть и речи, ибо нарушена вся основная система привычных отношений, исчезло всякое доверие, а государство пролетариата представляется в буржуазном сознании, как коллективный бандит» (Н. Бухарин, «Экономика переходного периода», Москва 1920, стр. 47 и 79.).

Лучшего подтверждения наших положений нельзя и желать. Вся запоздалая мудрость Бухарина заключается, однако, в том, что он описывает все, сделанные большевиками благоглупости, как исторически неизбежные и даже разумные «этапы» имманентного развития «экономики переходного периода».

Это «имманентное развитие» было прервано «героическим» усилием самих большевиков, остановившихся у самого края пропасти, чтобы начать поспешно и беспорядочно, в «новой экономической политике», восстанавливать пущенное на слом и ломать возведенное на месте разрушенного, — идя с конца до начала, в обратном порядке. Кончив социализацию кредита упразднением кооперативного кредита, национализацией кооперативного Народного Банка и конфискацией кооперативных капиталов и товаров, большевики начали новую эру с их денационализации и кончили ее - открытием смешанных и даже просто частных банков.

Причем оказалось, что если создаваемое веками можно разрушить в недели или даже в несколько дней, то снова воссоздать разрушенное так же быстро, как его разрушали, нет никакой возможности. На горьком опыте большевики постигли значение *фактора времени*. Нельзя, однако, отсюда заключить, будто они вообще продумали и прочувствовали все уроки своего опыта. Это было бы жесточайшей ошибкой. Большевики решили лишь, что приходится отсрочить до более благоприятного времени тот самый опыт, который не удался из-за плохо сложившейся ситуации. Самоликвидация, на которую они пошли, в их глазах была лишь «передышкой». Il faut reculer, pour mieux sauter. Но когда «момент» для нового «прыжка» наступит, придется повторить то же самое, что не удалось в первый раз, только на сей раз без всяких иллюзий. Можно разنو

думать о том, как разрешил бы этот вопрос Ленин. Но Ленина уже нет, а его «ученики» калибром гораздо ниже своего учителя. По крайней мере, их признанный теоретик Бухарин, представляет собою яркое доказательство того, что они в этом вопросе «ничего не забыли и ничему не научились», и способны лишь, при первой благоприятной ситуации начать сызнова ту же сказку про белого бычка.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### Рабочий контроль

Вторую «ключевую позицию», овладение которою большевизм выдвигал на первый план, и выдвигал с полным основанием, было *право рабочего контроля над производством*, или, как иногда еще общее гласили большевистские лозунги, «контроля труда над капиталом».

«Рабочий контроль» на фабрике — это нечто вроде права контроля над бюджетом и над действиями правительства в государстве. Как в государстве только после приобретения этого права *подданный* превращается в *гражданина*, объект управления в субъекта права, так и на фабрике лишь оно превращает рабочего из простого *орудия* производства и *объекта* эксплуатации — в настоящего управомоченного участника предприятия, в субъекта хозяйства.

С точки же зрения дальнейшего развития отношений, с точки зрения социализма особенно важно то, что рабочий контроль есть начало посвящения рабочего в тайну того сложного механизма, маховым колесом которого он является.

В капиталистическом строе рабочий был превращен в «придаток к машине». Управление производством, организация его, знание всей совокупности внутренних и внешних условий его процветания и прогресса — все это было оторвано от рабочего и поставлено на какую-то недостижимую высоту, к тому же закутанную «дымовой завесой» так называемой «коммерческой тайны».

При таких условиях непосредственный переход управления промышленностью в руки рабочих, — их «прыжок из царства необходимости в царство свободы» — мог стать для них *salto mortale*, т. е. «смертельным прыжком», в буквальном смысле этого слова. Рабочий контроль, как органическая составная часть общего контроля над производством, имеет смысл, прежде всего, разведки в сторону неприятельского фронта, ориентировки в мало знакомой области, предварительного ознакомления с тем, чем должно в будущем всецело овладеть. Рабочий контроль — *не вылазка с простой целью дезорганизации врага*, а «приготовительный класс», деловая школа, предполагающая старательную органическую работу. Вот почему превращение рабочего контроля из конструктивной идеи в демагогический лозунг для рабочего контроля и равнялся бы самоубийству.

Контроль над производством, контроль труда над капиталом есть лишь другое, новое слово для выражения старой идеи — об отмене фабричного самодержавия капиталиста, о введении на фабрике своего рода «конституцион-

ной системы», — промежуточного этапа на дороге к «индустриальной республике». Рабочий контроль, как составная часть общественного контроля над частным предпринимательством, есть не что иное, как *демократизация* индустриального строя. В организации контроля должны быть поэтому предвосхищены основные конструктивные принципы *социализации* промышленности. Социализация есть как бы математический предел развивающегося вглубь и вширь контроля. Отсюда — сложность проблемы рабочего контроля, отсюда и те затруднения, которые при ее разрешении встретились на пути социалистических партий.

В партии социал-демократов (меньшевиков) и специально в доставшемся им на третьем месяце революции 1917 г. министерстве труда разрабатывался законопроект о государственном контроле над производством, причем видная роль в аппарате этого контроля доставалась профессиональным союзам. Другая, участвовавшая во временном революционном правительстве социалистическая партия — партия социалистов-революционеров — со своей стороны настаивала, чтобы столь же видная роль была предоставлена и представителям «организованного потребления», кооперативам, в том числе объединенным во всероссийском масштабе *деревенским* кооперативам, представлявшим интересы трудового земледелия, кровно заинтересованного в количестве, роде и качестве индустриальной городской продукции. Против обеих этих партий и выступили со своим лозунгом «прямого и непосредственного контроля *снизу*» — большевики.

Большевики вначале не жалели уверений, что, предлагая свои формы рабочего контроля, они не помышляют ни о каком рискованном эксперименте, а лишь зовут рабочих идти по давно проторенным дорожкам европейского движения. В сентябре 1917 г. Ленин вообще торжественно заявил: «*Дело вовсе теперь в России не в том, чтобы изобретать «новые реформы», чтобы задаваться «планами» каких-либо «всеобъемлющих» преобразований. Ничего подобного*» (Собр. соч., т. XIV, стр. 107. Курсив подлинника. Тем же курсивом далее напечатано, что приписывать подобные планы социалистам могут лишь буржуазные сикофанты).

Развивая далее эту мысль в особой брошюре «Грядущая катастрофа и как с ней бороться», Ленин на все лады твердил, что все воюющие государства «давно наметили, определили, применили, испробовали целый ряд мер контроля над производством»; что в России «государству оставалось бы лишь черпать обеими руками из богатейшего запаса мер контроля, уже известных, уже примененных», что «все такие меры контроля общеизвестны, об них много говорено и много писано»... Беда лишь в том, — уверяет Ленин, — что «общеизвестный, легчайший, вполне применимый способ и путь контроля», а именно, контроль *снизу*, не нравится буржуазии. Угождая ей, меньшевики и эсеры «настаивают на постепенном, планомерном, «государственно-упорядоченном» введении этого контроля; на деле же этими благовидными словечками прикрывается *срыв* контроля, превращение его вничто, в фикцию, игра в контроль, оттяжка всяких деловых и практически-серьезных шагов, создание необыкновенно

сложных, громоздких, чиновничьи-безжизненных учреждений контроля, которые насквозь зависимы от капиталистов и ровнехонько ничего не делают и делать не могут» (Собр. соч., XIV, стр. 179 и 181).

Так обосновывалось требование большевиков, чтобы «рабочий контроль осуществлялся непосредственно и прямо «снизу», т. е. рабочими каждого данного предприятия, избирающего специально для данной цели особые фабрично-заводские комитеты, постоянно отчитывающиеся в выполнении этой миссии перед общими митингами рабочих. Эти фабрично-заводские комитеты, таким образом, являлись совершенно самодовлеющими организациями, независимыми ни от партий, ни от профессиональных союзов, ни от советов рабочих депутатов, а только от своего «избирательного округа» — от всей массы рабочих данного предприятия. Что касается до методов введения рабочего контроля, то рекомендовался революционный метод, так наз. «явочного порядка» или «захватного права».

Обстоятельства этому, несомненно, чрезвычайно благоприятствовали. Фабрично-заводские комитеты (местами «советы фабричных старост») были в это время уже фактом жизни, создавшимся в огне революции, и чаще всего тоже явочным порядком. На первой конференции фабзавкомов, делегаты Воронков и Левин так описывали возникновение этих учреждений. «В февральские и мартовские дни рабочие покинули фабрики и заводы и вышли на улицу... Фабрики и заводы приостановились. Потом неделю, другую спустя рабочие массы вернулись на завод. Пришли и увидели здесь же, что многие из предприятий брошены администрацией на произвол судьбы». «Пришлось на этих заводах приступить к работе без администрации. Но как? И тут заводы немедленно избрали заводские комитеты, с помощью которых начала устанавливаться нормальная жизнь на фабриках и заводах». «Далее революция вошла в русло и потекла более спокойно. Беглецы увидели, что рабочие вовсе не так уж кровожадны... И стали возвращаться на заводы. Часть из них, совершенно ничтожную и безнадежно реакционную, рабочие не допустили к работам. Остальные были допущены, но тут же к ним приставили в помощники членов заводских комитетов. И, таким образом, был установлен фактический контроль над всем, что делалось на заводе».

Итак, новые учреждения уполномочены были не законом, а силою факта, возникшего в революционном порядке; то была как бы конституция, которую рабочие дали себе сами, когда паника среди хозяев и администрации создала положение, при котором временно рабочие оказались сами себе хозяевами; затем уже администрация, оправившаяся от страха перед «кровожадностью» рабочих, стала понемногу возвращаться и была — хотя и не без изъятий — снова «припущена» к делам. Все это, разумеется, должно было оставить в рабочей среде сильнейшую *психологическую инерцию* захватного права. В какую сторону работала эта инерция? Понятно, в какую. Среди наиболее нетерпеливых элементов естественно зарождалась мысль, что ведь рабочие могли бы и не впускать вновь на фабрику однажды уже покинувшее ее начальство. Что получилось бы в этом случае? Сами большевики впоследствии ясно понимали, что, а именно «сеть распыленных, маленьких, ни на что не пригодных акционерных

фабрик» (Слова эти принадлежат *большевику* Рязанову, который, в качестве давнего деятеля профессионального движения, во имя интересов последнего пробовал умерять демагогическое увлечение своих товарищей захватным «контролем» фабзавкомов.), в которых акционерами были бы все работающие на каждой из них рабочие. Это было не весьма социалистично, но просто, ясно, осязательно и потому в глазах рядового рабочего крайне соблазнительно. Большевизм и пытался в дальнейшем превратить эту психологическую захватническую инерцию в таран, которым можно действовать с успехом как против буржуазии, так и против других социалистических партий, готовых в этом вопросе «плыть против течения», бороться против стихийных массовых настроений.

И происхождение и судьба рабочего контроля в России, таким образом, были обусловлены своеобразными условиями времени и места, и своеобразным настроением масс. Настроение это уже перед революцией рабочая группа Центрального Военно-промышленного Комитета в особой докладной записке об институте фабричных старост характеризовала такими чертами:

«Во время войны состав рабочего класса изменился, вошло много чуждых, недисциплинированных элементов; кроме того, интенсификация труда в промышленности, широкое применение женского и детского труда, непрерывные сверхурочные и праздничные работы, переутомление, повышение нервности и т. п. невольно усиливают число поводов для самых разнообразных конфликтов, которые возникают часто стихийно; и, вместо организованного отстаивания своих интересов, они нередко прибегают к стихийным вспышкам и анархическим методам». «Вывоз на тачке стал не случайным явлением. Вместо слов убеждения, пускаются нередко в ход гайки, винты, даже револьверы, в некоторых случаях доходит до рукопашной и ножовщины».

В этой атмосфере, лишь отчасти смягченной уступчивостью, проявленной на первых порах после революции испуганными хозяевами, скоро начинает развиваться стихийный рабочий максимализм. Его порождает, прежде всего, воскресший классовый максимализм пришедшей в себя, собравшейся с духом и устыдившейся своей мгновенной слабости буржуазии. В стачечной борьбе того времени проявляется интересная черта: «фабриканты шли на уступки, давая прибавки, но категорически отказывались признать права фабрично-заводских комитетов. Бастующие рабочие предъявляли требования и до конца отстаивали не столько повышение заработной платы, сколько признание прав их представительных фабрично-заводских организаций» (А. Панкратова, «Фабзавкомы России в борьбе за социалистическую фабрику», под ред. М. Н. Покровского, 1923 г., стр.). Всевозможные объединения, союзы и конференции промышленников начинают ожесточенную кампанию против «вторжения рабочих в сферу хозяйственных и технических распоряжений предпринимателя». Всего проще и откровеннее действовали уральские фабриканты, заявившие министру торговли и промышленности: «никаких комитетов и камер ни одно правление завода признавать не будет, ибо оно является хозяином завода, поэтому, что хочет — то и делает. Что же касается государственного и общественного контроля, то промышленники никакого контроля не признавали и признавать не будут». Эти за-

явления неоднократно подкрепляются прямой или скрытой угрозой локаутом, на подобие знаменитых всенародно сказанных слов русского Стиннеса, Рябушинского: «быть может, для выхода из положения потребуется костлявая рука голода»...

Ответная угроза со стороны рабочих была не менее максималистична. Во время долгой и упорной стачки рабочих кожевенного производства она была сформулирована в виде ультиматума: для улажения конфликта мирным путем был назначен определенный срок (18-го октября), по истечении которого должно было последовать применение санкций. «Мы требуем через Совет Рабочих Депутатов секвестра фабрик и заводов, не заключивших коллективного договора. После 18-го заводские комитеты немедленно приступают к практическим мерам для подготовки секвестра, как то: описывают товары, машины и т. п.»

В Петербурге те же настроения разгорались еще ранее, и 3 июля приведенная большевиками в заседании совета группа вооруженных делегатов-рабочих, устами делегата Путиловского завода, заявила: «Долго ли нам, рабочим, терпеть предательство? Вы собрались тут, рассуждаете, заключаете сделки с буржуазией. Так знайте, рабочий больше не потерпит... Мы добьемся своей воли. *Никакой чтобы буржуазии!* Вся власть — советам!»

«Никаких советов и комитетов!» — гласил лозунг максималистов буржуазии. «Никакой чтобы буржуазии!» — гласил ответный лозунг рабочего максимализма. Первый был подкреплен локаутами. Второй — порывами явочного приступа к секвестрам.

К этому быстро приводила практика всех фабрично-заводских комитетов большевистского направления. Очевидно, попытка Ленина представить рабочий контроль, как нечто весьма скромное, не заходящее далее того, что во время войны практиковалось в множестве капиталистических стран Запада, была неискренна, была просто ловким тактическим приемом (так же, как и подобные же его уверения относительно национализации банков). Большевистский историк фабзавкомов совершенно откровенно говорит, что этот «контроль снизу», хотя и постепенно, но достаточно быстро «из скромного явления разросся до колоссальных размеров, охватил своими щупальцами все стороны производственной жизни предприятий и с неизбежностью *приводил к непосредственному рабочему управлению*» (Я. Фин, «Фабрично-заводские комитеты в России». Изд. Всер. Центр. Сов. Профсоюзов. Москва 1922, стр. 12). Беда лишь в том, что параллельно с этим, только еще быстрее, по всему фронту промышленности произошла величайшая дезорганизация и распад производства. «Рабочий контроль снизу» действовал в том же направлении, в каком и «национализация» банков: они дополняли друг друга.

---

Большевики, повидимому, превосходно понимали, каким превосходным тараном для дезорганизации всего буржуазного производства будет такой расплывчатый, непосредственный и потому неизбежно хаотический «рабочий контроль». По крайней мере впоследствии они очень откровенно признавали

именно такой *деструктивный* метод действия совершенно правильным. Однако, если бы они вздумали с самого начала откровенно заявить рабочим, к чему такие формы рабочего контроля быстро и неизбежно приведут, многие рабочие очень и очень призадумались бы. Большевизм, поэтому, избрал «благую часть». Втягивая рабочих в борьбу, чреватую огромными последствиями, он скрывал их от сознания рабочих, и даже более того: придавал всему предприятию крайне невинный вид.

Отсюда — все усердие Ленина в доказательствах, что рабочий контроль есть вещь в высшей степени простая, легкая, испробованная много раз на Западе и общеизвестная. Нечего и говорить, что все это было сплошной демагогией.

Вопреки всем первоначальным уверениям большевиков, проблема контроля над производством не только в практическом осуществлении своем, а и теоретически является весьма сложной и далеко не разрешенной в практике Европы проблемой. Чтобы контроль был действительно контролем, надо отдать себе полный отчет в том, что и как придется контролировать.

И с этой точки зрения ясно, что приходится различать, во-первых, разные, так сказать, *пространственные* сферы контроля; во-вторых, разные *стороны* того, что является *предметом* контроля.

В «пространственном» смысле мы имеем целый ряд концентрических кругов: 1) мастерскую, 2) предприятие в целом, 3) иногда — целую группу связанных между собою предприятий: либо «комбинат» разнородных предприятий, обслуживающих до известной степени друг друга и объединенных под одним руководством, либо соединение однородных предприятий для целей коммерческих — синдикат, — или производственных — трест, 4) отрасль промышленности, к которой предприятие или группа предприятий относится, и 5) совокупность народнохозяйственной системы, часть которой они представляют.

Ясно, что более широкой или более узкой арене контроля должен соответствовать и различным образом построенный контрольный аппарат. Контроль над производством должен представлять собою весьма расчлененную и сложную систему. Не искусственное стремление к громоздкости, а сама природа контролируемого явления требует целой сети, целой лестницы контрольных учреждений. Если для контроля над порядками в мастерской даже простое «вече» из работающих в ней может быть годной инстанцией, то чем шире будет хозяйственная сфера, тем неприменимее будет этот «простейший и легчайший» способ.

Далее, контроль приходится различать и по предметам ведения. Эти, с одной стороны, *чисто техническая* сторона предприятия, как производственного процесса. Это, с другой стороны, *коммерческая* сторона предприятия, его «внешняя хозяйственная политика»: его закупки, его продажи, его финансирование, кредитование и т. п. Это, наконец, *организационная* сторона предприятия, охватывающая всю совокупность отношений между капиталом, трудом и техническим персоналом.

Контрольная система должна иметь в виду разного рода, разной специ-

альности компетентность, требуемую этими тремя различными сторонами дела. Можно построить эту систему как угодно демократически «снизу», но если ее строение не обеспечит необходимой компетентности, право контроля будет лишь *jus pudum*, и его использование обратится тоже в «игру в контроль», только игру не безвредную и не невинную, а чрезвычайно азартную и опасную. Везде, где возможно, и поскольку возможно, контроль, конечно, должно *приблизить к массам*; но внушить массам мысль, будто по всей линии контроля его можно отправлять, как-то «непосредственно», «на местах», «снизу» — значит вдаться в совершенно безответственную демагогию.

Именно такую демагогию представляла собою резолюция Зиновьева на первой петроградской конференции фабзавкомов, предлагавшая им «развить рабочий контроль в полное регулирование производства и распределения(!) продуктов», «продолжить его на все финансовые и банковские операции» и осуществить «переход в руки рабочих большей части прибылей, дохода имущества крупного капиталистического хозяйства»... Центральный комитет фабзавкомов в своей инструкции по контролю в духе этой резолюции писал, что «рабочий контроль... надо понимать не в узком смысле простой ревизии, а, напротив, в широком смысле вмешательства в распоряжение предпринимателя капиталами, инвентарем и т. п.» Фабзавкомы «по смыслу возложенных на них полномочий, являются ответственными фактическими руководителями всех дел предприятия. Фабрично заводские комитеты могут приостанавливать действия хозяев и администрации, не разрешая без своего ведома и согласия предпринимать ни одного важного мероприятия». «Контроль именно надо рассматривать, как переходную ступень к организации всей хозяйственной жизни страны на социалистических началах».

Большевизм, конечно, не мог не видеть, что задачи контроля гораздо шире и глубже, чем те, разрешение которых доступно летучим заводским митингам и наскоро выбранным ими «фабзавкомам». Но ему казалось, что из этого затруднения можно выйти просто, хотя бы, например, собравши съезд фабзавкомов и выбрав на этом съезде высшую инстанцию, или создав какое-либо иное импровизированное представительство. Одно время, повидимому, известной популярностью пользовалась смутная идея раздвоения всей «советской системы» на общеполитическую и собственно индустриальную; вторая находила свое завершение во «Всероссийском Съезде Советов рабочего контроля», о котором идет речь и в первом декрете большевистской власти о рабочем контроле. Получился бы полный дуализм. Всероссийский Съезд Советов вообще и такой же Съезд Советов Рабочего Контроля размежевались бы по естественному рубежу «политики» и «экономики». Такое «двоевластие» не осуществилось. Причиной было отчасти то, что у «советов рабочего контроля» явились и в области экономики самые серьезные конкуренты, в лице, во-первых, перешедших в руки большевиков профсоюзов, и в лице, во-вторых, новоучрежденных «советов народного хозяйства», имевших также свои «всероссийские съезды», и свой центр

— Выссовнархоз. Отчасти же — и в еще большей степени

— причиной были жестокие неудачи, постигшие «рабочий контроль» и

его опыты на практике. Но первоначально идея эта казалась чрезвычайно соблазнительной; толчок мысли в эту сторону дал сам Ленин. На IV-й конференции фабзавкомов и профсоюзов Москвы он даже провозгласил такой лозунг: «Ваши фабрично-заводские комитеты должны перестать быть только заводскими комитетами, они *должны стать основными государственными ячейками* господствующего класса» (Ленин, полное собрание соч., т. ХУ, стр. 347.).

Но и ранее перед ним носилась мысль о создании из «синдицированных» фабзавкомов какую-то автономную организацию общегосударственного масштаба; он только скромнее очерчивал ее функции; тогда это должно было быть нечто вроде английских «национальных гильдий», с которыми государство заключает договор, вводя их, на известных условиях, в управление производством.

«Надо — писал он — обратиться к инициативе рабочих и служащих, их созвать немедленно на совещания и съезды, в их руки передать такую-то долю прибыли при условии создания всестороннего контроля и увеличения производства» (Собр. соч., т. XIV, стр. 189). В этом предложении ясно сквозит полное непонимание того, что рабочий контроль может быть лишь органической частью системы общественного контроля, в которой будут представлены и другие, не менее важные интересы, чем интересы непосредственно занятого в промышленности труда. Таковы, напр., интересы *потребителей*. Ибо возможно ведь установление и такого «конституционного союза» между фабричным монархом и его «народом», т. е. рабочим и служебным персоналом, при котором, с ведома и согласия демократической контрольной инстанции, будет взят курс на совершенно несоразмерное повышение цен на продукты данной отрасли промышленности: повышение уровня благосостояния работающего и служебного персонала будет переложено на карманы потребителей. Да и вообще говоря, в вопросе не только о цене, но и о *качестве* вырабатываемого продукта нельзя обойти тех, кто эти продукты потребляет. О достоинстве сапогов компетентен судить не только сапожник, специалист своего дела, но и заказчик, который эти сапоги носит, и который знает, где они жмут.

И с этой точки зрения «простейший и легчайший» способ контроля далеко недостаточен. Он односторонен, и по своей односторонности может оказаться тенденциозным, несправедливым, вредным. И пусть не говорят, что курс на дороговизну, взятый в известной отрасли промышленности хозяевами *совместно* с рабочими (чему примеры бывали), будет легко сбалансирован, уравновешен взятием такого же курса в других отраслях, чем и восстановится взаимная эквивалентность в обмене. Это было бы верно лишь для гипотетического «идеально-капиталистического» строя, состоящего из одних капиталистов и рабочих. В действительной жизни кроме них есть еще огромная масса некапиталистических производителей ценностей, в первую очередь — трудовое крестьянство, деревня. Она явилась бы жертвой всего этого совокупного курса на вздорожание индустриальных продуктов. Результаты не замедлили бы сказаться, и результаты убийственные. Покупательная сила деревни сократилась бы, а с нею — рынок сбыта индустриальных продуктов; получилось бы перепроизводство товаров, необходимость сокращения размеров производства, и его

спутник — безработица. Длинным, запутанным, окольным путем рабочий почувствовал бы на собственной спине плоды ложно взятого курса, причем, однако, причинная связь могла бы оставаться надолго скрытой от его сознания.

Чтобы избежать этого и других подобных же непредвиденных и нежелательных последствий, надо в самой организации контроля над производством иметь «задерживающие центры», в виде представительства интересов потребления, и притом не только городского, но и деревенского. Кооперативные организации, местные самоуправления, центральные государственные органы не могут безнаказанно быть исключены из участия в контроле. Удовлетворительной будет лишь та система контроля, которая сумеет примирить, уравновесить, гармонически сочетать в себе всю совокупность указанных признаков: компетентность, дифференцированность, возможную степень приближения к массам, всесторонний охват интересов частных и общих, интересов производства, труда и потребления, интересов трудящейся личности и всего государства. Развивавшие такую существенно *конструктивную* идею контроля над производством, социалисты-революционеры и социал-демократы-меньшевики были правы. Пытавшиеся демагогически очернить их за это большевики не только были неправы, но и заранее подпиливали тот сук, на который им самим пришлось впоследствии сесть. Результаты можно было предвидеть. «Чисто-рабочий» контроль был противопоставлен общественно-государственному. Непосредственный, местный, связанный с массами контроль — в его примитивнейших формах — сложной «опосредствованной» системе. Все совершалось «легчайшим и простейшим» способом. А между тем, обстановка была невероятно сложная. Россия стояла на пороге заключения мира и демобилизации промышленности. И так как эта промышленность ранее непомерно разбухла на казенных заказах, то предстояло ее частичное «свертывание», а, стало быть, и сокращение рабочего персонала. Капиталистов не без основания подозревали в намерении искусственно увеличить размеры кризиса скрытым локаутом, для отобрания у рабочих завоеваний военного времени. В этой обстановке и состоялось первое применение «рабочего контроля», продиктованное простым инстинктом самосохранения: у ворот завода ставилась повсюду рабочая стража во избежание вывоза с него сырья. За этим первым проявлением «воли к власти» рабочих, каждой группы на «своем» заводе, последовали, другие.

Советский закон о рабочем контроле 14 ноября 1917 г. был намеренно неопределенен и растяжим в определении правомочий контролирующих. Основное положение: «решения органов рабочего контроля обязательны для владельцев предприятий» шло навстречу самым смелым опытам в смысле замены власти капиталиста властью рабочего плебса. Руководства никакого не было. «Мы знаем — оправдывал эту линию поведения Ленин — лишь один путь пролетарской революции: овладеть неприятельской позицией, научиться власти на опыте, на своих ошибках... Мы признаем только один путь: преобразований снизу, чтобы рабочие сами выбирали снизу новые основы экономических условий...» «Живое творчество масс — вот основной фактор новой общественности... Пусть рабочие берутся за создание рабочего контроля на своих фабриках и заводах, пусть снабжают они фабрикатами деревню, обменивают их на

хлеб...» «Надо положиться на опыт и инстинкты трудящихся масс. Они надеются много ошибок, но основное будет сделано...».

Здесь мы вступаем в область совершенно своеобразной психологии экспериментаторства, для которого «прыжок в неизвестное» есть образец правильного метода социального строительства. Это не обмолвка. Так Ленин думал, так и поступал. Соответственно этому давал и директивы — пролетариям ли фабричных кварталов, землепашцам ли заброшенных деревенских углов, безразлично. Впоследствии он откровенно рассказывал:

«Очень часто к правительству присылаются делегации рабочих и крестьян, которые спрашивают, как им поступить, например, с такой-то землей. И я говорил им: вы — власть, *делайте все, что вы хотите делать*, берите все, что вам нужно, мы вас поддержим... Вы будете делать ошибки, но вы научитесь».

И в другой раз, вспоминая ту же эпоху, Ленин говорил о хозяевах: «Их нужно экспроприировать. За этим дело не стоит. В этом никакой трудности нет, это мы достаточно показали и доказали. И всякой рабочей делегации, когда она приходила ко мне и жаловалась на то, что фабрика останавливается, я говорил: вам угодно, чтобы ваша фабрика была конфискована? хорошо, у нас бланки декретов готовы, декрет мы подпишем в одну минуту!»

Если это называется планомерным социалистическим руководством, то совершенно непонятно, в чем заключается подлаживание к анархической стихии. «Делайте все, что хотите!» «Берите все, что вам нужно!» «Вот готовые бланки декретов — говорите, что вписывать!» «Пробуйте» все, что понравится, и «ошибайтесь», сколько душе угодно! «Учитесь»... на собственной спине!

Нечего удивляться, что в тот период, когда растерянное от величины своих собственных успехов новое большевистское правительство так отдалось «без руля и без ветрил» на волю разгулявшейся стихии, — черное знамя анархизма развевалось повсюду рядом с монополизированным большевиками красным знаменем социализма. Размежевание, столкновение и короткая расправа наступили позже. На первых же порах метод советской власти (или, лучше сказать, отсутствие у нее метода) совпал с анархистским методом развязывания стихии. Массы втягивались в какие-то решающие, поворотные шаги; Ленин по праву мог сказать, словами Буланже, «*je ne sais pas ou je vais, mais j'y vais resolulement*» (куда я иду — не знаю, но я иду *туда* решительно). Цель была — нанести прошлому такие сокрушительные удары, чтобы корабли были сожжены, чтобы к старому возврата больше не было: а затем массы предоставлялись в жертву естественным последствиям шагов, предпринятых ошущью и наудачу; толкавшие же их на это спокойно умывали руки и с любопытством глядели, что из всего этого выйдет. Шло грандиозное провоцирование масс на колоссальную ломку без сколько-нибудь ясного представления о том, что и как станет на «расчищенное» — вернее, на загроможденное обломками место. И все это — после того, как только что распинались в благоразумии и доказывали, что в России сейчас совсем не время ни для изобретения «новых реформ», ни для каких бы то ни было «всеобъемлющих преобразований»...

В тот самый момент, когда, истощенное войною, народное хозяйство России буквально трещало по всем швам; когда, к тому же, предстояло колос-

сальное перемещение всей промышленности с военных рельс на мирные, на нормальные, нигде не обходящееся гладко, без замешательства и хаоса, — в этот самый момент все усилия большевиков направлялись на то, чтобы вызвать судорожные припадки стихийных «контрольных» настроений в аморфной, непривычной к организации массе. Никакие предостережения не действовали. Ленин только зло подсмеивался над «запуганными демократами», нарисовавшими себе пустые страхи перед тем, «что капиталисты разбегутся при применении слишком суровых мер», тогда как в обстановке всеобщего кризиса «без капиталистов нам не справиться». Он взывал к слишком живым чувствам классовой ненависти и мстительности, оправдывая их логическими выкладками, требуя «единственно реального контроля снизу, через союз служащих, через рабочих, путем террора по отношению к губящим страну и останавливающим производство промышленникам» (Собр. соч., т. XIV, стр. 393 и 190). И рабочие принялись за «контроль путем террора». Капиталистов, управляющих, инженеров при первом конфликте «вывозили на тачке». Рабочая дисциплина, и без того пошатнувшаяся, рухнула. Фактически «контроль» оказывался лишь кратким предисловием к захвату каждой фабрики занятыми на ней рабочими. Владельцы, разумеется, не везде дожидались, чтобы их выгнали, но часто заблаговременно дезертировали сами, и обвинять их за это было трудно: «не я ушел, а меня ушли» — мог бы сказать коллективный капиталист. Разумеется, к роли заведующих производством рабочие обычно оказывались совершенно неподготовленными. На них внезапно обрушивалась вся тяжесть таких новых для них вопросов, как обеспечение завода топливом, сырьем, кредитом, сбыт произведенного, финансирование дальнейшего производства, содержание персонала и т. д. — в условиях, когда и для очень опытных предпринимателей в переходное демобилизационное время разрешение их было делом не легким. Немудрено, что вместо временного демобилизационного кризиса — предприятия постигал полный крах. Чтобы смягчить проистекающие из него бедствия, рабочих многих разбитых параличей предприятий пришлось взять на государственное иждивение, в качестве бесплатных нахлебников; финансирование предприятий оставалось также только отнести за счет государственного сундука. Но из этого проистекла новая беда: в массах с угрожающе быстротой стали расти настроения своеобразного «получательского социализма». Смысл переворота рисуется, в виде возможности вознаградить себя за прошлый гнет и эксплуатацию *из готового*, из наличного. Социализм рисуется не столько как новый производственный строй, сколько как новая система распределения потребительных богатств, накопленных при старом строе. Это — как будто вовсе даже не пролетарский социализм, а социализм деклассированных элементов, отучившихся чувствовать себя производителями, и думающими лишь о потреблении.

В погоне за популярностью, большевики сначала потворствовали этим настроениям, как будто даже не отдавая себе отчета в том, сколько затруднений они сами себе готовят в будущем. Ленин утешался такими соображениями. Рабочий довольно натерпелся при капитализме: «понятно, что известное время все его внимание, все помыслы, все силы души устремлены только на то, чтобы вздохнуть, выпрямиться, развернуться, взять ближайшие блага жизни, которые

можно взять и которых не давали ему свергнутые эксплуататоры. Понятно, что известное время необходимо на то, чтобы рядовой представитель массы не только увидел сам, не только убедился, но и почувствовал, что так просто «взять», хапнуть, урвать нельзя, что это ведет к усилению разрухи, к гибели (Собр. соч., т. XV, стр. 219). Чем дальше, тем сильнее приходилось, однако, ощущать, что расковано слишком «много сепаратистских, старых, мелкособственнических привычек и навыков». «Жив еще старый лозунг — «каждый за себя, один бог за всех», — жалуется Ленин: «этого было достаточно в каждом профессиональном союзе, в каждой фабрике, которые думали сплошь и рядом только о себе, а об остальном — пусть позаботятся господь бог да начальство. Это мы испытали, это мы видели на своем горбе, это нам стоило стольких ошибок, стольких тяжелых ошибок, что мы этот опыт учитываем...» (XVI, 22). Ленин забывал лишь прибавить, что против этих ошибок представители конструктивного направления в социализме предостерегали заранее, и что если в получившемся хаосе «у рабочих отдельных фабрик или отдельных отраслей промышленности было стремление ставить свои интересы, интересы своей фабрики, своей промышленности выше интересов общества» (Iv., 374), то виноваты в этом не столько они, сколько те, кто бросил в их среду соблазнительные лозунги контроля и национализации «враздробь и в розницу». Кто же, как не Ленин, предлагал рабочим каждой фабрики, заняв ее, самостоятельно искать рынков сбыта, устанавливать товарообмен с деревней и т. п.? Это превращало их в самодовлеющее индустриальное «производительное товарищество» того типа, который так легко вырождается в маленькую акционерную компанийку, — ибо ему приходится бороться с другими предприятиями из-за рынка совершенно так же, как обыкновенному буржуазно-капиталистическому предпринимателю. Конечно, в условиях совершенно импровизированного появления на свет божий, в тягостных условиях общего промышленного кризиса, борьба за существование *должна была* поглощать все внимание, т. е., к изумлению Ленина, нормой жизни делался «мелкособственнический взгляд: мне бы урвать побольше, а там хоть трава не расти» (Собр. соч. т. XV, стр. 219). Что «пролетарий принужден выступить в сфере экономической, как спекулянт или мелкий производитель»; что он «в силу печальных условий нашей действительности вынужден прибегать к способам заработка... мелкобуржуазным, спекулятивным и путем ли хищений, путем ли частного производства на общественной фабрике добывать продукты себе и эти продукты обменивать на земледельческие»; а, главное, что «в этом наша главная экономическая опасность» — Ленин заметил только *три с половиной года спустя* после собственных призывов пролетариату — вступить на этот роковой путь! (Собр. соч. т. XVIII, 264).

Главный недостаток своей системы рабочего контроля — его хаотичность, анархичность, расплывчатость — Ленин, если верить его позднейшим уверениям, превосходно видел с самого начала. Но этот недостаток для него был вместе с тем главным достоинством. В таком виде «рабочий контроль» долго просуществовать не мог, он мог быть внутренне-противоречивой, переходной системой, самыми своими недостатками толкающей к своей ликвидации, к переходу от контроля — к захвату фабрик и заводов. «Мы ввели рабочий

контроль, зная, что это шаг противоречивый...» «Мы считаем самым важным и ценным то, что с рабочего контроля, который *должен был* оставаться хаотическим, раздробленным, кустарным, неполным во всех главнейших отраслях промышленности, мы подошли к рабочему управлению промышленностью...» (Ив., 374). «Переход после рабочего контроля к конфискации заводов был вполне легок», — писал Ленин, забывая лишь прибавить, что столь же «хаотичным» был и режим «рабочего управления», даже тогда, когда он вступил в фазу «рабочего управления в национальном масштабе». Впрочем, позже Ленин сам говорил об этом периоде, что в нем царил «хаос и энтузиазм», что люди просто «плыли по течению», «пробовали так, пробовали этак...»

Неизбежные последствия введения в рабочий контроль анархической распыленности очень мало смущали большевиков, пока они были «безответственной оппозицией», стремившейся всеми путями к власти и знавшими всю силу ловкой демагогии. Но с того момента, как они сами захватили власть и стали нести ответственность за состояние народного хозяйства, наряду с инерцией старой демагогии и необходимостью платить по выданным политическим и экономическим «векселям», которых они надавали раньше, — у них рядом стало расти и сознание реальности. Ибо оружие, которым они дезорганизовывали хозяйственную базу врагов, обратилось теперь против них самих.

До октября фабзавкомы возводились в перл создания; провозглашалось, что их созданием «рабочее движение вышло из старых рамок и вступило на совершенно новый путь». После октября большевистский историк фабзавкомов, Я. Фин, открывает, что «действия фабрично-заводских комитетов, особенно вначале, были совершенно разрозненны. И в деле проведения коллективных договоров, и в установлении расценок на предприятиях для разных групп рабочих мы в связи с этим имели колоссальнейший разницей». Но были вещи и поважнее этого. «*Вредность* самостоятельности фабзавкомов стала вскоре серьезно ощущаться и в области проведения ими рабочего контроля, так как при переходе от пассивного к активному контролю завкомы подходили вплотную к *неразрешимым для них проблемам* регулирования и перестройки всей производственной жизни страны... Фин ставит им в вину и «переоценку своих сил», и даже «недопустимое непонимание колоссальных задач», ставших перед большевистской властью».

Другой большевистский историк фабзавкомов, А. Панкратова, не менее категорически констатирует, что на практике «фабрично-заводским комитетам просто не хватало ни технических, ни организационных навыков и знаний, чтобы овладеть *сложнейшей работой* (sic) контроля над производством», что их независимость от профсоюзов означала «двоевластие и неизбежные трения»; что, наконец, такие же трения у них неизбежно возникали и с «советами» — органами новой пролетарской государственности.

До октября Рязанов не имел среди своих однопартийцев никакого успеха, когда, в качестве старого профессионалиста, пытался доказать, что «хозяйственные функции фабзавкомов эфемерны», и что сами они должны довольствоваться скромной ролью «первичных ячеек профсоюзов». После октября он уже выступает, как официальный докладчик большевистской фракции первого

всероссийского съезда профсоюзов и говорит о фабзавкоммах тоном, который раньше вызвал бы целую бурю: «фабрично-заводские комитеты, которые еще в до-октябрьский период доказали, что они далеко не проникнуты общеклассовой политикой пролетариата, тем более оказались неприспособленными к выполнению сложнейших задач, связанных с воссозданием и регулированием народного хозяйства в интересах всего государства. Интересы своего завода, своей колокольни доминировали у завкомов над интересами класса и его государства в целом. Отсюда факты необдуманных секвестров, национализации, — отсюда — сплошные явления выцарапывания зубами для своего предприятия средств — финансовых, сырьевых, топливных, зачастую в ущерб столь же нуждавшимся, но более важным для государства отраслям производства»...

До октября идея меньшевиков и социалистов-революционеров об организации контроля над производством, как учреждения широко общественного и государственного, на основах представительства не только одних, занятых в предприятии рабочих, — рассматривается Лениным, как злокозненная попытка «пойти наперерез» стремлению рабочих к «подлинному» контролю «непосредственно снизу». После октября немедленно стало ясно, что «процесс производства в современном его виде связан столькими нитями с внешним миром, с другими предприятиями, другими производствами, состоянием рынка, положением транспорта, состоянием рабочего рынка труда и т. п., что охватить все эти нити фабрично-заводские комитеты и даже их всероссийские объединения не могли, не имея прав государственной власти; особенно труден и сложен был для осуществления финансовый контроль».

До октября большевикам был по вкусу именно «низовой», распыленный метод контроля снизу. По аналогии с их революционным политическим лозунгом «вся власть на местах», у них был, в сущности, такой же экономический лозунг — «вся сила контроля на местах». Не то, чтобы в нем не видели недостатков, но «в переходное время с этими отрицательными сторонами рабочего контроля, бывшего *просто средством борьбы против упорствующего капитала*, приходилось мириться». «Но когда власть перешла в руки самого пролетариата» — пишет Панкратова, принимая *pars pro toto*, большевистскую группу за «пролетариат» — «хозяйская политика отдельных фабричных комитетов становилась антипролетарской»... (А. Панкратова. «Фабзавкомы», etc., стр. 247, 240).

До октября большевики против Временного Правительства, против социалистических партий и против меньшевистских профсоюзов двинули анархическую стихию атомизированных, самодовлеющих фабзавкомов. После октября то же самое, уже против большевистской власти, делают анархисты, требующие, чтобы органы рабочего контроля стали «теми ячейками будущего, которые уже теперь готовят переход производства в руки рабочих». А большевистский теоретик И. Степанов, в своей брошюре «От рабочего контроля к рабочему управлению» упрекает фабзавкомы за то, что благодаря им «вместо республики советов мы упирались в республику своеобразных рабочих артелей, в которые как бы превращались капиталистические фабрики и заводы. Вместо быстрого урегулирования всего общественного производства и распределения, вместо мероприятий, которые представляли бы шаг к социалистической орга-

низации общества, мы видим практику, которая напоминает мечтания анархистов об автономных производительных коммунах».

Одним словом, как только из безответственной оппозиции большевики превратились в правящую партию, так тотчас же им пришлось начать свое путешествие по социально-политическому «ретур-билету». Пределы контроля суживаются сначала «пределами фактической ревизии деятельности отдельных заводууправлений»; далее всякий предварительный контроль окончательно уничтожается и заменяется последующим; рабочие отдельного предприятия вскоре лишаются «права принимать окончательные решения по вопросам, затрагивающим самое существование предприятия»; им предписывается, далее, «действовать по общему плану», данному им извне, сверху; затем от них отходят «вопросы финансирования предприятия»; затем фабзавкомы лишаются вообще «распорядительных прав по управлению предприятиями»; наконец, им предписывается «полное невмешательство в дело управления предприятием»; систематически проводится «централизация рабочего контроля и слияние мелких контрольных единиц в более крупные»; а в то же время всероссийский центр фабзавкомов одним росчерком пера ликвидируется. Что же вообще остается фабзавкомам? «Проведение трудовой дисциплины», «борьба с трудовым дезертирством», да еще кое-какие подобные же виды «содействия заводууправлению»...

Когда при самодержавии впервые вышел закон о фабричных старостах, его иронически окрестили именем «закона о фабричных дворниках». Большевизм кончил тем, чем начал царизм: обращением фабзавкомов в своих коллективных *фабричных дворников*.

Г-жа Панкратова удовлетворенно подводит итог: «Фабрично-заводские комитеты г. Петрограда, провозгласившие в мае 1917 г. на первой конференции рабочий контроль, на шестой конференции единодушно его похоронили».

Но в промежутке между двумя этими датами живой покойник успел обратиться не мало рабочих окраин в *кладбища фабрик*.

---

В вопросе о рабочем контроле, как и в целом ряде других вопросов, вначале лидеры большевизма делали вид, будто у них в кармане лежит готовое решение, совершенно ясное и притом до такой степени бесспорное, что сомневаться в нем можно только из злонамеренного угодничества буржуазии. «Подобные законы — писал Ленин — можно бы и должно издать у нас немедленно, не теряя ни одной недели драгоценного времени и предоставляя самой общественной обстановке определить более конкретные формы осуществления закона, быстроту его осуществления, способы надзора за его осуществлением и т. п. Государству не нужны тут ни особый аппарат, ни какие бы то ни было предварительные исследования... нужна лишь решимость» (Собр. соч., т. XIV, стр. 194).

Решимости у большевиков было сколько угодно. А что касается ее ре-

зультатов, то Ленин сам потом признавался: «Мы превосходно испытали, мы по себе знаем разницу между теоретическим разрешением вопроса и практическим проведением решения в жизнь...

«Возьмите вопрос, которым больше всего занимались: переход от рабочего контроля к рабочему управлению промышленностью. Сотни декретов, тысячи постановлений Совета Народных Комиссаров и практических мер органов советской власти, — все они творили наш политический опыт в этой области. Центральному Комитету в сущности приходилось только подытоживать. Он едва ли мог в таком вопросе руководить в подлинном значении этого слова. Достаточно припомнить, насколько *беспомощны, стихийны и случайны* были первые шаги, декреты и постановления о рабочем контроле над промышленностью. Нам казалось, что это *легче всего*. На практике это привело к тому, что была доказана необходимость строить, но мы *совершенно не ответили на вопрос, как строить...* Все причиняло нам *неизмеримые трудности*. Из этих трудностей мы далеко еще не вылезли и в настоящее время. В начале мы смотрели на них совершенно абстрактно, как революционеры, которые проповедовали, но *совершенно не знали, как взяться за дело*. Конечно, масса людей обвиняла нас, и до сих пор все социалисты и социал-демократы обвиняют нас за то, что мы взялись за это дело, не зная, как довести его до конца. Но это — смешное обвинение людей мертвых. Кто когда-либо мог делать величайшую революцию, зная заранее, как ее делать до конца? Откуда можно взять такое знание? Оно не почерпается из книг. Таких книг нет. Только из опыта масс могло родиться наше решение. И я считаю, что *заслугой* нашей было то, что мы с невероятными трудностями *взялись за решение вопроса*, который до сих пор *наполовину был нам незнаком*, что мы привлекли пролетарские массы к самостоятельной работе, что мы пришли к национализации промышленных предприятий и т. д.» (Собр. соч., т. XVI, стр. 103).

Даже и злейшему противнику большевиков было бы трудно ярче изобразить режущий контраст между первоначальной самоуверенностью и последующей беспомощностью. Но «деструктивный социализм» не смущается ничем. Собственную слабость он немедленно возводит в добродетель, вину объявляет заслугой. Фактическую беспрограммность, голый эмпиризм, необузданное экспериментирование — все это он с легким сердцем возводит в принцип. Деструктивный социализм не боится никаких ошибок и никаких последствий этих ошибок; он их проповедует, как лучший путь предметного, опытного самообучения. Здесь он как будто подражает той своеобразной религиозной секте, которая приглашала своих сторонников смело грешить, ибо не согрешив — не покаешься, а без покаяния не спасешься.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### «Дикая» и «галопирующая» национализация

Большевизм познал на собственном опыте справедливость изречения: «если в первом нашем шаге мы свободны, то во втором и дальнейших — мы уже рабы».

Рабочий контроль и национализация банков были тем «первым шагом», который вынуждал на дальнейшие.

Промышленность рухнула. Худшие из владельцев, злобствуя, но и злорадствуя, ударялись в бега; лучшие бились, как рыбы об лед, в обстановке отсутствия капиталов и кредита, кризиса трудовой дисциплины и общего экономического хаоса, немедленно обострившего сырьевой, топливный и продовольственный кризисы.

Рабочие из большевистски настроенных фабзавкомов теперь уже могли с гордостью говорить: «заводские комитеты *волей-неволей* поставлены в необходимость вмешиваться в хозяйственную жизнь своих заводов, иначе фабрики и заводы уж давно приостановились бы». На это толкал простой инстинкт самосохранения.

И в самом деле, «естественное стремление заводских комитетов помочь рабочим выйти из нужды и безработицы заставляло их играть роль своеобразного «толкача», всеми способами добывающего необходимые для поддержания производства сырье, топливо и прочие материалы. Фабричная администрация иногда стремилась использовать фабрично-заводские комитеты, возлагая на них заботы и ответственность за состояние предприятия, незаметно превращая рабочие организации в своих агентов и помощников. Если же предприниматели покидали свои предприятия, и хозяевами *поневоле* становились фабзавкомы, то последние нередко также усваивали «хозяйскую» точку зрения и, не считаясь с экономической целесообразностью, отстаивали собственную фабрику, хотя бы другие производства были и важнее для государства, и лучше оборудованы. Конкуренция и стремление урвать друг у друга обеспечивающие жизнь предприятия скудные ресурсы — ставили фабзавкомы в положение взаимной экономической борьбы, превращая фабрики и заводы в «автономные федерации» полуанархического типа» (А. Панкратова, цит. соч., стр. 238).

Это уж начиналась психология людей, боящихся потонуть, и ожесточенно вырывающих друг у друга спасательный пояс.

Уже цитированный нами И. Степанов («От рабочего контроля к рабочему управлению») свидетельствует: «Мы — говорили рабочие в своих резолюциях — не будем устранять фабрикантов сами, но будем брать производство в свои руки, если они не захотят вести фабрики». И действительно, в этот первый период стихийной, «карательной» национализации, фабзавкомы довольно часто становились во главе фабрик и заводов, оставленных владельцами». Однако, границы между тем и другим методом действия оказывались на практике довольно смутными, раз на класс предпринимателей, еще только вчера проявляв-

ших свой «буржуазный максимализм», сыпались ныне градом мероприятия «от принудительного арбитража до арестов фабрикантов и секвестра их предприятий». На Урале «на заседаниях рабочего контроля почти ежедневно рассматривались ходатайства отдельных заводов и фабрик, требовавших либо обуздать сопротивляющихся контролю фабрикантов, либо передать предприятие в руки самих рабочих», На первом всероссийском съезде совнархозов, Рыков по этому поводу говорил: «национализация производилась и за неисполнение правил о рабочем контроле, и потому, что убежал фабрикант или администрация, и просто за неисполнение постановлений советской власти, и т. д., и т. п. Первые месяцы после октябрьского переворота целиком проникнуты тем, что борьба непосредственная, борьба баррикадная между рабочим классом и буржуазией переносится на отдельные фабрики и заводы. Национализация предприятий имела не хозяйственное, а чисто карательное значение» (Труды Вевросс. Съезда Совнархозов, стр. 92). «Очень часто — вторит ему Панкратова — заводские комитеты и контрольные комиссии слишком широко и произвольно толковали рамки декрета и инструкции по рабочему контролю, и на этой почве происходили нередко конфликты не только с заводской администрацией, но и с советами народного хозяйства... Не только тогда, когда владельцы фактически отсутствовали, но и тогда, когда заводы не были национализированы, заводские комитеты, расширенно толкуя положение о контрольных комиссиях, фактически становилась во главе предприятия».

Шестая конференция петроградских фабзавкомов — та самая, которая торжественно похоронила «рабочий контроль» — взяла реванш в резолюции о национализации. Четвертый и пятый пункты этой резолюции гласили: «В переживаемый момент борьбы, саботажа, неподчинения буржуазии власти пролетариата, конференция требует беспощадной с нею борьбы: все фабрики, заводы, рудники, владельцы которых не признают рабочего контроля, явно и скрыто саботируют, не желают продолжать работу в предприятиях и не заботятся обеспечить условия работы в предприятиях, должны быть немедленно переданы в собственность пролетарской республики». «Также должны быть переданы в собственность республики те предприятия, которые хорошо приспособлены к мирному производству, имеют хорошее оборудование и устойчивы в финансовом отношении...»

Иными словами, предприятия с точки зрения конференции делились на плохие и хорошие; плохие национализировались в наказание предпринимателей, за то, что они плохие; хорошие же — потому, что они хорошие.

В своей работе об «Организации крупной промышленности» М. Савельев, правоверный ленинец, подводит такие итоги этой полосе национализации:

«Первый период развития революции характеризовался отсутствием строго продуманного плана национализации; в значительной степени это был *чисто стихийный процесс...*»

«Громадное большинство предприятий (75,4%) было национализировано областными или местными организациями».

«Что касается мотивов национализации, то подавляющее большинство было национализировано, исходя из карательных соображений, и лишь мень-

шинство из соображений государственной необходимости» (М. Савельев, «Организация крупной промышленности» в жур. «Народное хозяйство», 1921 г., № 6-7, стр. 11-13.

Лев Толстой когда-то сказал, что современные правительства и служащие им «патриотические» публицисты своим поведением в вопросах войны и мира сильно напоминают ему цыгана, который, нахлестав за углом изо всей силы лошадь, затем делает вид, что никак не может удержать ее. Немногим отличается от этого поведение демагогов, которые сначала всеми силами разжигают стихию массовых страстей, а потом резонерствуют на тему о том, как рады были бы они, но как трудно было им ввести разгулявшуюся стихию в определенное русло. Мы уже видели, как подталкивали большевики и резолюциями, и декретами, и личными инструкциями на путь ничем не ограниченного захватного права. Запоздалые lamentации на тему о слишком широком перетолковывании массами преподанных им директив, о выходе за начертанные им границы, являются данью позднему революционному катценъяммеру, и, сознательно или бессознательно, но в позднейших изложениях событий, так сказать, помечаются задним числом.

И А. Панкратова, и И. Степанов, и А. Рыков, и М. Савельев в один голос говорят о «карательном» характере большинства национализации. В этом как нельзя более ярко проявляется случайность всего процесса, зависимость его от совершенно посторонних сущности дела фактов, смешение *методов борьбы с методами строительства*. Во всех революциях, в качестве кары бунтовщикам, практиковался, конечно, секвестр и конфискация их имуществ. Но это потому, что сама по себе конфискация отнюдь еще не ангажирует власти на такие сложные социальные мероприятия, для которых, по ее мнению, или не созрели обстоятельства, или у нее самой не хватает подготовленности или необходимого для успеха дела аппарата. При конфискации ведь мыслим любой способ утилизации конфискованного, — хотя бы, например, сдача в аренду, или даже просто продажа с аукциона, с поступлением вырученных денег в кассу государства. Но большевики вообще не отдавали себе отчета в своих позитивных возможностях и способностях, и не отличали их от негативных, от чисто боевых. Вот почему и получилось, что они с легким сердцем «национализировали» даже и там, где «соображения государственной необходимости» говорили не *за*, а *против*: даже там, где предприятие было явно расстроеным, явно бросовым и убыточным. Такая «карательная» национализация несла в себе неизбежную «кару» и для самого национализатора...

Не менее ярким свидетельством полной сумбурности большевистского социалистического строительства является указание, что свыше *трех четвертей* всех «национализации» было произведено не центральной властью, а разными «областными или местными организациями». Для нормального юридического мышления национализация, т. е. принятие в общегосударственное заведение или собственность, может и производиться только нацией, государством. Каким образом какая-то *местная* власть может заменить в этом отношении государство, каким образом может функционировать *pars pro toto* — с точки зрения права уразуметь невозможно. Это есть юридический nonsens. Но та-

кими nonsens'ами была переполнена вся тогдашняя большевистская практика. Она покрывалась анархо-революционным девизом: «вся власть на местах».

Наконец, заключение Савельева, что в целом это был «чисто-стихийный процесс», вполне бесспорно, если «чисто стихийное» берется здесь в смысле противоположности сознательному, разумному и планомерному. Частью той «стихии», которая ломала направо, ощупью, слепо и хаотически, была и большевистская диктатура. Она вызвала духов, которых сама не умела заклясть. На ней сбылось изречение, которое особенно верно в применении ко всем демагогам: «*du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben*». Единственный метод, который знали большевики, чтобы избежать «дикой» национализации снизу — это предупредить ее скорейшей национализацией сверху. *Incidit in Scyllam qui vult evitare Charybdim*. От дикой национализации спасение — в национализации галопирующей на перегонку...

Средоточия управления национализированными предприятиями получили имя «главков и центров». По свидетельству большевика Г. Цыперовича, они «появились *на другой день* после октябрьской революции *с быстротой*, вполне отвечавшей *самой насущной* Необходимости — *как можно скорее* дать, хотя бы и упрощенную, форму управления секвестрированными предприятиями. В децентрализованных, самочинных выступлениях в области захвата («секвестр»), попыток управления, контроля, регулирования в то время недостатка не было». Нельзя было ни на минуту откладывать «хозяйственное оформление» всего этого; поэтому, некоторые главки и центры появились в порядке *весьма срочном, упрощенном* (Г. Цыперович, «Главкизм», Госиздат, Москва-Петроград, 1924, стр. 3). «Первоначально — прибавляет к этому Савельев — объединение промышленности по главкам не носило характера глубоко продуманного плана, да и сами центры и главки, возникавшие в значительной степени случайно и стихийно, носили подчас слишком разнокалиберный характер...»

Что значат слова «случайность и стихийность» в таком деле, как «хозяйственное оформление», т. е. *преодоление* случайности и стихийности, об этом лучше всего рассказывает один из главных героев большевистского строительства и особенно — хозяйственного прожектёрства, Ю. Ларин. Его откровенность великолепна: «Целый ряд главков был учрежден *«анархическим»* путем, *просто* распубликованием в правительственной газете постановлений об их учреждении за моей подписью (Главсахар, Главбумага, Главлен, Центромыло). Целый ряд других «главков» был затем подписан тов. Рыковым (Главтабак, Главспичка и др.), также *без обсуждения* в какой-либо из трех существующих у нас законодательных инстанций (Центр. Исполком Советов, Совнарком и президиум Выссовнархоза)... Постепенно к главкам привыкли... стали все более переносить в них организацию управления промышленности, превращать их в главные управления национализированными предприятиями» (Ю. Ларин, «У колыбели», в журн. «Нар. Хозяйство», 1918 г., № 11). Ленин впоследствии характеризовал Ларина, как человека, у которого в работе такой избыток фантазии, «что если бы весь запас фантазии т. Ларина разделить поровну на всех членов Р. К. П., — тогда получилось бы очень хорошо», а так как этого сделать нельзя, то в итоге на практике всегда выходят разные «штуки и путаница».

Эта поспешность привела еще и к тому, что «новое вино» стала наскоро вливать совсем в старые-престарые меха. Старорежимный «Кожевенный Комитет» стал «Главкожей», спичечный синдикат — «Главспичкой» и т. д. Лишь в октябре 1918 г. «Комитет хозяйственной политики» при В. С. Н. Х. издал «программу деятельности главков и центров». Цыперович, однако же, должен признаться, что программа эта носила чисто кабинетный и бумажный характер, удаляясь в область «предвосхищения организации производства». Но для реальных главков и центров, в реальных условиях тогдашней «национализации», совершавшейся кувырком, через голову, при реальной беспомощности имевшихся в распоряжении большевиков рабочих организаций, все это было «умной ненужностью». Ибо, — подытоживает Цыперович — «на практике главки и центры за пределы этих предвосхищений далеко не зашли, и программа их исчерпывалась, главным образом, охватываньем тех запасов сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, которые достались советской власти после октябрьской революции, и это обстоятельство наложило на главки и центры своеобразный отпечаток распределительных пунктов, от которого они не могли избавиться (Цыперович, цит. соч., стр. 7).

Но эти итоги обнаружились лишь впоследствии. Для рядовых большевиков, у которых после победы закружилась голова, и которых даже сам Ленин в свои «светлые моменты» вынужден был предостерегать против обращения в легкомысленную «зазнавшуюся партию», было совершенно естественно, что главки и центры, так сказать «учились ходить», как на помочах, на наличных запасах. Предполагалось, что это лишь начало, после которого они встанут на собственные ноги. А чтобы главки и центры, обманув все эти упования, воплотили в себе косные начала житья на всем готовом, а в смысле организаторов производства отцвели, не успевши расцвести — об этом никто и подумать не мог. Тем более никто не думал о том, что «главкизм» превратится в целую систему, из мертвящих пут которой придется вырываться, и с которой придется расправиться круто и решительно. Воображали, что после неудачи опыта создать управление промышленностью из объединенных органов рабочего контроля, найдена, наконец, адекватная организационная форма для реорганизации производства на социалистических началах. Оставалось лишь создать увенчание здания, своеобразный «главок главков» или «центр центров». Таким всероссийским «главкоцентром» или «центроглавком» явился — «Высший Совет народного хозяйства». Советский экономист И. Крицман обосновал его возникновение таким образом: «Капитализм в своей высшей фазе — в эпоху господства финансового капитала — приводит к образованию единого государственно-капиталистического треста. Завершением этой тенденции в эпоху диктатуры пролетариата является «Высший Совет Народного Хозяйства».

Итак, если начало было беспорядочно, то в конце все таки как будто получилась стройная система. «Выссовнархоз» был центром, из которого исходила двойная сеть разветвлений, охватывавшая все народное хозяйство. Первая сеть была как бы сетью «дифференциалов», и шла через главки, центры и подчиненные им группы заводоуправлений, чрез качественно различные отрасли промышленности; вторая была как бы сетью «интегралов», и шла через област-

ные и местные (губернские, уездные) советы народного хозяйства, по принципу локального объединения всех разнообразных видов производства. «Начали мы плохо» — говорил Ленин; «в советской практике оказалось так много хаотичного, несуразного». Но, в конце концов, «с исторической точки зрения это не вызывает никаких опасений, потому что в строительстве новых и невиданных до сих пор форм надо известное время потратить для того, чтобы наметить общий план организации, который разовьется в процессе работы». И вот, теперь это дело сделано: «общий план управления промышленностью, национализированными предприятиями, управления целыми отраслями промышленности выработан и поставлен на твердую основу» (Ленин, собр. соч., т. XV, стр. 154, 602—603).

С облегченным сердцем Ленин решил, что пришло время заявить: «Когда рабочие покинули фабриканта и начали строить заводы по пролетарскому плану народного хозяйства, они увидели всю трудность перестройки, но они с ней справились; нужны были месяцы, чтобы наладить работу. Эти месяцы прошли, и перелом произошел, прошел тот период, когда мы были бессильны, и *мы пошли вперед гигантскими шагами* и... Теперь мы чувствуем, что дело налаживается, что *от социализма неустроенного* (sic) мы переходим к *истинному* социализму...» (Соч. т. XV, стр. 440). Дальнейшая судьба этого перехода в нем не возбуждала более сомнений. Новой системе управления промышленностью он пророчил самую радужную, блестящую будущность.

Чем дальше будет подвигаться и упрочиваться дело социального переустройства, «тем больше, — заявил он — тем выше будет становиться роль советов народного хозяйства, которым предстоит *одним только из всех государственных учреждений* сохранить за собой прочное место», ибо укрепление нового режима приведет к тому, что «аппарату управления в собственном, узком, тесном смысле слова, аппарату старого государства суждено умереть, а аппарату типа Высшего Совета Народного Хозяйства суждено расти, развиваться и крепнуть, заполняя собой всю главнейшую деятельность организованного общества». Это было время, когда, по свидетельству Ленина, многие из его увлекающихся приверженцев уже договаривались до «Всемирного Совнархоза»... (Соч, т. XV, стр. 302—303).

---

Большевистское правительство, действительно, «шло вперед гигантскими шагами».

«Сразу, одним революционным ударом — похвалялся Ленин — сделано то, что вообще можно сделать сразу: например, в первый же день диктатуры пролетариата, 26 окт. 1917 г., отменена частная собственность на землю, без вознаграждения крупных собственников, экспроприированы крупные собственники земли. В несколько месяцев экспроприированы, тоже без вознаграждения, почти все крупные капиталисты, владельцы фабрик, заводов, банков, железных дорог и пр. Государственная организация крупного производства в промышленности, переход от рабочего контроля к рабочему управлению фабрика-

ми, заводами — это, в основных и главнейших чертах, уже осуществлено». Начаты: дело «советских хозяйств», крупных хозяйств, организованных рабочим государством на госуд. земле» и «организация различных форм товариществ мелких земледельцев, как переход от мелкого товарного земледелия к коммунистическому». Наконец, начата и «смычка» города с деревней на новых началах: «государственная организация распределения продуктов взамен частной торговли, т. е. государственная заготовка и доставка хлеба — в города, промышленных продуктов — в деревню». В перечислении «экспроприации» и «конфискаций» здесь еще пропущены кое-какие «мелочи», напр., реквизиция всех магазинов крупных городов, отмена всего частного домовладения, национализация всего речного коммерческого флота, введение трудовой повинности, монополизация государством всей внешней торговли России... Вот уж, поистине, как в народной сказке — «верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал!».

И Ленин не только не видел в этом «галопирующем темпе» никакой беды, но, торжествуя, говорил: «Только тогда, когда комиссариат продовольствия, вместе с комиссариатом земледелия, национализировал все товары, установил цены, — только тогда — мы подходим к социализму... Мы к этому делу подошли, хотя через полгода трудного советского управления, — жалко, что не через полнедели, вот это наша вина; и если бы нас за то упрекали, что декрет об организации деревенской бедноты и продовольственной диктатуры на полгода опоздал, мы были бы рады этому порицанию. Мы говорим: вот только теперь, когда мы на этот путь вступили, социализм перестал быть бойкой фразой и становится живым делом» (Соч., т. XV, стр. 380).

Лишь позднее, умудренный горьким опытом, Ленин говорил об этом периоде: «В 1918 г. как раз мы предпринимали каждый день с величайшей поспешностью — вероятно, с излишней поспешностью — различные хозяйственные мероприятия, которые нельзя назвать иначе, как социалистическими». Но тогда Ленин вообще усомнился в *социалистическом* значении пережитого периода. Он писал: «Разумеется, с сегодня на завтра ничего не сделаешь. Мы пять лет уже прожили, и научились вопросу о том, что значит срок. И надо, чтобы мы этому учились и дальше». «Нам первое пятилетие порядочно таки набило голову недоверием и скептицизмом... Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д.; надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем, а потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятность» (Соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 88, 80, 126).

Впрочем, моменты колебаний и сомнений бывали у Ленина и в 1918 году. Был даже момент, когда он прямо потребовал остановки и «передышки». «Несмотря на то, что капитал нами, несомненно, не добит — провозгласил он — в интересах успешности дальнейшего наступления на него надо приостановить сейчас наступление». Почему? Да потому, что «наша работа по организации пролетарского учета и контроля (в другой раз Ленин внес знаменательную поправку: «по организации *под руководством* пролетариата *всемирного* учета и контроля за производством и распределением продуктов») явно, очевидно для

всякого думающего человека отстала (и «сильно отстала» в другой раз прибавляет Ленин) от нашей работы по непосредственной экспроприации экспроприаторов». Кто этого не понял, тот — заявляет Ленин — «не понял ничего в переживаемом историческом моменте». Не понявших, однако, было много. И снова, и снова Ленин вопиет: «Вчера гвоздем текущего момента было то, чтобы как можно решительнее национализировать, конфисковать, бить и добивать буржуазию, ломать саботаж. Сегодня только слепые не видят, что мы больше национализировали, наконфисковали, набили и наломали, *чем успели подсчитать*. А обобществление тем как раз и отличается от простой конфискации, что конфисковать можно с одной решительностью, без умения правильно подсчитать и правильно распределить, обобществить же без такого умения нельзя».

На первый взгляд все это звучало достаточно решительно. Казалось бы, можно было ожидать, что, хоть и поздно, но Ленин все же понял основную ошибку, и от него можно ожидать резкого поворота в практике. Но подумать это значило бы впасть в большую ошибку. Первые шаги слишком обязывали, инерция предыдущего движения была слишком велика, напор «левых коммунистов» слишком силен. И Ленин, уступая левой оппозиции, тут же делает оговорку, после которой насмарку идут, в сущности, все его благоразумные заявления. «Разумеется, *о приостановке* наступления на капитал можно говорить только в кавычках, т. е. только метафорически. В обыкновенной войне можно дать общий приказ о приостановке наступления, можно на деле остановить движение вперед. В войне против капитала *движения вперед остановить нельзя*, и о том, чтобы мы отказались от дальнейшей экспроприации капитала, не может быть и речи» (Сопр, соч., т. XV, стр. 380, 198—199, 262 и пр.). Все сказанное раньше, поэтому, приобретает весьма скромный смысл: отныне *центр тяжести* должен быть перемещен с «экспроприации» на «учет». Не более того.

Был, однако, еще пункт разногласий с левыми коммунистами, — пункт, в котором позиция этих последних была еще сильнее.

«Галолирующая национализация» чрезвычайно обострила вопрос о комплектовании личного состава заведующих производством, учетом и распределением продуктов. Практика «рабочего контроля» жестоко разочаровала большевиков относительно организационных возможностей, имеющихся у них при системе управления «снизу». Со свойственной им решительностью, они перешли к прямо противоположной системе: управления *сверху*. Спрашивалось, однако: где взять для этого достаточно способных людей? Ряды большевистской организации изобиловали ловкими агитаторами, опытными подпольщиками-конспираторами, даже организаторами — но организаторами агитационной и военно-революционной работы, а не деловыми людьми в области налаживания производства и обмена. Такие люди вырабатывались на кооперативном поприще — но большевики блистали там своим отсутствием, и Ленин не раз жаловался, что, по некоторому естественному закону, кооперация «химически выделяет из себя» эсеров. Такие люди, далее, могли бы начать вырабатываться из руководящего персонала профессиональных союзов, при постепенном приобщении их к делу государственного контроля над производством; но практика

независимых свободных профсоюзов приводила к такому же «химическому выделению» из них соц. дем. меньшевиков. Эти элементы для осуществления Ленинской программы явно не годились. К кому же оставалось прибегнуть? Только к самим экспроприированным капиталистам и ставленникам их — директорам, управляющим, высшему технико-административному персоналу.

Левые коммунисты ясно видели огромную опасность, заключающуюся в обращении к этим элементам. Когда Ленин старался затушевать эту опасность, он был, конечно, неправ. Абстрактно и принципиально левая оппозиция была ближе к правде. Но эта ее абстрактная правота практически была бесплодной. Та головокружительная быстрота, с которой, ничего не подготовив для успеха дела, большевистская власть *предписала* жизни социалистическую метаморфозу, *не давала разумного выхода*. «Снизу» промышленность была только дезорганизована. Фабзавкомы, как организаторы социалистического производства, оказались ниже всякой критики. Кооперативной организацией, как и профессиональными союзами, воспользоваться было для большевиков невозможно. Кооперацию они должны были предварительно переделать сверху: обезглавить, наводнить своими людьми, духовно подчинить себе; но сделать это было нелегко, как по новизне дела и по недостатку людей, так и по исключительной прочности в кооперативной среде враждебных коммунизму традиций. С профессиональными союзами было легче, но профессиональные союзы сами были слишком слабыми, неокрепшими организациями; они были бедны опытом, бедны и людьми. Обращение к старому руководящему персоналу промышленности было поэтому неизбежно, без него абсолютно нельзя было обойтись. Но чем повелительнее диктовалось такое обращение, тем опаснее оно было. Полная зависимость от людей, которых только что попробовали выбросить за борт, абсолютная невозможность уравновесить их влияние чем-то достаточно сплоченным, способным их ассимилировать, но не самим поддаться с их стороны переработке и ассимиляции, была, конечно, обстоятельством, над которым нельзя было не задуматься.

Трагедия «левых коммунистов» здесь, как и во всей последующей их истории, заключалась в том, что они имели мужество довольно верно расценивать каждый новый шаг хозяйственной политики большевистской власти, после крушения первых наивно-максималистских дерзаний, во всех его слабых сторонах, не скрывая от себя неприглядной правды, с искренним напряжением своей революционно-социалистической совести; слабая же их сторона заключалась в том, что у них эта критика в основе своей не имела никакой более здоровой, глубокой и продуманной позитивной программы; ее место занимали воздыхания о былой прямолинейности, *о прошлом* коммунистического экспериментирования, бесповоротно обанкротившемся и немощном. *Субъективно* они были лучшими элементами коммунистической партии; *объективно* же они были ее *реакционным* в экономическом смысле элементом. Они не понимали *ложности* исходного пункта коммунистического экспериментирования. Они не понимали, что вся дальнейшая его эволюция есть фатальный результат этого «первородного греха» под давлением железной логики жизни. Они поэтому могли лишь бессильно будировать, но не вывести ни партию, ни Россию из ту-

пика.

Позднейшие историки «главкизма» своею оценкою, поэтому, не могли не подтвердить правильности лево-коммунистической критики. Жизнь оправдала ее всецело.

«Главкизм привык к хозяйству, основанному на *складе*. На складах готовых изделий он начинал свою карьеру. На учете складского имущества, готовых запасов он учился овладению хозяйством. Но слишком долгое и тесное общение со складом и отравило надолго сознание главкиста. Он стал смотреть на потребителя с типичной складской точки зрения.

«Так как товарооборот был заменен товарообменом, а товарообмен очень быстро выродился в одностороннее распределение складского имущества, то самым существенным средством, с помощью которого любой главк осуществлял свою экономическую политику, оказался *ордер*. Ордер свидетельствовал о том, что его владелец действительно является правомочным потребителем; но для того, чтобы он мог быть обменен на определенное изделие, владелец его должен был явиться на склад, предъявить свои документы, стать в очередь, проделать ряд действий, которые задерживали выдачу и приучали главкиста к мысли, что потребитель - очень терпеливое существо, приспособляющееся к складскому хозяйству, а не наоборот.

«Мало того. Система распределения по ордерам, и в значительной степени бесплатно или по ценам, близким к бесплатности, эта система приучала главкиста к мысли не только о том, что потребитель по природе должен быть терпелив, но что он должен быть также и невзыскателен» (Г. Циперович, «Главкизм», стр. 44.).

Нетрудно видеть, что все это является логически-неизбежным и совершенно естественным последствием двух начал, на которых зиждилась советская жизнь в результате того, что «набито и наломано» было гораздо больше, чем даже могли «учесть». Первое из этих начал — было *житье на готовые запасы* старого общества; второе — *бюрократическая централизация снабжения* ими всех, работающих на «пролетарское государство»; а в таких «служащих и работающих на государство» было обращено предписаниями декретов почти все городское население.

«С другой стороны, главкизм получил основательное подкрепление и со стороны тех многочисленных деловых людей, специалистов и т. п., которые в до-революционное время прошли основательную школу в синдикатах и трестах, и быстро приспособились к нашей главкистской системе, стараясь подчеркнуть в ней наиболее приемлемые для себя черты. Для тех, кто знаком с организацией и деятельностью «Продугля» или «Продаметы» (Капиталистические синдикаты царского времени, главным секретом Успеха которых была беспощадная эксплуатация потребителя.), ни в коем случае не является сюрпризом то обстоятельство, что некоторые крупные деятели этих капиталистических организаций, и многие второстепенные, но очень важные служащие их сумели не только найти себе место в главках и центрах, но, что гораздо важнее, - упражнять свои прежние навыки и, таким путем, оказывать несомненное и, нередко, значительное влияние на руководителей наших экономических орга-

низаций» (Г. Циперович, «Главкизм», стр. 44.). А Лев Троцкий по этому поводу впоследствии говорил даже о «торговой главкократии, *гнуснейшей из всех главкократий* (Л.Д. Троцкий. «Основные вопросы промышленности», Москва 1923, стр. 61).

Но ведь именно этого и опасались левые коммунисты: бюрократического и буржуазного вырождения «коммунистических руководителей» промышленности и безнадежного отдаления этого управления от рабочей массы, с ее жаждой хозяйственной самостоятельности и коллективной инициативы!

А между тем в ответ на эти опасения Ленин в свое время, закрывая глаза на все подводные камни и мели, безапелляционно заявил, что иного выхода нет, что «нужно, если правильно понимать свои задачи, *учиться социализму у организаторов трестов*». И когда левые коммунисты этими словами были шокированы, то он с еще большей настойчивостью стал твердить: да, «теперь мы будем учиться у них, потому что у нас не хватает знаний. Знание социализма у нас есть, но знания организации в масштабе миллионном, знания организации производства и распределения продуктов и т. п. — этого у нас нет. Этому старые большевистские руководители не учили нас. Этим партия большевиков в своей истории похвалиться не может. Этому курса мы еще не проходили. И мы говорим: пусть данный человек будет хоть архижуликом, но раз он организовал трест, раз это купец, который имел дело с организацией производства и распределения (сбыта?) для миллионов и десятков миллионов, раз он обладает опытом — мы должны у него учиться, и если этому мы у них не научимся, мы социализма не получим»... (Соч., т. XV, стр. 337-338). Когда же левые коммунисты, не очень веруя в «подкованность» коммунистов для того, чтобы суметь взять от капиталистических учителей как раз то, что надо, не поддаваясь им в том, в чем подражать им для социализма было бы смертельно, Ленин отвечал лишь, что при таком неверии в себя ничего не остается, как только «складывать пожитки и убираться восвояси, предоставляя место Милюковым и Мартовым».

Эпохе «главкократии», как известно, соответствовал и первый крупный компромисс коммунистической твердокаменности с многозначительными «запяттыми», которые нагромождала на ее пути жизнь. «Учиться у организаторов трестов» — это вместе с тем означало — платить за науку. Ленин это понимал, и заявил о необходимости «прибегнуть к старому буржуазному средству — согласиться на очень высокую оплату «услуг» крупнейших из буржуазных специалистов». И не скрывал, что это «есть компромисс, отступление от принципов Парижской Коммуны», «шаг назад нашей социалистической, советской государственной власти», отказывающейся от принципиально правильного «сведения жалований к уровню платы среднего рабочего». Ленин называл это своеобразным «выкупом».

Ленин терпеть не мог, когда в вопросах дня, вопросах чисто практических, его *реализму*, если угодно, даже оппортунизму (а про Ленина многие его сторонники с восхищением говорили: «какой это *гениальный оппортунист!*») — противопоставляли напоминание о чистоте социалистических принципов. «Мы — с досадой говорил он — перешли, слава Богу, от принципов к практической, деловой работе. В Смольном мы калякали о принципах и, несомненно,

больше, чем следовало». Сторонников коммунистического радикализма он спрашивал, прямо в упор: «скажите: вы сумели взять производство в свои руки, вы подсчитали, что вы производите, вы знаете связь вашего производства с русским и международным рынком? И тут оказывается, что этому они еще не научились, а в большевистских книжках про это еще не написано, да и в меньшевистских книжках ничего не сказано...» (Ленин, собр. соч., т. XV, стр. 238). А если дело обстоит так, то фанаберию надо бросить: «коммунистами достойны называться лишь те, кто понимает, что, создать или ввести социализм, не участь у организаторов трестов, нельзя: ибо социализм *не есть выдумка*, а есть *усвоение* пролетарским авангардом, завоевавшим власть, усвоение и применение *того, что создано трестами*».

История судила Ленину новое жестокое разочарование. В его лице большевизм поправился, что называется, из кулька в рогожку. Если первый период «диктатуры пролетариата», период стихийно-анархический, дал в результате *развал* промышленности, то второй ее период, казенно-главкистский, дал ее *бюрократическое омертвление*. Ленин вскоре с ужасом увидел, как весь его «государственный аппарат экономического управления, постепенно возрастая и усложняясь, превратился в несоразмерную, громадную по сравнению с самим производством бюрократическую машину» (Ив., т. XVIII, ч. I, стр. 24.). Он успел неоднократно на опыте увидеть, что «пока приказ от имени главков и центров доходит до места, он оказывается совершенно бессилён: он совершенно тонет в море не то бумаг, не то бездорожья, бестелеграфья и т.д.» (Ив., т. XVII, стр. 94).

Не раз являлась у Ленина мысль, что корень ошибки — в чрезмерном использовании старого персонала; что живой поток «вооруженных рабочих», вторгшийся во все учреждения, только на первый взгляд не оставил в них камня на камне. На деле это кончилось лишь перетасовкой тех же самых карт.

«Мы переняли старый государственный аппарат, и это было нашей бедой: государственный аппарат очень часто работает против нас. Дело было так, что в 1917 г., после того, как мы захватили власть, государственный аппарат нас саботировал, а мы тогда очень испугались и попросили: «пожалуйста, вернитесь к нам назад». И вот они все вернулись, и это было нашим несчастьем» (Соч., т. XVI, стр. 127-128). Левые коммунисты в свое время только это и говорили, особенно в применении к высшим хозяйственным учреждениям страны...

В другой раз, возвращаясь к той же теме, Ленин меланхолично подвел итоги. «Старый бюрократический элемент мы разогнали, переворошили и затем начали опять ставить на новые места. Царистские элементы стали переходить в советские учреждения и проводить бюрократизм, перекрещиваться в коммунистов и для большей успешности карьеры доставать членские билеты Р. К. П. Их прогнали в двери, они влетели в окно. Их можно было бы раскассировать, но нельзя их сразу перевоспитать...

«Тут больше всего сказывается недостаток культурных сил... . Кроме закона есть еще культурный уровень, который никакому закону не подчинить. Благодаря этому низкому культурному уровню, советы, будучи по своей программе органами управления через трудящихся, на самом деле являются органами управления для трудящихся, через *передовой слой* пролетариата, но не че-

рез трудящиеся *массы*».

Ленин, однако, совершенно неспособен был понять, что именно бюрократический дух его понимания социализма, соединенный с бюрократическим же методом предпринятой им социализаторской *операции*, является первопричиной быстрого искажения и вырождения нового строя, а вместе с тем — и обростания его аппарата управления явно недоброкачественными элементами: быстро обюрократившимися руководителями, карьеристами, хамелеонами всех сортов, советскими Фамусовыми, советскими Молчалиными, советскими Удушьевыми и Загорецкими. Он успокаивал себя тем, что «ни одно глубокое и могучее народное движение в истории не обходилось без грязной пены, без присасывающихся к неопытным новаторам авантюристов и жуликов, хвастунов и горлопанов, без нелепой суматохи, бестолочи, зряшной суетливости, без попыток отдельных «вождей» братья разом за двадцать дел и ни одного не доводить до конца» (Соч., т. XV, стр. 213). Он надеялся, что всё это удастся постепенно «изжить».

«Старые, почти исключительно агитационные навыки» - как в смягченном виде называл он безответственную демагогию, которую сам так усердно насаждал — «переделаются», хотя это и будет «дело весьма длительное». В самом народе найдется масса организаторских талантов, доселе заглушаемых самодержавием и плутократией: их надо уметь «найти, ободрить, поставить на ноги». Но разрешение этой задачи он мыслил себе в порядке опеки, а не в порядке предоставления простора их самодеятельности. «Мы» — т.е. «добрые тираны», понимающие, что дело «требует принуждения, и принуждения именно в форме диктатуры» — «пойдем своей дорогой, стараясь как можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организаторов, людей с трезвым умом и с практической сметкой, людей, соединяющих преданность социализму с умением без шума (и вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и дружную совместную работу большого количества людей в рамках советской организации. Только таких людей, после десятикратного испытания, надо, двигая их от простейших задач к труднейшим, выдвигать на ответственные посты руководителей народного труда, руководителей управления. Мы этому еще не научились. Мы этому научимся» (Собр. соч., т. XV, стр. 212-213).

Бюрократическая, *опекунская* система управления жизнью масс, увязавшая в болоте всяческой казенщины, по его плану должна была сама себе вытащить оттуда за волосы. И он был неутомим в перетасовках людей, в переделывании учреждений, пока — к концу его активной политической жизни — у него не появилось глубоко пессимистических нот.

«Мы, действительно, находимся в положении людей, — и надо сказать, что положение это очень глупое — которые все заседают, составляют комиссии, составляют планы — до бесконечности...» Ленин даже вспоминает по этому поводу, мечтательные планы Обломова, и заявляет, что и среди интеллигентов, и даже среди рабочих, и даже среди коммунистов воскресает этот бесмертный гончаровский тип: «достаточно посмотреть на нас, как мы заседаем, как мы работаем в комиссиях, чтобы сказать, что старый Обломов остался, и надо его долго мыть, чистить, трепать и драть, чтобы какой-нибудь толк вышел.

На этот счет мы должны смотреть на свое положение трезво, без иллюзий» (Ив., т. XVIII, ч. II, стр. 15).

«Мы уже пять лет суедемся над улучшением нашего госаппарата, но это именно только суетня, которая за пять лет доказала только свою непригодность, или даже свою бесполезность, или даже вредность. Как суетня, она давала нам видимость работы, на самом деле засоряя наши учреждения и наши мозги» (Ив., стр. 127).

Но Ленин так и не мог догадаться, что корень всего этого лежал в неправильной постановке всего вопроса, который становился неразрешимым, на подобие вопроса о квадратуре круга.

---

Левые коммунисты не могли не столкнуться с Лениным и еще в вопросе — о способах восстановления на фабриках и заводах трудовой дисциплины.

До захвата власти большевики усиленно поощряли забастовочное движение, не смущаясь тем, что оно может повредить интересам вооруженной защиты границ русской революции, и пользуясь им, как тараном, против Временного Правительства. Захватив власть, они немедленно повернули фронт, и обратились к рабочим с воззванием: «Мы просим вас немедленно прекратить все экономические и политические забастовки, всем стать на работу и производить ее в полном порядке... Все — по своим местам! Лучшее средство поддержать в эти дни правительство советов — это исполнять свое дело».

То же, только несколько позднее, произошло и с более общим вопросом о восстановлении трудовой дисциплины и субординации внутри мастерской. Ленин даже провозгласил «основными и главными лозунгами момента» такие заимствования из прописей: «веди аккуратно и добросовестно счет денег, хозяйничай экономно, не лодырничай, не воруй, соблюдай строжайшую дисциплину в труде», — т. е. «именно такие лозунги, справедливо осмеивавшиеся революционными пролетариями тогда, когда буржуазия прикрывала подобными речами свое господство». Он тогда был простодушно убежден, что «проведение в жизнь этих лозунгов советской властью, ее методами, на основании ее законов, является необходимым и *достаточным* для *окончательной* победы социализма». Он требовал «*полного перелома* настроений массы и перехода ее к правильному, выдержанному, дисциплинированному труду» (Соч., т. XV, стр. 209).

Но «переломить» настроение масс было не так легко. Давала себя сильно чувствовать, прежде всего, инерция «явочно-захватнического» способа действий, так поощрявшаяся большевиками все предыдущее время. Было живо воспоминание о *carte blanche*, которую так легко давала «советская власть» рабочим любой фабрики поступать с нею, как им угодно. На заводы, несомненно, первое время собирались больше для митингования, чем для работы. Кстати, сырьевой и топливный кризисы приводили к тому, что работы то и дело прерывались. Создавалась отвычка от регулярного труда. Наконец, действовало общее возбужденное — у большевистствующей части *праздничное* — настроение. Чем ярче были воспоминания о тяжелой, долгой, подневольной работе на хо-

зяина, тем сильнее была инстинктивная тяга к реваншу за прошлое, ко всяческому облегчению труда, без соображения с последствиями этого.

Ленин, однако, не мог не понимать, что при таком ослабленном и дезорганизованном трудовом режиме никаких старых товарных запасов надолго не хватит. И вот почему он решил, что рабочих необходимо понемногу, но твердою рукою *подтянуть*. И, к изумлению своей пролетарской аудитории, отвыкшей от таких речей, он поставил ребром вопрос о том, что «русский человек плохой работник по сравнению с передовыми нациями», а потому «на очередь надо поставить, практически применить и испытать сдельную плату, применение многого, что есть научного и прогрессивного в системе Тейлора, соразмерение заработка с общими итогами выработки продукта и т. д., и т. д.»; когда он заявил, что «учиться работать — эту задачу Советская власть должна поставить перед народом во всем ее объеме», не отступая перед «применением *принуждения* так, чтобы лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся практикою кислелеобразного состояния пролетарской власти».

Ленина не смущала широко разлитая вокруг предубежденность против его планов, и за проведение их он взялся с таким же натиском и такой же «мертвой хваткой», как и за все, в чем видел «гвоздь» момента. «Черная доска отсталых фабрик, после национализации оставшихся образцом разброда, распада, грязи, хулиганства, тунеядства — где она?» — восклицал он: «Ее нет. А такие фабрики есть... Мы не коммунисты, а тряпичники, пока мы молча терпим такие фабрики... Разве классовая борьба в эпоху перехода от капитализма к социализму не состоит в том, чтобы охранять интересы рабочего класса от тех горсток, групп, слоев рабочих, которые упорно держатся традиций, привычек капитализма и продолжают смотреть на Советское государство попрежнему: дать «ему» работы поменьше и похуже, — содрать с «него» денег побольше? Разве мало таких мерзавцев хотя бы среди наборщиков советских типографий, среди сормовских и путиловских рабочих и т. д.?» (Соч. т. XV, стр. 209-210. 419). Ленин требовал борьбы «с распушенностью всех и каждого в деле организации и дисциплины», с «держанием прочно мелкособственническим взглядом — мне бы урвать побольше, а там хоть трава не расти»; он проповедовал, «что виноват в мучениях голода и безработицы всякий, кто нарушает трудовую дисциплину в любом хозяйстве и любом деле, — что виноватого в этом надо уметь находить, отдавать под суд и карать беспощадно», он жаловался, что «наши народные и революционные суды непомерно, невероятно слабы», что «наша власть — непомерно мягкая, сплошь и рядом больше похожая на кисель, чем на железо...» (Ib., стр. 216).

Ленин не обманывался относительно приема, который был оказан рабочими массовиками его плану «подтянуть» их. «Рабочие кричали: повысить производительность труда — это значит налечь на нас, содрать всю шкуру! И они не только это говорили, но и думали и чувствовали» — свидетельствовал он сам. И неумолимо отвечал: «те рабочие, которые не умеют приносить жертв, рассматриваются нами, как шкурники, и мы выкинем их из пролетарской среды».

Ленин понимал, какие он обнаруживает «внешне легко уязвимые места»,

какой дает «благодарный материал для острот» критикам, как справа, так и слева. Он понимал, что первые скажут: «когда ваша партия не была у власти, тогда она сулила рабочим молочные реки в кисельных берегах, а когда вы оказались у власти, то с вами произошло обычное превращение: вы начинаете говорить об учете, о дисциплине, о самодисциплине, о контроле и пр.» Он понимал, что «лозунги, вытекающие из особенностей переживаемого момента — лавировать, выжидать, отступать, медленно строить, беспощадно подтягивать, сурово дисциплинировать, громить распушенность» — выглядят не особенно эффектно, если их «сопоставить с обычным, ходячим понятием революционера», и сильно смахивают на «забвение традиций октябрьской революции...» (Соч. т. XV, стр. 241, 224, Ю В. Чернов).

Но иного выхода Ленин не видел. И потому он с полной решительностью шел к восстановлению на фабрике всей полноты дисциплинарной власти главы предприятия. Этот «глава», правда, черпал свои прерогативы не из собственности на предприятие, а из *назначения*. Но это — вопрос *о генезисе* фабричного самодержавия, и ничего в самом *режиме* фабричного самодержавия не меняет. По существу дела, всякие «демократии», всякие «конституции» и всякие «митингования» на фабрике прекращались. Водворялась *автократия*.

Начало положено было декретом об управлении железными дорогами, декретом о предоставлении диктаторских (или «неограниченных») полномочий отдельным руководителям. Левые коммунисты и союзники их, левые эсеры, подняли принципиальный вопрос: «совместимо ли вообще назначение отдельных лиц, облакаемых неограниченными полномочиями диктаторов, с коренными началами советской власти?»

Ответ Ленина гласил: во-первых, «всякая крупная машинная индустрия, т. е. именно материальный производственный источник и фундамент социализма — требует безусловного и строжайшего единства воли, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей... Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? Подчинением воли тысяч — воле одного. Это подчинение может, при идеальной сознательности и дисциплинированности, больше напомнить мягкое руководство дирижера. Оно может принимать резкие формы диктаторства, — если нет идеальной дисциплинированности и сознательности». Во-вторых, если поставить вопрос еще общее, то «непререкаемый опыт истории говорит», что «диктатура отдельных лиц очень часто была в истории революционных движений выразителем, носителем, проводником диктатуры революционных классов». «Если мы не анархисты, мы должны принять необходимость... принуждения для перехода от капитализма к социализму. Форма принуждения определяется степенью развития данного революционного класса, затем такими чрезвычайными обстоятельствами, как, напр., наследие войны, затем формами сопротивления буржуазии. Поэтому решительно никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет*» (Соч. т. XV, стр. 217—

Слово «диктатура» произнесено. Если раньше перед нами был Ленин-Пугачев, то теперь мы видим другой лик Януса: Ленин-Аракчеев.

Спрашивается, однако: можно ли считать «социализацией» такую реформу фабрики, при которой на ней господствует единодержавие «диктатора»?

Критики большевизма из лагеря русских социалистов-революционеров ответили на этот вопрос отрицательно. В тезисах, составленных в начале 1920 г. и формулирующих их экономическую платформу, режим «главкократии», вооруженной фабричною диктатурою, характеризовался, как «самая уродливая фальсификация социализма», — как «азиатски-деспотический *государственный капитализм*». Иными словами — *бюрократизация* вместо *социализации*.

Большевистский опыт именно в его второй фазе, фазе главкизма, дает великолепный материал для того, чтобы глубже продумать внутреннюю сущность социализации и отграничить ее, как понятие, от смежных понятий: «национализации», «огосударствления», «государственного социализма» и «государственного капитализма».

---

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### Что такое социализация?

Еще недавно слово «социализация», — *Sozialisierung*, — было совершенно неупотребительно в руководящей европейской социалистической литературе. Стоявшая во главе ее, вплоть до последней мировой войны, немецкая социал-демократическая литература знала, как наиболее употребительные термины и понятия — *Nationalisierung*, *Verstaatlichung*, порою — *Vergesellschaftung* — национализация, огосударствление, реже — обобществление. Новое слово — «социализация» — вторглось в нее в качестве самостоятельного понятия после великой русской революции. В обиход же русской революции понятие это внесено было теоретиками партии социалистов-революционеров, затем «экспроприровано» у них большевиками и через них, как через передаточное звено, перешло во всю европейскую литературу.

Когда в начале девятисотых годов, при разработке аграрной программы партии с.-р., впервые был выдвинут термин «социализация земли» — он резал своей непривычностью слух многих. Всего подозрительнее к нему отнеслись тогда русские марксисты, и прежде всего — Ленин. Это что еще за маскарад? — спрашивали они. Очевидно, мы имеем дело со старою знакомою, генриджорджевскою «национализацией земли», только люди конфузятся связи с генриджорджизмом, имеющим явно буржуазный привкус, приспособляющим уничтожение частной земельной собственности к потребностям индустриального капитала. Слово же «социализация» для них, очевидно, хорошо потому, что словесно роднит эту реформу с социализмом. Но это уже простая безграмотность. Социализация земледелия есть органическая составная часть социалистического переустройства вообще, и не предварительная, а заключительная его часть; земледелие, самая отсталая отрасль производства, позже всех будет и социализирована. Но социализация *земледелия* по крайней мере вещь понятная;

а что же такое социализация *земли*? Просто теоретически безграмотное сочетание выхваченных из совершенно различных сфер понятий.

Теперь мы уже далеки от этого времени, и далеки от всех этих поверхностных возражений. И общий смысл отмежевания понятия «социализация земли» от «национализации» обычного буржуазного типа уже давно успел войти в общее сознание.

Все ходячие проекты национализации земли своим исходным пунктом имели постановку во главу угла государства. И потому слово и понятие «огосударствления» земли были бы, пожалуй, для них наиболее меткими и уместными. Права верховного бесконтрольного (римское *jus utendi et abutendi*) распоряжения землей, разбросанные, раскиданные, разобранные по рукам отдельных лиц и групп, сосредоточивались в одном могучем центре — Государстве. От него все исходило и к нему все возвращалось. В противовес этому сугубо централистическому плану партия социалистов-революционеров и выдвигала свой план, сугубо децентралистический. Она говорила, что государственная централизация на практике означает «бюрократизацию». А она хотела не бюрократизации, но — употребляя великолепный термин Щедрина, подхваченный еще Н. Даниельсоном («Николаем — оном»), — *обмирщения* земли.

Русский марксизм вскоре и сам сделал известную уступку этой, выдвинутой эсерами, децентрализаторской тенденции. Правда, не в лице Ленина. Этот последний, первоначально согласный «выкинуть» мужикам лишь пресловутые «отрезки», медленно, упираясь, под давлением назревавшей аграрной революции дошел, наконец, до признания уместности введения в программу-минимум той самой национализации земли, за сходство с которой он раньше браковал эсеровскую «социализацию». Зато другой крупнейший аграрный теоретик русского марксизма, Маслов, выступил с проектом «муниципализации земли», на котором ясно сказались следы эсеровского влияния. Этот проект был принят меньшевистским крылом русской социал-демократии и победил на Стокгольмском (1905 г.) съезде. Центральным пунктом, средоточием собственных прав на землю, вместо государства, в этом проекте являлась «муниципия» — крупный земский союз *областного* типа. Это уже была уступка, уступка довольно крупная, но недостаточная. Социалисты-революционеры шли еще дальше. Не устранив совершенно от выполнения известных регулирующих функций ни государства, ни областной «муниципии», они спускались еще ниже, до волостной и соседской общины; мало того, они доходили до основного элемента производства, до семейной кооперации и ее ячейки — отдельного производителя. Этот производитель, т. е. трудовая личность, по мысли эсеровской земельной реформы, должна была быть не пассивным орудием какого бы то ни было наиндивидуального целого, а самостоятельным субъектом определенных прав, прочно обеспеченных новой земельной конституцией, т. е. аграрным «основным законом».

Таким образом, все построение нового аграрного строя представлялось, как построение, идущее снизу вверх. Земля признавалась общим благом, по отношению к которому каждая трудовая личность обладала равным с себе подобными правом. Индивидуальное общегражданское равное право на землю яви-

лось, таким образом, по существу своему, трудовым правом пользования, т. е. правом пользования, обусловленном приложением труда к земле, и ограниченным равным правом каждого другого согражданина, прилагающего к земле свой труд. Общественные коллективы разных ступеней выступали; уже не как *собственники* земли, а как регуляторы действительного равенства пользователей; причем низшие коллективы уравнивали, сообразно трудовому принципу, условия пользования междусемейного, а высшие, по принадлежности — условия пользования межгруппового. Получалась стройная система, пирамида коллективностей, в совокупности своей способная уравнивать условия трудового пользования в общенациональном масштабе, и осуществляющая в земледелии за каждым то, что рационально можно понимать, как «право на полный продукт своего труда» — с теми оговорками, которые сами собою понятны и о которых говорил хотя бы Маркс в своей критике «Готской программы».

Из этой схемы, как видите, государство не устранено — ни в лице органов местного — земского — самоуправления, ни в лице центральной власти. Но рядом с государством, вместе и на равных правах с ним к регулированию трудового пользования земельными богатствами привлечены и свободные соединения самих трудящихся, их самобытные объединения в хозяйственные корпорации, объединенные общностью производственных или потребительных нужд.

В сложную систему этих объединений могут быть, в случае надобности, вдвинуты корпорации самого различного рода, напр., на известных условиях хотя бы *национальные* корпорации. Представим себе местность, населенную инородцами, придерживающимися экстенсивной системы хозяйства (напр., кочевники-скотоводы), с вкрапленными там и здесь поселками инонациональных колонизаторов с высшей хозяйственной культурой. Ясно, что экстенсивные способы землепользования должны уступить место интенсивным, и местность — сразу став более «емкой» по отношению к населению — должна открыться для колонизации. Но ясно и то, что для безболезненности этого процесса поднятие технико-хозяйственного, а с ним и общекультурного уровня инородцев должна предшествовать этой колонизации и делать ее возможной, а не вынуждаться насильственным вселением и грабительским захватом инородческих земель. Инородцы могут быть объединены в национальную корпорацию, которой будет обеспечено содействие государства в деле увеличения «хозяйственной емкости их территории по отношению к населению» и даны гарантии в прочности пользования необходимыми в каждый данный момент по условиям достигнутой ступени хозяйственного развития угодьями. Национальная корпорация не будет их монополистом, но лишь представителем законных прав огромной категории населения на землю, как средство приложения труда и осуществления права на жизнь и права на извлечение из земли трудового эквивалента.

Основная особенность эсеровской земельной программы «обмирщения земли» может быть, таким образом, охарактеризована, как расширение великого принципа самоуправления на новую область — земельных отношений. В круг ведения самоуправления ею вводилось новое огромное общественное благо — земля, как точка приложения труда. Эсеровской земельной реформой создава-

лась в общенациональном масштабе великая крестьянская хозяйственная демократия. Как истинная демократия, она предполагала не простое деспотическое самодержавие большинства, но устранение *всякого* самодержавия, путем обеспечения прав не только меньшинства, но даже и каждой отдельной личности. Абсолютизм собственника по римскому праву не был в эсеровской программе заменен ни абсолютизмом областной власти, ни абсолютизмом государства. Предполагалась глубоко демократическая, снизу вверх идущая, сложная земельческая община, или, если угодно, кооперация по распределению земли в индивидуальное и групповое пользование на трудовом начале.

Дальнейшее развитие этой кооперации состояло бы в постепенной коллективизации индивидуальных трудовых прав. Основная «кооперация по распределению земли» постепенно должна была дополниться всеми другими видами коопераций, вплоть до достижения логического предельного пункта развития, т. е. вплоть до превращения «великой всероссийской кооперации по *распределению* земли» в такую же кооперацию по *трудовому использованию* земли, — т. е. вплоть до разрешения в этой области основной проблемы социализма.

Земельная община и кооперация суть проявления самостоятельной мужицкой трудовой общественности. Формально это — организации частноправовые. Относительно кооперации это ясно. Но, как мы уже говорили, земельная община теоретически с большим удобством может рассматриваться, как своеобразная разновидность кооперации. Это — кооперация по распределению самого основного из «средств производства» земледелия — самой земли.

Особенность социализации в том и состоит, что, отрываясь от фетишизма государственности, она подымает частноправовые по составу и происхождению союзы до роли носителей такого рода функций, которые обычно всеми мыслятся, как публично-правовые. Она закладывает краеугольные камни хозяйственной трудовой демократии, т. е. самоуправления в экономической области, самоуправления на основе добровольного союза по сходству интересов. Многие теоретики, оценивая значение начала добровольности, лежащего в основе всякой кооперации, в отличие от принудительного начала, лежащего в основе государственных форм, видит в современном кооперативизме мирное внедрение в нашу общественность высшего глубоко *анархического* принципа.

Ни для кого из мыслящих социалистов, однако, не тайна, что теоретически столь ясное и резкое различие публично-правового и частноправового имеет силу лишь для современного общества, где «управление» и «хозяйствование» разорваны, где лишь первое относится к сфере общественности (*res publica*), а второе оставлено в ведение частных частных интересов (*res privata*). Там, где государство есть по преимуществу классовое господство, поддерживающее систему свободной конкуренции частных собственников, и где хозяйство есть юридически освященное и регулируемое *bellum omnium contra omnes*, — это естественно. Но в обществе будущего государство неминуемо будет все более и более утрачивать свой оголенный принудительно-репрессивный характер, а хозяйствование все более и более будет превращаться в общественную, социально-организованную функцию. Иными словами, противополож-

ность публичного и частного права будет все более и более утрачивать свое значение.

В этом смысле можно сказать, что земельная община есть эмбрион, зародыш нового, трудового публичного права. Социализация земли, распространяя принципы этого права на всю территорию страны, наносит удар первоначальной безусловной узкой замкнутости общины и тем высвобождает и развертывает на широкой арене ее скрытые, недоразвитые публично-правовые функции. В этом смысле справедливо отмечали, что эсеровская социализация земли может быть рассматриваема, как своеобразная попытка распространить на всю территорию России некоторые основные принципы самого обыкновенного и простого мужицкого общинного землепользования. Конечно, она не берет их в их натуральном, необработанном виде, но видит в них лишь зародышевые формы, соответственно логически развивает их, идя снизу вверх, усложняя и совершенствуя их вплоть до применимости в общенациональном масштабе. Провести в жизнь социализацию земли значит, если угодно, превратить всю земледельческую Русь в одну великую Всероссийскую Земельную Общину, и этим преодолеть узость и ограниченность нынешней общины — ту узость и ограниченность, в которой основная причина всех ее недостатков в слабостей, всех ее теневых сторон. Преимущества так понятой социализации земли — в органической связи с исторической жизнью трудовых земледельческих масс. Новый аграрный режим — не высосан никем из пальца, понятие о нем не свалилось с луны, и не было изобретено в четырех стенах кабинета. Оно было почерпнуто из реальной жизни, из быта трудовых народных масс, как из сырого материала, подлежащего дальнейшей логической обработке и усовершенствованию. Здесь, как и во всех других областях, социализм приходит не с готовыми, ничего не имеющего общего с действительностью, воздушными замками, а только иначе комбинирует основные элементы, уже имеющиеся налицо в фактической действительности, и этой комбинации сообщает высшее развитие.

Нетрудно видеть, что «кооперация по равномерному трудовому использованию земли», законодательством распространенная на всю сельскохозяйственную территорию страны, и в этом смысле получившая публично-правовое значение, как нельзя более способна стать прочною основой, базой для развития всех других видов кооперации. Впервые создается, таким образом, основа для рациональной организации трудового крестьянского хозяйства, которое доселе подвергалось со всех сторон извне лишь дезорганизующим влияниям. Юридический механизм социализации, действующий особенно чрез специальное земельно-уравнительное обложение, поддерживает равновесие всей системы, как системы существенно трудовой, на началах, указанных в главе V этой книги. Кооперативизм же во всех его видах, сливаясь в интегральную кооперацию, вступая в связь с организацией общественной агрономии, прививает к сельскому хозяйству все научно-технические усовершенствования и «обмирщает», коллективизирует все те трудовые функции, объединение которых требуется характером этих усовершенствований, и в той мере, в какой оно им требуется. Это есть «обобществление снизу».

Эта схема — которую жизнь и практика кооперативного и общинного

опыта должна наполнить конкретным жизненным содержанием — дает нам перспективу того непосредственного вращивания в «государство будущего» земледелия и земледельцев, которое должен признать необходимым каждый социалист, не верящий в универсальную приложимость схемы «капитализации и пролетаризации», торжествующей в индустрии, — для всех стран, времен, народов и областей хозяйства.

---

Перед теоретиками партии социалистов-революционеров встала новая задача: привести в соответствие свои взгляды на социализацию земли и земледелия со своими взглядами на социализацию индустрии.

Если в области земледелия они резко расходились с тогдашним марксизмом, не признавая будущности за капиталистическим земледелием, не веря в капиталистическое чистилище, как переходную фазу к социалистическому эллизму, то в области индустрии этого разногласия не было. Беря в аграрной области исходным пунктом индивидуальное трудовое хозяйство, партия эсеров в индустрии за этот исходный пункт брала, как и социал-демократия, капиталистическую фабрику.

В социализации индустрии следует различать два момента: социализацию, как процесс, и социализацию, как законченный результат, завершение этого процесса. Проблема в целом предполагала два вопроса: 1) какой вид будет иметь социализированная индустрия? и 2) как произойдет, через какие переходные фазы пройдет трансформация капиталистической индустрии в социализированную?

Когда складывалась программа партии эсеров и ее теоретическое обоснование, ответы на эти два вопроса давались разными оттенками социалистической мысли далеко не одинаковые. Среди пестроты борющихся школ и тенденций можно было прежде всего выделить три крайних, с наиболее резко выраженными типическими особенностями. В их чистом виде их можно было охарактеризовать, как концепции 1) государственническую, 2) синдикалистскую и 3) кооперативистскую.

Государственническая концепция, в ее чистом виде, предполагала, что после перехода «государственного руля» в руки организованного пролетариата, в круге ведения органов государства произойдет ряд чрезвычайно существенных перемен. И ныне наряду с функциями административно-принудительного, охранительного и репрессивного характера, государство отправляет известные культурные и народно-хозяйственные функции. По уничтожении классового деления общества, функции первого рода будут постепенно, за ненадобностью, атрофироваться, отмирать, и сведутся к очень скромному минимуму. Вторые, наоборот, будут гигантски разрастаться. Концентрация производства капитализмом, особенно в форме гигантских, в общенациональном масштабе объединенных синдикатов и трестов, подготовит все для того, чтобы переход его из ведения треста в руки государства произошел почти нечувствительно, без особых организационных затруднений. Изменение культурного содержания, всей

жизнедеятельности государства уже само по себе отразится на личном составе, в котором воплощается его «аппарат»: в социологическом мире, как в биологическом, функция вырабатывает орган. Освежение этого личного состава путем наплыва новых элементов из демократических низов страны докончит остальное. То, что ныне является административным скелетом государственности, превратится в основной скелет управления планомерно организованными производственными процессами. Основная трудность в решении проблемы — это завоевание пролетариатом государственной власти. Все прочее приложится.

Что же касается до переходного периода, до всей той эпохи, которая предшествует завоеванию пролетариатом государственной власти, то для государственнического течения центр тяжести лежал в государственном вмешательстве в отношения между патроном и наемником. Рабочее законодательство и стоящий на страже его агент государства, фабричный инспектор — должны были создать и укрепить защиту интересов труда. Отсюда понятен и характер рассчитанных на переходный период «программ-минимум» социалистических партий. Их главное содержание давалось перечислением законодательных мер, покровительствующих наемному труду. Поэтому центр тяжести деятельности социалистических партий переносился в парламент, где вырабатывались соответственные законы. Это односторонне-парламентское направление было причиной того, что синдикальное и кооперативное движение стали развиваться независимо от социализма, вожди которого частью проглядели, частью недооценили их значение. На эту недооценку кооперация и синдикализм ответили политическому социализму резкой оппозицией и принципиальным аполитизмом.

В оппозиции к политическому социализму, бегло уже анализированному нами, концепция синдикализма ставила на государстве и его органах крест. Государство есть символ казенщины, чиновничьей рутины, насилования жизни свыше. Новое вино в старые меха не вливают. Пролетариат должен сам из себя выработать все элементы и все аппараты будущего общества. Функции капиталиста, функции хозяйственного управления должны быть распределены не между какими-нибудь государственными органами, комиссиями и департаментами министерств, а между профессиональными союзами. Эти союзы, нынешние органы классовой борьбы, изменят свой характер и превратятся в органы управления производством. Но если основная социально-хозяйственная функция от государства перейдет к профсоюзам, то что же останется на долю государства? Как орган классового господства, оно будет аннулировано социальной революцией. Ясно, что государственная машина — слишком дорогое, громоздкое сооружение, чтобы его поддерживать ради тех немногих функций, которые не входят ни в сферу управления национальным производством, ни в сферу поддержки классового господства. Эти немногие функции лучше пустить в «черный передел» между национальным союзом профсоюзов и разными межпрофессиональными комиссиями и объединениями. Так, городское объединение местных отделов профсоюзов отлично может взять на себя все функции нынешних муниципалитетов, и т. п. Весь твердый скелет будущего общества, держащий на себе его живую массу, будет составлен из стройной системы снизу доверху, локально и общенационально (а в дальнейшем и международно),

всесторонне объединенных и правильно дифференцированных профессиональных союзов. Только они, в противоположность оторванному от жизни чиновничеству и дилетантам-политикам, и способны дать для управления производством действительно деловой и компетентный аппарат. Таким образом, законченная система синдикалистского «общества будущего» предполагает упразднение современного государства, как центрального, так и его местных (провинциальных и муниципальных) разветвлений. Общественные связи становятся однотипными. Их основной характер — корпоративный. Главной ячейкой корпоративного строя является объединение людей, как производителей, связанных единством профессии; вместо территориального соседства и «согражданства», определяющим моментом является сотрудничество в производственном процессе, соседство у фабричного станка или горна. Кроме различного рода сочетаний этих производственных ячеек, никакие другие сочетания не имеют решающего значения, не являются теми камнями, на которых синдикализм «созидет храм свой».

Что касается до переходного периода между капиталистической современностью и будущей системой развитого синдикализма, то он характеризуется не патронажем государства, как в системе «политического социализма», а непосредственным, «прямым действием» боевых органов классовой работы рабочих. Капиталист мало-по-малу, под давлением этой борьбы, должен отречься от своих самодержавных прерогатив на фабрике; своих рабочих он должен признать не «отдельными посетителями» фабрики, а организованным коллективом; взаимные отношения должны вылиться в форму «коллективных договоров»; наем и увольнение рабочих должны производиться лишь через коллектив. При такой концепции центр тяжести с парламентской арены переносится в профессиональные союзы с их стачечной и договорной деятельностью. Участие в выборах или совершенно отвергается, или признается делом второстепенным, так как парламент признается обреченным на исчезновение и замену «рабочим парламентом» в виде национального съезда делегатов от профсоюзов.

В основе синдикализма лежит модернизированный вариант древней легенды об удалении плебеев на Авентинскую гору. Профессиональное объединение есть своего рода Авентинская гора пролетариата, на которую он удаляется, отряхнув с ног своих прах отжившего Рима — буржуазной государственности. Синдикализм — это созревание в недрах буржуазного общества эмбриона нового строя. Как только этот зародыш созреет — он убьет своих родителей и выйдет на свет Божий готовым юным самостоятельным организмом. В отличие от политического социализма, реформирующего современный государственный аппарат для новых целей, синдикализм создает заново этот аппарат из рабочих классовых органов и учреждений. Поэтому-то в отличие от «социализма слов, парламентских речей и законодательных декретов» синдикализм и называл себя «созидательным социализмом» и «социализмом учреждений».

Однако, он имеет в этой области очень крупного конкурента в лице кооперативизма, и притом именно современного, городского кооперативизма. Высшая, сложная форма городской кооперации имеет своим фундаментом по-

требительное общество. У этого потребительного общества — или союза нескольких потребительных обществ — может быть точно учтена потребность в известного рода продуктах. На основе этого обеспеченного сбыта легко организовать собственные мастерские, или фабрику, которой нечего думать ни о рыночном спросе, ни о конкуренции, которая просто работает как бы на заказ потребительного общества. Так на базисе организованного потребления возникают производственные надстройки, и получается целая маленькая «хозяйственная республика», хотя и живущая в недрах капиталистического строя, но в собственной среде эмансипирующаяся от капиталистических отношений. Логически продолжая картину кооперативной организации массового потребления, развивая ее вширь и вглубь, мы улавливаем как будто всю жизнь в кооперативные сети. Неудивительно, что среди европейских кооператоров, в pendant к исключительному синдикализму, явилось конкурирующее с последним течение самодовлеющего кооперативизма.

Нельзя не видеть, что у этого течения есть свои сильные стороны и свои веские аргументы. Профессиональные союзы суть по самому своему происхождению и характеру органы боевые; в профессиональных центрах рабочими, естественно, выдвигаются наиболее способные руководители ежедневной борьбы пролетариата за свои права, боевые вожди, соединяющие осторожность и выдержку с решительностью и дерзанием. Это — совсем особые способности сравнительно с деловитостью хозяйственного организатора. Не синдикаты, а именно кооперативы развивают в своих руководителях эту драгоценную способность, одновременно воспитывая в массах навыки хозяйственного самоуправления. Только кооперация есть непосредственное мирное хозяйственное строительство на началах трудовой солидарности, противоположных духу буржуазного мира. Здесь, а не в другом месте, надо искать высоко специализированной компетентности, без которой самые лучшие планы хозяйственной реконструкции общества вырождаются на деле в сумбурную дилетантскую стряпню, приносящую только убытки и хозяйственную разруху.

Этого мало. Особенность социалистического строя сравнительно с буржуазным состоит в планомерном общественно-организованном хозяйстве, т. е. в правильном учете и целесообразном распределении всех производительных ресурсов страны соответственно ее столь же всесторонне учтенным потребностям. А что же такое сложные кооперативные «хозяйственные республики», как не живые эмбрионы именно такого общественного планомерного хозяйства? Социализм, в конце концов, есть не что иное, как охватывающее всю страну, всех жителей «потребительное общество», при котором состоят и на которое работают принадлежащие ему фабрики и заводы. И если ставить вопрос так, как ставят его синдикалисты — а именно, что уже в недрах старого общества, независимо от работы его законодательной и административной машины, новое общество должно зародиться и обособиться, как чисто-экономический эмбрион, который, дифференцируясь, сам из себя выработает все органы, чтобы в общенациональном масштабе функционировать, как независимый, себе довольствующий самостоятельный организм, — то не мир синдикализма, а мир коопе-

рации более всего сходен с таким эмбрионом. Политическая и синдикальная деятельность, если стать на эту точку зрения, будут ценны лишь постольку, поскольку содействуют развитию этого эмбриона. Центр же тяжести работы, создающей будущее — в непосредственном кооперативном строительстве.

Таковы эти три концепции, в своем чистом виде принципиально противоположные, друг друга исключающие. Нетрудно видеть, что ни одна из них не соответствует по своим основным принципам эсеровской социализации, не является распространением на область индустрии тех самых начал, которые представляют ее особенность в земледелии. Ни чистое огосударствление, ни чистая синдикализация, ни самодовлеющая кооператизация не совпадают с нею, не воспроизводят ее основных конструктивных признаков.

Особенности социализации земли мы выяснили путем сравнения ее с национализацией или огосударствлением земли. Суммируем здесь найденные нами черты отличия:

1. Огосударствление земли подходит к распоряжению земельными богатствами страны сверху; социализация — снизу.

2. Огосударствление земли, сохраняя абсолютизм собственнического права, переносит его целиком в руки олицетворяющей всю страну центральной власти; социализация земли не переносит его никуда, ибо упраздняет абсолютизм понятия собственности.

3. Огосударствление земли в порядке административного усмотрения раздает землю в аренду отдельным лицам на условиях, соответствующих меняющимся видам и планам центральной власти; социализация предполагает основную конституционную «хартию прав» отдельного пользователя под углом зрения равенства общегражданских трудовых прав на землю.

4. Огосударствление земли предполагает распоряжение земельными богатствами страны через посредство бюрократических органов; социализация земли осуществляет начала хозяйственной демократии по преимуществу чрез органы независимой трудовой общественности, чрез их сотрудничество с государством.

5. Огосударствление земли отдает частные интересы всецело в ведение публичных органов; социализация земли предполагает синтез частного и публичного права, синтез начал экономического корпоративизма и политической демократии.

Три рассмотренных нами течения городского социализма хромают именно прежде всего недостатком такого синтеза. Каждое из них для идеи социализации в эсеровском духе является слишком узким Прокустовым ложем.

Эсеровская социализация не вмещается целиком ни в понятие огосударствления, ни в «синдикализацию», ни в чистую «кооператизацию».

Ныне отстаивать социализацию в индустрии от уклона в одностороннее «государственничество» уже не трудно. Насколько велик сдвиг, пережитый в этом отношении современным социализмом, лучше всего можно видеть на примере серьезнейшего представителя старо-марксистской школы, которого когда-то называли «папой ортодоксии», — Карла Каутского.

В своем докладе второму съезду советов рабочих депутатов Германии,

под заглавием «Was ist Sozialisierung», Каутский рассуждает следующим образом:

«Как в муниципалитете или государстве, так и в современном капиталистическом предприятии — особенно в его развитой акционерной или трестированной форме — зарождается управляющая им бюрократия. От этого рукой подать до идеи — превратить индустриальную бюрократию в составную часть бюрократии государственной — перейти к огосударствлению крупных предприятий. На первый взгляд это — очень простая операция. На место акций вступают долговые обязательства государства. Ответственные руководители производства, вместо зависимости от общих собраний акционеров, переходят в зависимость от министерства».

И так как в железнодорожном, напр., деле такой переход осуществлялся на практике, то, основываясь на этом опыте, и мысленно перенося его и на другие сферы, можно было здесь и усмотреть настоящий «путь к преодолению капитализма, путь к социализму». Однако, ныне Каутский считает необходимым вскрыть в этом умозаключении «тяжкую ошибку». Вот как рассуждает он при этом:

«Государство есть не хозяйственная организация, а организация власти, организация господства. Его бюрократия сформирована сообразно целям и задачам властвования. Задачей бюрократов является не изыскание и проведение наиболее целесообразного, а послушное и усердное выполнение воли выше поставленного...

«Так как в государственной бюрократии всякая инициатива должна исходить исключительно сверху, а не снизу. — то ее отличительным признаком и является несамостоятельность, бездушная прикованность к традициям, к раз перенятым формам, в плоть и кровь ввевшийся консерватизм.

«Тем самым она встает в полное противоречие с потребностями современного способа производства, который является в области техники революционным, покоится на непрерывном ниспровержении всех пережитых форм и методов. И где государственные предприятия вступают в конкуренцию с частными, они, по общему правилу, оказываются ниже этих последних.

«Простое огосударствление предприятий и превращение их служащих в государственных чиновников, таким образом, принесло бы с собою опасность уменьшения производства вместо увеличения его. А между тем, чтобы сделалось возможным общее благосостояние, производство нуждается в самом интенсивном применении и использовании всех завоеваний научной техники.

«В этом — важный аргумент против простого огосударствления производства.

«К нему присоединяется еще один. Работник требует не просто благосостояния, но также и самоопределения. Он поднимает знамя восстания против капитала не только из-за голодной заработной платы и сверхчеловеческой работы, но и потому, что с ним обращаются, как с простым орудием производства, подчиненным последнему и лишенным собственной воли.

«И в этом отношении еще никакого улучшения не будет, если на место отдельных капиталистов встанет организация государственной власти, государ-

ственная бюрократия. Вместо многих господ он получит лишь одного единственного и лишится даже права переменить своего хозяина.

«Это — одна из причин, почему английские рабочие так долго и так сильно сопротивлялись социализму, который был им преподнесен, как чистый государственный социализм. И по тому же основанию во Франции так долго имел значительную притягательную силу для многих рабочих анархизм. Там и здесь рабочие были слишком упорно свободолюбивы для того, чтобы усмотреть свои идеалы в отдаче производства во власть государственной бюрократии» (К. Kautsky, «Was ist Sozialisierung?» Berlin 1920, s. 13—14.).

Эти речи для нас новы. Заурядные хранители марксистской догмы обычно отделялись от этого вопроса только высокомерной иронией по адресу «путаников» из французских либертеров, анархо-синдикалистов и английских закоренелых индивидуалистов. Теперь перед нами открытое и честное признание, что вина была не в них одних, а столь же, если не более, в другой «путанице», вкравшейся в самую концепцию традиционного социализма, «централизм» которого, к сожалению, принимал слишком односторонне государственный, т. е. на практике чиновничий, бюрократический характер.

Если таким языком заговорили ветераны старой школы социализма, то понятно и естественно, что представители молодого социалистического поколения выражаются еще резче и решительнее.

Так, в красноречиво написанной книге Роберта Вильбрандта «Sozialismus» мы читаем:

«Повторяйте так часто, чтобы наконец это услышали все и каждый: социализация не есть огосударствление!

«Она есть оригинальное, новое сооружение рядом с государством. Она есть самоуправление в хозяйственной области — но самоуправление в новой и высшей форме.

«Социализация — не огосударствление!

«Я прошу читателя прежде всего так часто повторять это про себя и вслух, и устно и письменно, от руки и печатно, чтобы наконец-то прекратилось приравнивание, употребление в качестве синонимов, двух этих понятий.

«Оно зародилось в связи с учением Маркса. Пролетариат овладевает государственной машиной и пользуется последнею, чтобы возможно скорее вырвать из рук буржуазии средства производства. Для этого и служит огосударствление. Но государство — так значит далее — «отмирает»: из подавляющей силы, с служащей для эксплуатации одного класса другим, господствующим, оно превращается в простой аппарат управления хозяйственными процессами.

«Так представлялось дело Марксу и Энгельсу. Поэтому они приравнивали друг к другу огосударствление и обобществление; их предпосылкой было превращение государства в служебно-технический орган общества; он используется, чтобы перевести средства производства в руки целого (изъяв их из рук частных лиц, чье привилегированное положение покоилось на частном владении средствами производства).

«Но глашатаи «Коммунистического Манифеста» не доглядели, что при этом в общество будущего целиком были бы перенесены все прилипшие к ка-

зенному хозяйству дефекты, что они стали бы действовать на создаваемые государство-хозяйственные новообразования подобно заразительным болезням и наложили бы на социализм печать экономического регресса. Тем более для противников социализма этот последний принял вид казенного чиновничьего хозяйствования, а социализация превратилась в бюрократическое огосударствление. Это казалось твердо и бесповоротно установленным, и в этом уже заключалась уничтожающая критика социализма. Социализм представлялся в виде восстановителя фискализма, принудительной практики камерализма и меркантилизма, в виде губителя всякой инициативы, могильщика свободы и прогресса. На месте свободного, смелого, с широким размахом действующего предпринимателя — чиновник доброго старого образца, уничтожающий всякое благосостояние. Вот что сделалась прообразом социализма во многих головах» (К. Wilbrand, «Sozialismus», s. 184—185.)...

Спрашивается: почему же именно теперь так легко и без сопротивления рухнула идея, которая так долго держалась в головах со всею силою и прочностью предрассудка? Разгадка будет не так трудна, если мы вспомним об опыте так называемого «военного социализма» эпохи мировой бойни, о порожденных им первоначально иллюзиях и надеждах, и о последующей психологической реакции. Сначала шовинистическое грехопадение части правых социалистов было так велико, что в медовый месяц побед, переполненные психологическим оптимизмом, они готовы были усматривать завоевания социализма в каждом шаге, в каждом мероприятии, которое лишь «организовало нужду» и приближало общее состояние страны к порядкам осажденной крепости, где взяты на учет и выдаются равными микроскопическими порциями все продукты, где деспотически отданы в верховное распоряжение военного командования все рабочие силы, все заведения и мастерские.

Именно этот колоссальный оптический обман, именно это грубое смешение, объяснимое только военным психозом того катастрофического времени, и вызвало, наконец, против себя спасительную идейную реакцию. Военный социализм сыграл роль как бы живого *reductio ad absurdum* односторонности чисто политического, «государственнического» социализма. Увидев перед собою свою собственную каррикатуру, социализм в ужасе отшатнулся от нея и принялся за чистку своих теоретических авгиевых конюшен. В «военном социализме» он разглядел в новом одеянии сильно изменившегося старого знакомого, — объединенный, трестированный, сплоченный банкократией и, при благоклонном участии государства, «милитаризованный» капитализм. Социализму пришлось самым энергическим образом отгородиться, отмежеваться от этой помеси казармы, казенщины и плутократии, занять по отношению к ней не философски-сочувственную, не пассивно-зрительскую, а определенно враждебную позицию. При этом пришлось тщательно отряхнуться от всяких уклонов и прихрамываний в сторону однобокого «государственничества».

В результате этой работы Штребель мог заявить, наконец, «что в Западной Европе вообще нет ни одного социалистического направления, которое представляло бы себе социализацию, как огосударствление».

И Штребель был прав, поскольку он говорил о социализме европейском.

Но кроме него есть социализм «истинно русский», т. е. примитивно азиатский. Он есть всецело духовное детище войны. Его можно назвать военным социализмом, только вывернутым наизнанку.

Еще в 1917 г., до октябрьской революции, в брошюре «Грозящая катастрофа и как с нею бороться», Ленин выдал головою секрет всего будущего теоретического грехопадения.

Там он писал: «Попробуйте подставить вместо юнкерско-капиталистического государства — государство революционно-демократическое, т. е. революционно разрушающее всякие привилегии, не боящееся революционно осуществлять самый полный демократизм. Вы увидите, что государственно-монополистический капитализм при действительно революционно-демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг к социализму». «Ибо социализм есть ни что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии». «Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, *никаких промежуточных ступеней нет*».

Природа социализма здесь совершенно отождествлена с природой государственно-капиталистической монополии. Нужна только «подстановка», смена одной государственной власти другою, а вся структура производства остается той же, — но одновременно, от чудодейственного влияния пресловутой «подстановки», совершенно меняет свой социальный характер. Поистине более рабски копировать, воспроизводить «капитализм в социализме» нет возможности. Капитализм становится социализмом в зависимость от простой перемены характера государственной кровли или «надстройки» — его не отделяет от социализма никакая промежуточная, переходная ступень. И это не случайная обмолвка, а непрерывная логическая нить, тянущаяся годами через все его размышления и построения. Так, в 1918 г., в брошюре «Главная задача наших дней (о «левом ребячестве и о мелкобуржуазности») разбирая вопрос о взаимоотношении социализма и государственного капитализма, Ленин говорит:

«Чтобы разъяснить вопрос, приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример: Германия. Здесь мы имеем «последнее слово» современной крупно-капиталистической техники и планомерной организации, — подчиненной *юнкерско - буржуазному империализму*. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистического — то же государство *иного* социального типа, иного классового содержания, государство советское, т. е. пролетарское, и вы *получите всю ту сумму условий, которую дает социализм*».

Иными словами: милитаризованный, возглавленный разными «диктаторами» — сырьевым, продовольственным, угольным и т. п. — вошедший в тесную связь с государством, организованный в национальном масштабе капитализм плюс советская «диктатура пролетариата» — и есть социализм: есть «вся та сумма условий», которую он дает.

Нельзя было выдать себя головою полнее, чем то сделал Ленин в приведенных рассуждениях. Из них ясно видно, до какой степени отсталым является социалистическое мышление большевиков сравнительно с уровнем понятий современного научно-конструктивного социализма. Трудно придумать более грубое и примитивное представление о природе будущего социалистического общества. Это последнее является просто копией казарменного «военного социализма», т. е. государственного «социал-капитализма» эпохи мирового побища: только вместо дворянского околыша и пагонов с царскими орлами оно украшено красноармейской красной звездой да эмблемами молота и серпа; а подчинение всего интересам и требованиям внешней, мировой войны заменено подчинением таким же интересам и требованиям войны внутренней, гражданской.

В большевизме второй фазы развития — в главкократии, вооруженной производственной, торговой и распределительной диктатурами — таким образом, потенциально уже заключалась, как в оболочке, и готова была из нее вылупиться, *третья фаза*: фаза пресловутого военного коммунизма, анализом которого нам еще придется заняться дальше.

---

Ленина никогда не затрудняло теоретическое оправдание всех изломов своего экспериментаторского зигзаг-курса, даже таких, которые он впоследствии охотно признавал «глупостью». Со свойственной ему грубоватой прямоотой и откровенностью он в кругу своих не только признавался: «мы наглумили достаточно в период Смольного и около Смольного» — в демагогический период разнуздывания стихии и подбивания ее все делать «снизу»; он даже заявлял о полном отсутствии у него сомнений, что и впредь будет не лучше: «Несомненно, что мы сделали *и еще сделаем колоссальное количество глупостей*. Никто не может судить об этом лучше и видеть это нагляднее, чем я»... (Собр. соч., ХУШ, ч. 2, стр. 97.).

Но перед внешним миром он оправдывает все. Он говорит, напр.: «роль лакеев буржуазии играли меньшевики, эсеры, Каутский и Ко., когда они ставили нам в вину наш военный коммунизм. Его надо поставить нам в заслугу». То же и с государственным капитализмом. «Иначе, как через это, не достигнутое еще нами, преддверие в дверь социализма не войдешь». То, что «промежду себя» можно признать ошибкой и даже глупостью, для «посторонних» объявляется «естественной и неизбежной фазой развития». А худшие последствия ошибок можно с легким сердцем отнести за счет совершенно посторонних условий. Так сделал Ленин по отношению к «бюрократическому вырождению» советской власти.

«Возьмите вопрос о бюрократизме и взгляните на него с экономической стороны. 5 мая 1918 г. бюрократизм в поле нашего зрения не стоит. Через полгода после октябрьской революции, после того, как мы разбили старый бюрократический аппарат сверху донизу, мы еще не ощущаем этого зла Проходит еще год — и на восьмом съезде мы говорим «о частичном возрождении бюро-

кратизма внутри советского строя». Прошло еще два года. Весной 1921 г. мы видим это зло еще яснее, еще отчетливее, еще грознее перед собой. Каковы экономические корни бюрократизма? У нас корень бюрократизма — в раздробленности, распыленности мелкого производителя, его нищете, некультурности, бездорожье, неграмотности... В громадной степени — это результат гражданской войны, когда нас блокировали, осадили со всех сторон... Бюрократизм, как наследие «осады», как надстройка над распыленностью и придавленностью мелкого производителя, обнаружил себя вполне».

Из всего этого образцово-наивного рассуждения очевидно, что Ленин до конца «слона то и не заметил». Не заметил того, что бюрократизм эмбрионально содержался уже в самой Ленинской идее о социализме, как возглавленной большевистскою диктатурою системе государственно-капиталистических монополий; что бюрократизм был исторически производной от примитивной казенщины большевистской концепции социализма.

Как известно, Ленин не прочь был повсюду (даже в применении к аграрной области) из демагогического расчета подхватить популярный лозунг социализации. Нетрудно видеть, что на деле на социализацию у него нет нигде и намека. Под нею все время кроется «советизация» или советская бюрократизация. Все ее вопиющие недостатки, понятные и легко предвидимые теоретически, русский большевизм наглядно показал на практике.

---

Поскольку синдикализм и кооперативизм выступали против однобокости государственнического социализма, они были — каждый по своему — правы. Каждый из них заключал в себе зерно истины. Но поскольку они, выпрямляя согнутую палку, в полемическом азарте перегибали ее в противоположную сторону и заражались сами такой же узкой исключительностью — они были неправы и по отношению к государству, и по отношению друг к другу.

Синдикализм в своих построениях исходит только от человека, как производителя. Кооперативизм исходит от него, как потребителя

С какой стороны к человеческой личности ни подойти, можно создать очень стройное и симметрическое построение. На первый взгляд даже может показаться, что не все ли равно, «от какой печки» танцевать в «государство будущего?» При социализме каждый человек будет не только потребителем, но и производителем. По какому бы признаку его ни «улавливать» в новую общественную организацию, «сетью» этой организации будут охвачены все. Только буржуазное общество разрывает и сталкивает лбами «производство» и «потребление». В социалистическом обществе, гармонически сливающим в каждой личности оба эти начала, интерес личности, как производителя, и интерес личности, как потребителя, не дуалистичны, а «едино суть».

Это рассуждение слишком обще и поверхностно. Даже в отдельном человеке — возьмем ли мы его в обществе, в семье, или даже вне всяких общественных связей, как Робинзона на его острове — мы увидим известный антагонизм интересов его, как потребителя и как производителя. Как потребителю,

ему может хотеться огромного количества разного рода продуктов; как производитель, взвешивающий пределы своей работоспособности, дорожающий своей рабочей силой и не желающий надорвать ее, он ограничивает свои потребности. Как производитель, он мог бы неглижировать качеством продукта и ради экономии труда и времени ухудшить качество, ослабить напряжение своей работы: труд от этого стал бы легче и приятнее. Но, как потребитель, дорожающий и количеством, и качеством полученного продукта, он прищипывает себя, как работника. Это вечное противоречие между интересами человека, как потребителя, и его же интересами, как производителя, разрешается в перманентном повышении производительности труда, в достижении путем разных технических усовершенствований больших или лучших результатов на единицу затраченной энергии, или тех же результатов при меньшей затрате энергии. И опять таки, даже здесь воспроизводится противоречие между тенденциями человека, как потребителя, и как производителя. Для него, как потребителя, техническое усовершенствование есть «большее количество или лучшее качество продуктов при той же затрате энергии». Для него, как производителя оно есть «то же количество или качество продукта при меньшей затрате энергии». И Робинзон может сказать, имея в виду это противоречие: «две души живут в моей груди, и одна хочет разлучиться с другой». Но здесь все явления просты, и «противоречия экономических категорий» разрешаются, как маленькие «бури под крышкою черепа». То перевешивает один, то другой психологический мотив; в среднем может установиться некоторая равнодействующая, некоторый компромисс между «потребительским» и «рабочим» интересом, путем их взаимных уступок; скажем, найдя сокращающее труд техническое усовершенствование, он использует это сокращение для досуга, но не целиком, а лишь частью; другую же часть «потенциального» досуга употребит на увеличение числа потребительных благ.

«В конце концов», Робинзону, как потребителю, конечно, невыгодно черезчур налегать на себя, как на производителя, ибо преждевременно надорвать свою рабочую силу значит подкопаться под будущность собственного потребления ради выгоды преходящей и минутной. И Робинзону, как производителю, в конце концов, то же невыгодно черезчур ограничить себя, как потребителя, — это ослабит организм, приучит его к низкому уровню потребностей, а без роста потребностей не будет и стимула к усовершенствованию производства, к созданию приходящих на подмогу, на выручку к труду технических усовершенствований. Но ведь, все это «в конце концов», а в каждый данный момент надо найти настоящую меру экономии труда, или его прищипывания, нужно суметь гармонизировать будущие и минутные интересы, найти должное равновесие между мотивами потребительскими и рабочими. Здесь равно возможны ошибки *и в ту, и в другую* сторону.

Дело еще больше усложняется, если мы возьмем личность в некоторой социальной среде. Представим себе потребительный кооператив, имеющий свои мастерские. Для большей наглядности предположим даже, что все члены «потребилки» без исключения работают в тех или других из этих собственных мастерских. Несмотря на это конечное «единство» потребителей и производи-

телей, вполне возможно, что на общем собрании потребителей, при решении отдельно вопроса о каком-нибудь домогательстве, хотя бы пекарей, в принадлежащей кооперации мастерской — собрание отклонит самые справедливые их требования относительно уменьшения часов или улучшения обстановки труда, ибо это означает увеличение расходов, невыгодное для всех, кроме пекарей. Правда, пекаря после этого, отплачивая за причиненную им несправедливость, таким же образом провалят законные требования рабочих кооперативного мыловаренного завода, а мыловары вместе с ткачами выместят свою неудачу на рабочих кооперативной табачной фабрики, и так, поочередно, все без исключения испытают невыгодность для целого несправедливости, допущенной по отношению к части. В последнем счете окажется, что все потребители обидели самих же себя, как производителей. Но именно эту мораль выведет из событий не всякий. Ибо среднему человеку свойственно легче замечать несправедливость, допущенную к себе, а не к другим.

Мы начали с организации чисто-потребительской, предположив, что те же самые члены этой организации, разбредясь по мастерским, там остаются «отдельными посетителями» мастерской, и не организованы специально в особую профессионально-производственную группу. Но так как при такой организации, сходясь все вместе только на разношерстное собрание союза потребителей, они невольно поддаются одностороннему направлению мыслей и терпят на себе его неудобства, — то рано или поздно они обязательно почувствуют потребность выступить против «целого» по сговору, как группа, объединенная общностью производственного интереса, и защищать свои требования «скопом». Так односторонне-потребительская организация сама вызовет к жизни необходимую организационную поправку и дополнение, являющуюся выражением другого принципа — профессионально-производственного. То противоречие интересов, которое в мозгу Робинзона улаживалось индивидуально-психологически, в социальной среде должно найти свое высшее примирение и гармонизацию общественно-организационно.

Нетрудно видеть, что взятый нами гипотетический пример не совсем гипотетичен. У нас нет сплошного «кооперативного мира», где каждый член потребительного общества работал бы в принадлежащих последнему мастерских. Но у нас есть отдельные потребительные общества, имеющие при себе некоторые промышленные предприятия. И что же? Как ни верно утверждение, что кооперация есть замена конкуренции и междоусобной борьбы солидарностью и внутренним миром, однако же в кооперативном движении возникает свой «рабочий вопрос». И рабочие, и служащие кооперативных предприятий организуются, как таковые, порою не без основания жалуясь на эксплуатацию их кооперативным обществом, и входя на общих основаниях непрофессиональные союзы рабочих и служащих капиталистических предприятий. И кооперативам приходится прибегать к заключению с профессиональными союзами коллективных договоров, — временных хозяйственных «конституций», регулирующих взаимоотношения производителей и потребителей. Эти договорные отношения приходится рассматривать, как обрывочный прообраз будущих взаимоотношений производителя и потребителя в социалистическом строе, разумеется, с по-

правкой на ненормальные условия буржуазной современности, заставляющей кооперативы волей-неволей приспособляться к ним под давлением конкуренции капиталистических предприятий.

Теперь возьмем обратный пример. Предположим, что в строении будущего общества мы стали бы игнорировать организацию людей по признаку потребительских интересов. Предположим, что всю общественную организацию мы захотели бы построить на производственно-профессиональных группировках.

Это означало бы, что хозяином каждой отдельной отрасли производства стал бы соответственный рабочий синдикат или профсоюз.

Нельзя забывать, что при современной глубокой индустриальной дифференциации каждый рабочий является потребителем сравнительно ничтожной части произведенного его руками продукта. В некоторых отраслях эта доля столь микроскопична, что практически может быть приравнена к нулю. Как ни верно теоретически, что «в последнем счете» производитель в социалистическом обществе прямо или косвенно является и потребителем, но эта связь часто слишком абстрактна и отдаленна для того, чтобы иметь достаточную власть над психологией человека. Рабочий машиностроительной промышленности, изготавливающий сельскохозяйственные орудия, гораздо более заинтересован в сокращении часов своего труда и в высоте своего заработка, чем в количестве, качестве и дешевизне производимого им продукта. И там, где пожелают оставить его монопольным и бесконтрольным хозяином производства, — там подвергнут судьбы последнего немалому риску. Конечно, чрезмерный перевес в этой области рабочего интереса над потребительским, в конце концов, скажется неблагоприятно и на самом виновнике нарушения равновесия между ними. Он скажется тем скорее, чем заразительнее будет пример для работников других отраслей производства. Устроив «бег взапуски», бег наперегонку по легкой и торной дорожке облегчения труда и увеличения вознаграждения, производственные корпорации могут привести к такому вздорожанию жизни, что все их предыдущие «завоевания» окажутся мнимыми. Но дороговизна вместо того, чтобы открыть глаза на ложность избранного пути, может только пришпорить на удвоенное рвение в том же духе. Создавшийся, таким образом, *circulus vitiosus* может привести к величайшему кризису и полной хозяйственной разрухе. И единственным выходом будет контроль всей остальной рабочей массы, в качестве потребителей, с точки зрения интересов потребителей, над каждой отдельной из производственных групп, на которые она распадается.

И этот случай является не вполне гипотетическим. Его практическое вероятие тем больше, что обобществление национального хозяйства трудно провести разом росчерком пера. Приходится думать о постепенной «социализации в розницу», начинающей с наиболее для этого «подготовленных» отраслях производства (оставляя пока открытым вопрос о том, в чем заключается эта большая «подготовленность»). Когда две-три одинокие обобществленные ветви промышленности, отданные в бесконтрольное распоряжение только одних профессионально-производственных групп, стоят лицом к лицу со всем остальным народно-хозяйственным целым, раздробленным на частные буржуазные хозяйства, — тогда еще труднее доказать «конечное» единство интересов ра-

ботника и потребителя, и разрыв меж ними еще естественнее. Рабочие обобществленных отраслей, подобно капиталистическим трестам, одни компетентны в калькуляции цен на основе исчисления такого растяжимого понятия, как себестоимость производства. Они монопольно определяют цены, а эта монополия очень опасна. Недаром именно в капиталистически трестированных областях производства хозяева довольно охотно готовы идти на участие рабочих в прибылях предприятия: этой ценой они пытаются получить в рабочих себе союзников в деле искусственного вздувания цен, ведущего к дороговизне жизни. Именно такая уловка под маской передового социал-реформаторства содержится во многих буржуазных вариантах компромиссного «планового», «автономного», «общего» хозяйства.

Итак, начнем ли мы строить общество на основе «потребительских» группировок, мы тотчас же почувствуем потребность в поправке путем обеспечения права голоса за группировками профессионально-производственными; начнем ли с этих последних — как тотчас же даст о себе знать необходимость контроля с точки зрения потребителей.

Что же из этого следует? Да то, что ошибка представлять себе строение будущего общества, как нечто простое, однотипное, прямолинейно-схематическое. Такой «монизм» в определении конститутивных черт будущего общества будет монизмом односторонним, однобоким, — будет не монизмом, а симплицизмом. От этой ложной постановки проблемы мы должны радикальнейшим образом отрешиться и перейти в совершенно иную плоскость мышления.

Будущее общество, надо мыслить, как чрезвычайно сложную систему самых разнообразных, взаимно-переплетающихся группировок, — столь же разнообразных, как разнообразны потребности и условия жизнедеятельности живой развивающейся человеческой личности. В ней — живой центр всей этой многосложной и всесторонне разветвленной системы. Соответственно разнообразию своих жизненных функций — не только материальных, но и духовных — идейных, политических, моральных, эстетических — человек будет объединяться с себе подобными, то по признаку профессионально-производственному, то по признаку потребительному, то по признаку общности соседско-территориальных связей, то по признаку общности языка и культуры, то по единству вкусов или взглядов, и т. п.

Синдикализм и кооперативизм не могли исчерпать собою всех требований, предъявляемых к жизни человеком, как не могло исчерпать их и государство. Впрочем, они не претендовали на это. Их задача была гораздо уже, они хотели только справиться с вопросом об овладении сферой материального производства собственно. Но при этом они не могли отрешиться от влияния старых буржуазных юридических понятий и отношений. Капиталистический строй исходил из понятия абсолютной буржуазной собственности. Собственность делала «хозяином». Но если хозяин-собственник подлежал экспроприации, то отсюда — казалось — сейчас же возникал вопрос: кто же именно станет на его место? Куда, на какое место, на какой именно общественный коллектив следует перенести ту совокупность прерогатив, которой был облечен хозяин-

собственник? По мере того, как претендентами выступало государство, синдикат, свободная кооперация — рождались те однобокие теории, неспособность которых разрешать социальный вопрос быстро выяснилась на опыте. Перепробовав поочередно все эти упрощенно-однотипные решения, мысль человеческая, наконец, выясняет что решения эти были фатально неверными, ибо самая постановка вопроса была неправильна. *Социализация не сохраняет и не переносит механически на какой-то один из бесконечно разнообразных социальных кругов всего того комплекса прерогатив, который объединяется в буржуазном понятии собственности*: она упраздняет это понятие с его духом исключительности и абсолютизма, она разрушает Гордиев узел. Так, в красноречивой формуле, вскрывавшей моральную сущность собственности — *jus utendi et abutendi* — она совершенно уничтожает всю вторую половину формулы. *Jus abutendi* не принадлежит и не может принадлежать при социализации никому. Всесторонность, равномерность и экономия в использовании всех хозяйственных благ обеспечивается участием и контролем разных групп и хозяйственных индивидов; но как бы ни был «высок» социальный круг, будь это даже прежний «великий фетиш» человечества, Государство, — он не имеет права на хищническое злоупотребление благом, он наталкивается на своего рода «неотъемлемые права» трудового пользователя — личности. Уже великая французская революция в чисто политической области сочла необходимым декларировать основные неотъемлемые права человека и гражданина. Государство отныне должно было перестать быть самодержцем. Самодержавие должно было быть устранено с арены государственного права — не только самодержавие монарха, но и самодержавие народа, и тирания большинства над меньшинством, и тирания целого — над личностью. Именно таков был логический смысл провозглашенной, но не додуманной французской революцией до конца системы субъективных прав личности, лежащих в основании объективного права государства. Социализм логически развивает эту систему субъективных прав, уничтожая «самодержавие собственности» и последовательно распространяя систему субъективных прав из сферы чистой политики и на сферу экономики. Ни государство, ни синдикат, ни кооператив, как бы они друг друга ни уравнивали и ни дополняли, ни порознь, ни вместе не могут превратить хозяйственных благ в игрушку своего произвола, а хозяйственного индивидуума в свою пассивную пешку. Личность должна быть всесторонне охвачена всеми видами общественных соединений и группировок именно для того, чтобы создать вокруг нее достаточно гибкую и эластичную социальную среду, именно для того, чтобы дать ей максимальную свободу движений. В этом же и смысл синтеза публичного и частного права, лежащего в основе социализации, смысл того, что рядом с государством, которому с таким трудом дается преодоление его исторической закостенелости, ставятся органы свободной трудовой общественности, чуждые всякой искусственной и механической подневольности, естественно и спонтанно возникающие из общности функций и интересов в производстве и распределении. И само государство при этом все более и более превращается из самодержца в посредника; на его долю выпадает по преимуществу размежевание сфер и взаимное согласование всех этих переплетающихся общественных группировок,

пересекающихся социальных кругов, устранение возможности их столкновений, приведение к высшей гармонии их функций; — гармонии, продиктованной в последнем счете интересами всестороннего развития трудовой личности, свободной творческой индивидуальности; и в этом смысле вопрос о социалистическом государстве есть лишь вопрос об «увенчании здания» социализаторской системы, о его «последнем слове» в организационном смысле, о высшем достижении в области согласования интересов человеческой личности и коллектива во всех его формах и видах.

---

К этим выводам социализм приходил не сразу. Он начал с противопоставления взаимно друг друга исключających односторонне-монистических, точнее — симплицистских теорий. Затем он медленно подвигался к синтезу путем взаимных уступок, которые делались ими друг другу.

Со стороны политического социализма первый самый серьезный шаг в смысле радикальной переработки его в духе надлежащей широты был сделан, если не ошибаюсь, Жоресом. С присущей ему широтой идейного размаха, но недостаточной четкостью и определенностью, он высказал ту общую и несколько схематическую мысль, что в социалистическом обществе государство для непосредственного распоряжения производством должно будет пользоваться, как органами, рабочими синдикатами, а для распределения, — кооперативами.

Со стороны «самодовлеющего синдикализма» в качестве встречного шага надо рассматривать в особенности выработанный Всеобщей Конфедерацией Труда проект социализации железных дорог. Основная идея этого проекта — переход управления ж. д. в руки самих непосредственно заинтересованных элементов. Эти последние распадаются на два разряда: пользователей (пассажиров, отправителей и получателей товаров) и производителей (техников, служащих и рабочих). Первая категория лучший судья в вопросе о тех общественных потребностях, которые должны быть удовлетворены ж. д. службой; вторая — лучший судья в вопросе, о средствах и способах удовлетворения этих потребностей; объединение этих элементов в один правящий организм дает то, что необходимо для здорового управления: всестороннюю компетентность и ответственность. Первая категория имеет свои объединения: путешествующие имеют свои клубы, вроде Touring Club de France, отправители товаров — свои коммерческие палаты, получатели (потребители) товаров свои кооперативы. Вторая категория также: рабочие — свои синдикаты, техники — свои союзы. Делегаты всех этих учреждений и должны образовать «центр, службу ж. д.», выбирающую свой Центр. Исполнительный Комитет, находящийся в связи с местными комитетами, стоящими на страже местных нужд. Этим достигается и единство, и децентрализация управления. Наконец, кроме контроля избирателей, все дело находится еще под постоянным контролем общенационального организма, стоящего на страже интересов целого.

Насколько при этом сближаются в формулировках представители поли-

тического социализма и синдикализма — показывает наглядно хотя бы новый текст программы английской «Айлпи» (Независимой Рабочей Партии). В ней устанавливается для будущего, что «внутреннее заведывание в каждой промышленности должно находиться в руках занятых в ней производителей — администрации, рабочих и техников — в соединении с представителями организованных потребителей». Другой пункт той же программы гласит, что «источником гражданского распорядка жизни должна быть совокупность всех граждан, проявляющих свою власть, в лице представительного национального собрания, избираемого непосредственно народом», с тем добавлением, что это национальное собрание должно «координировать свою власть с властью центрального учреждения организованных производителей и потребителей».

Еще раньше с аналогичным решением проблемы выступил, так называемый, «гильдейский социализм». В своей книге «Die Sozialisierung, ihre Wege und Voraussetzungen» Г. Штре-бель характеризует гильдеизм, как «своеобразный синтез синдикализма и демократии». И сами «гильдеисты» устами Ореджа характеризуют свою позицию, как срединную между «государственным социализмом или коллективизмом и синдикализмом». «При современном положении вещей — говорит Кол — мы заодно с коллективистами в требовании перехода индустрии в собственность нации», при условии, что управление ею будет находиться в руках автономных хозяйственных корпораций или гильдий; полные хозяева внутренних распорядков в своем производстве, гильдии регулируют однако при участии государства все свои взаимоотношения с внешним миром. Недостаточно доселе отмечено лишь, что гильдейский социализм представляет собою также попытку синтеза синдикализма и кооперативизма. Ибо гильдия по своей природе есть частичная кооператизация старого профсоюза, тред-юниона. Гильдеизм заменяет тред-юнионизм — индустриал-юнионизмом. Г. Штребель правильно отмечает, что гильдии, после соответственной трансформации, должны функционировать, «как производительные товарищества». В виду этой цели гильдия, по Гобсону, охватывает «тех, кто работает головой, и тех, кто прилагает свою физическую рабочую силу. Управляющий, директора, специалисты-организаторы, химики, инженеры, техники, обученные рабочие и чернорабочие — каждый, кто может трудиться — все они включаются в число сочленов». Революционные профсоюзы имели целью свергнуть капитализм: гильдии предназначены для того, чтобы его заместить.

Идя в том же русле, еще более разработанную и детализированную социализаторскую «конституцию» представляет собой избирательная платформа австрийской социал-демократии (Ее обоснованию и посвящена известная коротенькая, но содержательная брошюра Отто Бауэра «Dt Weg zum Sozalsmus»). Она гласит:

«Каждая обобщественная отрасль производства управляется совершенно независимым от правительства «советом» или «правлением». Он образуется следующим образом: треть его членов составляют представители государства, избранные национальным собранием, но не из собственной среды. Другая треть составляется из представителей занятых в предприятии рабочих, служащих и технического персонала, избранных их профсоюзами и объединениями. По-

следняя треть состоит из представителей потребителей. В правлении отрасли производства, изготавливающей сырые материалы, в качестве доверенных людей от потребителей состоят представители предпринимателей и рабочих тех отраслей производства, которые это сырье перерабатывают. В правлениях отраслей производства, изготавливающих предметы потребления, представители потребителей избираются потребительскими обществами.

«В компетенцию составленного таким образом совета предприятия или правления его входит руководство всею обобщественною отраслью производства; правительство не имеет права непосредственного вмешательства в это управление. В особенности компетенции совета подлежат: назначение ответственных руководителей отдельных предприятий, установление цен, заключение договоров с профессиональными союзами рабочих и служащих, распределение прибыли».

«Прибыль всякой обобщественной отрасли производства утилизируется следующим образом: треть поступает в казну, треть распределяется между рабочими, служащими и техническим персоналом, как доля их участия в прибыли, и последняя треть, в случае необходимости, идет на увеличение или техническое усовершенствование предприятия, если же в нем нет надобности, то на удешевление товарных цен.

«Руководство отдельными предприятиями находится в руках технических специалистов или «торговиков» при законодательно регулируемом содействии заводских комитетов из выборных от рабочих, служащих и технического персонала. Из управления изгоняется всякий бюрократизм. Основное положение, что всякий прирост дохода в своей трети применяется на повышение вознаграждения рабочих, служащих и технического персонала, поощряет интенсивность труда и экономию в использовании материалов и средств производства. Техническим специалистам может быть обеспечено участие в прибылях предприятия».

Те же начала, хотя в смягченном виде, кладутся и в основание внутренней конституции отраслей производства, находящихся в переходном положении.

«Те отрасли производства, которые еще не дозрели до социализации, организуются в индустриальные синдикаты. Всякий синдикат охватывает все предприятия соответственной отрасли производства. Индустриальные синдикаты вступают на место современных картелей, трестов, центров и военно-промышленных комитетов.

«Во главе каждого синдиката стоит правление, четверть членов которого составляют выборные от предпринимателей данной отрасли производства, четверть от государства, четверть от рабочих, служащих и техников, и четверть — от потребителей».

«Индустриальный синдикат должен заботиться о техническом развитии промышленности и понижении стоимости производства посредством учреждения лабораторий, опытных приемочных бюро, посредством выработки нормальных типов производимых товаров, и распределения между разными предприятиями специальных разновидностей этих товаров. Чтобы избежать конку-

ренции между отдельными предприятиями и экономизировать для общества издержки на борьбу между конкурентами, синдикат сосредоточивает в своем центральном бюро закупку сырых материалов и сбыт товаров. Синдикат регулирует сумму производимых продуктов, приспособляясь к спросу, во избежание тяжелых кризисов. Синдикат определяет товарные цены, сообразуясь с тем, чтобы прибыль предпринимателя была бы эквивалентна вносимой им в дело организаторской работе. Синдикат заключает с профсоюзом работников и служащих данной отрасли коллективные договоры, имеющие обязательную силу для всех отдельных, входящих в него предприятий. Расходы по содержанию управления синдикатом падают на предпринимателей.

«В рамках предписаний синдиката управление отдельными предприятиями остается за их хозяевами. Участие в управлении рабочих выборных комитетов регулируется особым законом.

«Одной из главнейших задач индустриальных синдикатов является сосредоточение производства в наиболее технически совершенных предприятиях. Синдикат получает право совершенно закрывать более отсталые предприятия и переносить их долю в национальном производстве на более передовые предприятия, за счет которых вознаграждаются собственники закрытых предприятий. По завершении концентрации всего производства данной отрасли в немногих технически совершенных предприятиях, наступает ее черед быть социализированной. Организация всей индустрии в единый синдикат является таким образом переходной ступенью к ее социализации».

Мы привели этот план *in extenso* только для того, чтобы дать примерную картину плана социализации, продуманного детально и потому особенно яркую и наглядную. Мы не думаем, однако, чтобы здесь был возможен какой-то единый шаблон для всех стран, всех отраслей производства. Детальные планы могут варьироваться в зависимости от условий места и времени, от степени фактического (а не номинально-формального только) демократизма государства, от степени прочности навыков к местному самоуправлению, от степени профессиональной и кооперативной выучки трудовых слоев населения. Австрийский, английский, французский варианты могут оказаться предпочтительнее в зависимости от разнообразия всех этих и иных условий; мыслимы и иные, новые варианты. Важны не детали, а общие принципы, лежащие в основе всех этих расходящихся в подробностях планов.

Эти общие принципы ясны. Отрешаясь от однобоких концепций государственного социализма, синдикализма и кооперативизма, они представляют собою *высший синтез* этих концепций. В этом синтезе – душа *социализации* в отличие от прежних проектов «национализации», «огосударствления» и т.п. *Синтетичность* вообще является основной чертой, душой конструктивного социализма.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### Профессиональные союзы и советский строй

На первый взгляд может показаться непонятным: каким это образом в рядах русского коммунизма, погибавшего от бюрократического вырождения, не явилось и мысли — передать, на каких-нибудь автономно-договорных началах, заведывание производством — профессиональным союзам, а контроль за качеством продукции и заботу о снабжении — национальной организации кооперативов? Ответ на этот вопрос дает, во-первых, история так называемой «рабочей оппозиции», и, во-вторых, история большевистских экспериментов над профессиональным и кооперативным движением.

Рабочая оппозиция представляла собою попытку логически развить синдикалистские элементы, в зародышевом виде содержащиеся в программе самой российской коммунистической партии (Р. К. П.).

«Организационный аппарат обобществленной промышленности — говорилось там — должен опираться в первую голову на профсоюзы... Они должны все больше освобождаться от цеховой узости и превращаться в крупные производственные объединения, охватывающие большинство, а постепенно и всех поголовно трудящихся данной отрасли производства... Будучи уже, согласно законов советской республики и установившейся практики, участниками всех местных и центральных органов управления промышленностью, профсоюзы должны придти к фактическому сосредоточению в своих руках всего управления всем народным хозяйством, как единым хозяйственным целым»...

Рабочая оппозиция, возглавленная первоначально Шляпниковым и Коллонтай, полагала, что добивается лишь выполнения этого пункта программы. Для «фактического сосредоточения в руках профсоюзов всего управления всем народным хозяйством», она предложила определенную правовую форму: «организация управления народным хозяйством принадлежит *всероссийскому съезду производителей*, объединяемых в профессиональные и производственные союзы, которые *избирают центральный орган*, управляющий всем народным хозяйством».

От *синдикализма* концепция эта отличается, во-первых, присущим ей централистическим началом, и, во-вторых, отсутствием претензий *заместить* собою все государственные органы.

Синдикализм есть последовательная демократия, но только основанная не на объединении людей просто, как *граждан*, по простейшему «горизонтальному» признаку *территориального соседства*, но на объединении их, как *производителей*, по «вертикальному» принципу рода занятия. Он претендует охватить все необходимые социальные функции, и потому сделать совершенно излишнюю территориально-политическую организацию. Гильдеизм уже отрешается от исключительности синдикализма и стремится к сожителству, к сотрудничеству государства и производственных гильдий на началах разделения труда и равноправия. В этом пункте большевистская рабочая оппозиция была бли-

же к гильдеизму, чем к синдикализму. Но, повидимому, она даже не доходила до полного гильдеизма. Гильдеизм лишает «государство» всякого «суверенитета» над другими формами социальных сочетаний; если он говорит порою, что это *primus inter pares* (первый среди равных), то логическое ударение ставит не на «первенстве», а на «равенстве»; и «первенство», «первородство» здесь берется не в смысле «верховенства», большего объема прав, а лишь в смысле большей *общности охвата*, большей элементарности отправляемых государством функций; так, напр., с точки зрения чистого гильдеизма государство не может иметь претензий на верховную «координацию» или на роль «супрарбитра» при столкновении интересов или конфликте между национальными организациями производителей и потребителей. Если люди, сорганизованные, как граждане, как потребители и как производители, нуждаются в какой-то обобщающей, «всепокрывающей» или «арбитражной» организации, то все эти перечисленные три основных вида организации должны быть представлены в ней на началах *равноправия*. Так далеко рабочая оппозиция заходить не решалась. Теоретически для нее характерны расплывчатость и неопределенность. По всей видимости, она рабочему государству отводила такую же верховную роль по отношению к чисто-производственной организации, какую отводила коммунистической партии по отношению к профсоюзам и кооперативам. Точно так же рабочая оппозиция не решалась и помыслить о создании заново вокруг профсоюзного ядра всей сети необходимых для управления производством чисто-экономических органов. «Рабочая оппозиция» — говорила Коллонтай — «не мыслит создать свои органы управления народным хозяйством, избранные на съезде производителей, и затем распустить совнархозы, главки, центры. Нет, она мыслит иное: подчинить эти технические и необходимые центры управления своему руководству, давать им теоретические задания, использовать их так, как в свое время фабриканты и заводчики использовали силы специалистов-техников». Все это чрезвычайно характерно для оценки проявленной рабочей оппозицией теоретической бесхарактерности и практической робости: она не решалась даже занести святотатственную руку на «главки» и «центры», за которые, правда, правоверные большевики тогда держались, но к которым уже медленными, но верными шагами подкрадывалась судьба, которая несла им то, чему Циперович дал имя «избиение младенцев». Наконец, последнее отличие: синдикализм был последовательною системою *экономического федерализма*. Рабочая же оппозиция ограничила все свое дерзновение по части начал демократизма и выборности — выделением верховного производственного центра на всероссийском «съезде производителей». В его распоряжение затем отдавался старый, достаточно бюрократический аппарат из семидесяти одного производственного главка и еще более многочисленной сети локальных совнархозов. Это на большевистском политическом жаргоне называлось «демократическим централизмом».

Как бы то ни было, все же при осуществлении программы рабочей оппозиции профессионально-производственная организация рабочего класса, как таковая, получила бы в советском строе более независимое и влиятельное положение. Тщетно вопияла рабочая оппозиция, что не пойти на это можно было

бы лишь при крайнем недоверии к рабочему классу. Этого было достаточно, чтобы оппозиция была обвинена в анархо-синдикалистском уклоне и полном разрыве с марксизмом и коммунизмом.

Ортодоксально-коммунистическое учение о соотношении между советским государством, осуществляющей «диктатуру пролетариата» партией и профессиональным объединением пролетариата, Ленин изложил следующим образом (См. Собр. Соч., т. XVIII, ч. I, стр. 8-9, 10, 37, 55, 126, 128, 132: 162 и т. д.). Профсоюзы хотя и являются, при диктатуре пролетариата, фактически «поголовной организацией правящего класса» или по крайней мере приближаются к такой поголовной организации, но именно поэтому они и не могут прямо и непосредственно осуществлять его диктатуру. Пролетариат во всей своей массе слишком несознателен, принижен; в его среде слишком сильны центробежно-индивидуалистические стремления; он в одних своих частях — низших — слишком мало обособлен (объективно и субъективно обособлен) от окружающей его мелкобуржуазно-анархической стихии, в других же — высших — слишком психологически подкуплен подачками капитала. Поэтому «диктатуру может осуществлять только тот *авангард*, который вобрал в себя революционную энергию класса». Кто же является этой «концентрированной вытяжкой», этим революционным экстрактом класса? Истинно-пролетарская политическая партия. «Получается такая вещь, что партия, так сказать, вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру пролетариата». *Орудием* осуществления диктатуры является советский аппарат. Какова же, по отношению к партии и к находящемуся в ее руках советскому аппарату, роль профессиональных союзов? Это, во-первых, — «приготовительный класс»; это, во-вторых, «резервуар государственной власти». В качестве приготовительного класса, профсоюзы есть «организация воспитательная, организация вовлечения, обучения»; они превращают массу в организованную периферию партии, все время находящуюся в сфере влияния и руководства этой последней; благодаря такому руководству, из профсоюзов выходит «школа управления, школа хозяйничанья, школа коммунизма». В качестве же «резервуара власти», профсоюзы являются поставщиками человеческого материала для советского аппарата. Итак профсоюзы, создавшиеся при капитализме, как органы борьбы за классовые интересы рабочих, в переходный период от капитализма к коммунизму являются подготовительной школой и резервуаром власти; что же касается до самого социалистического или коммунистического строя, то Ленин просто заявил, что функции их и самое бытие в этом будущем «стоит под знаком вопроса; пусть об этом поговорят наши внуки». Трудно сказать, искренно ли не понимал Ленин «рабочей оппозиции» или немножко напускал на себя это непонимание, но они «были варварами друг I для друга», они говорили на разных языках. Рабочая оппозиция обвиняла правящее большинство в явном *недоверии к рабочему классу*, ярким выражением этого недоверия она считала нежелание дать низовой профессионально-производственной организации рабочих, *как таковой*, достаточно правомочную роль в деле управления производством; Ленин же отбрасывал этот упрек, как дикий и нелепый; «всякого скольконибудь сносного организатора из рабочих мы ищем,

испытываем, мы рады его взять», — говорил он, и в подтверждение давал статистику, по которой рабочие составляли 57,2% всего персонала президиумов Всероссийского и губернских совнархозов, 51,4% персонала коллегий главных управлений, отделов, центров и главков, и 63,5 % всего персонала коллегиальных и единоличных фабрично-заводских управлений. Это, по «сенатскому разъяснению» Ленина, и означает «*фактическое* сосредоточение» в профсоюзных руках «управления производством», в отличие от синдикалистского *формального* закрепления административных функций в области экономики за ними, как таковыми. Шляпников выставлял от лица оппозиции лозунг: «осоюзим государство!» Ленин отвечал лозунгом: проведем достаточное «орабочение административного персонала» всех экономических учреждений; что же сверх того, то от лукавого и представляет собою «синдикалистский уклон». Рабочая оппозиция не видела иного способа борьбы с бюрократизмом, как изменение *системы*; Ленин призывал довольствоваться *освежением личного состава*. Однако «закомиссарившиеся рабочие» оказались не менее интеллигентов способными бюрократизироваться и отрываться от массы, и в этом случае получался худший вид советских бюрократов: зазнавшиеся выскочки.

Ясно, что выбор между изменением системы или личного состава обусловливается исключительно доверием или недоверием к рабочему классу. Суть вопроса в том и заключалась: можно ли самой «поголовной организации» рабочего класса доверить выделение из своей среды тех шестидесяти процентов ответственных руководителей хозяйства, которым официальная статистика приписывает рабочее происхождение, или это будет неосторожно и отбор надо будет производить извне, по признаку «личной годности» устанавливаемой «сверху», т.е. придерживаясь «назначенства». В этом смысле, в вопросе факта, права была оппозиция против Ленина, а не Ленин против оппозиции. Другой вопрос, не был ли прав против оппозиции Ленин в вопросе *существа*: был ли в тот момент русский пролетариат достаточно зрел, и были ли в тот момент русские профсоюзы достаточно солидными организациями, чтобы представлялось возможным наделить их такими расширенными полномочиями в области заведывания производством. Для ответа на этот вопрос требуется ближайшее рассмотрение вопроса об истории и фактическом состоянии русского профсоюзного движения.

В конце концов Ленин, вопреки собственным заверениям, сам должен был откровенно признаться, что на его взгляд современное состояние русского пролетариата не дает возможности рискнуть на «вотум доверия» ему. Он рискнул высказать всю *жестокую правду*. «Вы подумайте: ясно, что наш пролетариат в большей части своей деклассирован, что неслыханные кризисы, закрытие фабрик привели к тому, что от голода люди бежали, рабочие просто бросали фабрики, должны были устраиваться в деревне и переставали быть рабочими». Что же касается неразбежавшихся рабочих, то они в условиях разрухи хозяйства «не были избавлены от необходимости при изыскании средств к существованию прибегать к приемам не пролетарским, а спекулянтским, мелкобуржуазным, которые являются самой большой экономической опасностью для нас»... Таково хотя бы самовольное производство рабочими на общественных

фабриках в свою пользу различных ходких изделий, таков анархический «обмен каких-нибудь мелких продуктов, изготовляемых на больших заводах — каких-нибудь зажигалок — на хлеб, когда рабочие голодают и когда хлеба не подвозят». Он мог бы привести еще в пример использование рабочими дарованного им монопольного права привозить с собою по жел. дор. до 1 1/2 пудов муки: эти «полуторапудовики» являлись в городах самыми типичными мелкими спекулянтами. «В силу печальных условий нашей действительности пролетарии вынуждены прибегать к способам заработка не пролетарским, не связанным с крупной промышленностью, а мелко-буржуазным, спекулятивным; и путем ли хищений, путем ли частного производства на общественной фабрике добывать продукты себе и эти продукты обменивать на земледельческие»... Диктатура пролетариата, говорит Ленин, предполагает, чтобы пролетариат «себя, как класс, чувствовал прочно, чтобы чувствовал почву под ногами. *Но эта почва исчезает.* Вместо работающей непрерывно крупной промышленной фабрики пролетарий видит другое. И он принужден выступить в сфере экономической, как спекулянт и мелкий производитель». «Пролетариат деклассирован, т. е. выбит из своей классовой колеи. Стоят фабрики и заводы, ослаблен, распылен, обессилен пролетариат!» «Поскольку разрушена крупная промышленность, — *пролетариат исчез.* Он иногда формально числился, но не был связан экономическими корнями... перестал существовать, как пролетариат!» (Собр. Соч., т. XVIII, ч. I, стр. 355, 375, 264). Хорошую иллюстрацию к последним, на первый взгляд загадочным словам о «формальном», «лишь числившемся», но не имевшем «экономических корней» пролетариате дает Томский. «Перебои в снабжении сырьем и топливом вели к полной дезорганизации предприятий и большинство их не жило, а только дышало». Так, «сокращение топлива для предприятия на 50% вело к падению производительности такового не на 50%, а на 75—80%». Закрытие части предприятий не вполне являлось выходом из положения, ибо даже закрытое предприятие для охраны орудий производства от расхищения и разрушения требовало значительных сил, а необходимость оставления основного кадра, необходимого на случай пуска предприятия (инструкторский персонал, ремонтные и наиболее квалифицированные рабочие) доводило порою количество рабочих, оставшихся при закрытых предприятиях, до 20—25% нормального штата». («Профсоюзы на новых путях», Москва, 1922, стр. 14). Эти «не живущие, а лишь дышащие», а также летаргически спящие заводы с группами «консерваторов» их, этих бездействующих государственных нахлебников — при выборах в советы для большевиков, естественно, играли ту же роль, какую для английских ториев в свое время играли знаменитые «гнилые местечки».)

Экономическая политика, которая привела к таким результатам, очевидно, была самоубийственна, и горькая правда о разложении и вырождении русского пролетариата, высказанная, наконец, Лениным (меньшевики и эсеры, как он сам признает, вопияли о ней давно), — есть слишком большая «посылка» для сделанного Лениным ничтожного вывода. Ленин по существу, сам того не замечая, доказывает полную абсурдность в таких условиях «диктатуры пролетариата» в настоящем смысле этого слова. Он подписывает смертный приговор

всей своей программе. Перескочить через этот смертный приговор можно только одним способом. *Nic Rhodus, hic salta*. Всякий класс может осуществлять свое господство либо сам, как целое, демократически самоорганизованное хотя бы в собственных узких рамках; либо, если он находится в состоянии разложения и деморализации, но не желает сдать власти другому классу, он имеет последнее средство: вручить власть и над страной, и над самим собой какому-нибудь властному диктатору, опекуну. К этому случаю и относятся слова Ленина о «непререкаемом опыте истории», что в революции «выразителем, носителем и проводником диктатуры классов» часто бывает «диктатура отдельных лиц», и что единичные диктаторы при известных условиях необходимее и больше могут сделать, чем непосредственно представляемые ими классы, не исключая и классов революционных. Диктатура, — уже не «безличная диктатура класса», а личная диктатура кучки, — кружка, котерии — вот что выдвигает Ленин против рабочей оппозиции. Не все сразу решились пойти за ним по этому пути.

Попытку пойти (вопреки Ленину), до известной степени навстречу домогательствам рабочей оппозиции, этим успокоить, поглотить и ассимилировать ее, сохранив на деле чисто-партийную диктатуру, — представляла выставленная Троцким и поддержанная Бухариным теория «производственной демократии». Положительная программа, выдвинутая Троцким, гласила о необходимости поставить перед профсоюзами «ясную и отчетливую задачу» — «обеспечения за союзами господствующего положения в хозяйственной жизни», для чего коммунистическая партия, в свою очередь, должна была «поставить перед собой и перед союзами задачу реорганизации, перестройки и перевоспитания союзов во имя этой цели». В деле этой реорганизации «необходимо теперь же приступить... прежде всего к подбору руководящего персонала под этим углом зрения». На V-й Всеросс. Конференции Профсоюзов Троцкий конкретизировал это так: «на ближайшем съезде мы будем совместно голосовать резолюцию, которая будет гласить, что профсоюзы должны непосредственно взять в свои руки управление промышленностью; но... для того, чтобы профсоюзы окрепли, чтобы снова стал мощным их организм, обескровленный войной и экономическими организациями, все время выкачивающими из профсоюзов работников, — для этого нужно при профсоюзах создать политические отделы, которые будут накачивать эти живые силы». Словом, как гласило брошенное Троцким крылатое словечко, союзы нужно «перетряхнуть». За то после этого можно будет наделить их широкими полномочиями: кандидатуры, выставляемые профсоюзами, во все правления, главки и центры можно сделать уже не факультативными, а обязательными; сначала на одну треть, затем на половину, а там, быть может, и на две трети эти места будут заниматься формальными делегатами профсоюзов. Этим путем Троцкий хотел примирить интересы рабочего персонала с интересами производства, за которые большевики не могли быть спокойны при передаче дела в руки самих работающих, считая несчастный опыт с фабзавкомаами слишком красноречивым для того, чтобы повторять его в еще большем масштабе с профсоюзами. Он заключал пышными словами: «производственная точка зрения ни в коем случае не может быть истолковываема, как

противостоящая идее рабочей демократии. Наоборот, рабочая демократия может расцвести только как производственная демократия».

Своим эклектизмом программа Троцкого не удовлетворила никого. Все, кто в рядах профсоюзов действительно чувствовал слабость к началам рабочей демократии, восстали против перспективы «бюрократического дерганья профсоюзов»: перед их глазами был опыт с установлением временной диктатуры сверху назначенного властью «политического отдела» в железнодорожном и вообще транспортном деле («Главполитпуть» и «Цектран»). В виду сильной антибольшевистской окраски ж.-д. и транспортных рабочих, там «бюрократическое перетряхиванье» состоялось без всякого протеста со стороны большевистских профсоюзников; но сами они такой же операции подвергаться отнюдь не желали, прекрасно понимая, что «или профсоюзы, как таковые, должны уступить место политотделам, или политотделы должны раствориться в профсоюзах»; мирный «параллелизм» здесь невозможен (См. доклад правоверного ленинца Рудзутака, стеногр. отчет V-й Все-росс. конф. профсоюзов, Москва, 1921 г., стр. 69). Что же касается до Ленина и его правоверных последователей, то лозунг «производственной демократии» они отвергали принципиально, как внутренне несогласованный, ибо «производство нужно всегда, а демократия не всегда»; они находили, далее, что «перетряхиваньем» профсоюзов не искупаются сулимые после этого уступки синдикализму; сторонников же Троцкого и Бухарина Ленин и «правоверные» насмешливо упрекали в том, что они заигрывают с демократизмом, «еще сапог не износивши с тех пор, как проповедывали единоличие и диктатуру на фабриках и заводах».

В борьбе с Троцким по этому вопросу Ленин не упустил случая упрекнуть его в «бюрократическом дерганьи» профсоюзов. Было бы, однако, отсюда ошибочно заключить, будто Ленин сам уважал автономию этих последних. Было время, когда в борьбе за единоличную диктатуру на фабриках Ленин и Бухарин терпели поражение даже в собственной коммунистической фракции съезда профсоюзов. Тогда Ленин не поколебался «отозвать» одних временно, других навсегда — с профсоюзной работы — Томского, Рязанова, Шляпникова и Юренева, т. е. фактически обезглавить тогдашнее профессиональное движение (из которого меньшевики и эсеры были уже выброшены ранее) и «прикомандировать» к нему Бухарина и Радека. В ответ на протесты Ленин недоумевал: «Как? Ц.К. не имеет права *прибавить к профсоюзу* людей, которые могут иметь воздействие на неправильную линию? Ц. К., который бы этой задачи не выполнил, не мог бы управлять!» «Профессиональные союзы являются воспитателями (массы) и с них спрашивается строго. Плохого воспитателя Ц. К. не потерпит» (Собр. соч., т. XVII, стр. 84—85). Итак, нормальное положение — когда профсоюзы «фактически проводят все директивы партии»; без этого нельзя, ибо «профсоюзы, как *начатки* классового объединения», «*были* в начале капитализма для рабочих гигантским прогрессом», то после создания «высшей формы классовой организации, революционной партии пролетариата», «профсоюзы стали неминуемо обнаруживать некоторые реакционные черты, некоторую цеховую узость, некоторую склонность к аполитизму, некоторую косность и т. д.»; и «некоторая реакционность профсоюзов, в указанном смысле, неизбежна

при диктатуре пролетариата» (Там же, стр. 141.). Потому то и «неизбежно огосударствление профсоюзов». Наконец, так как в борьбе революции с реакцией все позволено, то при отвоевании профсоюзов от оппортунистских вождей до диктатуры надо «всячески вытеснять их оттуда, сделать им работу в профсоюзах возможно более неприятной, оскорблять, травить, преследовать их. Надо... пойти на все и на всякие жертвы, даже — в случае надобности — пойти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды, лишь бы проникнуть в профсоюзы, остаться в них, вести в них во что бы то ни стало коммунистическую работу» (Там же, стр. 145). Нечего и говорить, что установление «диктатуры пролетариата» дало в руки большевикам еще более простые средства «завоевания профсоюзов», причем они могли доказать всем осязательно, что «плохого воспитателя Ц. К. не потерпит»... (Кроме общеизвестных фактов раскассирования союза печатников в Петербурге и Москве, истории с Моск. союзом служащих, расколом ж. д. союза и др., приведем несколько менее известных примеров, оглашенных когда-то Лозовским. Телеграфистам Ряз. Ур. ж. д., желающим устроить съезд «ж. д. комиссар» сначала запрещает это, ибо «телеграфисты еще недостаточно надемократизировались и смотрят сквозь очки Учредилки»; а затем разрешает под условием «слияния в данном союзе железнодорожников и пролетариев с классовым оттенком пролетарского коммунизма». В Орловской губ. ж. д. комиссар разослал по ж. д. телеграмму: «Орловский районный телеграфный комитет распущен партией коммунистов, вместо которого избран из коммунистов революционный районный комитет, так как в настоящий момент вся власть принадлежит только партии коммунистов, на основании декрета народных комиссаров, где сказано: все комитеты должны состоять только из коммунистов. Орловский же телеграфный комитет кроме того, что заявляет себя беспартийным, является явным противником советской власти. На основании вышесказанного заявляю: беспартийным комитетам в сов. России места нет». Вышневолоцкая коммун. ячейка телеграфно предлагает: «требовать немедленного роспуска укрывшихся противников социальной революции под флагом профсоюзов, с немедленной заменой коммунистами, явными борцами за социализм». Комиссар движения Сев.-зап. ж. д. телеграфирует: «Предлагаю к 12 час. дня 6 дек. представить поименные списки служащих, желающих войти в единый произв. союз С.-З. ж. д.». (Стен. отчет II-го Всер. съезда профсоюзов, стр. 64-65). Коммунист Рязанов на той же конференции смеялся по поводу «нескольких телеграмм», которые Лозовский преподнес из своего «большого запаса», заявляя, что запас этот у лидера большевистского профдвижения, Томского «в четыре раза больше», (что подтверждал и сам Томский), но что их нисколько не смущает. Это — маленькие эксцессы необходимого по существу «огосударствления профсоюзов».)

---

Все эти споры вводят нас в самую сердцевину вопроса о том, во что превратилось при советском строе профессиональное движение, которому большевики претендовали указать новые пути, тем самым придав ему гораздо больший

размах и открыв перед ним новые горизонты.

«Подобно тому, как наша коммунистическая партия указала путь всему миру, и по ее образцу и подобию образуются во всей Европе коммунистические партии, — подобно этому и наши профессиональные союзы играют такую же роль в общемировом профессиональном движении... Ни одно профессиональное движение, ни один тип профессионального движения, выработанный Зап. Европой и Америкой, не может в этом отношении сравниться с нашим профессиональным движением. И это мы не в качестве хвастовства говорим, а как бы констатируя никем не подлежащий оспариванию факт. Наши решения тех проблем, которые выдвинуты мировым профессиональным движением, являются новыми словами для Зап. Европы; их мы выработали на практике, тогда как для Зап. Европы они еще не поставлены даже теоретически; и потому мы сами увидим, что западно-европейский пролетариат будет учиться на нашем опыте».

Так на II-м съезде профсоюзов, в январе 1919 г., от имени центр. комитета РКП говорил Бухарин.

«С другой стороны — вторил ему на том же съезде другой оратор от фракции коммунистов, Янсон — мы ни в коем случае, никоим образом не можем воспользоваться в своей деятельности чем-либо подобным из практики Зап. Европы и Соед. Штатов. Мы являемся пионерами, которые должны прокладывать совершенно новые пути в профессиональном движении, которые являются совершенно незнакомой санскритской азбукой этим людям, привыкшим зубами и когтями держаться за старые методы».

Эти беспримерные по своей грандиозности — можно сказать, по *мании величия* — притязания коммунистических вождей русского профессионального движения представляют в истории последнего, действительно, новшество. До него господствовал тот взгляд, что ни одна страна в области профессионального движения не вправе претендовать на какую-то исключительно-руководящую, учительскую роль по отношению к другим. Обращаясь от настоящего к прошлому, мы можем видеть несколько резко очерченных своеобразных национальных типов профессионального движения. С одной стороны — тип англосаксонской — умеренный и аккуратный тред-юнионизм старого образца. С другой — тип романский — аполитический революционный синдикализм. Далее тип бельгийский, с политической рабочей организацией, включающей в себя, как составные опорные элементы, и синдикальную, и кооперативную организацию. Наконец, тип германский, с тщательным их размежеванием при стремлении к идейной гегемонии партии. На особенностях этих типов отражались и особенности исторически выработавшегося национального характера, и особенности хозяйственного прошлого и настоящего соответственных стран. Уже по одному этому ни один из них не мог быть чисто механически пересажен на иную национальную почву. Но и этого мало. Каждое из этих движений представляло известную совокупность как положительного, так и отрицательного опыта. И потому друг для друга они являлись как бы школой взаимного обучения. Все и каждое должны были учиться друг у друга, и ни одно не могло претендовать только учить. И естественно. Интернационализация профессионального движения состоит не в предоставлении одному из его уча-

стников «папского престола» и не в послушном следовании за ним всех остальных. Это есть союз равных для сотрудничества и для общего искания путей. Ибо профессиональное движение, как и всякое другое, продолжает развиваться вместе с не знающей остановки жизнью; в нем еще не сказано последнего слова и не выработано застывшего канона. В нем происходит только постоянное, прочное накопление истин живого практического опыта.

Потому-то в настоящее время бывшие типически-национальные особенности указанных типов постепенно сглаживаются. Резкое расхождение сменяется сближением. Кое-что из «национального» утрачивается, как не оправдавшее себя перед экзаменом жизни, кое-что делается вкладом данной нации в сокровищницу совокупного международного опыта. В этом — глубочайшее содержание внешнего международного объединения: внутренняя интернационализация профессионального движения путем *синтеза*.

Что и на русском опыте «западноевропейский пролетариат будет учиться», — сомнения нет. Но он будет учиться не только тому, как надо вести борьбу рабочих в формах профессиональной организации, но (пожалуй, еще больше) и тому, *как не надо* ее вести. Он сумеет отличить в русском движении и специфически-национальное от общеприменимого. Что же касается того молодого задора, с которым нынешние руководители этого движения навязывают свои методы «всему миру» и требуют у него самоперестройки «по своему образу и подобию», то серьезно об этом трудно разговаривать. Это просто — признак крайней незрелости. Мыслим только один способ проявить еще большую незрелость: это — согласиться в других странах рабски их копировать.

Молодость и незрелость вообще являются самыми типическими и легко объяснимыми чертами русского профессионального движения. Это — не тайна и для самих русских коммунистов. Так, хотя бы в изданном ими «Спутнике профессионалиста на 1922 год» можно найти признание, что «особый характерный отпечаток на русское рабочее движение» был наложен тем, что оно «почти не знало школы самостоятельности в рамках политической демократии», и что быстрый рост капитализма застал трудящиеся массы России «на страшно низком культурном уровне». Результат был ясен: «легкая возбудимость широких рабочих масс, способность их быстро мобилизовать свои силы во имя наиболее революционных лозунгов преобладали в нем за счет уменьшения способности этих масс планомерно, организованно и настойчиво добиваться намеченных себе целей; широкий, но быстро спадавший порыв преобладал в нем за счет медленного, но прочного организационного строительства, рассчитанного не только на праздничные дни побед, но и на прозаические будни упадка и поражений». Но надлежащих выводов из этого они не сделали.

Что в русском рабочем движении вообще, и профессиональном в частности, действительно, преобладает стихийность, а потому — порывистость и скачкообразность, легко видеть из объективных фактов и цифр. Они рисуют выпукло всю кривую развития движения. Периоды внезапного головокружительного подъема сменяются в нем эпохами быстрого и полного упадка. Во время подъема рост организационного закрепления не успевает идти в ногу с фактическим развертыванием рабочей борьбы. Во время упадка и эти недоста-

точно широкие и прочные организации быстро хиреют и отмирают. В период подъема фантазия уносит борцов гораздо дальше фактической меры их сил, и влечет их к поражениям. В период упадка им часто не хватает выдержанности, и в атмосфере полного разочарования работа замирает, уступая место платонически-бездейственным мечтам о новом будущем подъеме.

Недаром Лозовский характеризовал русское профдвижение, как «рожденное в первую революцию, возрожденное во вторую». До первой революции его нет; в промежутках между двумя революциями оно впадает в летаргию. И самая экономическая борьба рабочего класса в колоссальной степени зависит от толчков, даваемых общеполитическим революционным брожением. Так, в десятилетие 1895 – 1904 гг. рабочие заведений, подчиненных надзору фабричной инспекции, в среднем имели ежегодно 176 забастовок с 43.125 чел. участников. В революционный 1905 г. число забастовок скачет сразу вверх, до 13 с лишним тысяч, число участников — до 2 миллионов 709 тысяч! По мере того, как идет на убыль политический кризис, последовательно, с году на год, падает и забастовочное движение: с 13 до 6, до 3 1/2 тысяч, до 840, до 340 забастовок в год; число участников падает не менее быстро, с 2,7 милл. до 1 с небольшим, до 470, до 176, до 64 тысяч человек...

После пятилетия реакции, наступает новый подъем забастовочной волны, и столь же стремительный: в 1911 г. бастовало уже больше 100 тыс., в 1912 г. — больше 700 тыс., в 1913 г. — уже свыше миллиона человек. Война снова радикально меняет картину, увлекая движение вниз, революция 1917 г. опять бросает его вверх. Всюду — непрочность, непостоянство, всюду царство стихии, сюрпризов, неожиданностей... До 1905 г. о профсоюзах почти не слышно; в 1905 г. они растут, как грибы; но рост их — бумажный и непрочный; 2—3 митинга, на которых, под влиянием ораторов, решают образовать профсоюз; для него не оказывается ни опытных инструкторов, ни членов правления, ни секретарей, знающих технику дела; на первый взгляд — организован сразу чуть ли не весь пролетариат, вплоть до самых отсталых, в Европе почти не поддающихся организации профессий; на проверку, не организован почти никто, и фактически бумажное образование профсоюза — не больше, как расписка в пробуждении элементарного классового чувства среди рабочих данной профессии...

В последней революции воскресла та же картина. Перед февральскими событиями 1917 г. в России профсоюзов почти не было. В июне, на третьей конференции, было представлено уже почти 1 1/2 миллиона организованных; в январе следующего года, на первом съезде — более 2,6 милл.; через год, на втором съезде — свыше 3 милл.; еще через год с небольшим — свыше 4,2 милл.; и еще через год — почти 8 1/2, миллионов! Не правда ли, какой беспрецедентный в истории «рекорд быстроты»? Но вот проходит еще два года, и левый коммунист Ларин нежданно открывает, что в Советской России всего пролетариата осталось меньше, чем числилось «организованных»: семь с половиной миллионов, считая в том числе и администрацию государственных торговых предприятий, и служащих по просвещению, медицине и т. п.; что из них организованных — 60%, т. е. около 4 1/2 милл. человек. Лидеру большевистского профдвижения, Томскому, приходится делать доклад на третьей сессии совета

красного Профинтерна, и он сообщает, что на 1 января 1922 года профсоюзы считали 6,75 милл. членов, на 1 янв. 1923 г. — 4 1/2 милл., а на 1 апр. того же года — менее 3 1/2 миллионов! Итак, сравнительно с 1921 г. приходится констатировать чудовищную убыль в пять миллионов человек, — уменьшение в два с половиною раза!

Тот же Томский должен был признать, что «история российского профессионального движения совершенно не знает профсоюзов с мощными стачечными фондами», что «технически они были всегда весьма слабы» и проявляли «известную долю непрактичности». За то — утешается Томский — для них характерен «энтузиазм революции». Кроме того, «в противоположность западноевропейским странам, где созданию социалистических партий предшествовало профдвижение, в России мы видим обратную картину. Профдвижение организуется уже существовавшими в дореволюционный период социалистическими партиями, главным образом — социал-демократической».

В этом последнем обстоятельстве коммунисты видят выгодную сторону русского типа развития профдвижения: из нее берет свое начало «единство экономики и политики». Какая наивность! Возможны два типа единства. Одно — это высший синтез, организационная координация двух движений, из которых каждое стоит на собственных ногах, каждое является зрелым, окрепшим, нашедшим свой путь. И другое — это примитивное смешение и нерасчлененность, основанные на неразвитости всех видов движения. Какое имело место в России — видеть не трудно. В конце девяностых и начале девятисотых годов политические организации сплошь и рядом брали на себя в России функции, обычно принадлежащие профсоюзам, вплоть до формулировки стачечных требований, выпуска стачечных прокламаций, бюллетеней, объявления стачки начатой и законченной. Затем, когда стало создаваться профдвижение, оно росло не снизу, а сверху, строилось не с фундамента, а с крыши. Различные «центральные бюро» возникали то и дело раньше, чем самые союзы, которые нужно было объединять этим «бюро». Затем, союзы бывали то ареной, где сводили свои счета фракции, на которые делилось социалистическое движение, то легальной вывеской, под которой в годы реакции пряталась, хотя довольно неискусно, чисто политическая подпольная работа.

Характерна, с этой точки зрения, и статистика стачек в год рождения русского профдвижения, в год бури и натиска, 1905-й; из 13 слишком тысяч забастовок, 5.366 было чисто-политических, 3.567 — смешанных и 4.207 — чисто экономических. В первых участвовало свыше 960 тыс. чел., во вторых свыше 700 тыс. и в третьих — несколько больше миллиона. Где еще «политика» так властно хозяйничала в области «экономики»?

Интересно, что и в недавнее время, когда (на бумаге!) русские профсоюзы численно выросли до размеров поистине гигантских, на их Всероссийских конгрессах делегаты обязательно делились на фракции, в соответствии с партийной принадлежностью; от фракций выдвигались ораторы, от фракций вносились резолюции, от фракций предлагались при выборах списки кандидатов. Ни о каком высшем синтезе экономики и политики здесь не может быть и речи. Экономика здесь просто съедается политикой, профессионализм подчинен пар-

тийности. Профессиональные организации — объект экспериментов политических партий. Профессиональные съезды и конференции — разграфленные доски, на которых фракциями разыгрываются между собою шахматные партии.

Одною из главных бед русского профессионального движения является отсутствие прочных организационных и идейных традиций. За его спиною нет истории. И потому разным экспериментаторам оно представляется чем-то вроде грифельной доски, на которой можно писать что угодно, стирать написанное целиком, и опять писать новое, ничем не связанное с предыдущим. Мы видели, что Бухарин провозглашал практику русского профессионального движения — «новым словом» для Европы. Но, не успело это «новое слово» раздаться, как в политике коммунистической партии произошел очередной крутой поворот: была провозглашена «новая экономическая политика», политика взаимоприспособления коммунизма с капитализмом. Соответственно этому Томский, вчера еще предлагавший профессионалистам всего мира копировать русский образец, производит в этом «образце» очередную коренную ломку. В брошюре «Профессиональное движение на *новых* путях», прежнее новое слово заменяется самоновейшим, а самоновейшее оказывается — возвратом к «хорошо забытому старому». Угнаться за этим зигзаг-курсом становится при таких условиях довольно трудно.

Вот почему представители двух других фракций русского социализма — соц.-дем. меньшевики и соц.-революционеры — рискуя собственной популярностью, предпочитали и предпочитают твердить русскому рабочему профессионалисту, что, прежде чем учить других, ему предстоит еще многому научиться от своих старших западных братьев, а всякое национальное хвастовство и фанфаронство нужно бросить. Время исключительных гегемоний в мировом рабочем движении вообще прошло. Последняя из этих гегемоний — фактическая гегемония германской социал-демократии и германского профдвижения, — рухнула во время войны. Кризис германской партии разросся в кризис Интернационала. Но мы горьким опытом идейно освободились от этой гегемонии не для того, чтобы воздвигать на ее месте новую, да еще вверять ее самому молодому и неопытному отряду мирового движения. Ибо при этом мы рискуем, что крах «русского опыта» разрастется в крах, в банкротство всего мирового рабочего движения.

---

Возрождение профессионального движения после мартовской революции 1917 г. теснейшим образом связано с двумя боевыми вопросами: о фабрично-заводских комитетах и о рабочем контроле.

В начале девятисотых годов царское правительство издало закон о фабричных старостах, который революционными организациями был насмешливо окрещен «законом о фабричных дворниках». Одни организации, подобно эсерам, призывали бойкотировать этот закон, другие (эс.-де.) пробовали, но довольно безуспешно, использовать его в агитационных целях. Старосты, советы старост, а в некоторых исключительных случаях, у более прогрессивных пред-

принимателей, даже фабрично-заводские комитеты существовали, таким образом, и до революции, но в общем этот институт — как подтверждает и официальная большевистская литература — «совершенно заглох под давлением полицейско-самодержавной реакции».

Мартовская революция, как мы видели, произвела среди реакционной части промышленников настоящую панику, и многие из них на первых порах бросили было свои предприятия на произвол судьбы. Это дало сильный толчок к образованию повсюду фабрично-заводских комитетов, и в следующий же месяц Временное Правительство буржуазно-кадетского состава поспешило их узаконить. Закон 23 апр. 1917 г. (министра торговли А. И. Коновалова) удовлетворил не всех, ибо он не вводил обязательности фабзавкомов, но требовал для их учреждения инициативного предложения 1/10 общего числа рабочих предприятия, умалчивал об их праве участия в найме и увольнении рабочих (это право предполагалось предоставить профсоюзам), фиксировал заседания фабзавкомов в нерабочее время и т. п. На этой почве возникла борьба, которая перешла в резкие формы, как, напр., в почти двухмесячную забастовку 100 тыс. кожевников Московского района.

Профессиональные организации, начинавшие широко разворачиваться, находились в это время под фактическим руководством меньшевистской соц. демократии. Исходной точкой для их развития были уцелевшие профсоюзы царского времени, которых насчитывалось всего 24, в немногих крупных центрах, с ничтожным количеством членов. Ожесточенная борьба, которую вели против меньшевиков и эсеров большевики в политической области, перекинулась и в область экономическую. Опорной точкой большевики избрали фабзавкомы. Оправдывая себя фактической слабостью постепенно организующихся и крепнущих профсоюзов и пользуясь этой слабостью, фабзавкомы под влиянием большевиков начинают захватывать целый ряд функций, составляющих естественную компетенцию профсоюзов, подкапываясь, таким образом, под них и лишая их существование всякого смысла. Фабзавкомы захватным порядком берут на себя не только наблюдение за правильным соблюдением условий договора, но и заключение самих договоров, разбор конфликтов между администрацией и рабочими, установление расценок, объявление и проведение стачек и т. п. Большевики делают из фабзавкомов самодовлеющую форму распяленного рабочего движения, локально-анархического, лишенного сдерживающих центров и потому гораздо более отзывчивого на всякую демагогию. Тщетно меньшевистские руководители профсоюзов, поддерживаемые эсерами, требуют либо размежевания функций профсоюзов с фабзавкомами, либо превращения фабзавкомов в дисциплинированные первичные ячейки профсоюзного объединения. Из большевиков аналогичную точку зрения решался защищать только еретик Н. Рязанов, оставшийся в рядах своей партии тогда одиноким. Большевики твердо укрепились на той позиции, что фабзавкомами «рабочее движение вышло из старых рамок и вступило на совершенно новый путь» — как было заявлено на первой петербургской конференции фабзавкомов. В провинции эти настроения сказывались еще ярче. Так, напр., на харьковской конференции фабзавкомов в конце 1917 г. (Протокол конференции опубликован в

приложении к брошюре Крейзеля, «Из истории профдвижения г. Харькова в 1917 г.») слышались такие речи: «Завкомы — это детища революции. Это новая сила, с которой надо считаться. Завкомы должны создать свой, независимый от профсоюзов центральный орган, который ведал бы и профессиональной, и политической стороной движения» (Ширяев, делегат завода Гельферих-Саде). «Когда профсоюзы хотят подчинить себе революционные завкомы, мы говорим: руки прочь! мы не пойдем по вашему пути!» (делегат завода Всеобщ. Ко. электричества). «Профсоюзы — это детища буржуазии!» (Кульбакин, дел. паровозостроительного завода).

Большинство членов тогдашних завкомов не являлось в то время даже профессионально-организованными рабочими. Здесь было много неофитов рабочего движения, «сырых» элементов, с легким сердцем готовых поставить крест над профсоюзами и с самих себя заново начать всю историю массовой организации рабочего класса. «Из недостатка делая добродетель», свою неорганизованность в крупные профессионально-производственные объединения они охотно возводят в принцип. Их усердно поддерживают в этом анархисты, надеющиеся раз навсегда с их помощью убить «централизацию» в лице профсоюзов. Что касается большевиков, то они, всю жизнь твердившие о пользе профсоюзного объединения, пользуются новым движением просто, как ловкие демагоги: создавая особый всероссийский центр фабзавкомов, они приобретают укрепленную позицию, и заставляют профсоюзный центр вести с ним переговоры, как с особой, независимой «великой державой».

В ходе этой борьбы необходимо учесть одно важное обстоятельство. За время войны персональный состав русского пролетариата потерпел значительные изменения. На первых порах, впопыхах, не мало квалифицированных рабочих было двинуто на фронт и уложено на полях сражений. Только впоследствии, когда выяснился затяжной характер войны и огромное значение для успеха в ней работающей на нужды фронта индустрии, начинают лихорадочно расширять производство, работать над оборудованием новых заводов, подбирать для них рабочий состав. Это было время, когда в ряды пролетариата хлынуло множество новых, пришлых элементов. Чтобы избавиться от опасности попасть на фронт, тысячи мелких лавочников, чиновников, приказчиков, дворников, швейцаров, ремесленников, всевозможного «мелкого люда» осаждают фабрики и заводы, работающие на оборону. Состав пролетариата, с их приходом, становится крайне пестрым и неустойчивым по настроению. Пришлые элементы совершенно лишены пролетарских традиций, фабричной выучки, классовой сознательности и выдержанности. Попав в пролетарское положение, они переживают быструю ломку старого психического склада, но их недовольство всегда остается смутным, их вспышки протеста — импульсивны и непрочны, цели борьбы и пути к ней им неясны, а требования к государству легко принимают характер ожиданий «социального чуда» от власти, которая представляется почти «всемогущей». Когда они настраиваются на социалистический лад, их социализм является плоским «получательским социализмом». Они идут за теми, кто им больше всего обещает, и кто меньше всего от них требует. Понятия их об организованности также в высшей степени примитивны, и не идут дальше

своей околицы: избрав фабзавком, обычно из наиболее демагогических элементов, они со стадной готовностью идут за ним, пока он потакает всем их слабостям. Само собою понятно, что более квалифицированные элементы пролетариата, искушенные опытом многолетней борьбы и работы, и привыкшие взвешивать свои силы и возможности, думающие не только взять что-то срыву, но и о прочных приобретениях, которые можно закрепить — все эти элементы оказываются далеко отставшими по части «революционности» от пестрого сброда новопришельцев, которым во время борьбы — море по колена, но которые зато после неудачи готовы покинуть и предать своих же вожаков.

Сквозь психологию этой своеобразной среды преломился и лозунг «рабочего контроля», судьбы которого мы проследили в одной из предыдущих глав.

После первой оргии «военных прибылей», государство, попавшее в отчаянное положение, попробовало потребовать от частной промышленности серьезных жертв во имя спасения страны от разгрома. А между тем технически промышленность оказывалась сильно ослабленной, с ухудшенным оборудованием, изношенным и почти невозобновлявшимся инвентарем. Ухудшенный рабочий состав при ухудшенном питании давал крайне пониженную производительность труда. Все это вместе взятое вызвало среди промышленников опасную тенденцию к ликвидации предприятий, их реализации в денежной форме и утечке капиталов за границу, особенно в нейтральные страны, где, в качестве филиала международного капитала, они имели широкою арену спекулятивной деятельности, тесно связанной с полуконтрабандной установкой торговых операций между воюющими лагерями. Кричавшие о своем патриотизме фирмы действовали так, что объективно, по последствиям, их деятельность становилась национально-предательской. Хозяйственная разруха росла, национальный капитал боролся с нею слабо и часто очищал перед нею позиции без боя. Массовые увольнения, сокращение и закрытие предприятий не сходили с порядка дня, и буржуазия часто заботилась только о том, чтобы все это не имело вида прямой эпидемии локаутов. На этой почве шло и обострение отношений с рабочими, по адресу которых раздавались недвусмысленные угрозы, вроде цитированной нами фразы Рябушинского, что их проучит «костлявая рука голода».

В этой обстановке слишком «сложными» выглядели все эти проекты меньшевиков и эсеров, все эти идеи об общегосударственном контроле на основе *паритетного* представительства организованных производителей (профсоюзы), организованных потребителей (кооперативы) и организованных граждан, как таковых (государственные органы центрального и местного самоуправления). В своих лозунгах «контроля снизу», чрез фабзавкомы, большевики великолепно учли психологию громадного большинства темных несознательных рабочих, в особенности же рабочих «последнего призыва». Соблазнительная *близость* этого контроля к самим рабочим данного предприятия, вместе с ограничением кругозора неразвитого рабочего стенами «своего» завода, и неспособностью его подняться выше, до судеб всей отрасли промышленности, взятой в целом, сыграли решающее значение. Большевики со дня на день увеличивают свою популярность. Опираясь на фабзавкомы, они оказывают давление на профсоюзы, держат их в зависимости, взрывают изнутри руководящие

центры, и, наконец, — впрочем, уже после захвата власти — овладевают профсоюзами всецело. После октябрьского переворота большевистская программа торжествует по всей линии.

Но именно это внешнее торжество и становится тяжким внутренним испытанием перед лицом суровой действительности. В борьбе за популярность в массах, а затем за власть, большевистские лозунги бесспорно оказались самими безошибочными. После установления большевистской диктатуры осталось испытать эти лозунги на деле. Тут-то и сказалась их полная практическая непригодность. Мы знаем, что результатом был полнейший хаос и почти повальное бегство с заводов их владельцев, директоров, управляющих и многих специалистов. Лишенное квалифицированных организующих сил, предприятие влачило существование, кормя группу рабочих, которые справлялись с трудностями ежедневного существования, живя за счет основного капитала предприятия, или даже «разбазаривая» — продавая и проедавая — запасы сырья, топлива, и даже части инвентаря. Этому сопутствовал страшный кризис фабричной дисциплины. Палочная, классовая дисциплина хозяев уничтожилась, трудовая самодисциплина рабочих не успела народиться. При равенстве вознаграждения лучшие рабочие, естественно, понемногу стали равняться по слабейшим и малотрудоспособным. Фабзавкомы слишком зависели от тех, среди кого должны были устанавливать трудовую дисциплину. Если они не потакали слабостям своих избирателей, их немедленно отзывали и переизбирали. Выработка сокращалась катастрофически, заводы охватывались параличом, а то и вовсе прекращали функционировать. Разруха росла самым ужасающим образом.

Профсоюзы, действуя путем убеждения, тоже ничего не могли поделать. Когда-то, еще до переворота, между ними и фабзавкомами был, правда, выработан некоторый компромисс, с кое-каким размежеванием функций. Но после октябрьского переворота компромисс фабзавкомами был немедленно нарушен, и произошел возврат к первоначальному положению. Их представитель заявил на первом и единственном заседании верховного органа рабочего контроля — чисто бумажного учреждения, — что этот компромисс принадлежит уже истории, так как он «окончательно отменен новым поворотом в политико-экономической жизни России».

Когда же профсоюзами завладели большевики, картина резко изменилась: они на первом же их съезде вспомнили, что «с развитием и укреплением производственных профсоюзов фабзавкомы должны стать органами соответствующих профсоюзов на местах». С сопротивлением отдельных фабзавкомов скоро справились. Через несколько времени в фабзавкомы уже разрешалось выбирать только лиц, состоящих членами профсоюзов; затем «в целях избежания вечной чехарды, отзывов и перевыборов завкомов» были точно фиксированы сроки их выборов; и наконец, завкомы были «окончательно закреплены, как ячейки профсоюзов на местах». Завкомам приходилось подчиниться: с большевиками были шутки плохи.

Так были ликвидированы два первых «новых слова», внесенных большевиками в практику русского профдвижения. Первое гласило: «непосредственный чисто-рабочий контроль». Второе — распыление движения путем проти-

вопоставления локальных фабзавкомов централизованным профсоюзам.

Оба оказались лишь удобными демагогическими лозунгами для взрыва изнутри нормального профдвижения и его естественных руководителей. Оба оказались убийственными для трудовой самодисциплины, для рабочей классовой организованности и для цельности народного хозяйства, для судеб производства страны. Как средства самоубийственные, они были похоронены своими же собственными изобретателями.

---

Неудача с лозунгами непосредственного рабочего контроля и самодовлеющей организации фабзавкомов не лишила большевиков уверенности, что им суждено в области профессионального движения сказать миру «новое слово». Она их заставила только перенести «новые слова» в другую область: в область определения задач и тактики самих профсоюзов.

Эти новые слова гласили: «национализация профсоюзов», или, иными словами, «сращивание профсоюзов с государством».

Перед первым съездом профсоюзов большевистская точка зрения была формулирована в первоначальном проекте Зиновьева так: «В развитом виде профсоюзы в период пролетарско-крестьянской диктатуры должны стать органами социалистической власти, работающими, как таковые, в соподчинении с другими органами по проведению в жизнь новых начал организации хозяйственной жизни»... А в числе переходных мер по превращению профсоюзов в такие органы и «к слиянию всех вообще экономических организаций рабочего класса (в том числе и фабзавкомов)» фигурировало «провозглашение профсоюзов государственными организациями, в которых участие для всех рабочих и работниц обязательно».

Эта точка зрения — которой нельзя отказать в последовательности и определенности — под огнем убийственной критики со всех сторон, — не только со стороны меньшевиков и эсеров, но даже и со стороны союзных большевикам, т. н. «с.-д. интернационалистов» — подверглась целому ряду смягчений. Превращение профсоюзов в *госуд.* органы было объявлено лишь *конечным результатом* целого исторического процесса. В переходный период профсоюзам была приписана лишь более скромная роль подсобных органов советской власти, работающих в тесном контакте со всеми пролетарскими и политическими организациями, в первую голову — с советами. *Обязательность* членства исчезла. Вместо нее на практике было установлено нечто компромиссное: т. наз. «коллективное членство». Сущность его заключается в том, что «собрания рабочих на местах могут большинством голосов постановлять об обязательном коллективном членстве, заставляя меньшинство подчиняться их решению». Однако, по признанию даже официального большевистского автора брошюры «Фабзавкомы в России», Я. Фина, учреждение это «превратилось во многих местах в поголовное либо принудительное членство, либо членство без ведома самих членов об этом».

Казалось бы — какое же возможно «членство без ведома о том»? Ибо

членство сопряжено с уплатой в кассу профсоюза членского взноса. Но российское новаторство перед этой трудностью не остановилось. Было установлено «для удобства, отчисление членских взносов через контору заводоуправления», т. е. попросту говоря, вычет из заработной платы, или налог на труд. На практике, по свидетельству того же Я. Фина, «оно заменялось нередко отчислением через контору Главка или Совнархоза всей суммы членских взносов с передачей ее Ц. К-ту производственных союзов, или Гл. Совету Профсоюзов». Немножко поздно заметили, что это «удобство» сопряжено и с некоторым неудобством: «при таком взимании членских взносов между членами союзов и союзными организациями *терялась последняя ниточка связи*» (цит. брош., стр. 32).

Финансы таких наполовину огосударствленных профсоюзов были, впрочем, в блестящем состоянии даже до «удобного» введения казенных вычетов из заработной платы в пользу профсоюзов. По годовому отчету Всеросс. Совета Профсоюзов, представленному II-му съезду, расходы организации равнялись 1.805.000 руб., а членских взносов получено 280.000 руб., т. е. членскими взносами не было покрыто и шестой части расходного бюджета (В это время считалось, что профсоюзы объединяют три миллиона членов; если б их было  $2\frac{1}{2}$  милл., то взносов от них в центрорассу должно было бы поступить 900 тыс. руб., вместо 280-ти. Уже одно это — достаточный намек на *дутый* характер движения.). Полмиллиона рублей поступило от ВЦИКа, 290 тыс. руб. от комиссариата труда, 100 тыс. руб. от Ц. К. компартии, и свыше 406 тыс. руб. позаимствовано из стачечного украинского фонда. Принимая во внимание, что позаимствование это было покрыто из государственных средств, и что Ц. К. компартии обильно черпал средства из той же казны, мы получим, приблизительно, миллион триста тыс. руб., лишь разными путями поступивших все из одного и того же первоисточника: от плательщиков налогов. Большевикское профессиональное движение с самого начала прочно обосновалось в качестве стипендиата государственного казначейства. Коллективное «членство без ведома о том» и принудительные вычеты из жалованья членских взносов и были придуманы для того чтобы как-нибудь, хотя бы по внешности, выйти из этого недостойного положения. Насколько это удалось — свидетельствует финансовый отчет профсоюзного центра за 1920 г. В течение этого года в кассу профсоюзного центра поступило всего 221.725.294 руб., из которых 205 миллионов — 92,5% поступлений — от Наркомтруда, и всего 16 милл., т. е. 7,5%, от членских взносов. Данные за следующий год еще разительнее: «по смете», т. е. от Наркомтруда, поступило 40.640.156.363 руб. или 97,4%, «от хозяйственных органов» (т. е. от трестов, от дирекций фабрик и т. п.) 1.039.416.929 руб., или 2,5%, и от членских взносов — всего лишь 35.400.221 руб., или 0,1%! Здесь характерно еще одно «новое слово»: материальная зависимость от «государственно-капиталистических» учреждений, прямых работодателей пролетариата...

Соответственная радикальная реформа произошла и в *функциях* профсоюзов. С одной стороны эти функции убийственно сократились; зато с другой — расширились свыше всякой меры. По предложению коммунистов, II съезд профсоюзов вменил в обязанность своему центру войти в соглашение с Совнаркомом о том, чтобы «предоставить Наркомату труда преимущественное

право регулировать условия труда, заработную плату, организацию труда, порядок найма и увольнения, охрану труда и социальное обеспечение трудящихся». Это было отречение профсоюзов от глубочайшей своей сущности в пользу бюрократического учреждения, одного из советских министерств.

Взамен профсоюзам был навязан целый ряд функций, которые в практике ни одной страны дотоле не были известны в качестве профсоюзных. Прежде всего, те профсоюзы, которые и до октября 1917 г. попали под большевистское руководство, в момент октябрьского переворота были втянуты в эту гражданскую войну среди рабочего класса. Свердлов на одном из съездов профсоюзов поздравлял собравшихся с тем, что в дни переворота «дежурили по ночам, принимая участие во всех боевых действиях» не только члены, но и «представители» некоторых профсоюзов. Первый большевистский Совет профсоюзов в своем годичном отчете поставил себе в актив то, что он, напр., «взял на себя организацию кадра агитаторов» специально «для поднятия дисциплины и организованности в Красной Армии». Далее, он организовал особый «военно-продовольственный отдел»: этот отдел вербовал и посылал в деревни продовольственные отряды для изъятия сокрытых по деревням хлебных излишков и заградительные отряды для отбирания съестных припасов, провозимых вне советского распределительного аппарата. Это означало, что профсоюзы были втянуты в худшую, в одиознейшую из форм войны города против деревни, начавшейся под флагом большевистской диктатуры. Второй годичный отчет гласил, что из 12 месяцев работы 9 месяцев проф. центром были отданы мобилизациям для гражданской войны, что «отрывало работников от их привычной работы и расстраивало общий план работы руководящего органа всеросс. профдвижения». «У нас — говорил председатель Томский — производилась мобилизация рабочих, и союзы превращались в это время в *передаточные органы военного ведомства*». Томский должен был признать, что «есть много истины» в упреках «и друзей, и врагов, что профсоюзы чрезвычайно ослабли, что они чрезвычайно развинчены, расхлябаны и т. д.». Наконец, ко времени V всеросс. конференции это положение достигает своего апогея. Томский должен признаться, что даже из 11 членов президиума профсоюзного центра, среди которых были такие большевистские «тузы», как Бухарин и Лозовский, всего два-три человека занимались фактически профсоюзной работой, все же остальные были отвлечены «другими делами». Томский в заключительном слове должен был жаловаться, что с мест вместо деловых указаний «бросали лишь упреки» и отгрызался от них так: «Вы слабы и мы слабы, мы отражаем собою то, что представляете вы». Иными словами — по Сеньке и шапка. Это признание в слабости звучит тем более странно, что показная сторона дела была блестяща: по статистике, относящейся к составу профсоюзов полугодом позже, союзы охватывали 8 1/2, миллионов человек!

Бухарин на одном из помянутых выше съездов заявил, что «профсоюзы есть становой хребет советской республики». Это похоже на знакомые европейским рабочим формулы былого романского анархо-синдикализма; но внешнее сходство здесь совершенно обманчиво. Большевизм, действительно, вначале несколько походил на романский синдикализм, лишь с тем отличием, что

вместо профсоюзов исходной точкой для построения нового общества брал «советы», импровизированные местные рабочие клубы-парламенты весьма неопределенного и смешанного типа. Эти советы, или, точнее, разные их специальные «отделы», присоединили к себе, на началах своей супрематии, соответственные административные ведомства прежнего государственного аппарата. Но когда доморощенные синдикалисты из «рабочей оппозиции» выступили с претензиями таким же порядком поглотить советские органы в недрах отделов профсоюзов, то им сказали: «руки прочь!»

«Если бы — заявил Ленин в специальном докладе «о задачах профсоюзов» — если бы сейчас профсоюзы попробовали самочинно взять на себя функции государственной власти, то из этого вышла бы только каша. Мы достаточно от этой каши пострадали. Мы много боролись с теми остатками проклятого буржуазного строя, с мелкособственническими, не то анархическими, не то эгоистическими стремлениями, которые засели глубоко в рабочих... Рабочие строят новое общество, не превратившись в новых людей, которые чисты от грязи старого мира, а стоя еще по колени в этой грязи. Приходится только мечтать о том, чтобы очиститься от этой грязи... Еще много сепаратистских, старых, мелкособственнических привычек и навыков, и еще имеет место старый лозунг: каждый за себя, а Бог за всех. Этого было слишком достаточно и в каждом профессиональном союзе и на каждой фабрике, которая думала только о себе, а об остальном — пусть позаботится Господь Бог, да начальство».

Не вступление профессиональных союзов на место руководящих экономических учреждений государства, а вступление *людей* из профессиональных союзов в эти учреждения — вот в чем хочет видеть Ленин спасение; этим путем «на место буржуазии капиталистических рабовладельцев, буржуазных интеллигентов, представителей всех имущих, всех собственников во все области управления, во все дело государственного строительстве, во все дело руководства новой жизнью - с низов до верхов вступит новый класс». «Аппарат пролетарской диктатуры, который имеется в наших руках — вторит ему Рязанов — надо оработать, надо в этот аппарат втянуть побольше масс, не верхушек только, а средняка, низов, объединенных в профсоюзы. Именно об этом вливании рядовых членов профсоюзов во все органы государственной власти и об оработке их и идет речь». *Не профсоюзы, как таковые*, берут на себя жизнейшие функции будущего общества, а *персонально люди*, прошедшие их школу и переходящие из профсоюзов в органы государственного управления. И, действительно, отчеты профсоюзного центра пестрят указаниями на участие его в формировании бесчисленных наркоматов, совнархозов, бюро, комиссий, главков, центров. Над всем этим господствует наивная уверенность, ярко выраженная в словах Томского: «С того момента, когда у власти станет рабочий класс, слово «чиновник» умрет, слово «бюрократия» умрет. Это — игра слов. Тогда, когда сами рабочие десятками тысяч будут управлять своим государством, тогда слово «чиновник» станет пустым словом».

Опыт показал, наоборот, что слова «советское чиновничество» и «советский бюрократизм» тут-то и стали зловещими словами. *Плебеизация персонала управления* оказалась несколько не равносильной *демократизации системы*

управления. Диктаторское начало строгой централизации, иерархии, железной дисциплины остались и при советском строе прямой противоположностью демократизма. И потому, все это «орабочение государства», предпринятое при помощи профсоюзов, превратилось: в обескровление рабочих организаций путем извлечения из них всего способнейшего на государственную службу; в бюрократизацию самих руководителей профдвижения; и, наконец, в оргию карьеризма в высших профессионалистских сферах. Появился новый тип «закомиссарившегося» рабочего, оторвавшегося от массы и нелюбимого массой. Профсоюзы же превратились в вербовочные бюро желающих сделать служебную карьеру при советском строе...

Произошло то, что можно было предвидеть. Вместо того, чтобы спасти советский строй от язвы бюрократизма, профессиональные союзы, обращенные в пассивный «резервуар власти» и его вспомогательный, подчиненный служебный орган, сами впали в состояние бюрократического омертвения.

Нам это не трудно доказать цитатами из крупнейших большевистских авторов. Никто другой, как нынешний глава красного Профинтерна Лозовский, не выдержав, должен был заявить о своем «глубоком негодовании против красноармейских, наезднических и т. п. способов разгона профсоюзов»; не возражая против коммунистического «объячеивания» союзов, даже он должен был заявить: «но когда коммунистические ячейки начинают работать совместно с ВЧК и расправляться с профсоюзами — во имя якобы привлечения широких масс, то я должен сказать, что действия эти - самые возмутительные». Он говорил и о «безобразном отношении к профсоюзам», и о «хулиганстве» иных «ужасно левых», пользовавшихся покровительством власти, и даже предостерегал, что при такой практике «мы в наше профдвижение внесем такой разврат, от которого и десятки лет мы не избавимся» (Речь Лозовского, стен. отчет II-го Всеросс. Съезда Профсоюзов, Госиздат, Москва, 1921 г., стр. 32—33). Никто другой, как лидер русского большевистского профдвижения, Томский, задним числом в своей брошюре признал, что на практике за 1918—1922 гг. «союзы все больше и больше переходили на содержание государства»; что «система субсидий приучила большинство союзных организаций к тому, что больше обращается внимание на составление «сметы», чем на организацию членских взносов и отчетность в расходовании»; что, финансируемые сверху, они испытали на себе «полную организационную зависимость низших профорганов от высших», «откуда вытекал и соответствующий курс на постепенное превращение профсоюзов и их всероссийских объединений в секции при межсоюзных объединениях»; что имела место «мелочная опека и политика, стремящаяся зажать каждую профорганизацию в тиски циркулярных распоряжений сверху, предусматривающих и предопределяющих все формы и виды союзной деятельности во всякий момент их существования», а «культурно-просветительная деятельность стояла где-то на задворках профессиональной работы» (М. Томский, «Профсоюзы на новых путях», стр. 25, 27, 28, 43). Иными словами, не было профессионального движения, а было «ведомство объединения по профессиональному признаку». Это прямо подтвердил никто другой, как Троцкий, который говорил, что советской власти профсоюзы «нужны, как органы, которые властно

объемлют весь рабочий класс» и которые «должны иметь возможность, способность и право распределять, группировать, прикреплять отдельные группы, отдельные категории рабочих и отдельных пролетариев к тому месту, где они нужны государству», ибо лозунг советской власти — «к милитаризации труда чрез посредство милитаризации профсоюзов» (Стен. отчет III-го съезда, стр. 89 и 93). Никто другой, как Лозовский, проговорился, что часто неясна даже «грань, где кончается чрезвычайка и где начинается профессиональный союз»... (Стен. отчет II-го съезда, стр. 80). Никто иной, как правоверный ленинец Рудзутак на пятой конференции должен был говорить уже прямо о «переживаемом профдвижением кризисе», который многие «рассматривают, как окончательное поражение профессиональных союзов» (Стен. отч. V-й конф., стр. 65). Никто иной, как коммунист Лутовин на той же конференции констатировал, что от профсоюзов остаются только «рожки да ножки», что для них уже готова «наступить смерть», а на их могиле водворяется одна «палочная дисциплина» (Стен. отч. V-й конф., стр. 115).

Таковы были итоги направления профессионального движения по, открытым большевизмом, «совершенно новым путям». Что для Европы, действительно, многое в этих путях должно было показаться какой-то «совершенно незнакомой санскритской азбукой» — верно и естественно. Но чтобы эта «санскритская азбука» могла, как хотел Бухарин, «указать путь всему миру» — звучит подобно бреду сумасшедшего. И неудивительно, что вскоре большевизму пришлось в профессиональном движении еще раз обрести «новые пути» — которые оказались не чем-либо иным, как старыми, единожды отринутыми путями. И здесь, как и во многих других роковых вопросах, оказалось верно прорвавшееся у Ленина на IV чрезвычайном съезде советов скорбное замечание: «я за долгие годы революции кое-чему научился, и знаю, что историю не убедить речами; и когда мы хотели повернуть историю, то оказалось, что повернулись мы, а историю не двинули»...

---

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### Гильдейский социализм и большевизм

Нам уже приходилось касаться некоторых точек соприкосновения между большевизмом и английским «гильдеизмом», к которому кое в чем приближались в особенности «левые коммунисты» и «рабочая оппозиция». Теперь необходимо определить точнее, как пункты сходства, так и пункты различия.

«Гильдейский социализм» в Англии и большевистский коммунизм в России — сходны прежде всего в том, что это — два течения, одинаково зародившиеся до последней мировой войны, но только в огне и дыме ее пожаров сумевшие окончательно обрести себя и получить совершенно законченную культурно-историческую физиономию. Оба они, стоя во многих отношениях на разных полюсах, суть знамения одного и того же: судорожного искания выхода

из социалистического бездорожья, определившегося в результате военного кризиса интернационала — с одной стороны, и неудачи закончивших мировую войну попыток установления социалистических правительств — с другой. И то, и другое рождены конструктивной беспомощностью довоенного социализма.

Так называемый «гильдейский социализм» представляет собою своеобразное, чисто английское явление, и его можно понять только в связи с особенными условиями, — экономическими, политическими и даже культурно-историческими — этой страны. О гильдейском социализме часто судят поверхностно, поддаваясь соблазну слишком легко и быстро умозаключать о неизвестном по известному. Следя за горячей и резкой полемикой «гильдейцев» против односторонне-парламентского социализма, иногда быстро заключают: «да это — чистейший большевизм!» Следя за их решительной проповедью самоуправления рабочих на фабриках, иногда столь же быстро заключают: «да это — чистейший синдикализм!» В том и другом случае, напрашивающаяся сразу поверхностная аналогия делает излишним дальнейшее проникновение в самую сущность, в самую глубокую сердцевину движения, — в то, чем обуславливается его своеобразное и особенное место в ряду перекрещивающихся течений современной социалистической мысли.

Чтобы сразу же нанести решительный удар всем этим аналогиям, и показать, насколько гильдеизм является своеобразным национальным продуктом, порою пропитанным даже элементами традиционализма, упомянем хотя бы о том, что первая из принятых тред-юнионистским конгрессом резолюций в пользу национальных гильдий, была внесена одним из отделов церковно-социалистической лиги; и напечатанный ее гильдейский журнал прибавил от себя, что церковь, *будучи сама национальной гильдией*, поступает мудро и благородно, проповедуя необходимость таких гильдий и в других областях жизни...

Оформление «гильдейского социализма», как особой «школы» или течения, относится к 1912—13 гг., когда впервые возник журнальчик «The New Age» («Новый Век»). Первоначально это была чисто-литературная группка, мало заметная и невлиятельная. Так, о ней нет еще ни слова в «A history of socialism» Т. Kirkup'a, которую довел до наших дней Е. К. Pease; нет ни слова о ней и в первом издании «Geschichte des Sozialismus in England» Beer'a, вышедшем в 1913 году. А между тем, первые провозвестники гильдеизма, А. Пенти и А. Р. Оредж, выступили (первый с книжечкой «The restoration of the guild system», второй — со статьей в «Contemporary Reviews») еще в 1906 г., — только, не встретив вначале никакого сочувственного отклика, умолкли на несколько лет. Однако, начиная с 1913 г., новая школа стала формироваться все энергичнее и быстрее, привлекая к себе все новых и новых сторонников. Вскоре обнаружилось, что она сумела нащупать бьющийся пульс жизни в английском рабочем движении, все более и более соскакивавшем с прочных узкоколейных рельс традиционного тред-юнионизма. В 1915 г. была образована уже «Лига Национальных Гильдий» (National Guilds League) с главным секретарем в лице бывшего «фабианца» Вильяма Меллора и с ежемесячником «Гильдеец» (The Guildsman). Ее наиболее крупными и плодовитыми литературными теоретика-

ми, кроме несколько обособленно стоящего Пенти и Ореджа, явились Гобсон и бывший фабианец Кол, скоро ставший главным и наиболее интересным теоретиком новой школы. Они успели одно время придать «гильдейскую» окраску неоднократно переходившей из рук в руки газете «The Daily Herald» и оплодотворить идеями гильдейства реальное трэдсьюнионистское движение. Вскоре школа обогатилась новыми литературными представителями, из которых отметим особенно Стирлинг-Тейлора, Р. Товнея, Дугласа, Рекитта и др. «Лига национальных гильдий» имела не политический, а чисто пропагандистский характер, гонясь за качеством, а не количеством своих членов, представляя собою не столько зародыш партии, сколько организованное идейное течение или школу, на подобие своего антипода в некоторых отношениях, «фабианского» общества, и объединяя преимущественно сливки передовой интеллигенции и «академиков». Школа, однако, не имеет своего «канона» и богата всевозможными течениями и оттенками.

В общем, пожалуй, можно сказать, что гильдейский социализм занимает очень важное место на линии эволюции от анархизма к социализму. Если анархический индивидуализм, в общем, все более вытесняется анархизмом-коммунизмом, а в этом последнем наиболее живым и активным элементом является анархо-синдикализм, то синдикализм и гильдейство представляют собою два следующих этапа по той же линии приближения к социализму, с сохранением, однако, столь характерной для анархизма анти-государственной тенденции. В качестве такового, гильдейство занимает видное место в истории развития на английской почве идеологии «свободной трудовой общественности», идя в ногу с развитием мирового социализма в деле вскрытия содержания понятия «обобществления», «огосударствления», «национализации» собственности и производства.

Понятие «национализации», в смысле практической реформы, в Англии появляется в эпоху революционного брожения 1649 г.; его чемпионом является Петер Чемберлен. В ту раннюю пору, когда авторитет государства стоял выше всяких сомнений, под национализацией разумелось нечто очень простое: государство — и притом централизованное государство — должно было взять в свои руки национализированные владения или предприятия, и управлять ими в интересах рабочих, взяв на себя те функции, которые раньше исполнялись хозяевами. У следующего крупного национализатора, Спенса (1775), мы, наоборот, встречаемся уже с решительной децентралистской тенденцией: в его системе земля изымается из частной собственности и передается не центральной власти, а общинам. Дальнейшие земельные национализаторы, как Галль (1805), чартист Бронтерр О'Бриен и, наконец, А. Р. Уэллс (1885), передают государству лишь права *землевладельца*, но отнюдь не крупного сельского *хозяина*: государству выплачивается рента, но оно не берет на себя ни в какой мере управления производством. Однако, в области индустрии этого различия еще нет. Так, в программе Гайндмановский «Соц.-дем. Федерации» понятие национализации употребляется то в смысле передачи государству-*собственнику*, то в смысле передачи государству-*управителю*; рядом с этим встречается, почти как синоним, выражение «социализация», под которой, однако, разумеется «контроль

через посредство демократического государства». Проблема различения «социализации» и «национализации» в сущности, еще не измерена. На Лондонском международном социалистическом конгрессе (1896) в докладе «фабианцев» социализм определялся, как «организация и ведение необходимых отраслей национальной индустрии нацией, как целым, чрез посредство подходящих общественных органов власти, именно сельских, городских, провинциальных или государственных». О контроле *рабочего* коллектива, как такового, нет еще и речи; совершенно достаточным кажется контроль избирателей над депутатами, собрание которых является демократическим источником всяких властей и всяких административных правомочий.

В Германии в начале 90-х годов происходит выработка и принятие новой, классической Эрфуртской программы. Социал-демократии приходится в это время иметь дело с правительственной демагогией Бисмарка, пускающего в ход маневры «государственного социализма». Настороженная социал-демократия начинает с большой опаской, с оговорками, с «подстрочными примечаниями» относиться ко всем проектам национализаций и государственных монополий. Но чтобы отграничить от них свою позицию, она довольствуется тем, что объявляет всякий «государственный социализм» на деле простым «государственным капитализмом», и не только до тех пор, пока *по форме* государство не будет вполне демократическим, но до тех пор, пока государство *по существу* не перестанет быть органом классово-власти буржуазии, пока оно не будет захвачено рабочим классом. Далее дело еще не идет.

Напротив, в русской социалистической литературе уже с начала 1900 года, прежде всего в земельной области, резко и определенно противопоставляется буржуазной национализации земли ее трудовая социализация, причем отличительными признаками последней принимаются три начала: 1) гарантия индивидуального, равного для всех граждан, права на землю от произвола коллективности, 2) децентрализация в управлении общественной землей и 3) общинно-товарищеская организация самих трудовых пользователей-земледельцев.

Соответственно этому понятие «социализации» переносится и в область индустрии, причем формулируется требование прогрессивного расширения права голоса рабочего в установлении внутреннего распорядка на фабриках и заводах, и это мотивируется (на первом учредительном партийном съезде, в 1904 г.), как переход от фабричного самодержавия капиталиста через «фабричную конституцию» к будущей «фабричной республике»... (Подробному обоснованию этой части программы революционного социализма был посвящен второй том («Основные вопросы пролетарского движения») моего полного собрания сочинений, начавшего выходить в 1917 г. и оборванного вмешательством большевистской цензуры.)

Значительно позднее, под влиянием сторонников «action directe», синдикалистов и «гильдеицев», совершается соответственный перелом понятий и в Англии. Формулируется требование «контроля над производством»; популярность этого требования растет не по дням, а по часам. В 1915 г. Клейдская стачка приводит к превращению стачечных комитетов полуявочным порядком в рабочие советы и комитеты, имеющие право голоса в распоряжении производст-

вом. Все более и более растет сознание: только привлечение органов независимой, самостоятельной рабочей общественности — синдикатов и кооперативов — к отправлению публично-правовых функций, к участию в организации производства обществом и для общества, превращает мертвенное бюрократическое огосударствление производства в живое обобществление его, старую буржуазную национализацию в новую, трудовую социализацию.

Гильдейский социализм весь является как бы логическим выводом из последовательного развития идеи о рабочем контроле. Можно сказать, что социализм «гильдейцев» есть как бы математическое «предельное понятие» для расширяющегося и углубляющегося рабочего контроля. Гильдейцы ищут лучших форм организации этого контроля. Подобно синдикалистам континента, они останавливаются прежде всего на профессиональном союзе рабочих. Этот союз должен быть не узким ремесленно-цеховым объединением, а широким, современным, охватывающим всю индустрию: старый *trades-unionism* должен вернуться в *Industrial-unionism*. С их точки зрения, этот модернизированный профессиональный союз, синдикат, и должен дать для современной крупной индустрии то, что для средневекового ремесла и промысла давала гильдия: правильную демократическую публично-правовую организацию производителей для урегулирования, сообразно своим и общественным интересам, всего хозяйственного производственного процесса. Но для того, чтобы профессиональный союз, синдикат, мог сыграть такую роль, он, очевидно, сам должен претерпеть какие-то изменения в своей внутренней структуре. Этот ныне частноправовой институт, обязанный своим происхождением свободной групповой инициативе рабочих, должен приобрести публично-правовое значение и приблизиться в этом отношении к старой гильдии, ибо получение им в свое заведывание известной отрасли производства равносильно учреждению новой, своеобразной *трудоу монополии*. Первые гильдейцы, в лице Пенти, держались даже средневековой формы *локальной* организации гильдий: это находилось в связи с общей оппозицией Пенти к крайностям современного машинизма; находясь под сильным влиянием Рескина и В. Морриса, Пенти, большой поклонник средневекового искусства, мечтал о возрождении той системы, которая давала возможность ремесленнику, не спеша, с большой тщательностью и мастерством производить свою работу, внося в нее печать собственной индивидуальности. Но большинство гильдейцев, — вполне дети современной городской, «чугунно-бетонной» цивилизации, — гораздо большие модернисты в области индустрии, и потому *локализму* Пенти противопоставляют гильдии обширного, общегосударственного масштаба; благодаря этому, в центре учения «гильдейского социализма» становится понятие о новой, соответствующей изменившимся условиям времени, «*национальной гильдии*».

Современная индустриальная пролетарская «национальная гильдия» есть не что иное, как самоуправляющаяся рабочая корпорация, это, если угодно, синдикат, — но синдикат, превратившийся в производительное товарищество, по масштабу своему общенационального значения: в пределах целого государства оно охватывает целую отрасль производства, претендуя перенять на свои плечи, постепенно или сразу, все управление ею. По определению Гобсона, это

«объединение всей совокупности управляющих, исполняющих и производительных работников в каждой отдельной индустрии. Она охватывает как тех, кто работает головою, так и тех, которые представляют в распоряжение предприятия свою физическую рабочую силу. Управляющий, заведующий мастерской, химик, инженер, техник, обученные и необученные рабочие — всякий, кто только может работать, — все включаются в товарищество». В смысле численности ядро этих национальных гильдий должны составлять профессиональные рабочие союзы; но ради собственной пользы эти последние должны раствориться в более крупных соединениях.

Здесь, как видите, не остается и тени былой анархо-синдикалистской «интеллигентофобии», подхваченной и доведенной до *pes plus ultra* в русской «махаевщине». В центре внимания гильдейцев стоит рабочий — но не в старом понятии этого слова, как олицетворение «мозолистых рук» и «черного», чисто физического труда, а рабочий типа модерн, обученный, квалифицированный, рабочий-изобретатель, чей труд богат элементами свободной инициативы и граничит с художественным творчеством; этот труд — вполне интеллигентный труд. Английские гильдейцы не могут не быть совершенно чужды страха смешения мускульных рабочих с гетерогенными элементами; не призывают первых уйти, как в свою скорлупу или раковину, в спасительную специфически-пролетарскую исключительность; напротив, даже как бы требуют от профессиональных союзов реорганизации, приближающей их по организационному типу к производительному кооперативу. А в кооперативной практике, как и в ее идеологии, взаимоотношение между умственным и физическим трудом никогда не принимало принципиально конфликтного характера. Переходный характер «гильдии», как частичной «кооператизации» профессионального рабочего союза, в практике гильдейского социализма выступает еще яснее, чем в теории. Практическое применение принципов гильдейского социализма к жизни мы находим в движении английских строительных рабочих, организующихся в «гильдии», берущих на себя от муниципалитетов как бы подряды на постройку новых городских зданий. Ныне, с принятием палатой общин смелого проекта рабочего правительства жилищной реформы, включающего в себя обширный, на многие годы рассчитанный план строительства новых рабочих жилищ, английские рабочие гильдии во много раз расширят арену и размах своей деятельности. Гобсон, чье определение «гильдии» мы дали выше, является секретарем этого союза и в своем определении «гильдии» явно отразил тенденции, данные в непосредственном опыте именно этого союзного движения. Можно, конечно, отметить, что по блестящим успехам строительных гильдий еще нельзя заключать о перспективах всего движения. Нет сомнения, что — как правильно отметил К. Каутский — строительная промышленность значительно отличается от других тем, что в ней живой труд играет несравненно большую роль, а основной капитал — несравненно меньшую роль, чем где бы то ни было; машины в строительной промышленности почти не применяются, земля принадлежит заказчику; им же может быть доставлен или, по крайней мере, оплачен строительный материал; леса и лестницы — вот и все существенное, что остается. Все это — не общее правило, а исключение в современной индустрии, и можно

сказать, что строительная промышленность еще доселе стоит на уровне ремесла. А гильдия и была формой, господствовавшей в эпоху преобладания ремесленной промышленности. Все это верно; но потому-то и правильно, что, идя по линии наименьшего сопротивления, гильдеизм начал именно со строительной промышленности. В других отраслях его задачи, а потому и формы организации труднее и сложнее. В этом лидеры гильдеизма отдают себе полный отчет.

Сравнительно с романскими синдикалистами, гильдейцы относятся существенно иначе не только к кооперативизму, — но и к государству, отводя последнему в своей схеме очень видную роль. Дальше всех в этом направлении идут Оредж и Гобсон. Для Ореджа «ясно, что гильдия не должна быть абсолютным владельцем земли, домов и машин: мы остаемся социалистами потому, что мы верим, что в конечном счете государство, как орган, представляющий все общество в его целом, должно быть окончательным судьей». Оредж характеризует позицию гильдейцев, как срединную между «государственным социализмом или коллективизмом и синдикализмом». Государство в их «обществе будущего» является собственником всех средств производства: только собственник этот управляет ими не через посредство своей бюрократии, а через посредство «автономных рабочих корпораций или гильдий». И эта автономия чрезвычайно обширна. Во всем, так сказать, внутреннем распорядке производственного процесса национальная рабочая гильдия совершенно свободна от вмешательства государства...

Еще в большей мере «государственником» является Гобсон, для которого государство в идее есть «историческое и практическое выражение суверенной гражданственности», «организованная сила, которая отрешена от всяких экономических связей и потому свободна без всяких препятствий применять те метафизические и духовные принципы, которые характеризуют эмансипированную нацию». Государство, таким образом, разгруженное от экономических функций, из-за которых кипит борьба и столкновение «земных, слишком земных» интересов, сможет посвятить себя всецело «проблемам и идеям», стать *spiritual State*, «государством духа». Для большего успеха в этом деле, «государство» должно быть отделено от «правительства», т. е. от технического аппарата управления. Этот аппарат может находиться в руках «служилых гильдий», самоуправляющихся корпораций государственных гражданских чиновников — *Civic Guilds*. Опираясь на эти средоточия «деловой компетентности», коллегий технических специалистов, государство впервые станет «свободным для того, чтобы играть роль духовного вождя нации»; в отличие от аппарата управления, государство будет ничем иным, как концентрированной волей нации. Его орудием будет попрежнему закон, за которым будет стоять концентрированная *сила* общества, которая сможет заставить уважать общую волю. Но если, таким образом, отправление всех социальных функций будет опираться на государство, само это последнее будет свободно от отправления этих функций. — так сказать, бесфункционально... Никакого непосредственного вмешательства государства в ход хозяйственной жизни и в действия механизма, ее регулирующего, не предполагается.

Уже с самого начала бросается в глаза, что «здесь бриттов дух, здесь

бриттом пахнет». Государство в своих отношениях к хозяйственным национальным гильдиям социалистического общества — словно нынешний английский король по отношению к своим министрам: он «царствует, но не управляет». Это раз. Но у англичан есть другая особенность, не раз подмеченная наблюдателями: большой внешний консерватизм, приверженность к традиционным формам. Английская метода здесь подобна методу древнего римского права. Римская юриспруденция стремилась всякое новое явление жизни втиснуть в старые формы, искусственно придавая этим последним расширенное, распространительное толкование. Англичанин тоже крепко держится за неразрывную преемственность развития и скорее переборщит в этом отношении, чем изменит самому принципу. «Гильдейцы» — наибольшие революционеры в английском социализме; и в высшей степени характерно, что в самом наименовании своего социализма они все же ухватились за пахнущее средневековьем и ремесленным бытом слово «гильдия», так странно режущее слух современного континентального социалиста. Есть, правда, «гильдейцы», которые согласны, что термин «гильдия» не совсем удачен, и употребляют его с оговоркой, за отсутствием лучшего; но есть и такие, которые, подобно А. I. Penty, тянут к средневековому локальному корпоративизму вполне решительно и определенно. В то время, как французский анархо-синдикалист уходит, подобно римскому плебею, на Авентинскую гору своей новой синдикальной организации и оттуда, с позволения сказать, плевать хочет на весь остальной мир, обреченный в его глазах тлению и только тлению, — английский «гильдеец» заботливо подбирает, как отдельные кирпичики, черты нынешнего производительного товарищества и черты нынешнего профессионального союза, чтобы примирить их в высшем синтезе, в то же время базой или складочным местом для него выбирая старинную, исконную форму былой ремесленной гильдии и подобно Артуру Пенти, говоря прямо о ее «реставрации» (Restaration).

И гильдейцы отнюдь не собираются бойкотировать всего остального мира. Мы видели, что их гильдия во внутренних делах вполне автономна. Но везде, где отдельная самоуправляющаяся отрасль промышленности соприкасается с остальным обществом, там регулируются ее взаимоотношения с государством, с местными самоуправлениями или специально с кооперативными организациями, как представителями интересов потребителей, с которыми должны быть гармонизированы интересы производителей. Здесь, прежде всего, выдвигаются вопросы: во-первых, о калькуляции цены товара или, вообще говоря, оплаты труда и других затрат «гильдии» по производству; во-вторых, о качественной и количественной стороне товарной массы, в соответствии с «заказом» или потребностью общества. Итак: организация труда на основе самоуправления трудящихся, и организации взаимоотношений с остальным миром на основе гармонизированной самостоятельности производителей и потребителей.

Здесь мы — в сфере вопросов, наиболее трудных для гильдеизма. Последний является весьма детально разработанной и глубоко продуманной системой в области регулирования производственного процесса собственно. Вопросы обмена и распределения ему, по общему правилу, менее удаются. Гильдейцы, впрочем, сами признают, что «стоят в самом начале рассмотрения про-

блем, связанных со структурой гильдейского общества», что вполне разработана лишь внутренняя конституция гильдии, тогда как в сфере их взаимозависимостей «вспахана лишь поверхность почвы».

Неудивительно, поэтому, что при решении этих вопросов в пределах «гильдейской» школы можно встретить и существенные разногласия, и многочисленные вариации. Так, например, для одного из позднейших, но зато наиболее основательных и богатых идеями представителей гильдеизма, Г. Д. Кола — открыто присоединившегося к «гильдейцам» лишь в 1914 году, — кооператизм, в качестве самостоятельного элемента трудовой демократической общественности, иногда как-то стусевывается и растворяется в основном противоположении «гильдеизированного» профессионального союза и государства. Для Кола государство есть политико-правительственный орган граждан, как потребителей. Человеческое общежитие, чьим администрирующим, распорядительным органом является государство, состоит из личностей, связанных территориальным соседством; поскольку у них являются одинаковые нужды обеспечить себе использование известных жизненных благ, постольку этот общий интерес и находит выражение в деятельности государства. Если взглянуть в жизнь общественного тела, то легко распознать в «гражданине» — потребителя, и в общественном управлении — представительство жителей, как потребителей. Так обстоит дело и в простейшем коллективе, местной соседской общине, так же по существу оно обстоит в более сложном территориальном коллективе — государстве. Поскольку парламент демократически организован, постольку он представляет людей, как равноправных соучастников в пользовании общественными ресурсами. Но если это так, если государство, как таковое, есть лишь специфическое соединение граждан, как потребителей, задача которого — защищать их интересы, то это, естественно, не может не мешать ему серьезно заниматься интересами граждан, как производителей. Спрашивается: почему же государство связано именно с потребительскими, а не с профессионально-трудовыми интересами граждан? Ответ нашего основоположника гильдеизма гласит: потому, что граждане в качестве производителей распадаются на *разнообразные* профессиональные группы, с разными условиями труда и вытекающими отсюда разными интересами; тогда как в качестве потребителей граждане имеют *идентичные* интересы; отсюда организация граждан, как производителей, выделяет их в профессионально обособленные корпорации, тогда как организация их, как потребителей, смешивает их воедино в пределах территориального сожительства или соседства. Но раз это так, то государство приходится признать лишь одним из многих объединений людей в коллективы; это — наиболее широкая и всеобъемлющая форма объединения, из чего однако вовсе не следует, чтобы она была наилучшею и наивысшею из форм. Государство есть союз политический, а так как политика играет подчиненную роль по отношению к экономике, то и государственный союз в известном смысле должен находиться в зависимости от союзов производственных. Кол совершенно отрицает поэтому суверенное значение государства. Нация распадается на известное число автономных союзов, имеющих свои кодексы справедливости и полноту власти, и обязанные своим существованием подчинению и почтительному ува-

жению к себе собственных сочленов. «Среди всего этого разнообразия человеческих объединений государство может претендовать на значительное, важное место, но вовсе не на исключительное, единственное в своем роде могущество».

Стоит отметить мимоходом это новое существенное различие от анархо-синдикализма. Тот настаивает на полном «неприятии» государства. Гильдеизм же государство вполне приемлет, но лишь низводит его с высот монопольного положения, совлекает с него пышную мантию суверенности и превращает в одно из «химических соединений» людских атомов в ряду других соединений и наравне с ними.словно развенчанный король, ставший простым гражданином, государство замешивается в толпу других общественных союзов, которые получают право быть с ним на равной ноге. Впрочем, это новое положение гораздо легче понять, если подойти к нему с другого конца. Ибо ведь на деле не столько *государство* низводится на какую-то *низшую* ступень, сколько *другие* общественные союзы поднимаются на *высшую* ступень. Частноправовые по методу своего возникновения институты — учреждения свободной рабочей общности — превращаясь в гильдии, тем самым приобретают публично-правовое значение. Этим-то и создается их качественное, принципиальное «уравнение» с государственными органами. Гильдии есть органическая часть рабочего государства, именно та его часть, которою он ближе всего прилегает к процессам хозяйственного производства. Государство — прежнее, односторонне-правовое государство — есть политическая демократия. Здесь же мы имеем дело с его естественным дополнением — индустриальной демократией.

---

Итак, мы имеем у Кола как будто довольно определенную и законченную стройную схему. Автор «Истории социализма в Англии», М. Беер, резюмирует ее в таких чертах: «Нация, которая с точки зрения боевого социализма делится на антагонистические классы капиталистов и пролетариев, для целей социализма *созидательного* делится на производителей и потребителей, причем каждая из этих частей обладает соответственной организацией; с одной стороны — национальными гильдиями, с другой — государством. Обе эти организации являются равноправными партнерами, но служат для отправления различных функций. Государство, как представитель совокупности потребителей, является держателем средств производства, и на определенных условиях, рассчитанных на охрану интересов потребителя, предоставляет их гильдиям, которые и берут на себя ведение и направление производственного процесса. Государство должно регулировать товарные цены, определять количество продуктов, необходимое для удовлетворения национальной потребности, и вообще следить за тем, чтобы производители не эксплуатировали потребителей или не диктовали им, что они должны потреблять. Условия, на которых производители соглашаются служить нации, должны устанавливаться путем переговоров между национальными гильдиями и государством. Гильдии должны удерживать за собою

функцию извлечения из рабочей силы всего того, что она может дать, распоряжаясь для этого всеми необходимыми хозяйственными вспомогательными средствами; государство же, чтобы быть в состоянии противостоять несправедливым требованиям гильдий, должно положиться на свое равноправное положение, на одинаковое право голоса и на общественное мнение. В случае конфликта между двумя общественными союзами должна быть налицо какая-то высшая инстанция, в которой представлены все граждане сообразно различным проявлениям своей деятельности. Это разделение и координация властей обусловливает собою учреждение двух законодательных палат: конгресса гильдии и парламента, причем в компетенцию первого входят все касающиеся производства вопросы, вплоть до научной и технико-образовательной деятельности, в компетенцию же парламента — все остальные вопросы. Сообразно этому будет иметь место гильдейское и государственное законодательство. В случаях конфликтов окончательное решение будет принадлежать согласительным комиссиям обеих палат». Здесь стоит отметить воспроизведение — только с другим содержанием — типичной английской двухпалатной системы.

Не вдаваясь здесь в систематическую критику «гильдеизма», нельзя однако, не заметить, что основных общественных союзов не два, а по меньшей мере три. Кооперации, как автономной организации потребителей, для Кола как бы не существует, она включена в чисто-государственную организацию граждан. Гражданин равен потребителю. Это несомненная натяжка. Если ее принять, будет непонятно, почему же выделилось на началах свободной трудовой общности из государства и получило такое мощное и быстрое развитие — современное кооперативное движение? Чем объяснить, что в центре этого движения в новейшее время стала именно *потребительская* кооперация, на долю которой и приходится самый стремительный прогресс, и которая явно стремится сделаться душою всего кооперативного движения, и превратить организованное массовое потребление в естественную базу для кооперации производительной? Не слишком ли торопливо Кол и его единомышленники растворяют и топят самостоятельную, независимую кооперацию в общегосударственном объединении граждан? Не произвольно ли, не искусственной ли натяжкой является сведение государственной связи к организации *потребительских* интересов? На деле эта связь не имеет специальной близости ни к потребительским, ни к производительским интересам; скорее она организует *общие* для тех и других функции; исторически же она переплетается и с теми, и с другими на началах примитивной недифференцированности, смешения одних с другими. Возьмем простейший территориальный, соседский союз: деревенскую общину. На чем она более всего объединяет сочленов: на потребительных ли, или на производительных нуждах? Очевидно, и на тех, и на других, и, быть может на последних еще более, чем на первых. С известной точки зрения русскую поземельную общину можно рассматривать, как вид кооперации по производству. Поземельная община ведала распределением между сочленами такого основного средства производства, каким в сельском хозяйстве является земля. Более того, в связанном с поземельной общиной принудительном севообороте, в «супрягах», «помочи», в общинных пастбищах, общинной косьбе с дележом сена и

т. п. производственный момент выступает чрезвычайно ярко. Не менее ярок он в распорядках знаменитой рыболовной общины Уральского казачьего войска. Его можно проследить вплоть до еще более первобытных соединений охотничьих, племен, на заре происхождения государства в его эмбриональных, зачаточных формах. Переходя к крупным государствам древности, можно также отметить то там, то здесь колоссальную роль производственного момента: стоит вспомнить роль регулирования разливов Нила в государственной истории Египта или поддержания огромной ирригационной системы на месте нынешнего Туркестана, Бухары и Хивы.

Если государству, как политической демократии, противопоставить демократию индустриальную, то зародышами ее наравне с нынешними профессиональными союзами явятся и кооперативные объединения. И если искать, кто же непосредственно представляет интересы потребителя в отличие от интересов производителя, то придется вовсе не к противоположению государства и синдиката, а к противоположению кооператива и синдиката. Что же тогда представляет собою государство? Государство объемлет собой и производителя, и потребителя, стремясь на точной основе права уравновесить, согласовать или разграничить *все* разнообразные и сталкивающиеся интересы, в том числе интересы производителя и потребителя. Оно представляет собою *общие* интересы того и другого, и прежде всего один основной общий интерес, общую потребность: потребности в *безопасности*, внешней и внутренней. Из этой потребности вырастают такие вещи, как войско и флот, как органы, ведущие всю иностранную политику, как полиция, суд и администрация, как организация здравоохранения и пр. Другой такой же общий интерес и производителей, и потребителей — это необходимость реальной широчайшей социальной связи, т. е. интенсивных *сношений*: отсюда, государственное заведывание почтой, телеграфом, путями сообщения. Все это — еще не производство и не потребление вещественных благ, но внешние условия, равно необходимые и для того, и для другого: их логическое и фактическое *prius*. Ясно, поэтому, что Кол незаконно упростил организационную схему «созидательного социализма». Наравне с государством, охраняющим равновесие между разными индивидуальными и групповыми интересами, должны встать не только национальный союз «гильдий», но и национальный союз кооперативов. Между теми и другими, при посредничестве государства, как супр-арбитра в конфликтных случаях, и должны быть распределены разные функции по управлению производством; причем производственные задания и контроль над результатами должен в особенности касаться представителей организованного потребления, регулирование условий и механизма самого производственного процесса — составлять специальную компетенцию рабочих гильдий, а вопрос о вознаграждении, о приведении в соответствие затрат труда и капитала в данной отрасли производства с калькулированными ценами произведенного продукта не может быть разрешен без участия объемлющего всех территориального целого — государства.

Здесь, особенно для переходного периода, нельзя не посчитаться и с тем обстоятельством, что различные отрасли промышленности, в связи с неодинаковым органическим составом капитала (делением его на постоянный и пере-

менный капитал), дают неодинаковую норму прибавочной стоимости. Только механизм конкуренции, путем отлива капитала из менее выгодных отраслей и чрезмерного прилива в более выгодные, приводит к приблизительному равенству нормы прибыли. Этот стихийный, механический рыночный уравниватель с переходом к социалистическому хозяйству упадет, и должен быть заменен другим, сознательным и планомерным. Как представитель общественного целого во всех его гранях и разрезах, государство — этого хотят и гильдейцы — выступает, как держатель средств производства. Именно как таковой оно изымает ренту или сверхдоход гильдии, получившей в свое заведывание более выгодную отрасль промышленности, и распределяет ее равномерно между всеми, покрывая дефициты гильдий, заведующих менее выгодными отраслями. Романский анархо-синдикализм по большей части совершенно игнорировал эту важную проблему распределения, ссылаясь просто на «свободное соглашение» о «справедливом обмене» между независимыми синдикатами. Но сила синдикатов, занимающих «ключевые позиции» и «командующие высоты» индустрии несоизмерима с силою второстепенных отраслей. Синдикализм же оптимистически игнорировал возможность огромных трений между ними, не думая ни о супр-арбитре, ни о необходимости специального ограждения интересов потребителя.

А между тем, совершенно несомненно, что в организации социалистического общества потребительские группы должны иметь свой голос наравне с группами производителей. Указание, что всякий производитель является вместе с тем и потребителем, а потому не имеет смысла создавать специальное представительство потребительских интересов — не выдерживает никакой критики. Ведь на этом основании можно было бы утверждать и обратное, а именно, что в социалистическом обществе решающий голос должен принадлежать группировкам потребителей, и что те же люди в качестве производителей должны быть только послушными пассивными исполнителями. Ибо ведь производство служит не для производства, а для потребления!

Именно равноценность «потребительного» и «производительного» начала и требует равновесия между ними, и в конфликтных случаях — арбитража, а, стало быть, и предполагают вмешательство «третьего элемента» — государства.

Но если мы государство возведем в роль супр-арбитра между потребителями и производителями, не будет ли это значить, что мы воскрешаем старый юридический абсолютизм государства-Суверена? Не возносим ли мы его опять на какую-то недостижимую, нечеловеческую высоту Верховного Существа, качественно отличного от всех прочих человеческих коллективностей? Нет; логически это вовсе не обязательно. Не потому государство координирует потребителя с производителем, что оно *выше* их, а просто потому, что оно по отправляемой ею социальной функции представляет то *общее*, что не разделяет, а объединяет производителя и потребителя. Гражданин включает в себя и производителя, и потребителя; это *просто человек*, животное общественное, которое для того, чтобы и производить, и потреблять, должно просто жить и общаться с себе подобными. Арбитражная роль государства вполне мирится с принципами

так называемой «функциональной демократии». Функция организации производства материальных благ, функция организации их распределения и потребления, функция обеспечения безопасности и удобства общения для того и для другого: таковы три функции, создающие три вида социальных коллективов, из которых наиболее общий и элементарный, а потому и ранее слагающийся в стройную организованную социальную систему, есть государство. Это историческое первенство и делает государство опорным пунктом для приведения в организованную социальную систему двух других функций, доселе находящихся в состоянии хаоса, распыленности, стихийной анархии.

Граждане социалистического общества будут чрезвычайно многосторонне организованным целым. Разные общественные союзы с разных сторон будут охватывать и координировать их деятельность. Развить до максимума каждый специальный вид организации, обеспечить его широкую автономию в границах его внутренней жизни, и в то же время должным образом размежевать, координировать и гармонизировать деятельность всех — такова одна из главных задач нового социализма, — социализма, прежде всего, творческого, созидательного, конструктивного.

Разделение труда в области хозяйственной деятельности идет все вперед и вперед. Человеческие потребности дифференцируются, утончаются; вырастают все новые и новые потребности, неизвестные нашим предкам; появляются, под влиянием человеческой изобретательности, все новые виды благ. Соответственно дифференцируются, умножаясь, и отрасли производства. Соответственно этому, отдельный человек, как производитель, работает на всех, сам потребляя все меньшую и меньшую часть продукта, производимого своим трудом, а иногда непосредственно не потребляя никакой его части. Поэтому личная непосредственная заинтересованность каждого производителя в качестве, добротности продукта своей работы делается все более и более отдаленной и во всех смыслах минимальной. И потому ради организационного «монизма» (а правильнее, симплицизма) требовать, как это делают романские анархо-синдикалисты, основания всех общественных связей на профессиональном делении людей, как производителей, — чревато громадной опасностью: опасностью как качественного, так и количественного падения продуктивности труда (Кол выражается еще резче: «Совершенно не годится отдать потребителей, т. е. общественную совокупность, в жертву произволу производителей, как то делает синдикализм, при котором общественное целое может так же эксплуатироваться, как ныне, частными профит-махерами»). Столь же исключительное обоснование социализма на потребительских группировках чревато было бы, вероятно, противоположной опасностью: форсированием производительности в ущерб, так сказать, основному физическому и духовному капиталу рабочего человечества, за счет перенапряжения его мускульной и нервной энергии. Для нейтрализации двух этих опасностей, «гильдейский социализм» может прибегать к смешанным (большею частью на паритетных основах) комитетам из представителей потребителей, рабочих и государства. Правда, многие гильдейцы склонны этим смешанным комиссиям придавать как бы «третейские» функции, заставляя их *post factum* разбирать и улаживать конфликтные случаи.

Думается, что правильнее придать им функции *превентивные*, и сделать их не спорадическими, а органическими. Понятия равновесия, гармонии между многообразными, способными враждебно сталкиваться друг с другом интересами человечества в сложных и разнообразных условиях производственного и распределительного процесса, стоят в самом центре нового, конструктивного социализма, которому всякая односторонность противоречит по самой своей природе и который не может не быть синтетичным. И «гильдейский» социализм, поскольку он решительно становится на эту почву, гораздо больше, чем исключительный «самодовлеющий» синдикализм или такой же однобокий кооперативизм, представляет собою разрыв с изжитым прошлым и ступень к социализму грядущего.

---

Мы видели, как серьезно отличие гильдейского социализма от одностороннего анархо-синдикализма. Не менее серьезно его отличие и от диктаторски-государственного коммунизма.

В самом деле, современный русский коммунизм, как мы видели, представляет собою, в сущности говоря, лишь одну из разновидностей «государственного социализма». Этот последний, с его методами «национализации сверху», предполагает управление «огосударственным» крупным производством на общих началах централизованного бюрократического государства, т. е. через иерархически построенную армию чиновников которым и подчиняются все отдельные рабочие группы. Разница лишь в том, что старый государственный социализм исходил от традиционного полуабсолютистского полицейского государства, стремившегося увеличить свою хозяйственную мощь введением целого ряда торговых и промышленных государственных монополий. Что же касается до диктаторски-государственного коммунизма, то он начинается с того, что рвет с традицией и революционным путем выхватывает государственную машину из рук старой служилой аристократии; он продолжает плебеизацией личного состава бюрократии, а кончает тем, что создает новую бюрократически отвердевающую аристократию власти из элементов демагогически-пролетарского происхождения. Весь механизм попадает, правда, при этом в руки лиц и групп существенного культурно-психологического склада: на место заматерелого бюрократа встает homo novus, на место спокойного, опытного, но традиционно-застывшего служаки — беспокойный авантюрист, не боящийся никакого новаторства и смело идущий на какие угодно эксперименты. Но в этом и все различие. Ленин восстанавливает на фабриках «единоличное начало», требуя от рабочих «беспрекословного подчинения»; Троцкий настаивает на «далеко идущем расширении дисциплинарных прав» заведующих предприятиями. По своему конечному происхождению, правда, власть предполагается исходящей из чисто-рабочего, массового источника — она есть олицетворение «диктатуры пролетариата» в его целом; но в непосредственных своих разветвлениях, касающихся рабочих, как тружеников, она есть абсолютная власть над этими тружениками.

Ничего подобного гильдейский социализм не предполагает и не допускает. Для этого он слишком «английский» продукт. Англия никогда не знала, подобно континенту, законченной системы бюрократического абсолютизма. В ней всегда оставались живучими старо-феодальные свободы, — отдельных баронов и джентри, городов, графств. Эти свободы были сначала унаследованы и расширены буржуазией, а затем стали достоянием всего народа. И в то время, как великая французская революция, а затем Наполеоновская эра, завершила развитие бюрократической централизации, так что установившаяся, в конце концов, буржуазная республика приняла ее всецело, лишь заменив в центре системы прежнюю диктатуру — выборным парламентом, — Англия продолжала развиваться путем децентрализации, путем широкого местного самоуправления в приходях, округах, графствах, и ее парламент был лишь «увенчанием здания» с весьма ограниченной компетенцией, а вовсе не многоголовым самодержцем страны. Наконец, локальные свободы находили себе более твердое обоснование в гарантии законом и судом личных прав каждого единичного английского гражданина.

Не раз уже было замечено, что «гильдейский социализм» есть ничто иное, как перенесение этих широких демократических норм из области чисто-политической на хозяйственную. Для гильдейского социализма грядущее общество есть просто «индустриальная демократия», т. е. конец единоличной или олигархической власти на фабрике, заводе, в промышленном тресте, банке и т. п., и переход от нее к системе хозяйственного самоуправления, в котором имеют голос все непосредственные участники и заинтересованные лица. И в этом самоуправлении должен торжествовать принцип децентрализации, принцип автономии частей. Национальные рабочие гильдии для всех отдельных отраслей производства и дают целостную систему *экономического федерализма*. Управление фабриками через «назначенцев» центральной власти, хотя бы и олицетворенной в виде выборного и подотчетного стране органа, так же неприемлемо для «индустриальной демократии», как неприемлемо было бы для английского демократа управление графств и округов губернаторами и генерал-губернаторами, назначаемыми парламентом. Подобная вещь низводила бы английские земли на положение колоний и была бы оскорблением национального достоинства. Подобно этому принципы Ленина и Троцкого, принципы диктатуры на заводе советского управляющего, наделенного широкой дисциплинарной властью с требованием безусловного повиновения от «милитаризированных» рабочих, — эти принципы для «гильдейского социализма» могут быть лишь насмешкой над его идеями и стремлениями, абсолютным противоречием самым основам «индустриальной демократии».

Гильдейский социализм представляет собою дальнейшее логическое развитие старо-английского индивидуализма; он в высшей степени заботливо ищет гарантий для обеспечения законной свободы отдельного рабочего индивидуума и целой рабочей группы от опеки центральной власти. Государство-Левиафан, во все вмешивающееся, всеведущее, всемогущее — этот Молох, которому на континенте так привыкли приносить в жертву человека — не приманка для «гильдейцев» даже тогда, когда оно вооружается современными ат-

рибутами «государственного социализма». Видеть всю страну в сетях всесторонне разветвленной, иерархически-дифференцированной социалистической или даже коммунистической бюрократии им вовсе не улыбается. И гильдейский социализм прямо заявляет, что свобода рабочих так же мало совместима с нахождением во главе производства чиновников, поставленных государством, — будь то даже чиновники государства, попавшего во власть рабочего класса, — как и владычество над индустрией капиталистических предпринимателей.

Кол, вдохновляясь в этом отношении близким к анархизму социализмом Морриса, говорит про последнего: «Я чувствую, что он более, чем какой-либо другой из пророков революции, кровно родствен национал-гильдейцам. Свобода для проявления своей индивидуальности, свобода в труде, как и в отдыхе, свобода в служении и в наслаждении — таков руководящий мотив всей его деятельности и всей его жизни. Таков же и руководящий мотив национальных гильдий».

Различие между гильдейским социализмом и большевизмом в этом пункте — есть лишь воспроизведение в данной частной области различия между Англией и Россией.

Мы уже знакомы с попыткой Сореля во Франции, Максима Горького в России увидеть в Ленине модернизированного Петра Великого. Характернее всего, что *подсказал* обоим это сравнение сам Ленин. В мае 1918 года, т. е. ранее и того, и другого, он написал: «Наша задача — учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть *диктаторских* приемов для того, чтобы *ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенимание западничества* варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» («О левом ребячестве и мелкобуржуазности», Собр. соч., т. XV, стр. 268). Россия, с ее традицией призвания варягов, введения картофеля путем военных экзекуций, Россия военных поселений, дыбы и кнута, стрижки бород и переряживания, указом свыше, россиян в голландцев — вся здесь, в этой идее: через заимствование у немцев государственного капитализма военного времени вогнать нацию «дубинкой Петра Великого» в социалистический элизиум... Этот типично *опекунский* квазисоциализм более похож на старинный «коммунизм» отцов иезуитов в Парагвае, чем на рабочий, массовый, насквозь демократический социализм нового времени. Большевизм — это естественное идейное порождение сильных индивидуальностей, выковавшихся в огне подпольной борьбы с самодержавием, исковерканных этой подпольной борьбой и незаметно для самих себя загипнотизированных созерцанием своего противника вплоть до «омерячения», до болезненной подражательности его методам и приемам...

Гильдейский социализм, напротив, есть типично массовый, демократический социализм. Он далек, как земля от неба — от мысли о коммунистических «демиургах», в чьих руках массы — мягкий воск. Кол прямо говорит: «те, кто верят, что большинство человечества есть лишь материал для социальных экспериментов меньшинства, — сделали бы лучше всего, если бы оставили в покое социальные вопросы и занялись бы своими личными делами». В 1917 году бульварный беллетрист с порнографическим оттенком, Иероним Ясинский, с

большим шумом «примкнув» к только что победившим большевикам, принялся грубо льстить им, открыв, что они воплотили в себе самые яркие черты ницшеевского «сверхчеловека». Этим он привел в совершенный восторг Луначарского, которому, разумеется очень понравилось быть коммунистическим ницшеанцем. Гильдеец, как культурно-исторический тип, — полный антипод претендентам на сверхчеловечество. Идея гильдеизма, идея индустриальной демократии, естественно, зародилась и развилась в самом процессе непосредственной, массовой пролетарской самодеятельности и повседневной терпеливой и упорной борьбы. Ее породил не кабинет и не салон, а *мастерская*. В будничной практике своей, развивающейся с ходом истории профессионального движения, английский рабочий медленно, но верно все увеличивал и упрочивал свое влияние на управление промышленностью. Из роста этого влияния и родилась мысль о естественном математическом «пределе» этого роста — о контроле профессионального союза над промышленностью, переходящем в полное господство над нею — о профессиональном союзе, в национальном масштабе берущем в свои руки данную отрасль промышленности и превращающемся в охватывающую всех занятых в ней работников умственного и физического труда, «национальную рабочую гильдию».

В Англии самостоятельная рабочая партия родилась, как объединение тред-юнионов для целей обеспечения им своего парламентского представительства; к этому объединению примкнули и отдельные социалистические партии, и научно-социалистические общества. Подобно этому в будущем обществе для «гильдейцев» основным ядром является федерация рабочих гильдий, плюс все иные виды культурно и социально необходимых группировок. Английский рабочий, в лице «гильдейца» творит в своем сознании новый социалистический мир «по своему образу и подобию».

Это — не кабинетный, не интеллигентский социализм, а подлинное порождение массового рабочего движения. Рабочие и естественные группировки их в производстве и распределении для него — истинный субъект, а не объект социалистического творчества. Идеи гильдейского социализма родились в рабочей мастерской, а не в четырех стенах кабинета доктринера и не в подполье профессионального заговорщика. Они проверялись опытом ежедневной борьбы и самоорганизации, а не экспериментами вчерашнего нелегального борца, благодаря удачному «путчу» получившего возможность выпускать ежедневно в свет столько декретов, сколько хватит бумаги и типографских возможностей.

В тесной связи с этою чертою стоит и полное отсутствие у теоретиков гильдеизма авторитарной психологии, претензий на непогрешимость, доктринерской нетерпимости. Они прекрасно понимают, что вся ценность их построений — условная, прагматическая ценность, ценность «рабочей гипотезы». Хотя бы тот же Кол, напр., попытавшись детально разработать все последствия воплощения принципов гильдии во всей структуре общественного хозяйства, тотчас же оговаривается: «Ни на один момент я не принимаю, что когда-нибудь осуществится точь в точь та система, которую я спроектировал; я даже не воображаю, что мы когда-нибудь будем иметь национальные гильдии в точности того образца, какой мы себе представляем. Я не так глуп, чтобы не знать, до ка-

кой степени иным методом творится история. Мы формулируем и уточняем наши идеи не в надежде всецело перенести их из головы в реальную жизненную действительность, но потому, что лишь ясно сформулированные и точно продуманные идеи способны оказать действительную помощь в строительстве нового, лучшего мира».

Для гильдейцев их система — не прокрустово ложе, на котором во что бы то ни стало должно быть распростерто человечество, хотя бы пришлось для этого или растянуть ему жилы, или подрубить ноги либо голову. Нет, это — ориентировочный план, проверяемый предварительно на эмпирическом материале; это — подсобное орудие работы, с ценностью чисто служебного, утилитарную, не обладающее по отношению к работе никаким сверхэмпирическим императивным значением. Оно — не экзаменатор жизни, а экзаменуемый у жизни. В этом смысле гильдеизм глубоко чужд доктринерской непримиримости и насквозь *поссибилистичен*.

---

Бертран Рассель, гильдеист наиболее близкого к анархизму оттенка, как-то заявил, что в этом течении можно видеть «воплощение специфической английской склонности к духу компромисса». Мы хорошо знакомы с попыткой пересадить этот английский дух на немецкую почву в виде старого «берштейнианства».

Быть может, самую интересную из всех бернштейновских идей надо признать его попытку различить в современном социализме два основных течения. «Одно — *конструктивное*, — продолжает реформаторские идеи первоучителей социализма; другое вдохновляется массовыми революционными движениями и фактически имеет в виду *разрушение*. Сообразно обстоятельствам момента, одно является, то как утопическое, то как сектантское, то как мирно-эволюционистское; другое — как конспираторское, демагогическое, террористическое. И чем более приближаемся мы к современности, тем категоричнее звучат лозунги: здесь — освобождение через экономическую организацию, там — освобождение через политическую экспроприацию... Марксистская теория пыталась скомбинировать основную сущность обоих течений... Но этот синтез не означал упразднения антагонизма; он скорее был компромиссом... подчинением специфически-социалистического элемента — радикально-политическому и социально-революционному. И какова бы ни была эволюция, которую претерпевала марксистская теория с годами, все же последняя никогда не могла отделаться ни от этого компромисса, ни от этого дуализма».

Совершенно ясно, что гильдеизм пришлось бы отнести самым категорическим образом к *первому* из намеченных течений. Он по всему своему внутреннему существу прежде всего и более всего *конструктивен*. Однако, ни утопизм, ни сектантство, ни мирный эволюционизм его не удовлетворяют. Он ставит себе задачей, не менее, чем марксистская школа, *преодоление* дуализма разрушения и созидания. Но не грешит ли бернштейновская классификация каким-нибудь существенным смещением? Верно, что великие мыслители, основопо-

ложники социализма, внесли в мировое социалистическое движение элементы созидательные, творческие, конструктивные. Верно, что стихийный бунт масс против капиталистического гнета прежде всего разрушителен, негативен, деструктивен; в первоначальных его проявлениях он даже «деструктивен» в самом узком, грубо-физическом смысле: пример — «Maschinenzerstorer», разрушители машин. Но правильно ли будет далее эту разницу возвести к разнице «освобождения путем экономической организации» и «освобождения путем политической экспроприации», к разнице начал реформы и революции, собственно социализма и политического радикализма? Конечно, нет. И в области *политики*, как и в области *экономики*, есть налицо борьба конструктивизма и деструктивизма; конструктивизм дает *организованную политическую* демократию, деструктивизм — либо анархическое «разрушение государства», либо якобинское голое насилие, диктатуру, как отрицание всяких норм, связующих волю победителя в социальной борьбе. То же относится и к различию революции и реформы. Мыслим и реформизм, скудный на конструктивные элементы: таков плоский социальный *филантропизм*, составлявший сущность Бис-марковского «государственного социализма» или «социальной монархии» Наполеона III; мыслима и богатая конструктивными заданиями революция. Что касается специально бернштейновского ревизионизма или социал-реформизма, то он также слишком часто *конструктивные* реформы и реформы социально-филантропические смешивал в одну кучу. Социальный филантропизм думает прежде всего и более всего о поднятии жизненного, бытового, материального уровня рабочего. Но такое поднятие может осуществляться самыми разнообразными путями. Для реформизма все пути равно хороши, все ведут в Рим. Не то для синдикализма и для гильдеизма. Синдикализм резко вооружался против всего, что имеет характер простых подачек от государства, вроде субсидий биржам труда и т. п. Гильдеизм категорически против участия рабочих в прибылях отдельных предприятий, так как это распылает классовую энергию рабочих, разламывает единство обще-рабочего фронта, создает искусственную солидарность рабочего с хозяином *против потребителя*. И синдикализм, и гильдеизм — против всех реформ, делающих центральную государственную власть заботливым опекуном рабочих, а рабочих — пассивным объектом его забот и благодеяний. Синдикализм и гильдеизм, конечно, не считают улучшение быта рабочих делом неважным и второстепенным, но они хотят его только в очень определенных формах и очень определенными путями; они хотят его, как *следствия* изменения положения рабочих в производстве, они хотят его, как следствия более демократической организации производства, такой организации, при которой рабочий становится более свободным, более инициативным, более творческим фактором производственного процесса. Не улучшение кормежки пролетария, как рабочего скота, а превращение рабочего из «придатка к машине» в истинного субъекта созидательного процесса материальной продукции — вот что стоит на первом плане для конструктивного социализма, и вот почему нельзя его отождествлять с социал-реформизмом в его противоположении к социал-революционизму.

Повторяем, Бернштейн фактически был прав: конструктивный момент

привнесен в социалистическое движение творческою мыслью основоположников социалистической теории, деструктивный — стихийным протестом масс против уз эксплуатации. Но когда *мысль* отрывалась от *массы*, — она вырождалась то в фантастический утопизм, то в узкий догматический *сектаризм*, то в благонамеренное, но бессильное социал-реформаторское прожектерство. Когда *масса* отрывалась от *мысли* — ее движения вырождались в бунтарство, в путчизм, в демагогизм, в массовый или индивидуальный самодовлеющий терроризм, в заговорщичество. Мысль, оторванная от массы, и масса, оторванная от мысли, конечно, могут только расходиться все дальше и дальше друг от друга. Этот *дуализм* убийственен для обоих. Но это не есть какой-то метафизический дуализм «мысли» и «массы». Мысль, чтобы не быть бесплодною смоковницей, должна войти в жизнь массы. Ее цветы тем выше и пышнее могут тянуться к небесам, чем глубже ее корни проникнут в толщу глубокого почвенного слоя народной массовой жизни, и чем всестороннее понижут ее системой своих сложнейших и тончайших разветвлений. Масса же перестанет быть «людской пылью» и станет коллективным субъектом исторических событий лишь постольку, поскольку она будет пропитана животворящею мыслью.

Не всякий реформизм, а конструктивный, т. е. глубоко революционный реформизм; не всякая революция, а созидательная, позитивно-реформирующая, конструктивная революция. Не «экономика» против «политики», и не «политика» против «экономики», а конструктивизм и в политике, и в экономике. В понимании всего этого бернштейнианство было далеко позади и синдикализма, и, тем более, гильдеизма. В этом и причина его измельчания, оппортунистического вырождения и конечного неуспеха, несметая на присутствие в нем ряда ценных, но недодуманных до конца, недостаточно углубленных идей. В этом — причина, почему бернштейнианство не имело будущего и сдано жизнью в архив истории.

Гильдейский социализм в одних своих проявлениях — напр., в частно-правовой деятельности строительных гильдий — носит «чистоделовический», спокойный и мирный характер. Это не мешает ему в других областях выступать достаточно бурно и революционно. Выбор между средствами для него — не вопрос абстрактного принципа, а вопрос времени, места, характера проблемы и соотношения сил.

Гильдейский социализм сумел внедриться в жизнь и связаться с глубоким движением рабочих низов. Он в значительной мере сумел теоретически возглавить мощное движение горнорабочих, — первое крупное массовое движение в Англии, поставившее себе непосредственною целью — давлением на парламент добиться от него согласия на национализацию горного — в особенности, каменноугольного дела, и на организацию совместного управления им рабочими и государством. Это движение приняло поистине грандиозные размеры и в свое время потрясло всю страну.

Шахтеры встретили в своих домогательствах единодушную поддержку всего рабочего класса Англии. А их идеи заразили собою и другие слои этого класса. Среди железнодорожников, среди почтово-телеграфных служащих началось острое брожение умов. В формулировке целей своей собственной борь-

бы они также обратились к идее превращения в автономные корпорации, наравне с государством принимающие непосредственное участие в организации железнодорожного и почтово-телеграфного дела.

Не нужно однако думать, что гильдейцы представляют себе процесс осуществления своих идей во всех отраслях хозяйственной жизни аналогичным с ходом событий, намечающимся в горном деле. Исключительное значение, которое имеет это последнее для английского народного хозяйства, вместе с его высокой капиталистической концентрированностью, в мировой обстановке после-военного кризиса, обусловили исключительные формы движения горнорабочих, и придали ему характер стремительного штурма, приводящего в движение для радикального преобразования силу государства. Вообще же говоря, гильдейцы строят свои расчеты преимущественно на механизме чисто экономической борьбы, в которой капиталист и рабочий стоят лицом к лицу без всяких посредников.

Рассчитывая на социализацию горного и железнодорожного дела одним ударом, в других областях промышленности «гильдейцы» представляют себе более длительный и затяжной процесс. Они рассчитывают, что потрясенный войною рабочий класс Англии будет уже не тот, что до войны. Его движение станет гораздо более боевым, его домогательство своих прав — гораздо более нервным и нетерпеливым. И не надо стремиться вернуть его психику к довоенному состоянию. Напротив, надо, чтобы рабочий класс стал сознательно и систематически нетерпеливым и требовательным. Учащение и обострение конфликтов должно поставить предпринимателей пред альтернативой: либо отстаивать все прерогативы своего фабричного самодержавия, зная, что в этом случае они не будут иметь ни дня покою, что вечные нарушения правильности и безостановочности нормального процесса производства будут вечно отравлять им жизнь и мешать им использовать послевоенную мировую рыночную конъюнктуру; либо пойти на встречу домогательствам рабочих и предложить им разделить с собою права и ответственность. Гильдейцы не обольщают себя иллюзиями относительно размеров той доли, которую в этом случае предложит рабочим фабрично-заводской патронат. Они прекрасно понимают, что рабочим будет предложено лишь весьма и весьма подчиненное, второстепенное место в деле соуправления производством. Они так себе и представляют дело, что получится нечто похожее на то, как если бы глава известной фирмы присоединил бы к себе ради расширения дела другого капиталиста в качестве «младшего компаньона», с ограниченными правами и ограниченной ответственностью. В данном случае, когда права такого «младшего компаньона» были бы даны рабочим, пришлось бы прибегнуть к системе назначения «смешанных комитетов» из представителей предпринимателей и рабочих. Этим было бы положено начало перехода от фабричного самодержавия капиталиста к фабричной конституции. На первых порах эта конституция, как всякая «октроированная» конституция, может быть весьма скромной. Но рабочие, конечно, ею не удовольствуются. Они будут стремиться все более и более расширить объем своих прав. А, главное, здесь процесс постепенного нарастания их роли в управлении производством будет идти параллельно с нарастанием их собственной способности к

хозяйственному самоуправлению, которая дается *лишь опытом*. Нет ничего более опасного, как быстрая перемена объективной роли в производстве, от которой отстает психика производителя. Современный рабочий слишком привык относиться к предприятию, в котором он работает, как к чужой и враждебной силе, высасывающей из него жизненные соки. По закону контрастов, по стихийному инстинкту, в котором может заключаться бессознательная потребность реванша, он, сразу ставши полным хозяином предприятия, легко мог бы усвоить на него взгляд, как на простое средство получения личной и узкогрупповой выгоды, игнорируя интересы предприятия, как такового, и народного хозяйства в его целом. Кроме того, мало желания хорошо управлять делом, нужно еще и умение. При капиталистическом строе рабочий является чересчур пассивным придатком к механизму предприятия, чтобы охватить его своим умственным взглядом, как целое, во всех его внутренних и внешних соотношениях. И вот почему промежуточная фаза прикосновенности к производству на правах как бы коллективного «младшего компаньона» будет иметь не одни лишь неудобства, проистекающие из «промежуточного», эклектического, компромиссного характера этой социальной ситуации, а и своеобразные выгоды. Рабочий постепенно войдет во все «тайнства» управления современным многосложным капиталистическим предприятием, освоится со своей ролью участника в деле, приобретет необходимые навыки и специальные сведения. От него самого будет зависеть, по мере собственного духовного роста, скорее перерастит свое первоначальное подчиненное и скромное положение. Опираясь на мощь своей профессиональной организации, рабочий будет все более и более расширять свои права контроля над производством, отбирать у фабриканта одну деловую функцию за другой, пока, наконец, у фабриканта не останется, в сущности, более никаких существенных полезных функций. Только тогда будет легко отнять у фабриканта и его последние — *собственнические права*. Ибо глубокая ошибка думать, будто капиталистическая собственность в настоящий момент основывается исключительно на какой-то юридической привилегии, которую можно уничтожить одним росчерком пера. Нет, предприниматель сейчас является *душою производства*, он представляет совокупность его интересов, как сложного организованного целого, предполагающего полную гармонию частей внутри и поддержание равновесия во взаимоотношениях своих с внешним миром; в противоположность единичным рабочим и служащим, предприниматель один находится во всеоружии знания всех этих внутренних и внешних соотношений; его личные качества в значительной степени обуславливают собою процветание дела. Прогнать его только для того, чтобы дело принялось трещать по всем швам, только для того, чтобы затем оказаться вынужденными (как в России это было с большевиками) привлечь его обратно, восстановить его в части его функций и в каком-нибудь замаскированном виде вернуть ему его прерогативы, создав для него привилегированное положение, чтобы заинтересовать его снова в деле и этим возместить за потерю прежних прав — это означало бы поставить всю социализаторскую задачу рабочего класса вверх ногами. Это значило бы «смешать шашки» всей игры. Никакие льготы и привилегии, ни в области дисциплинарной бюрократической власти, ни в материальном содер-

жании, не возместят той личной заинтересованности, которая руководила капиталистом, пока он был ответственным дольщиком предприятия. А между тем все эти льготы и привилегии, все эти чрезмерные бюрократические прерогативы являются извращением социализаторского принципа и жестоко его компрометируют. Да, наконец, и самая необходимость вновь апеллировать к организационному таланту бывшего предпринимателя после его низложения, доставляя низложенному острое наслаждение злорадного торжества, психологически уже является поражением рабочего класса, подрывающим его веру в себя, порождающим в нем разочарование и упадок духа. Метод гильдейского социализма всем этим авантюристическим экспериментам предпочитает прочное, серьезное, хотя и более медленное, нарастание приобретений рабочего класса, развивающее в нем стойкость, трезвую оценку собственных сил, но вместе с тем и возможность вполне на них положиться в заранее взвешенном и размеренном шаге вперед. В основе социальной философии гильдейского социализма лежит глубокое убеждение, что отмирают те общественные классы, у которых не остается более общественно-необходимых функций, и заменяют их другие классы именно потому, и постольку, поскольку они оказываются более способными отправлять эти функций. Поэтому центр тяжести лежит именно в фактическом замещении, а не в юридической экспроприации; последняя неминуемо сорвется, если первое недостаточно подготовлено; и, наоборот, она удастся, если оно обеспечено и фактически предшествует юридическому узаконению.

Очень метко и верно отметил Отто Бауэр: «У гильдейского социализма нет недостатка в революционном духе; недаром он развился под сильным влиянием революционного синдикализма. И его провозвестники всегда вновь и вновь подчеркивают, что окончательное и полное отрешение капиталистов от власти над индустрией, вероятно, будет возможно лишь революционным путем. Но гильдеизм ставит революцию не в начале, а в конце процесса. Рабочий класс должен сначала непрерывным расширением своего контроля над индустрией практически научиться такому контролированию, приобрести способность управляться с промышленным делом, — прежде чем принять на себя это управление всецело».

Какая бьющая в глаза разница сравнительно с тем, как хотя бы гильдейский лозунг «рабочего контроля» был подхвачен и пересажен на русскую почву большевиками!

Там широкие, в общенациональном размере задуманные «гильдии», объединенные в стройный, все государство охватывающий союз, с разветвлениями на фабриках и заводах, — разветвлениями, действующими по единому для всех «плану кампании» и проходящими практическую школу участия в управлении производством, начиная, так сказать, с «приготовительного класса». Здесь — распыленный, полуанархический, импровизированный «рабочий контроль», водворяющийся на фабрике, как у себя дома, единым духом, по взмаху дирижерской палочки самодурных конквистадоров власти. Там — прежде всего стремление к внутренним завоеваниям, приобретениям и победам рабочего класса: к росту сплоченности, трудовой самодисциплины, умения ориентироваться в сложных внутренних и внешних условиях существования промышлен-

ного предприятия, привычки чувствовать себя ответственным участником в деле его организации и процветания. Здесь — ставка ва-банк, погоня за внешней победой без обеспечения условий, дающих возможность ею воспользоваться, удержание во что бы ни стало захваченной позиции, хотя бы ценой хозяйственного распада и культурного запустения. Там — последовательное внедрение рабочего контроля, бережно охраняющее судьбу предприятия от грубой ломки и гибельных потрясений, там — достаточно продолжительный стаж, дающий рабочим практическое воспитание, подготовку, выучку на деловом опыте. Там с самого начала объединение физических рабочих в «гильдии» с техниками, специалистами, служащими. Здесь — короткий этап всевластия неумелых, неподготовленных и предоставленных своим собственным силам местных кучек рабочих; здесь — разрыв с научно-техническим руководством; здесь — опрощение всего заведывания предприятием, — с тем, чтобы во весь карьер перескочить от этого «смутного времени» на фабрике к ее абсолютной «национализации» и такому же всевластию «совбюров». Там — самодеятельность рабочих масс, полная свобода, независимость, почти абсолютная равноправность с государством частноправовых рабочих объединений синдикально-кооперативного типа; здесь — насильственная бюрократизация кооперативов и профессиональных союзов, опыты властного «сращивания» их с государством, опека над ними со стороны властных партийных кучек, монополизировавших всю власть и все гражданские права и свободы. Там — развенчание государства, совлечение с него тоги «суверенности», превращение его в одно из многих объединений с ограниченной компетенцией, ограниченной властью и ограниченным кругом действия; здесь — централизованнейшая и абсолютнейшая диктатура, делающая авторитет власти непререкаемым и подчиненность рабочей безусловной. Там — поистине зиждательный, конструктивный социализм, черпающий свои силы из творчества снизу, из организационной инициативы масс; здесь — столь же сильный в борьбе и разрушении, сколь бездарный в хозяйственно-организационном отношении режим, детищем которого является величайшая из разрух...

Одним словом, здесь «истинно русский» коммунизм, олицетворение всей нашей хозяйственной, политической и культурной отсталости. Он — не строитель новой, а жертва старой русской истории. Что же касается до «гильдеизма», то он, в такой же мере, есть продукт типично-английский. Но он только по внешности и в мелочах — детище *старой* Англии. Та знала свой умеренный и аккуратный тред-юнионизм старого стиля, строго выдержанного в духе рабочей аристократии. В гильдеизме — веяние нового времени, действие военного потрясения, влившего в английского рабочего революционный дух, дотоле свойственный романскому синдикализму. «Гильдеизм» явился как бы продуктом скрещивания бурного революционного синдикализма и солидного тред-юнионизма. В нем рабочая Англия отрешилась от былой «инсулярной» замкнутости, открылась влияниям континентальных течений, — но зато не замедлила и сама оказать чувствительное обратное влияние на эти последние.

Мы уже видели крах синдикализма в его «сореллистской» формулировке во Франции. «Сореллизм» умер: фактическое синдикальное движение уже давно начало духовно от него отчуждаться; и это отчуждение дошло до того, что в сборнике «Proudhon et notre temps» французских неопрудонистов (cercle «Les Amis de Proudhon») было констатировано: «известно, что ныне у г. г. Жоржа Сореля и Эдуарда Берта больше читателей и учеников в кругах Action Française, чем в С. Г. Т. (Всеобщ. Конфедерация Труда)». Одни из крупных сореллистов удалились с политической арены, другие ударились в «фашизм», третьи в «большевизм». Пройдя мимо этой, когда-то прогремевшей, но быстро рассыпавшейся идейной фаланги и окончательно отрешившись от ее влияния, современное реальное синдикальное движение, с Жуо и Мергеймом во главе, имея за себя таких из прежних теоретиков синдикализма, как Максим Леруа, пошло путями, явно сходными с путями английского гильдеизма.

Леон Жуо, выходец из рабочей среды; совсем не теоретик; но он хорошо выражает то, чего рабочие низы *хотят* от теории, какие задачи они ставят теоретикам. Для Жуо «faire la revolution — c'est d'entreprendre une vaste besogne constructive» (совершить революцию — это значит предпринять обширную конструктивную работу (Discours prononce au Comite Confederal national (21 juillet 1919), p. 15). «Наше воззрение» — заявляет он — «не может довольствоваться выжидательно-катастрофической гипотезой, которая предоставляет самой катастрофе определяющую роль по отношению к новому порядку и социальному равновесию». Вот почему «Всеобщая Конфедерация Труда озабочена тем, чтобы выступить не только с критикой, но еще — и более всего — с конструктивной теорией... имеющей в виду не только национальный, но и общечеловеческий прогресс». Центр этой конструктивной теории — мастерская. Реорганизация мира есть прежде всего реорганизация сердцевинной ячейки его — мастерской. Здесь прежде всего должен укрепиться, этой позицией овладеть социализм, прежде чем приступить к разрешению более широких задач. Переворачивая вверх ногами формулу обычного революционаризма — «разрушать, чтоб вольней созидать!» — Жуо выставляет лозунг: «organiser pour mieux pouvoir detruire», «организовать, чтобы получить возможность лучше разрушать». Воодушевленная этой идеей, Вс. Конф. Труда входит в сношения с целым рядом других органов трудовой общественности — с национальной федерацией кооперативов, с профессиональным союзом техников индустрии, торговли и земледелия, и с национальной федерацией чиновников; эти четыре организации сообща создают «Экономический Совет Труда» с девятью специальными секциями — девятью зародышевыми экономическими министерствами — призванными вырабатывать положительные решения во всех проблемах настоящего и будущего. Этому созданию «Экономического Совета» вне всякого отношения к государству предшествуют переговоры с Клемансо о создании его при государстве и с участием последнего; грубый отказ старого политического «тигра» синдикалистов не смущает; они принимаются за работу явочным порядком, зная, что время работает за них; и, действительно, министерство Эррио

приносит им то, чему близоруко и упрямо противился Клемансо. И, хотя Жуо убежден, что в конце концов L'Atelier fera disparaître l'Etat, «Мастерская заставит исчезнуть Государство», но государство есть одна из форм развивающейся демократии (которая и родилась ранее государства, и переживет его), и в качестве таковой должна быть использована. Жуо, далее, на Орлеанском конфедеральном конгрессе (1920), совершенно порывая с сореллистской «интеллигентофобией», заявил: «Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы антагонизм, поднявший друг против друга работников мысли и мускульных работников — исчез; мы хотим объединить мозговое и физическое устремление духом общего интереса... Социальная трансформация может быть только плодом гармонии между двумя этими основными элементами... и наш «Экономический Совет Труда» другого идеала не имеет»...

Так широко задуманная идея конструктивного синтеза нашла себе живой отклик в трех других, объединившихся с Вс. Конф. Труда организациях. Федерация государственных служащих, специально занявшаяся вопросом об административной реорганизации, поставила себе задачей «выработку административных, юридических и финансовых норм функционирования государства будущего, и подготовку к их применению». От имени союза технических специалистов секретарь его, Рожер Франк, заявил: «Мы привнесем в предпринятое Советом Труда дело экономической реорганизации наш научный дух, наши экспериментальные методы. В качестве технических специалистов, мы будем искать жизнеспособных решений в области конструктивной работы Совета». Наконец, кооператоры заявили не менее решительно, что уже по самому существу своей работы, — непосредственного строительства хозяйственных учреждений, — основанных на совершенно особых, не капиталистических принципах, они являются «конструктивными элементами нового общества».

Это новое, конструктивное направление в синдикализме, уже выступило с черновым наброском того, что французы называют «les nationalisations industrielles»; и нетрудно видеть, что «индустриализированная национализация» на французском языке означает нечто весьма близкое к тому, что на английском языке называется «национальной гильдией». Главный теоретик этого конструктивного синдикализма, Максим Леруа, из синдиката уже не делает, как раньше, самодовлеющего и универсального зародыша всей будущей общечеловеческой общественности. «Рабочие — говорит он — обнаруживают тенденцию не верить более в то, что они будто бы создадут заново снизу доверху новые федеративные организмы, под кровлею которых они и будут отныне продолжать целиком всю свою жизнедеятельность». Они не хотят более ничего прямолинейно догматизировать: «экспериментирующие наблюдатели, таковы новые психологические черты *конструктивного революционера*» (M. Leroy, „Les techniques nouvelles du syndicalisme“, Paris, 1924, p. 12).

Конструктивный революционер уже более не аполитичен; анархическая догма безусловного отрицания государства его не прельщает; различные корпоративные экономические организмы, федерации, органы независимой трудовой общественности «заявляют претензии иметь и применять свою долю авторитета в правительстве, то в форме советов, порою достаточно императивных,

то в форме самого настоящего административного и законодательного сотрудничества». Они лишь стремятся изменить общий облик государства, низведя его с былых заоблачных высот. «Суверенность — плохое слово, и даже сами юристы-теоретики в области публичного права, как Леон Дюгюи, все более и более исключают его из своего собственно-юридического словаря» (Ibid., p. 183). Оно должно быть брошено, как последний остаток метафизического Абсолюта. Как современная научная психология стала *психологией без души*, — так и в современной юридической теории государства должно восторжествовать *публичное право без суверенитета*, — как бы странно сначала не звучало и то, и другое для ушей обывательской публики, привыкшей к традиционным, обветшалым формулам доброго старого времени.

Для конструктивного синдикалиста «диктатура пролетариата» есть «идея прошлого, а не будущего»: это — что-то вроде «многоглавого бонапартизма». Ее полицейско-террористическое вырождение неизбежно: «будь мне братом, или я тебя убью». Все это — наследие старого, деструктивного революционизма. Наследие того же прошлого — и упрощенные, грубые формулы синдикализма, как идеологии людей мускульного труда. «Идея труда перестала пониматься узко, в виде чисто-мускульного усилия; она возвысилась вплоть до технической интеллигентности, граничащей с артистическим воображением и «выдумкой» изобретателя». А вместе с этим умственный труд технических специалистов, творцов-организаторов и научных изыскателей, в планах Конфедерации Труда получил свою «соправительствующую» роль — «и можно предвидеть, что она будет возрастать по мере того, как сама Конфедерация будет, как целое, становиться более конструктивной» (Ibid., pp. 82, 106, 169, 124).

Итоги десятилетней эволюции синдикализма, по Максиму Леруа, могут быть подведены и формулированы кратко:

«В 1900 году, над всею деятельностью рабочих доминирует одна великая идея: всеобщей стачки.

«В 1920 году — проект «индустриализированных национализации» общепользовательских служб.

«В 1900 году — деструктивная идея; в 1920 году — конструктивная идея.

«Между 1900 и 1920 г.г. есть контраст; но это более антитеза формул, чем идей. Двум этим датам соответствует наличие двух способов проявления мысли, в основе своей постоянно остающейся революционной и конструктивной» (Ibid., pp. 4-5).

---

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### Военный коммунизм

Если *первою* фазою большевизма был «анархо-советизм», со «всею властью на местах», с распыленным «рабочим контролем», т. е. фактическим захватом фабрик отдельными группами рабочих, с контрибуциями, реквизициями

и с красногвардейскими налетами на банки и вообще на капитал; если *вторую* его фазою был «главкизм», т. е. поспешное сосредоточение всего захваченного и еще могущего быть захваченным враздробь — в руках центральной власти, с «галопирующей национализацией» и ее последствием — бюрократизацией советской экономики, — то его *третьей* фазой был *военный коммунизм*.

Военный коммунизм своим происхождением обязан был двум факторам. Во-первых, как мы видели, главки и центры были из рук вон плохи; они олицетворяли систему хозяйствования, которую можно было охарактеризовать, как житье на готовое, как проедание или разбазариванье прошлых запасов; вся их коммерческая премудрость исчерпывалась «складовской» точкой зрения; их «складовская система» была воплощенным издевательством над потребителем. Но — констатирует Г. Циперович — «в тех случаях, когда требования к ним предъявлялись в жестких, отчетливых формах, они справлялись со своей задачей, в среднем, вполне удачно; так было с обслуживанием красной армии». Эта последняя «ставила перед главками и центрами задачи ясные, сроки указывала точные, ответственность за них возлагала на определенных лиц и притом в такой категорической форме, которая исключала возможность колебаний». В эпоху гражданской войны, конечно, обслуживанье фронта есть дело жизни или смерти; соответственно этому, фронт имеет свою манеру обращаться — ультимативную; взятым за шиворот, главкам и центрам «удавалось кое-что наладить и сделать не только в области учета и распределения, но и в области производства» — конечно, *военного* производства или лжепроизводства — производства средств истребления (Г. Циперович, «Главкизм», стр. 8-9). Большевики в особом сборнике «Оборона Петрограда» могли даже похвалиться примерами «удивительной производственной импровизации в условиях самых ненормальных, для капиталистической промышленности совершенно неприемлемых». Очень возможно. Судя по учебникам древней истории, в свое время могла быть, напр., издана книга «Оборона Карфагена», тоже с блестящими примерами «производственной импровизации», для нормальной промышленности недостижимыми: одни женщины, обращавшие свои пышные косы в сырой материал для плетения тетивы к луку, чего стоили! Но сфера войны, сплошного ненормального состояния, и сфера нормального мирного производства, суть две разных плоскости бытия, и некритическое их смешение, злоупотребление аналогиями, приравнивание их друг к другу могут быть только источником бесчисленных ошибок.

Деструктивный характер войны требует диктатуры, авторитаризма, не терпит индивидуальной свободы, все и вся деспотически приводит к одному знаменателю и не отступает перед терроризированием. Конструктивный характер организации коллективного производства требует совсем иных средств, методов и данных. Большевизм много над этим не задумывался. Перед его глазами стоял простой, ясный, осязаемый факт: те же самые главки, вялые, расхлябанные, самодовлеющие, глухие к нуждам потребителей, здесь, перед лицом императивных заказов фронта, преображались и — конечно, лишь сравнительно! — проявляли какую-то степень «личной годности». Отсюда не могла не зародиться мысль: а почему бы норм военного хозяйства не попробовать перене-

сти в область народного хозяйства вообще?

Это казалось вполне осуществимым. Объявим, что отныне существует новый фронт — «фронт труда». «На этом фронте — говорил Ленин — каждый рабочий должен быть *красным командиром труда*». Отдельные участки этого «фронта» могут быть объявлены «ударными участками». Туда — совершенно «по военному», по команде, могут направляться силы в том количестве, в каком нужно: «надо взяться за революционную *мобилизацию* работников для продовольствия и транспорта», говорит Ленин: пусть это будет «*мирная армия* продовольственных и транспортных работников». «Мы должны все бросить на *фронт труда* и сосредоточить здесь все силы при максимальном напряжении, с военной решимостью, беспощадной решимостью». Все больше и больше милитаризируется вся терминология коммунистов. Сначала это — как будто невинные метафоры: надо «поевовать» с голодом; создается «голодный фронт»; за ним следует «топливный фронт», «продовольственный фронт», «торфяной фронт», наконец «производственный фронт»; на них война провозглашается *jusqu'au bout*, «до победного конца». Потом объявляется «*поход* за хлебом», ибо можно собрать «сотни миллионов пудов», «но нужны невероятно дьявольские усилия, напряжение всех сил страны, *военная решимость и энергия*, чтобы их собрать и подвезти к центру». «Кончилась война кровавая, но продолжается война на бескровном фронте». «Добьемся на фронте труда таких же чудес, каких добились на фронте военном». «Сейчас начинается военная кампания против остатков косности, темноты и недоверия среди крестьянских масс». И т. д., и т. п.; таких цитат можно найти до бесконечности.

Вскоре, однако, вся фразеология, а затем и психология коммунистов настолько пропитывается милитарным духом, что оказывается возможность продвинуться далее. Отменяя начало коллегиальности в управлении фабриками и заводами и вводя на его место хозяйственную диктатуру управляющего (Борьба между левыми коммунистами, отстаивавшими коллегиальность, и правыми плюс «центр», стоявшими за единоначалие, принадлежит к числу бессодержательнейших в истории фракционных распрей в большевистской среде. При общем бюрократизме системы решительно все равно, сидит ли в данном месте один бюрократ или «коллегия». Но для левых коммунистов коллегиальность в бюрократизме сходила — *risum teneatis, amici* — за *демократию*, Ленин призывал учиться у армии. «Опыт армии показал нам на закономерное развитие управления от первоначальных форм коллегиальности к единоначалию». «Энергия, проявленная на войне, должна быть в такой же мере проявлена и в области труда, и *в той же форме*». Надо «подтянуться, работать с *военной твердостью*, решительностью, самопожертвованием». «Пусть рабочий класс организует свое производство так, как он сумел одерживать победы на военном фронте, создав свою красную армию. Надо, чтоб вся Россия в деле создания народного хозяйства превратилась в единую мощную армию труда». «В этом деле мы должны припоминать те уроки, которые имели при создании нашей красной армии» (Собр. соч., т. XVII, стр. 9, 11, 13, 106, 108, 109, 419 и мн. др.).

Как ни решительно настроились сами и настроили своих сторонников лидеры коммунизма в этом общем духе «милитаризации хозяйства», они, однако,

понимали, что надо найти какие-то переходные формы, которые были бы приемлемы для масс. Взять прямо от плуга вчера свободного хлебопашца, и от станка — городского пролетария, объявить их попавшими под «трудовую мобилизацию» и поставить под начало «красных командиров труда» казалось опытом слишком рискованным, могущим наткнуться на бурное сопротивление. На помощь пришло то состояние «ни войны, ни мира», в котором советская Россия стала по отношению к соседям. И вот, в феврале 1920 г., после того, как почти все основные военные фронты были ликвидированы или шли к ликвидации, было объявлено, что многомиллионная армия хотя и освободилась почти целиком от непосредственных военных заданий, но демобилизована быть, к сожалению, еще не может, ибо внешние опасности еще висят над советской Россией со всех сторон. Надо утилизировать освободившийся состав — цвет мужского населения России; для этого значительная часть армии и будет временно использована «на фронте труда». Как «проба пера», из третьей армии, оперировавшей на Урале, была образована «первая трудовая армия»; вторая армия была переброшена в Донецкий бассейн, на «топливный фронт»; седьмая армия получила трудовое задание в районе Петрограда. Этот ловкий маневр делал милитаризацию труда как бы облегчением чисто-военного, походного быта. Но одновременно с этим Ц. К.-т Р. К. П. принял и опубликовал тезисы Троцкого «о милитаризации труда», рассматривавшие последнюю, как одну из «переходных к социализму организационных форм». А IX съезд РКП, заседавший в конце марта и начале апреля 1920 г., приложил к этому свой штамп, признав необходимым введение трудовой повинности, трудовые мобилизации и формирование «трудчастей».

Хотя мы видели, с какой энергией проповедовал милитаризацию хозяйства Ленин, однако главным теоретиком ее мы все же считали бы скорее Л. Троцкого. В этом отношении наибольший интерес представляет его доклад третьему всероссийскому съезду профсоюзов. В мотивировке военного коммунизма здесь Троцкий пошел дальше Ленина. Ленин налегал на «чисто военную решимость», на *милитаризацию порядков* на фабрике в смысле беспощадного проведения трудовой дисциплины. По Троцкому же самое «существо вопроса, основа его» заключается не в том «объявить ли отдельный завод на военном положении, разрешить ли военным трибуналам карать тех рабочих, которые воруют материалы и инструменты, или саботируют работу». Нет, — «вопрос гораздо глубже, вопрос коренной, вопрос о самых основах социалистического хозяйства». Дело в том, что социализм вообще предполагает, с точки зрения Троцкого, такую высшую этику, которую сейчас можно встретить только... в армии. Наш красный военный министр усвоил себе, как это ни могло бы показаться неожиданным для тех, кто прежде знал Троцкого, вполне *армиоцентрическое* мирозерцание. Он словно задался целью представить в своем лице живую иллюстрацию справедливости основных положений известного труда А. Намон'а «Психология военной профессии». Начиная с идеализации армии, он кончает требованием все общество перестроить по ее образу и подобию. «Что такое армия? Армия есть единственная организация в мире, где человек обязан отдавать свою жизнь беспрекословно, полностью». А социалистический переворот как

раз и требует «исключительной волны трудового подъема, исключительной готовности жертвовать собою». Где его взять? Там, где он уже существует: в армии. Не сказал ли Маркс, что элементы будущего строя придется не выдумывать из головы, а брать из реальной жизни, из уже существующей объективной действительности? Маркс не указал лишь более конкретно, где именно. Здесь надо пойти, пользуясь методом Маркса, далее самого Маркса. «Это — новый опыт. Ни в каких мы книжках, не то, что в меньшевистских, а и в книжках гораздо более глубоких ничего не найдем об этом. Маркс нам на этот счет никаких правил поведения и форм организации не указал. Их приходится сейчас строить, создавать, вырабатывать самим». К счастью, опыт красной армии здесь приходит на помощь и спасает положение. Поперек дороги социалистическому переустройству всегда стоит индивидуализм, персонализм. Но «армия не считается со «священными» интересами личности. Армия требует жертв во имя интересов целого». А что еще важнее — в армии всецело торжествует «право целого приказывать части». И вот, это то «право целого приказывать части — это право мы должны перенести в область труда». «Нам нужен исключительно-властный хозяйственный аппарат, который каждому в отдельности говорит: тебе трудно, тебе больно, я знаю, но несмотря на то, что тебе трудно, я приказываю тебе и ставлю на работу, трудную тебе, во имя интересов целого. Это -и есть милитаризация труда». Троцкий, конечно, прекрасно понимал, что подводит сам себя под убийственное обвинение в *милитаризме* всего мирозерцания. Но он берет быка прямо за рога. Да, это милитаризм. Но надо не смешивать «буржуазного милитаризма с милитаризмом пролетарским, социалистическим, коммунистическим». Ибо «наша милитаризация отличается от всех остальных милитаризаций буржуазного мира точно так же, как организованный пролетариат отличается от сознательной и организованной буржуазии». Иначе говоря, быть за или против милитаризма и милитаризации можно только в зависимости от вопроса — в *чью пользу* они направлены.

Всякая иная постановка вопроса, всякая попытка возражать против милитаризации труда и хозяйства *по существу*, напр., утверждать, будто «принудительный труд всегда является мало производительным» значит, по Троцкому, поддаваться «самому жалкому, пошлейшему буржуазному предрассудку», быть «в плену у буржуазной идеологии и отрицать самые основы социалистического хозяйства». «Вся история человечества есть история воспитания его для труда, и это вовсе не такая простая задача, ибо *человек ленив*». «Человек должен работать, чтобы не умереть. Работать он не хочет, но общественная организация заставляет, вынуждает, подстегивает его в этом смысле». Привилегированные классы выработали множество мер «трудовой дрессировки рабочего». У социализма должен быть не менее обширный диапазон таких методов, только еще более прямых и откровенных, начиная от премиальной системы и кончая прямыми карами: «в отношении шкурника и дезертира труда рабочее государство имеет право применить суровую, тяжелую руку репрессий». Социализм есть «организация труда на принудительной основе солидарности».

Снова и снова, таким образом, обосновывает Л. Троцкий свой метод — метод *армиоморфизма* в решении общественных проблем. «Говорят, что при-

нудительный труд не производителен. Это означает, что все социалистическое хозяйство обречено на слом, *ибо других путей к социализму*, кроме властного распределения хозяйственным центром всей рабочей силы страны, размещения этой силы соответственно потребностям общегосударственного хозяйственного плана, *быть не может*. А раз мы это признаем, мы тем самым признаем в основе, не по форме, а в основе, право рабочего государства отправлять каждого работника и работницу на то место, где они нужны для исполнения хозяйственных задач. Тем самым мы признаем право государства, рабочего государства, карать рабочего и работницу, которые отказываются исполнять наряд государства». И далее: «милитаризация труда не есть выдумка отдельных политиков или рабоче-крестьянского правительства. Милитаризация труда в том основном смысле, какой я указал, является *неизбежным основным методом организации рабочих сил*, ее принудительной группировки в соответствии с потребностями строящегося социализма в переходную эпоху от царства капитала к коммунистическому государству. Если эта принудительно организованная и распределяемая рабочая сила не производительна — *ставьте на социализме крест*. Все развитие общества может быть рассматриваемо, как организация труда во все новых формах, с целью повышения производительности труда. И если наша новая форма организации труда приведет к понижению производительности, то тем самым мы фатально идем к гибели, к падению, как бы мы ни изворачивались»...

С этой точки зрения и профессиональные союзы социализму необходимы, «как органы, которые властно объемлют весь рабочий класс страны», и которые «должны иметь возможность, способность и право распределять, группировать, *прикреплять* отдельные группы, отдельные категории рабочих и отдельных пролетариев к тому месту, где они нужны государству, социализму». Рабочие не могут в эпоху строительства социализма «сохранять *то*, что называлось свободой выбора завода, свободой передвижения, свободой покидать завод в любое время в поисках лучшего куска хлеба». Троцкий знал, что его будут упрекать в покушении внести казарменный дух в профсоюзы, но опять таки брал быка прямо за рога, и говорил: «Политика милитаризации рабочих организаций есть единственно возможный метод организации труда при данных условиях». Он провозгласил формулу: «к подлинной организации труда, к милитаризации труда через посредство милитаризации профсоюзов». «Это, товарищи, и есть основа милитаризации труда. Кто этой азбуки не понял, тот остался либералом, мещанином» (III-й Всеросс. съезд профсоюзов, стеногр. отчет, ч. 1-я, Госиздат, 1921 г., стр. 87-93).

Это не осталось только книжной доктриной, — ничего подобного. Нарком труда, Шмидт, на том же третьем всеросс. профсоюзном съезде в своем информационном докладе должен был рассказывать, как ему приходилось «посылать живых людей, в виде агентов, в определенные места скопления рабочей силы и оттуда *по принуждению тащить* и перевозить рабочую силу в те места, где она требовалась». «Принуждение стало здесь необходимостью», ибо добровольного притока сил не было (напротив, рабочие разбежались по деревням); и «было бы утопией думать, что крестьянин или тот, кто сейчас работает на

вольный рынок, пришел бы добровольно работать по вольным ставкам и в более тяжелых условиях труда»; притом же «когда рабочие приезжали на места, они часто не могли быть использованы там потому, что хозяйственные органы, требовавшие эту силу, не знали, нужна ли она, и не оказались приспособленными к ее использованию». Словом, вполне и даже с излишком оправдались самые худшие опасения, которые высказывались даже большевистскими специалистами, и которые заставили усомниться в спасительности военных методов Троцкого не только умеренных коммунистов, как Рязанов и Рыков, и не только чистых «хозяйственников», как Крумин, И. Кутузов, как Гольцман, осмелившийся заговорить об «аракчеевщине», но даже и самого, неумолимого в прожектерстве, Ларина, сердито ворчавшего на «военно-бюрократическую утопию» Троцкого. «Всероссийское совещание губернских подотделов учета и распределения военной силы», происходившее в начале января 1920 года, в своей резолюции предсказывало, что «применение принудительных методов при отсутствии должного обеспечения продовольствием потребует огромной затраты сил, результаты же редко оправдывают затраченные усилия. Мало того, что подневольный труд мало производителен, — удержать рабочих можно будет лишь при наличии военной охраны». И, действительно, пришлось спасаться исключительно методом Держиморды: «тащить и не пущать», и уверовать, будто в деле организации народной экономики — как выразился на съезде советов Нар. Хозяйства Рязанов в «комиссаре с двумя револьверами» все спасение.

Критиковать систему Троцкого в серьез не приходится. Он сам признавал в своем докладе, что дебют ее был из рук вон плох: «оказалось, что в армии (речь идет о третьей армии, примененной к трудовым заданиям на Урале) было от 110 до 120 тыс. едоков, выбросить же рабочих рук она могла в первое время только 10 тыс. человек». Иными словами, на одного работника было 11—12 человек, которые его «обслуживали» или просто бездействовали. И вот, когда, напряжением всех усилий, достигли 23 и 38, и в некоторых избранных, чистоместных воинских частях даже 49% работающих, то это уже было учтено, как «грандиозный прогресс». Троцкий ссылался еще на блестящий результат, достигнутый одним инженерным полком, употребленным для дровозаготовки и достигшим, по его уверениям, нормы выработки почти в кубическую сажень дров на человека ежедневно. В это же самое время казенная, большевистская статистика опубликовала данные об итогах милитаризованной работы по очистке путей и нагрузке вагонов в районе московского ж. д. узла: производительность труда оказалась ниже вольнонаемного, где шестеро, где впятеро, и, как минимум, втрое; обходилось же применение этого труда в  $4\frac{3}{4}$  раза дороже! Троцкий вынужден был бы, согласно своему обещанию, признать, что его строй *«фатально идет к гибели»* и что надо «ставить на социализме крест»...

Некоторые (См., напр., Р. Абрамович в предисловии к русскому изданию книги К. Каутского «От демократии к государственному рабству», стр. XIII—XIV) хотели думать, будто Ленин долго колебался занять ту же позицию, что и Троцкий, и будто в этом смысле надо понимать те предостережения, с которыми он выступал в те времена против увлечения новыми «широкими планами» и против «разбрасывания, которое будет гибелью для дела». Мы доказали цита-

тами, что это — ошибка. Ленин не менее Троцкого был в то время «армиоморфистом» в области экономического строительства, и потому — милитаризатором хозяйства. Кроме того, у него, пожалуй, даже ярче, чем у Троцкого, выступает другой момент, другой психологический источник перехода к милитаризации: закон, Диктуемый Царем-Голодом.

Уже весной 1918 года, на съезде комиссаров труда, Ленин забил тревогу, — «теперь подходит самый критический момент, когда голод и безработица стучатся в дверь все большего количества рабочих, когда сотни и тысячи людей терпят муки голода». «Надвигаются неслыханные бедствия»; «мы стоим перед катастрофой». Однако, положение не окончательно безвыходное: «хлеба нет, — но он мог бы быть». «В России может хватить хлеба для людей, и хлеба, т. е. топлива, для промышленности, *при самом строгом разделе всего*, что у нас есть, между всеми гражданами, чтобы никто не мог взять ни одного лишнего фунта хлеба, чтобы ни один фунт топлива не оставался неизрасходованным. Только так можно спасти страну от голода. Этот урок коммунистического раздела, чтобы все было на учете... — этот урок не из книжки: мы дошли до него путем горького опыта» (Ленин, Собр. соч. XV, стр. 292, 294).

Таким образом, еще раньше милитаризации труда зашла речь о милитаризации продовольственного дела. «Товарищи, — заявил Ленин — чем больше надвигается на нас голод, тем яснее становится, что против этого *отчаянного бедствия нужны и отчаянные средства борьбы*». «Мучительный голод подвел нас силой к задаче *чисто коммунистической*» (Там же, стр. 318 и 375. Курсив наш).

У нас есть, таким образом, полное право сказать, что мы имеем дело с типическим *коммунизмом отчаяния*. Только путем самообмана и опьянения словами ему был придан впоследствии характер коммунизма веры и даже коммунизма гордой самоуверенности.

На деле, конечно, о коммунизме говорить здесь можно было лишь *sub magno grano salis*: на лице был лишь «ложный коммунизм», *мнимый коммунизм*. Положение, в роде описанного Лениным, сходно с положением осажденной крепости, или с положением потерпевших кораблекрушение и носимых течениями по необозримым океанским пространствам на каком-нибудь наскоро сколоченном плоту. Разумеется, и тут, и там нельзя обойтись без изъятия и самого скупого рационарования всех имеющихся скудных запасов пищи и воды. Но ни о каком «новом хозяйственном строе» здесь речи нет, на него нет даже и намек. Карточная система во время войны в блокированных странах тоже была некоторым приближением к такому положению. Если хотите, тут был своего рода «коммунизм нищеты», но сомнительно, чтобы ему то и приличествовало имя «чистого коммунизма». Организация перенесения голода, организация нищеты — не одно и то же, что организация коммунизма, что разрешение «задачи чисто-коммунистической». В уме Ленина и его сторонников, однако, все это перемешалось и перепуталось. И Ленин провозгласил: «Социализм, повторяю, перестал быть догмой, как он перестал, быть может, и быть программой. В нашей партии пока еще не написано новой программы, а старая уже никуда не годится. Раздобыть хлеб — вот в чем основа социализма сегодня... Война ос-

тавила нам такие бедствия, что теперь мы на вопросе о хлебе переживаем самую сущность всего социалистического устройства, и должны взять этот вопрос в руки и решить его практически (Там же, стр. 376). Отсюда Ленин даже пришел было к выводу: «чем хуже, тем лучше», — пока из горького опыта не убедился, что чем хуже — тем хуже...

Голодовки — пережиток прошлого, как пережиток прошлого и военные деспотии. В седой древности мы очень часто встречаемся с этим сочетанием военщины и экономического деспотизма, т. е. именно «лжекоммунизма», о котором идет речь. Бюхер говорил, например, что римская империя незадолго до падения своего представляла собою «коммунистически-империалистическое хозяйство». В самом деле, даже требовательный Троцкий мог бы быть доволен. Римские *corporati* — по нашему, профессионально организованные — не могли сами выбирать род работы, соответственно своим желаниям; они не могли и работать, где хотят, потому что были прикреплены к мастерской и городу; свободы передвижения для них не существовало. В тогдашней Римской империи эти корпорации, когда-то свободные, поистине были «огосударствлены». В ней были и «твердые цены», и «складовое хозяйство», и «бесплатное снабжение», в ней процветала и наша современная пайковая или карточная система: марки на хлеб, соль, вино, одежду, даже на вход в театр (недаром охлос, на который, равно как и на преторьянцев, опирались диктаторы и выросшие из них императоры, лозунгом своим имел «*panem et circenses*», хлеба и зрелищ). Эта система знала и разные «категории»; она была так детально развита, что были даже *las-civa pomismata* — марки на проституток. Впрочем, утверждают, что намеки на нечто подобное уже были и наши времена кое-где во время всемирной войны на фронте...

У Эрнста Толлера, в его «*Masse-Mensch*», на бирже анонсируется «отечественно-национальное предприятие»:

Концерн крупнейших банков руководит  
Всем предприятием. «Дом Отдыха Солдата  
Для укрепления вели победать», —  
Вот наша вывеска. А цель - ну, скажем в скобках -  
Казенная бордель. Регламент. План.  
Три категории: вся ночь — для офицера,  
Час — для капрала, четверть — рядовым...

Большевизм не шел так далеко, хотя и создалась легенда о проводимой им «социализации женщин». Но продовольственные пайки у него были тоже «трех категорий», лишь в перевернутом порядке. Последняя категория доставалась бывшей буржуазии. Зиновьев грозно заявил, что ей будет выдаваться лишь столько, чтобы она не забыла вкуса и запаха хлеба. На деле слова прозвучали жалко, ибо порой и по карточкам привилегированной, потомственно-почетно-пролетарской категории выдача часто прерывалась, или вместо хлеба выдавали... овес. И на вопрос, как живут в Петрокоммуне, отвечали: «жрем овес и ржем интернационал»...

Как известно из всех учебников истории, «лжекоммунизмом» был полон и быт той аристократической военной корпорации, которая называлась Спар-

той. Ее порядки Пельман называет «полной экономической тиранией». В ней была система коммунальных обедов или «сисситий»; в ней государство регламентировало быт до мелочей — до формы головного убора женщин, до числа смен платья, дозволенного гражданину при путешествиях. «Гражданин без разрешения не может покинуть места своего жительства, он — собственность государства». Таксы, запреты торговли предметами питания, запреты их вывоза из пределов местного рынка, смертная казнь за нарушение декретов власти, продовольственные комиссары, продовольственные диктаторы или «ситофилаки», чрезвычайные комиссии по борьбе с голодом или «ситонии», — все это знала древняя Греция, и все это заново открыли Колумбы большевизма, вообразив, будто это-то и есть настоящий социализм, и даже более того: высшая фаза социализма, коммунизм.

Если мы заглянем в еще более глубокую древность, то увидим, вместе с Масперо, города старых азиатских деспотий, живущие военной удачей и данью натурой с подвластного населения; плоды этого военного «продналога» наполняют кладовые и склады владыки, олицетворяющего «государство» древности; этот владыка — неограниченный распорядитель труда масс, которым он может располагать для циклопических построек, воздвижения пирамид и т. п. паразитических по грандиозности сооружений; у него имеются «начальники работ», выдающие рабочим определенное количество дуро (пшеница), хлеба, масла и т. п.; этого скудного «пайка», выдаваемого 1-го числа каждого месяца, должно хватать до первого числа следующего месяца; каждый месяц, поэтому, рабочие семьи вначале отъедаются, в середине переходят на уменьшенные порции, а в конце голодают: - общая судьба всех «пайков» старого и нового времени.

«В новизне твоей старина слышится» — могли бы мы, поэтому, сказать большевизму. Железная объективная логика событий, приведшая его к «военному коммунизму», была проста. Анархическая система «рабочего контроля» плюс разгром кредитной системы разбили индустрию параличом. Нарушился нормальный товарообмен города с деревней. «Красный» город превратился в центр непроизводительного потребления. Ему и осталось только: с одной стороны разыскать и конфисковать старые запасы мануфактуры, с другой — обложить данью в свою пользу деревню. То и другое, в сущности, было очень похоже на ту военную добычу, которой жили города древности (добыча внутренней войны вместо внешней). Эта добыча сосредоточивалась в «складах»; ограниченность заключенных в них запасов требовала скупого «рационирования» и очень тщательной регламентации потребления (Не анекдот, а факт, что в большевистском центротекстиле и главодежде, для экономии материи, одно время в порядке «стандартизации» товара обсуждался проект чего-то, сильно смахивающего на единообразную «мужскую форму» и «женскую форму» одеяния и головного убора. Но женские причуды и вкусы оказались еще сильнее, чем все императивы большевистской государственной экономики, и «спартанцы» центротекстиля и главодежды в бессилии остановились перед решительным штурмом этого векового бастиона, который, может быть, воздвигал свои твердыни и у каждого из них на дому.). С другой стороны, почти переставшие что-либо производить города перевели почти все свое население на казенные хлеба. И

государство, естественно, стало рассматривать все это новое непомерно разросшееся служилое сословие, материально от него зависимое и все от него получавшее, как свою «собственность»; отсюда и та простота, с которой прошло прикрепление этого населения к «огосударственным» занятиям, к свыше указанным местам жительства и службам, — откуда сама собою вытекает, конечно, необходимость казенного «разрешения» для каждой отлучки. Весь быт городского населения охватывался сетью «ордеров», пайковых карточек, разрешительных свидетельств и удостоверений. Отсюда и та совершенно невероятная, чудовищная раздутость бумажного производства, канцелярий и «штатов», под которым было одно время раздавлено всякое живое дело. Отсюда и анекдотический заколдованный круг, в который попали все большевистские усилия. Принципиально решали устроить сокращение штатов — и образовывали «комиссии по сокращению», немедленно обраставшие новыми штатами. «В 1918 г. в августе месяце — говорил Ленин — мы произвели перепись нашего аппарата в Москве. Мы получили число — в 231 тысячу человек государственных и советских служащих... Недавно, в октябре 1922 г., мы произвели эту перепись еще раз, уверенные, что мы сократили наш раздутый аппарат, и что он должен уже наверное оказаться меньшим. Он оказался — в 243 тысячи человек. Вот вам итоги всех сокращений!» (Собр. соч. т. XVIII, ч. 2-я, стр. 83).

Ничто не может лучше, чем военный коммунизм, иллюстрировать верность нашего основного положения: большевизм, не только по результатам, но и по самому внутреннему существу своему есть *деструктивный социализм*. Это положение на первый взгляд могло казаться парадоксальным. Теперь из него исчезает малейшая тень какой бы то ни было натяжки. В *поисках основного метода разрешения конструктивной проблемы социализма большевизм не нашел ничего лучшего, как почерпнуть и этот метод, и формы работы из опыта армии, т. е. силы существенно деструктивной, истребительной*. Методы, хорошие в истребительной работе, большевизм вздумал просто-напросто пересадить в сферу работы созидательной.

Мы видели, к чему пришел Троцкий, попытавшийся дать историко-философское обоснование военного коммунизма и его милитаризации труда. Весь огромный исторический процесс для него свелся в последнем счете к смене форм трудовой дрессировки человека, основная сущность природы которого состоит в лентяйничанье, в нежелании работать. С самого начала бросается в глаза сходство в идеях с Эдуардом Бертом, чье гипермарксистское идолопоклонническое отношение к капитализму, вместе с расхваливанием для самих рабочих суровой и даже жестокой «школы повиновения» одинаково легко могло превратиться (и на деле превращалось) и в преклонение перед большевизмом, и в преклонение перед фашизмом. Эта «философия истории» есть настоящая теоретическая «похлебка для бедных». Она забывает о самых элементарных истинах обществознания. Стыдно, но приходится напомнить ей «забытую азбуку» обществоведения. Неправда, что человек есть «прирожденный лентяй». Труд есть целесообразная затрата его сил, планомерное и рассчитанное функционирование его органов. Но что же такое *здоровье* человека, как не полная интенсивная жизнедеятельность, проявление всех способностей, переливание

через край накопленной, брызжущей энергии организма? Даже в таком ненормальном обществе, как наше, в котором социальное расслоение превратило физический труд в нечто низшее и чуть ли не постыдное, привилегированные классы, устраненные от физического труда, — если они не хотят вырождаться — должны придумать для себя хотя бы чисто искусственные формы того же физического, мускульного труда — отсюда современная эпидемия гимнастики, атлетики и всевозможных видов спорта, которому они и предаются до самозабвения. Затрата мускульных усилий в труде не может считаться противной человеческой натуре: иначе она не могла бы превращаться в самоцель, в искусство для искусства — в формах спорта. «Леность» и «нежелание работать» суть не какие-то первозданные свойства самой природы человека, а лишь «явления социальные», именно — исковерканные виды столь же нормального и необходимого состояния, как и труд — отдыха. Там, где мы имеем дело с организмом, вырождающимся и болезненным, — там мы имеем вялость, апатию, «леность», по причинам *внутреннего* порядка; по причинам *внешнего* порядка мы имеем ее там, где исковеркан уже не человек, а сам *труд*, где он *обессмыслен*, где человек превращен в «придаток к машине», где он — ничтожный винтик огромного производственного механизма, ничего не понимающий в том «целом», которому он служит, где, наконец, самая *обстановка* труда или *чрезмерность* его такова, что делают его *наказанием*, каторгой. Труд разумный, труд осмысленный, труд, из которого не удален искусственно и присущий ему элемент *соревнования*, т. е. элемент спортивности, труд, в котором человек может проявлять свою индивидуальность, влагая в него нечто «свое» — такой труд связан с чувством свободы и творческого удовлетворения.

Рабство, крепостничество, наемный труд суть поэтому в смысле «трудо-вой дрессировки человечества» по меньшей мере *палки о двух концах*. Они то и были первоисточником *оскопления* человеческого труда, извлечения из него элементов творчества, свободы и спортивности, превращения его в проклятие человечества, оставления в нем одного страдательного, однообразного, механического выявления мускульной силы под бичом внешней дисциплины. Военный коммунизм с его «милитаризацией труда» является продолжением исторической инерции движения в эту сторону. Поэтому он *полярно противоположен* синдикализму и гильдеизму, с которыми иногда его так неосторожно сближают. «Каждый рабочий на фабрике — говорит «гильдеец» — член общей их организации, он ответственен перед своими товарищами по работе, он производит для удовлетворения потребностей всего общества. Ему обеспечен его труд; он не подчинен контролю ни капиталиста, ни его уполномоченного, ни назначенного в предприятие чиновника, а только своих сотрудников по работе. Контроль над ним принадлежит только мастерам и руководителям, которых он сам избрал; он производит блага для потребления, а не для прибыли. Время и условия труда устанавливаются гильдией, к которой он принадлежит. Он управляет машиной, вместо того, чтобы она управляла им. Он в состоянии приспособлять в общем и целом производство к потребностям потребителей и производителей. Коротко говоря, он перестает быть наемным рабом, получающим заработную плату, и становится человеком, участником в управлении предприятием». Здесь

от каждой строчки, от каждого слова веет духами, прямо противоположным «военно-бюрократической утопии» Троцкого, за которую стоял и которой доставил торжество Ленин.

Синдикализм, гильдеизм и большевизм равно были поставлены в тупик конструктивной неразработанностью и неподготовленностью довоенного социализма. И тот, и другой, и третий порывались «строить», искали методов и форм зиждательной работы. И тот, и другой, и третий инстинктивно чувствовали, что эти методы и формы не могут быть высосаны из пальца, не могут быть придуманы «из головы», не могут быть каким-то небывалым измышлением, все составные элементы которого суть то, «чего нет на свете», — чего не бывает — никогда не бывает». И тот, и другой, и третий искали в *самой жизни*, в быту, в жизнедеятельности трудовых масс зародышевых форм будущего права, будущего типа общественных взаимоотношений. То же делали и кооперативисты, и «муниципальные социалисты». То же, в аграрной области, делали социалисты-революционеры. Можно спорить, кто более правильно, частично или более полно, нащупал бьющийся пульс новой трудовой общественности. Но, поистине, никто еще доселе не пробовал ухватиться за элемент действительности, настолько далекий и чуждый от жизни, быта, творчества и психики рабочего класса, как то сделали большевики: за армию, за казарму. «Армиоцентрическая» точка зрения и «армиоморфический» подход к установлению методологии социалистического строительства навсегда останутся лучшим памятником разрыва большевизма со всем тем, что составляет «душу живую» современного социализма, без чего социализм превращается в «трупнице околелое», в «живой труп», в коммунистическую каторгу.

---

Военным коммунизмом большевизм совершает свое собственное *reductio ad absurdum*, логически доходит до полной и очевидной нелепости. И все же за него долго и упорно держались. И когда необходимость заставила, наконец, пойти на его ликвидацию, принятая за социально-политическое «путешествие по ретур-билету», с военным коммунизмом все же расставались нехотя, проклиная компромиссы с жизнью, разрушающие «стройную систему».

Ленину, обосновавшему введение военного социализма, пришлось обосновывать его отмену. И вот сначала он неожиданно открыл, что «та стройная система, которая создавалась, — она диктовалась потребностями, соображениями и условиями военными, а не экономическими». «Другого выхода не было»; может быть, *в применении* «были ошибки, был целый ряд преувеличений», но «в основе эта политика была правильна». Но, настаивает Ленин, правильна лишь в особых, преходящих исторических обстоятельствах. Военный социализм — не решение социальной проблемы, даже не путь к социализму, а просто - отклик на особую политическую ситуацию, и в этом смысле по отношению к программе большевизма нечто случайное и побочное. Иными словами, между строк Ленин объявляет, что возведение Троцким военного коммунизма в принцип, в систему было ошибкой. Так сложилось, что пришлось на него пойти; но

«это не означало стройной экономической системы; это была мера, вызванная условиями не экономическими, а предписанная нам в значительной степени условиями военными». Несколько позднее, Ленин пошел в этих полупризнаниях на один шаг дальше. «Военный социализм был вынужден нуждой и разорением. Он не был и не мог быть отвечающей хозяйственным задачам пролетариата политикой. Он был временной мерой». Политикой, соответствующей хозяйственным задачам пролетариата, было бы установление «правильного социалистического продуктообмена» с деревней; если бы оно было возможно, не было бы надобности в военном коммунизме. К сожалению, оно было невозможно, а потому все-таки «роль лакеев буржуазии играли меньшевики, эсеры, Каутский и Ко., когда они ставили нам в вину этот военный коммунизм. Его надо поставить нам в заслугу». Отступление происходит как будто «в порядке», должным образом замаскированное. Некоторое время Ленин еще продолжает твердить: «мы должны были не остановиться перед военным коммунизмом, не испугаться самой отчаянной крайности»; но он уже почти целиком воспринимает всю критику, все изобличение изнанки этой «стройной системы». «Но то, что было условием победы в блокированной стране, в осажденной крепости — говорит он, подхватывая самую терминологию противников — обнаружило свою отрицательную сторону»... К весне 1921 г. опыт показал, что «запереть всякий оборот в осажденной крепости можно и должно; при особом героизме масс это можно переносить три года». Но за то «после этого разорение мелкого производителя еще усилилось, восстановление крупной промышленности еще оттянулось, отсрочилось»... (Собр. соч. т. XVIII, ч. 1, стр. 151—152, 214 и 223).

После такого признания дальше упорствовать на полном оправдании военного коммунизма было невозможно. Это могло бы сойти для какого-нибудь Бухарина, но не для Ленина. Трудно сказать, было ли для последнего это временное «полупризнание ошибки» переходной стадией, психологически облегчившей ему самому переход к позднему, уже более откровенному и полному сознанию, что пойти на военный коммунизм значило зарваться, и не рассчитывать ни средств, ни возможностей, ни сил; или же это просто был педагогический прием, рассчитанный на такое облегчение только для «малых сих», для слепо идущих за ним приверженцев. Впрочем, это имеет лишь историко-литературный интерес. Достаточно установить одно: осенью 1921 г. Ленин уже отдал себе полный отчет в крахе, в несостоятельности военного коммунизма, в ошибочности этого шага; он даже как-будто сам был в недоумении: как это «такое» могло с большевизмом «попритчиться»?

На втором всероссийском съезде политпросветов Ленин сделал ряд очень откровенных признаний. «Наша предыдущая экономическая политика, если нельзя сказать: рассчитывала (*мы в той обстановке вообще рассчитывали мало*), то до известной степени предполагала непосредственный переход старой русской экономики к государственному производству и распределению на коммунистических началах». А между тем, в самом начале пути «мы о наших задачах экономического строительства говорили гораздо осторожнее и осмотрительнее, чем во вторую половину 1918 г. и в течение всего 1919 и 1920 го-

дов». Когда же «мы» были правее? Ленин твердо выговаривает: «вначале». Таким образом, оказывается, что большевизм совершил грех против себя самого. «Отчасти под влиянием нахлынувших на нас военных задач и того, казалось бы, отчаянного положения, в котором находилась тогда республика; под влиянием этих обстоятельств и некоторых, может быть, других обстоятельств, о которых сейчас не время говорить, — *мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению*». «Это, к сожалению, факт. Я говорю: к сожалению, потому что не весьма длинный опыт уже привел нас к убеждению в ошибочности этого построения, противоречащего тому, что мы раньше писали о переходе от социализма к коммунизму». Все, раньше заученное, писанное и переписанное, — все это «в горячке гражданской войны» «было нами вроде того, что забыто». Результат неутешителен: «на экономическом фронте с попыткой перехода к коммунизму мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, раньше нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским». Это поражение было нанесено не людьми, а безличной логикой жизни, на которую апеллировать некуда: «наша хозяйственная политика мешала подъему производительных сил и оказалась причиной глубокого экономического и политического кризиса». И про вынужденный отказ от военного коммунизма «нельзя сказать, чтобы это было отступление в порядке на заранее подготовленные позиции»; нет, порою оно было «в весьма достаточном и даже чрезмерном беспорядке»... (Собр. соч. XVIII, ч. 1, стр. 371—373).

Ленин, конечно, был прав. Беда заключалась не в отдельных «ошибках» или «преувеличениях» при проведении правильной в основе политики; ошибкой была сама эта политика. Ни о какой «заслуге» в решимости эту политику проводить более не может быть и речи; «заслуга» улетучилась; оказалась «ошибка»; тем самым молчаливо признается, что предостерегавшие против нее «меньшевики, эсеры, Каутский и Ко.» оказались и правее, и дальновиднее; возведение их за эти предостережения в ранг «лакеев буржуазии» падает, как простая сердитая глупость. Ленин вслед за ними, по ученически, твердит их зады, вопия: «ошибка в том, что опыт, нами усвоенный из периода политического и военного, мы перенесли на задачи хозяйственные, — важнейшая ошибка, коренная ошибка, которую мы до сих пор повторяем, товарищи, на каждом шагу!» (Там же, стр. 442). Но не был ли Ленин все-таки не совсем неправ и тогда, когда доказывал, что у большевиков, в их положении, иного выхода, кроме системы военного коммунизма, не было? Да, логического выхода не было. Военный коммунизм был последствием не только чисто военных событий, но и еще кое-каких обстоятельств, — быть может тех самых, о которых Ленин загадочно отозвался, что «о них сейчас не время говорить». Эти «обстоятельства» заключаются в *двух предшествующих фазах большевизма*; первой, анархо-советистской, беспорядочно-захватнической, и второй, галопирующе-национализаторской и централизаторской, бюрократически-главкистской. Военный коммунизм, как мы показали, целиком вытекает из «главкизма», как попытка усугублением его черт преодолеть его слабость. Главкизм же, как мы показали, в свою очередь, целиком вытек из оргии явочных захватов, как неиз-

бежная попытка их частью упорядочить, а частью даже предупредить. Иными словами, к обоим предыдущим фазам большевизма применимо то же вещное слово «ошибка», которое, наконец, решился произнести Ленин по отношению к его «военно-коммунистической» фазе. Все эти три фазы, органически между собою связанные и друг из друга вытекающие, представляют собою вовсе не то, что говорил сам Ленин: не «огромное количество глупостей», т. е. «ошибок и преувеличений» при применении «верной в основе политики»; они в основе своей являются одной грандиозной «ошибкой»...

Глубоко прав был Ленин, когда впоследствии, на московской губернской партийной конференции, говорил, что новой, правильной ориентировки нельзя найти «без ясного представления об ошибочности предыдущей экономической политики»; только началась-то эта предыдущая ошибочная политика не со времени тезисов Троцкого о милитаризации труда, и даже не со времени Ленинского «урока коммунистического раздела», а гораздо раньше, с первого абцуга большевистского «строительства».

И Ленин сам в дальнейшем *почти* дошел до полного признания в этом, лишь смягчив его ссылкой на то, что большевиков в эту сторону толкнул... классовый «большевизм» буржуазии. «Тактика, принятая классом капиталистов, состояла в том, чтобы толкнуть нас на борьбу, отчаянную и беспощадную, вынуждавшую нас к неизмеримо большей ломке старых отношений, чем мы предполагали». Здесь доля правды в словах Ленина несомненно имеется. Только не менее его правы были бы и представители классового максимализма буржуазии, сославшись в свое оправдание на то, что их к этому максимализму толкала тактика Ленина. Обе стороны правы: они питали друг друга. «Чем труднее становилась борьба, тем меньше оставалось места для осторожности». Компромиссам, переходным мерам не было места. «Логика борьбы и сопротивление буржуазии заставили нас перейти к самым крайним, к самым отчаянным, ни с чем не считающимся приемам»... Так в конце концов, постепенно, незаметно и стихийно, вопреки первоначальным расчетам «на постепенные изменения, на более осторожный переход», определилась «попытка *штурмовым* способом, т. е. самым сокращенным, быстрым, непосредственным, перейти к социалистическим основам производства и распределения». Ленин все еще не видит, что, проводя штурмовым способом *разрушительную*, деструктивную часть работы, он *тем самым* обрекался на такой же «штурмовой способ» творчества, ибо нельзя с созиданием отставать от разрушения. Штурмовое созидание могло кончиться лишь полным фиаско. «При той степени разорения, нищеты и культурной отсталости, какие у нас были, решить эту задачу в такой краткий срок оказалось невозможным». И вот — окончательный итог: «новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к *реформистскому*, постепенновскому, осторожно-обходному методу в коренных вопросах экономического строительства...» (Там же, стр. 393, 395, 399, 409). С чего, по видимому, и следовало начать.

Казалось бы, после этого Ленину остается лишь снять шапку перед «меньшевиками, эсерами, Каутским и Ко.» и уступить им «честь и место»; кстати сказать, сам же он категорически заявил, в то время, когда еще не хотел

пойти на признание ошибочности своей тактики, что после такого признания оставалось бы лишь «сложить чемоданы и очистить свое место Мартову и Миллюкову». Но вместо такого неудобного выхода он предпочел более легкий и удобный: сердито закричать, что всякая подобная идея «есть либо софизм и простое мошенничество со стороны тех, кто прошел в политике огонь, воду и медные трубы, либо ребячество со стороны тех, кто не прошел настоящего искусства». Но как Ленин, изворачиваясь, путаясь и барахтаясь, пытался доказать, что большевики хотя и ошиблись, но были правы, а эсеры и меньшевики хотя и не ошиблись, но были неправы, — имеет разве лишь весьма ограниченный историко-литературный интерес, и притом интерес курьеза, а потому здесь, в трактовке основных проблем конструктивного социализма, может быть опущено без малейшей потери для читателя.

---

Военный коммунизм был последним логическим выводом из того течения в социализме, которое можно назвать диктаторским или императивным социализмом, и который по результатам показал себя, что социализм *деструктивный*.

Этот последний логический вывод был вместе с тем *reductio ad absurdum*, приведение к нелепости.

Он открывает дорогу социализму демократическому и конструктивному, как единственному не мнимому, а действительному решению социальной проблемы.

Мы рассмотрели их спор по преимуществу в области вопросов социализма индустриального.

За решением этих проблем следует решение аграрной проблемы и находящей в неразрывной органической связи с нею — мировой социальной проблемы. Без решения этой проблемы нет и не может быть принципиально выдержанной «иностранный» или, точнее, международной политики социализма.

Их анализу и будет посвящен второй том нашего труда.

Там мы увидим, до какой степени торжество демократического и конструктивного социализма необходимо для всего будущего мировой культуры, международного мира и подлинного *очеловечения Человечества*.

КОНЕЦ ПЕРВОГО ТОМА

---